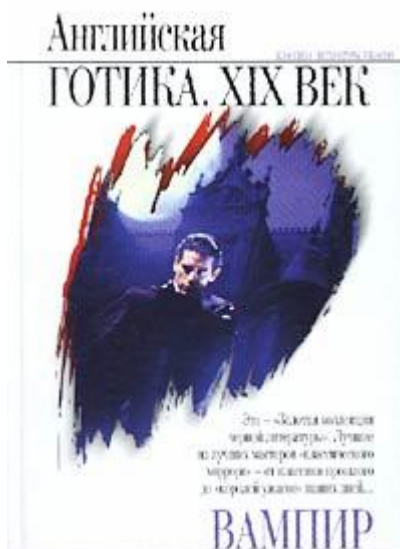


СБОРНИК

Вампир. Английская готика. XIX век



«Вампир. Английская готика. XIX век»: АСТ, Terra Fantastica; 2002
ISBN 5-17-009980-0, 5-7921-0537-5

Аннотация

Это — английская готика XIX века.

То, с чего началась «черная проза», какова она есть — во всех ее возможных видах и направлениях, от классического «хоррора» — до изысканного «вампирского декаданса». От эстетской «черной школы» 20-х — 30-х гг. — до увлекательной «черной комедии» 90-х гг.

Потому что Стивена Кинга не существовало бы без «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона, а Энн Райс, Нэнси Коллинз и Сомтоу — без «Вампиров» Байрона и Полидори. А без «Франкенштейна» Мэри Шелли? Без «Комнаты с гобеленами» Вальтера Скотта? Ни фантастики — ни фэнтези!

Поверьте, с готики XIX в. началось вообще многое. Возможно — слишком многое для нашего спокойствия...

Джордж Гордон Байрон «Вампир» (1816)

В одну невероятно дождливую ночь собрались вместе, застигнутые непогодой, несколько неординарных личностей, среди которых были: Мэри Шелли, Джон Полидори, Джордж Г. Байрон и вышел у них спор — кто быстрее напишет по настоящему страшную готическую историю? С поставленной задачей справилась только Мэри Шелли, создав своего чудовищного «Франкенштейна...».

Байрон начал «Вампира» хорошо. Познакомив читателя со злодеем, он успел даже внушить к вампиру некоторое отвращение, но дальше дело не пошло и рассказ остался недописанным.

Джон Уильям Полидори «Вампир» (1819)

За Байрона с лихвой отработал Полидори, поведав историю молодого человека по имени Обри, которого судьба свела и сдружила с таинственным, нелюдимым лордом Ратвеном, оказавшимся настоящим вампиром. Поздно Обри догадался, что человек, ставший мужем его сестре — НЕЧТО! Зло торжествует, а мы злобно хихикаем.

Оскар Уайльд «Кентервильское привидение» (1887)

Занимательная, с налетом иронии, история об опытном и прожженном

Кентервильском привидении, не сумевшем справиться с буйной, развеселой семейкой янки, купивших замок вместе с обитающим в нем призраком в придачу. Уж он их и ууханием пугал, голову снимал, кровь рисовал, а они все не пугались.

Помнится, наши аниматоры даже мультяшку сняли по этому рассказу.

Вальтер Скотт «Комната с гобеленами» (1828)

Готическое повествование, со всеми подобающими атрибутами: замок, таинственная комната, толпа гостей и конечно призраки. Приключения бравого солдата, осмелившегося провести ночь наедине с призраком. Страшная бабуля — в роли призрака.

Эдвард Булвер-Литтон «Привидения и жертвы» (1869)

В надежде на дармовое жилье, не слишком шикарный мистер, вместе с преданным слугой, становятся постояльцами в домике с дурной репутацией — обитель призраков. Слуга сбежал в первую же ночь, а храбрый мистер, что удивительно, продержался чуть дольше и даже разгадал тайну дома с привидениями, насмотревшись при этом такой жутки!

Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886)

Фантастическая повесть о человеке, разными там корешками и снадобьями, добившемся полного разделения личности (добро и зло, скромность и полный разврат), но так и не сумевшего, в результате трагической ошибки, вернуться к своему прежнему состоянию.

Мэри Уолстонкрафт Шелли «Франкенштейн, или современный Прометей» (1818)

Зло должно создаваться природой. Ни в коем случае нельзя человечеству встречать в процесс жизни — смерть, иначе получится такой коктейль Молотова, какой вышел у молодого Франкенштейна с его недочеловеком.

Джозеф Шеридан Ле Фаню «Тайна гостиницы «Парящий дракон» (1872)

Роскошная готическая повесть о приключениях богатого повесы Ричарда Беккета, неосмотрительно влюбившегося в очаровательную незнакомку, благодаря которой он окажется в весьма интересном положении. А точнее — погребен заживо, господи!

Уильям Гаррисон Эйнсворт «Невеста призрака» (1849)

Милый рассказик о прелестнице Клотильде, влюбившейся ни в соседского графа, ни в царя соседнего государства и даже ни в киногероя со стальными мускулами. Дурехе вскружил голову простой мужичок-мертвячок с кладбища, пообещавший ей реки щербета, горы рахат-лукума и пригласивший на церемонию бракосочетания, в полночь, на кладбище. И что вы думаете, ведь пришла. Не ходите девки, замуж...

Чарльз Лэм «Ведьмы и другие ночные страхи» (1821)

Довольно мутные, подобно водам Нила, поучительные рассуждения о природе человеческих страхов. Еще в детстве я боялся медведей, негров и обезьян... Сейчас я не боюсь только медведей.

Уильям Бекфорд «Ватек» (1786)

Самая страшная из всех арабских сказок, что вам доведется когда-либо прочитать. «Ватек» — не та сказочка, которую читают детям перед сном. Произведение, наполненное магией, мистикой, ужасами, нужно читать одному, запершись в заброшенном доме при свечах.

СБОРНИК

Вампир. Английская готика. XIX век

**Джордж Гордон Байрон
Вампир**

Вот уже некоторое время я вынашивал замысел посетить страны, что доселе не часто

привлекали внимание путешественников, и в 17 году я пустился в путь в сопровождении друга, коего обозначу именем Огастус Дарвелл. Он был на несколько лет меня старше, располагал значительным состоянием и происходил из древнего рода; благодаря незаурядному уму он в равной степени был далек от того, чтобы недооценивать, либо чересчур полагаться на помянутые преимущества. Некие необычные подробности его биографии пробудили во мне любопытство, интерес и даже известную долю почтения к этому человеку, каковые не смогли притушить ни странности поведения ни время от времени повторяющиеся приступы тревожного состояния, порою весьма похожего на умопомешательство. Я делал еще только первые шаги по жизни, в которую вступил довольно рано; и дружба эта завязалась не так давно; мы учились в одной школе, затем в одном университете; но пребывание Дарвелла в тамошних стенах завершилось ранее моего; он был глубоко посвящен в то, что называется высшим светом, в то время как я еще не закончил периода ученичества. За подобным времяпрепровождением я много слышал о его прошлом и настоящем, и хотя в рассказах этих обнаруживалось немало противоречивых несоответствий, я, несмотря ни на что, видел: он — человек незаурядный, из тех, что несмотря на все усилия держаться в тени неизменно привлекают к себе внимание.

Итак я познакомился с Дарвеллом и попытался завоевать его дружбу, что представлялась недостижимой; какие бы привязанности не рождались в его душе прежде, теперь они словно бы иссякли, а прочие сосредоточились на одном; у меня было достаточно возможностей подметить, сколь обострены его чувства; ибо хотя Дарвелл умел их сдерживать, совершенно скрыть их не мог; однако же он обладал способностью выдавать одну страсть за другую, таким образом, что трудно было определить суть бушевающего его чувства; а выражение его лица менялось столь стремительно, хотя и незначительно, что не стоило и пытаться установить причины.

Было очевидно, что его снедает некое неутолимое беспокойство; но проистекает ли оно от честолюбия, любви, раскаяния, горя, от одного из этих факторов или всех, вместе взятых, или просто от меланхолического темперамента, граничащего с душевным расстройством, я не смог выяснить; обстоятельства, на которые ссылалась молва, подтвердили бы любую из этих причин; но как я уже поминал, слухи носили характер столь противоречивый и сомнительный, что ни один из фактов нельзя было счесть достоверным. В ореоле тайны, как правило, усматривают некое злое начало, не знаю, с какой стати; в его случае первое было налицо, хотя я затруднился бы определить степень второго — и, в отношении Дарвелла, вообще не желал верить в наличие зла.

Мои попытки завязать дружбу были встречены довольно холодно; но я был молод, отступать не привык, и со временем завоевал, до известной степени, привилегию общаться на повседневные темы и поверять друг другу повседневные, будничные заботы, — подобная привилегия, порожденная и укрепленная сходством образа жизни и частыми встречами, называется близостью или дружбой, сообразно представлениям того, кто использует помянутые слова.

Дарвелл немало постранствовал по свету; к нему обратился я за сведениями касательно маршрута моего намеченного путешествия. Втайне я надеялся, что мне удастся убедить его поехать со мной; надежда эта казалась тем более обоснованной, что я подметил в друге смутное беспокойство; возбуждение, что охватывало его при разговоре на данную тему, и его кажущиеся безразличие ко всему что его окружало, подкрепляли мои упования. Свое желание я сперва выразил намеком, затем словами; ответ Дарвелла, хотя я отчасти и ожидал его, доставил мне все удовольствие приятного сюрприза: он согласился.

Закончив все необходимые приготовления, мы отправились в путь.

Посетив страны южной Европы, мы направили свои стопы на Восток, согласно намеченному изначальному плану; именно в тех краях произошло событие, о котором и пойдет мой рассказ.

Дарвелл, судя по внешности в юности отличался превосходным здоровьем; с некоторых пор оно пошатнулось, однако отнюдь не в результате воздействия какого-либо

известного недуга; он не кашлял и не страдал чахоткой, однако слабел с каждым днем; привычки его отличались умеренностью, он никогда не жаловался на усталость, но и не отрицал ее воздействия; тем не менее, со всей очевидностью силы его таяли; он становился все более молчаливым, его все чаще мучили бессонницы, и, наконец, друг мой столь разительно изменился, что моя тревога росла пропорционально тому, что я почитал опасностью ему угрожавшей.

По прибытии в Смирну, мы собирались посетить руины Эфеса и Сардиса; учитывая плачевное состояние друга, я попытался отговорить его от этого намерения — но напрасно; Дарвелл казался подавленным, а в манерах его ощущалась некая мрачная торжественность; все это плохо согласовывалось с его нетерпением отправиться на предприятие, каковое я почитал не более чем развлекательной прогулкой, мало подходящей для недужного; однако я больше ему не противился; и спустя несколько дней мы вместе выехали в путь, в сопровождении одного только янычара.

Мы преодолели половину пути к развалинам Эфеса, оставив за спиной более плодородные окрестности Смирны, и вступили на ту дикую и пустынную тропу через болота и ущелья, уводящую к жалким постройкам что до сих пор ютятся у поверженных колонн храма Дианы — стены, лишенные крыш, обитель изгнанного христианства, и не столь древние, но совершенно заброшенные и разоренные мечети — когда внезапная, стремительно развивающаяся болезнь моего спутника вынудила нас задержаться на турецком кладбище: только могильные плиты, увенчанные изображением чалмы, указывали на то, что жизнь человеческая некогда обретала прибежище в этой глуши.

Единственный встреченный нами караван-сарай остался позади в нескольких часах езды; в пределах досягаемости не наблюдалось ни города ни хотя бы хижины, и надеяться на лучшее не приходилось; только «город мертвых» готов был приютить моего злосчастного спутника, которому, казалось вскоре предстояло стать последним из его обитателей.

Я огляделся по сторонам, высматривая место, где бы я смог поудобнее устроить моего спутника; в отличие от традиционного пейзажа магометанских кладбищ, кипарисов здесь росло немного, и те были разбросаны по всей местности; надгробия по большей части обвалились и пострадали от времени; на одном из наиболее крупных, под самым раскидистым деревом, Дарвелл расположился полулежа, с трудом удерживаясь в этом положении. Он попросил воды.

Я сомневался, что удастся найти источник, и уже собрался обреченно и неохотно отправиться на поиски, но больной велел мне остаться; и, обернувшись к Сулейману, нашему янычару, который стоял рядом и курил с невозмутимым спокойствием, сказал: «Сулейман, верба на су» (т. е. «принеси воды»), — и весьма точно и подробно описал место: небольшой верблюжий колодец в нескольких сотнях ярдах направо.

Янычар повиновался.

— Откуда вы узнали? — спросил я у Дарвелла.

— По нашему местоположению, — отвечал он. — Вы должно быть заметили, что в этих местах некогда жили люди, следовательно должны быть и родники. Кроме того я бывал здесь раньше.

— Вы бывали здесь раньше! Как же так случилось, что вы ни разу не упомянули об этом при мне? И что вы могли делать в таком месте, где никто лишней минуты не задержится?

На этот вопрос я не получил ответа.

Тем временем Сулейман принес воды, оставив лошадей у источника.

Утолив жажду Дарвелл словно бы ожил ненадолго; и я понадеялся было, что друг мой сможет продолжать путь или, по крайней мере, возвратился вспять, и взялся его уговаривать.

Дарвелл промолчал — казалось он собирается с силами чтобы заговорить. Он начал:

Здесь завершается мой путь и моя жизнь; и я приехал сюда умереть, но у меня есть просьба, не требование, ибо таковы будут мои последние слова. Вы все исполните?

— Всенепременно; но надейтесь!

— У меня не осталось ни надежд ни желаний, кроме одного только сохраните мою смерть в строжайшей тайне.

— Надеюсь, что случая тому не представится» вы поправитесь и...

— Молчите! — так суждено; обещайте!

— Обещаю.

— Поклянитесь всем, что... — И он произнес клятву великой силы.

— В том нет необходимости; я исполню вашу просьбу, и если вы сомневаетесь во мне...

— Иного выхода нет — вы должны поклясться.

Я принес клятву; это успокоило недужного. Он снял с пальца перстень с печаткой, на которой были начертаны некие арабские иероглифы и вручил его мне.

И заговорил снова:

— В девятый день месяца, ровно в полдень (месяц значения не имеет, главное соблюсти день) бросьте этот перстень в соленые потоки, впадающие в Элевзинский залив; на следующий день в то же самое время, отправляйтесь к развалинам храма Цереры и подождите там час.

— Зачем?

— Увидите.

— Вы сказали, в девятый день месяца?

— В девятый.

Я отметил, что именно сегодня — девятый день месяца; больной изменился в лице и умолк.

Силы его таяли с каждой минутой; тем временем на соседнее надгробие опустился аист со змеей в клюве; казалось птица пристально наблюдает за нами, не спеша заглотать добычу.

Не знаю, что внушило мне мысль прогнать пернатого гостя, но попытка моя ни к чему не привела; аист описал в воздухе несколько кругов и возвратился в точности в то же самое место.

Дарвелл с улыбкой указал на птицу и заговорил, — не знаю, обращался ли он ко мне или к самому себе, — но сказал только одно:

— Все идет хорошо!

— Что идет хорошо? О чем вы?

— Неважно; нынче вечером вы должны предать мое сердце земле — на том самом месте, куда уселась птица. Остальное вам известно.

Затем он дал мне указания касательно того, как лучше скрыть его смерть. Договорив, он воскликнул:

— Вы видите птицу?

— Разумеется.

— И змею, которая извивается у нее в клюве?

— Вне всякого сомнения; в том нет ничего необычного; аисты питаются змеями. Но странно, что птица не заглатывает добычу.

Дарвелл улыбнулся нездешней улыбкой и слабо изрек:

— Еще не время!

При этих словах аист улетел прочь.

Я проводил птицу глазами, отвернувшись на краткое мгновение — за это время я едва успел бы досчитать до десяти. Тело Дарвелла вдруг словно отяжелело и бессильно навалилось на мои плечи. Я обернулся и взглянул в его лицо — мой спутник был мертв!

Я был потрясен происшедшим. Ошибки быть не могло — спустя несколько минут лицо его почернело. Я бы объяснил перемену столь мгновенную действием яда, если бы не знал, что у Дарвелла не было возможности воспользоваться ядом незаметно от меня.

День клонился к закату, тело разлагалось на глазах, и мне ничего не оставалось, как только исполнить волю покойного. При помощи янычарского ятагана и моей собственной сабли мы с Сулейманом вырыли неглубокую могилу на том самом месте, которое указал нам

Дарвелл: земля уже поглотившая некоего магометанина, поддавалась без особого труда.

Мы выкопали яму настолько большую, насколько позволило время, засыпали сухой землей останки загадочного существа, так недавно скончавшегося, а затем вырезали несколько полосок зеленого дерна там, где землю не настолько иссушило солнце, и уложили их на могилу.

Во власти изумления и горя, плакать я не мог...

Джон Уильям Полидори Вампир

Так случилось, что в самый разгар увеселений, неизменно сопутствующих лондонской зиме, на всевозможных приемах, устраиваемых законодателями хорошего тона, стал появляться некий дворянин, более приметный своей эксцентричностью, нежели знатностью. Он наблюдал за весельем, царящим вокруг него, так, словно сам не мог принять в нем участие.

Очевидно, беспечный смех представительниц прекрасного пола привлекал его только затем, чтобы одним взглядом заставить его умолкнуть и пробудить страх в сердцах, где доселе царило лишь легкомыслие. Те, кто ощущал этот благоговейный ужас, не смогли бы объяснить его происхождение: некоторые ссылались на взгляд мертвенно-серых глаз, что, остановившись на лице собеседника, словно бы не проникал в душу и не постигал сокровенные движения его сердца, но ложился на щеку свинцовым лучом, и, не в силах преодолеть преграду, давил на нее невыносимой тяжестью.

Благодаря эксцентричности помянутого дворянина, его наперебой приглашали во все дома; всем хотелось поглядеть на него, а те, что привыкли к острым ощущениям и теперь страдали от бремени *ennui* (скука — фр.), радовались, что появился некто, способный пробудить в них интерес.

Несмотря на пепельно-бледный оттенок кожи, — ни румянец стыда, ни игра страстей не имели власти оживить его, хотя черты и абрис лица отличались совершенством формы, — многие охотницы за знаменитостями пытались привлечь его внимание и добиться хоть каких-то проявлений того, что можно было бы счесть сердечной склонностью; леди Мерсер, что со времен своего замужества дерзко кокетничала с любым оригиналом, принятым в гостиных, постоянно оказывалась у него на пути и едва ли не вырядилась шутком, чтобы привлечь его внимание — но тщетно: да, он глядел в глаза собеседницы, однако взор его при этом оставался отрешенно-бесстрастным; даже ее вопиющее бесстыдство потерпело крах, и леди Мерсер оставила поле боя. Но хотя искушенная прелюбодейка не могла обратить к себе взгляд этого человека, нельзя сказать, чтобы он оставался вовсе равнодушен к женскому полу: однако с такой осмотрительностью заговаривал он с добродетельной супругой и целомудренной дочерью, что мало кто знал о его беседах с женщинами.

Тем не менее, он снискал себе репутацию человека красноречивого; и это ли помогало преодолеть страх перед его странностями или в пользу его свидетельствовало явное отвращение к пороку, только он столь же часто появлялся в обществе тех дам, что в силу семейных добродетелей составляют гордость своего пола, как и среди тех, что позорят свой пол своим беспутством.

Примерно в то же время в Лондон приехал молодой джентльмен по фамилии Обри: потеряв родителей еще в раннем детстве, он и его единственная сестра остались наследниками изрядного состояния. Опекуны предоставили юношу самому себе, полагая, что их долг — лишь позаботиться о его имуществе, а воспитание ума — задачу неизмеримо более важную, — возложили на своекорыстных наймитов, так что юноша развивал в себе скорее воображение, нежели здравый смысл. Отсюда — его обостренно-романтическое чувство чести и справедливости, кои ежедневно губят столько модисток.

Обри свято верил, что добродетель чтут все, а порок привнесен в мир Провидением лишь для живописного эффекта, как в романах; он полагал, что нищета хижины сводится только к отличию в одежде; платье бедняка греет не хуже, но, благодаря асимметричным складкам и разноцветным заплатам больше подходит восприятию художника. Короче говоря, юноша принимал грезы поэтов за реальную действительность.

Он был красив, прямодушен, богат; а силу этих причин, едва Обри появился в светских гостиных, матери наперебой принялись расписывать ему своих томных или шаловливых любимиц, состязаясь меж собой в том, кто далее прочих отступит от истины; лица дочерей при его появлении озарялись лучезарными улыбками, а глаза вспыхивали, стоило ему молвить хоть слово, так что юноша вскорости чрезмерно возомнил о своих талантах и заслугах. В часы уединения упиваясь романами, он к изумлению своему обнаружил, что, если не считать сальных и восковых свечей, пламя которых подрагивало отнюдь не в силу присутствия призрака, но в силу отсутствия щипцов для нагара, в реальной жизни не находится места для нагромождения отрадных картин и описаний, коими изобилуют тома, ставшие для него школой жизни. Однако, обретая некоторое утешение в удовлетворении собственного тщеславия, он уже готов был отречься от своих грез, когда необыкновенное существо, описанное нами выше, встретилось ему на пути.

Обри не сводил с него глаз; но как определить характер человека, полностью погруженного в себя, который не реагировал на внешние предметы иначе, кроме как молча отдавая себе отчет в их существовании, что выражалось в стремлении избежать малейшего соприкосновения? Позволяя воображению изображать что угодно, и поощряя тем самым свою склонность к гротескному и необычному, юноша вскоре превратил сей объект наблюдений в героя романа и теперь следил скорее за порождением собственной фантазии, нежели за человеком из плоти и крови.

Обри свел с ним знакомство; осыпал знаками внимания, и вскорости настолько заручился расположением помянутого мизантропа, что тот всегда замечал присутствие юноши.

Со временем Обри обнаружил, что финансовое положение лорда Ратвена стеснительно, и, подметив признакам приготовлений на ***-стрит, догадался, что тот собирается отправиться в путешествие. Желая узнать больше об этом эксцентричном характере, что до сих пор только подстегивал его любопытство, Обри намекнул опекунам, что пришла пора ему совершить вояж, на протяжении многих поколений почитавшийся совершенно необходимым для того, чтобы юноша стремительно продвинулся в карьере порока, сравнялся со старшими и не казался новорожденным младенцем, когда заходит речь о скандальных интрижках, и любовные похождения служат предметом насмешки или восхищения, в зависимости от проявленного искусства.

Опекуны согласились; и Обри, помянув о своих намерениях лорду Ратвену, к вящему своему удивлению, получил от его светлости предложение присоединиться к нему. Польщенный этим знаком доверия от того, кто, со всей очевидностью, держался от людей особняком, юноша охотно согласился, и уже спустя несколько дней они пересекли разделяющий пролив.

До сих пор Обри не представлялось возможности изучить характер лорда Ратвена; в пути он обнаружил, что, хотя теперь он может свободнее наблюдать за его действиями, последствия таковых подталкивают к иным выводам, нежели кажущиеся мотивы его поступков.

Спутник его отличался неумеренной щедростью: лентяи, бродяги и нищие получали из рук его гораздо больше, нежели было необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Но Обри не мог не подметить, что благоденствия его обращались отнюдь не на людей добродетельных, доведенных до нищеты несчастьями, добродетель неизменно преследующими — эти отсылались от дверей едва ли не с насмешкой; когда же являлся распутник и просил не на хлеб насущный, но на то, чтобы и дальше услаждаться похотью или еще сильнее погрязнуть в пороке, ему перепадала обильная благостыня. Обри, однако,

объяснял это тем, что назойливая настойчивость негодяев обычно одерживает верх над стыдливой застенчивостью добродетельных бедняков.

Но было еще одно обстоятельство, сопряженное с благодеяниями его светлости, что произвело на юношу впечатление еще более неизгладимое: все, воспользовавшиеся его милостыней, неизбежно обнаруживали, что на ней лежит проклятие, ибо всех она либо приводила на эшафот, либо ввергала в бездны еще более беспросветной нищеты.

В Брюсселе и других городах, через которые друзья проезжали, Обри удивлялся, видя, с каким жадным нетерпением спутник его стремился в обители всех модных пороков: он в совершенстве постиг все тонкости игры в фараон, он делал ставки — и неизменно выигрывал, разве что противник его был известным шулером, а тогда его светлость терял больше, чем выигрывал, но всегда с тем же непроницаемым лицом, с которым обычно наблюдал за окружающими его людьми. Однако не так встречал он опрометчивого юнца или злосчастного отца семейства: тогда малейшее его желание словно бы становилось законом для судьбы — апатичная отрешенность исчезала, глаза вспыхивали огнем более ярким, нежели у кошки, играющей с полузадушенной мышью.

В каждом городе, после отъезда лорда Ратвена, еще недавно богатый юноша, выброшенный из круга, украшением которого он некогда являлся, в безмолвии подземелья проклинал судьбу, ввергшую его во власть этого демона; в то время как многие отцы, обезумев от горя, ощущали на себе умоляющие взгляды голодных детей, не имея за душою и единого фартинга некогда баснословного богатства, посредством которого возможно было бы облегчить нынешние страдания. Впрочем, с игорного стола лорд Ратвен денег не брал, но тут же снова терял, в пользу погубителя многих, последний гульден, только что вырванный из судорожно сжатой руки невинного; то могло быть лишь следствием известного рода интуиции, что, однако, уступала коварству более опытных игроков.

Обри то и дело собирался открыть другу глаза и умолять его отказаться от благотворительности и развлечения, что оборачиваются гибелью для многих, и самому ему выгоды не приносят; однако он все откладывал — каждый день юноша уповал на то, что друг даст ему возможность высказаться открыто и начистоту; однако, удобного случая так и не представилось.

В экипаже ли, на фоне ли великолепных и живописных пейзажей, лорд Ратвен оставался тем же: взор его говорил еще меньше, чем уста; и хотя Обри находился рядом с предметом своего любопытства, сгорая от тщетного нетерпения, он так и не приблизился к разгадке тайны, что в его восторженном воображении принимала сверхъестественные очертания.

Вскорости они прибыли в Рим, и на какое-то время Обри потерял своего спутника из виду; он оставил его ежедневно посещать утренний кружок некоей итальянской графини, а сам отправился изучать руины другого, почти обезлюдевшего города.

Пока юноша предавался этому занятию, из Лондона прибыли письма, кои он вскрыл с радостным нетерпением: первое оказалось от сестры и дышало любовью от первой строчки и до последней; прочие были от опекунов, и изрядно его удивили; ежели и прежде молодому человеку приходило в голову, что спутник его наделен злой силой, письма давали ему достаточно поводов укрепиться в этом мнении. Опекуны настаивали, чтобы юноша немедленно расстался со своим другом, и убеждали, что характер того до отвращения порочен, а неодолимое обаяние соблазнителя, противиться которому никто не в силах, делает тем опаснее для общества его развратные поползновения.

Обнаружилось, что презрение его к прелюбодейке проистекало не от неприязни к распущенности; нет, для полного удовольствия лорду Ратвену требовалось, чтобы его жертва и соучастница в преступлении пала с вершин незамутненной добродетели в самые бездны позора и бесславия; короче говоря, все женщины, общения с которыми он искал, как представлялось, в силу их безупречной нравственности, с момента его отъезда сбросили маску притворства и, не колеблясь, представили свои грехи, во всем их вопиющем безобразии, на суд общества.

Обри твердо решил покинуть того, в чьем характере до сих пор не обнаружилось ни одного светлого пятна, на коем мог бы отдохнуть взгляд.

Юноша вознамерился измыслить какой-нибудь благовидный предлог для того, чтобы расстаться с лордом Ратвеном навсегда, а до той поры наблюдать за ним еще пристальнее, не упуская из виду даже самой мельчайшей подробности.

Он вошел в тот же круг и вскорости заметил, что его светлость старается воспользоваться неопытностью дочери некоей леди, чей дом он посещал наиболее часто.

В Италии нечасто случается, чтобы незамужняя девушка появлялась в обществе, так что лорду Ратвену приходилось вынашивать свой план в секрете; однако взор Обри следил за всеми его хитросплетениями и вскоре обнаружил, что назначено тайное свидание, которое, скорее всего, обернется гибелью для невинной, хотя и безрассудной девушки.

Не теряя времени, он явился в апартаменты лорда Ратвена и резко спросил, каковы его намерения касательно помянутой леди, одновременно поставив его светлость в известность, что он знает о назначенной на вечер встрече. Лорд Ратвен отвечал, что намерения его таковы, какие, по его убеждению, имел бы каждый в подобном же случае; и в ответ на настойчивые расспросы, намерен ли он жениться на девушке, расхохотался во все горло.

Обри ушел; немедленно написал записку, объявляя, что с этого момента вынужден отказаться сопровождать лорда Ратвена на протяжении оставшейся части пути; приказал слуге подыскать другую квартиру и, навестив мать юной леди, сообщил обо всем, что знал сам — не только касательно ее дочери, но и касательно репутации его светлости.

Тайное свидание предотвратили.

На следующий день лорд Ратвен прислал слугу известить о своем безоговорочном согласии расстаться, но даже не намекнул о своих подозрениях касательно того, что планы его разрушило вмешательство Обри.

Покинув Рим, Обри направил стопы свои в Грецию, пересек Пиренейский полуостров и вскорости оказался в Афинах. Там он поселился в доме одного грека, и принялся за изучение поблекшей летописи древней славы на монументах, что, очевидно, устыдившись того, что увековечивают деяния свободных людей только после деяний рабов, укрылись под слоем земли или многоцветного лишайника.

Под тем же кровом обитало создание столь прекрасное и хрупкое, что она могла бы послужить моделью для художника, желающего запечатлеть на полотне обещанную надежду правоверных в магометанском раю, вот только в глазах ее слишком отчетливо светилась мысль для того, чтобы счесть, что она принадлежит к существам, лишенным души. Когда она танцевала на лугу или легко сбегала по горному склону, сравнение с газелью не воздало бы должного ее очарованию, ибо кто променял бы этот взгляд, взгляд одухотворенной природы, на сонный, томный взгляд животного, лстящий разве что вкусу эпикурейца!

Нежная Ианта часто сопровождала Обри в его поисках памятников древности, и зачастую ничего не подозревающая девушка, догоняя кашмирскую бабочку и словно летя на крыльях ветра, дивным видением представляла восторженному взгляду того, кто забывал о только что расшифрованных письменах на полустертой табличке, залюбовавшись юной сильфидой. Часто, когда она порхала вокруг, распущенные ее волосы вспыхивали и мерцали в лучах солнца переливами столь изысканно-золотистых и быстро сменяющихся оттенков, что вполне могло бы извинить рассеянность антиквара, отвлекшегося от того самого предмета, который еще недавно представлялся ему существенно важным для правильной интерпретации отрывка из Писания.

Но зачем пытаться описать прелести, что все мы воспринимаем, но не ценим? То были невинность, юность и красота, нетронутые тлетворным влиянием многолюдных приемов и душных балов.

Пока юноша срисовывал руины, что желал увековечить для будущего, Ианта, бывало, стояла рядом, наблюдая за волшебным эффектом карандаша, воспроизводящего пейзажи ее родины; потом она описывала ему круговые танцы на открытых луговинах, изображала в сверкающих красках юного воображения торжественную свадебную церемонию, что видела

как-то в детстве, и затем, обращаясь к предметам, что, очевидно, произвели на ее ум впечатление куда более глубокое, пересказывала спутнику волшебные предания няни.

Серьезность девушки и очевидная вера в то, о чем шла речь, вызвали интерес даже у Обри; и часто, когда Ианта бралась поведать ему легенду о вампире, что проводит немало лет в окружении друзей и близких, вынужденный каждый год насыщаться жизнью прелестной девы, чтобы продлить собственную на последующие месяцы, кровь стыла у юноши в жилах, в то время как он насмешками тщился избавить собеседницу от фантазий вздорных и жутких. Однако Ианта называла ему имена стариков, которые со временем обнаруживали вампира в своем кругу, после того как несколько ближайших их родичей и детей бывали найдены с отметиной плотоядных посягательств чудовища; убедившись, что Обри стоек в своем вольнодумстве, девушка принялась умолять гостя поверить ее словам, ибо подмечено: те, что дерзают поставить под сомнение существование вампира, неизменно получают доказательство, вынуждающее их, в муках и с разбитым сердцем, признать истинность старинного предания.

Ианта в подробностях описала юноше, как выглядят чудовища, и вообразите себе ужас Обри, когда он услышал достаточно точное описание лорда Ратвена; однако же, он продолжал убеждать собеседницу в том, что страхи ее беспочвенны, в то же время изумляясь множеству совпадений, что словно бы подкрепляли веру в сверхъестественные способности его светлости.

Обри все больше и больше привязывался к Ианте; невинность девушки, столь непохожая на показную добродетель женщин, в кругу которых он искал свой прекрасный идеал, завоевала его сердце; и хотя мысль о женитьбе молодого английского джентльмена на необразованной гречанке казалась ему нелепой, он все-таки все больше и больше влюблялся в прелестное, словно фея, создание.

Несколько раз он заставлял себя отдалиться от девушки и, наметив себе план антикварных изысканий, отправлялся в путь, твердо намереваясь не возвращаться, пока не достигнет цели; но каждый раз убеждался, что не в состоянии сосредоточиться на руинах, пока в мыслях его царит образ, представляющий единственный законным властителем его дум.

Ианта не догадывалась о любви гостя: бесхитростное дитя ничуть не изменилось со времен первой встречи. Расставалась она с Обри неохотно, но лишь потому, что, пока спутник ее и покровитель зарисовывал либо очищал какой-либо фрагмент, избежавший разрушительной длани времени, девушке не с кем было посещать любимые уголки.

Что до Вампиров, тут Ианта возвала к авторитету родителей, и оба они, равно как и несколько присутствующих тут же соседей, подтвердили существование чудовищ, бледнея от ужаса при одном о них упоминании. Вскорости после того Обри вознамерился отправиться на очередную экскурсию, что должна была занять несколько часов; услышав название места, хозяева тут же принялись заклинять юношу не возвращаться ночью, потому что проезжать предстояло через лес, где ни один грек ни за что не задержался бы после наступления темноты.

Они уверяли, что Вампиры собираются в чашу на ночные оргии, и что самые ужасные несчастья обрушатся на голову того, кто осмелится встать на дороге у чудовищ. Обри отнесся к рассказам легкомысленно и принялся было потешаться над глупым суеверием, надеясь тем самым выставить его в нелепом свете; но увидев, что хозяева содрогнулись, почитая непростительной дерзостью издевки над сверхъестественными, inferнальными силами, от одного упоминания о которых кровь стыла у них в жилах, юноша умолк.

На следующее утро Обри собрался в путь; никто его не сопровождал. С удивлением подметил юноша скорбное выражение на лице хозяина и растрогался, обнаружив, что его насмешки над верой в жутких демонов, внушили добрым людям такой страх. Он уже собирался отбыть, когда Ианта подошла к коню и принялась умолять юношу вернуться до того, как с наступлением ночи могущество жутких тварей несказанно возрастет — он обещал.

Однако Обри настолько увлекся своими изысканиями, что не заметил, как день клонится к концу и у горизонта возникло то самое темное пятнышко, которое в теплом климате стремительно вырастает до грандиозных размеров и обрушивает всю свою ярость на обреченную землю.

Наконец, юноша вскочил в седло, намереваясь наверстать упущенное, но было уже поздно.

Южные страны сумерек почти не знают; едва солнце опустится за горизонт, как сгущается ночь, и не успел Обри отъехать на порядочное расстояние, как разыгралась буря — гулкие раскаты грома следовали один за другим, тяжелый проливной дождь пробивал завесу листвы, а синяя зигзагообразная молния ударялась и вспыхивала у самых ног лошади.

Вдруг конь испугался и понес с головокружительной скоростью через непролазную чашу.

Когда наконец, утомившись, скакун остановился, то при свете молнии юноша обнаружил, что находится рядом с лачугой, едва поднимающейся над завалами палой листвы и зарослями кустарника. Он спешил, надеясь узнать дорогу в город или по крайней мере укрыться от неистовства бури.

Гром на мгновение стих, и в наступившей тишине юноша услышал пронзительный женский крик и приглушенный смех, издевательский и торжествующий: в следующий миг звуки слились воедино.

Обри содрогнулся; раскат грома над головой привел юношу в чувство, и он резким рывком распахнул дверь хижины.

Он оказался в крошечной мгле и пошел на звук.

Похоже, его приход остался незамеченным; он громко звал, но шум продолжался и на гостя не обращали внимания. Вдруг рука юноши коснулась чего-то живого, и он немедленно сжал пальцы; раздался вопль: «Опять помешали», за которым последовал демонический хохот.

Юноша почувствовал железную хватку невидимого противника, наделенного словно бы сверхчеловеческой силой; намереваясь дорого продать свою жизнь, Обри сопротивлялся, но тщетно: его оторвали от земли и с силой швырнули на пол; враг бросился на поверженного, придавил коленом грудь и уже сомкнул было руки на горле, но тут в дыру, что дном служила окном, проник свет бесчисленных факелов и потревожил нападавшего — он тут же вскочил и, оставив свою жертву, выбежал через дверь и скрылся в чаше: в следующее мгновение стих и треск ломающихся ветвей.

Буря к тому времени улеглась; и Обри, не в состоянии двинуться с места, вскорости добился, чтобы его слышали находящиеся снаружи. Они вошли; пламя факелов озарило глиняные стены и соломенную кровлю: каждая соломинка была густо облеплена хлопьями сажи.

По требованию Обри принялись искать ту, что привлекла его внимание своими криками; он снова остался во тьме.

Вообразите себе ужас юноши, когда пламя факелов опять замерцало вокруг него, и в принесенном безжизненном трупе он опознал хрупкую фигурку своей прелестной проводницы!

Обри закрыл глаза, надеясь, что это — только фантом, порождение растревоженного воображения; но, открыв их снова, увидел все то же тело, распростертое у своих ног.

В лице не осталось ни кровинки, губы побелели; однако неподвижность застывших черт казалась не менее прекрасной, нежели некогда одухотворявшая их жизнь; шейка и грудь были запятнаны кровью, а на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену; указывая на этот знак, пораженные ужасом люди восклицали: «Вампир, Вампир!»

Быстро соорудили носилки, и Обри уложили рядом с той, что еще совсем недавно являлась для него сосредоточием стольких ярких, волшебных видений, а теперь угасла вместе с цветком жизни, увядшим внутри нее. Мысли его смешались — ум отказывался работать, словно не желая отражать действительность и ища спасения в апатичной

безучастности; Обри бессознательно сжал в руке кинжал причудливой формы, найденный в хижине.

По дороге им встретились еще отряды, высланные на поиски той, которую скоро хватилась мать. Жалостные причитания их, при приближении к городу, заранее упредили родителей о случившемся страшном несчастье.

Горе достойных людей не поддается описанию; но обнаружив, что послужило причиной смерти их дочери, они взглянули на Обри и молча указали на труп. Они так и не смогли утешиться; оба умерли от разбитого сердца.

Обри уложили в постель; у него началась сильнейшая лихорадка, он часто бредил, и во время таких приступов обращался к лорду Ратвену и к Ианте — в силу необъяснимого сопоставления юноша словно бы заклинал бывшего спутника пощадить ту, которую любил. В другое время он призывал проклятия на его голову и называл погубителем девушки.

В это время лорд Ратвен прибыл в Афины, и, уж какие бы побуждения не явились к тому причиной, но, прослышав о состоянии Обри, его светлость немедленно поселился в том же доме и принялся ухаживать за больным.

Придя в себя, юноша ужаснулся и изумился при виде того, чей образ в расстроенном воображении сливался с образом Вампира; но учтивые слова лорда Ратвена, в коих звучало едва ли не раскаяние в совершенном неблаговидном поступке, что повлек за собою разрыв, а еще более выказанные им внимание, тревога и забота, вскоре примирили юношу с присутствием бывшего друга. Казалось, что с его светлостью произошла разительная перемена; он больше не казался погруженным в апатию мизантропом, что некогда произвел на Обри впечатление столь сильное; но едва здоровье больного быстро пошло на поправку, лорд Ратвен снова впал в прежнее расположение духа, и Обри больше не видел разницы между лордом Ратвеном нынешним и прежним; разве что иногда, к изумлению своему, молодой человек ловил на себе его пристальный взгляд, и при этом на губах его светлости играла улыбка злобного торжества; юноша не знал, почему, но улыбка эта не давала ему покоя.

Пока больной справлялся с остаточными последствиями недуга, лорд Ратвен, как представлялось, был всецело поглощен наблюдением за чуждыми приливам и отливам волнами, что играли под прохладным ветерком, либо следил за ходом тех сфер, что, подобно нашему миру, перемещаются вокруг недвижимого солнца; по всей видимости, он усиленно старался избегать чужих взглядов.

Рассудок Обри, в результате пережитого потрясения, заметно ослаб, и некогда отличавшее его неизменное жизнелюбие, похоже, совершенно иссякло.

Теперь юноша любил одиночество и тишину не меньше лорда Ратвена; но как бы ни стремился он к покою, в окрестностях Афин мысли несчастного принимали одно и то же тревожное направление; Обри искал уединения среди руин, кои часто посещал прежде, но призрак Ианты следовал за ним по пятам; он искал уединения в лесу, но в подлеске слышалась легкая поступь девушки, собирающей скромные фиалки; стоило ему резко развернуться, и воспаленное воображение рисовало ему бледное лицо, кровоточащее горло и кроткую улыбку на губах. Обри решился бежать из тех мест, где каждая подробность пейзажа порождала в его уме горестные ассоциации.

Он предложил лорду Ратвену, перед коим почитал себя в долгу за ревностную заботу о себе во время болезни, посетить области Греции, незнакомые обоим.

Они разъезжали повсюду, побывали в каждом уголке, способном пробудить хоть какие-то воспоминания; но, спешно продвигаясь от места к месту, похоже, не замечали увиденного. Путешественникам то и дело доводилось слышать о разбойниках, однако со временем они перестали обращать внимание на тревожные слухи, почитая их выдумкой людей, в чьих интересах возбудить великодушные тех, кого они, якобы, защищают от мнимых опасностей.

Вследствие подобного пренебрежения к советам местных жителей, как-то раз они отправились в путь с немногочисленными сопровождающими, нанятыми скорее в качестве

проводников, нежели защитников.

Однако, въехав в узкое ущелье, на дне которого пролегло русло реки и тут и там высились завалы камней, сорвавшихся с отвесных скал, путешественники горько раскаялись в своем легкомыслии — едва отряд вступил в теснину, как у самых их лиц вдруг засвистели пули и раздалось эхо выстрелов.

В ту же секунду провожатые покинули своих подопечных и, схоронившись за валунами, принялись палить в том направлении, откуда доносились выстрелы. Лорд Ратвен и Обри, последовав их примеру, на мгновение задержались в укрытии за поворотом ущелья; но, устыдившись собственной робости (ибо неприятели насмешливыми криками звали их выйти), и понимая, что будут перебиты на месте, ежели кто-то из лиходеев переберется поверху и зайдет к ним с тылу, они смело ринулись вперед на врага. Едва покинули они свое убежище, как лорд Ратвен получил пулю в плечо и упал. Обри поспешил к нему на помощь и, более не задумываясь ни об исходе битвы, ни о собственной безопасности, вскорости увидел вокруг себя лица грабителей; ибо заметив, что лорд Ратвен ранен, провожатые тотчас же бросили оружие и сдались на милость победителя.

Пообещав щедрое вознаграждение, Обри вскорости уговорил разбойников перенести раненого друга в находящуюся поблизости хижину, и, сговорившись о выкупе, грабители более не навязывали путешественникам своего присутствия, ограничившись тем, что выставили стражу у дверей до тех пор, пока сотоварищ их не вернется с обещанной суммой, на которую ему выдали вексель.

Силы лорда Ратвена стремительно убывали, спустя два дня началась гангрена и смерть казалась неизбежной. Внешность и манеры его светлости нимало не изменились; казалось, он и к боли оставался столь же безразличен, как и к окружающему миру; однако с приближением ночи он заметно встревожился и то и дело останавливал на Обри пристальный взгляд, так что юноша счел своим долгом предложить свою помощь с особенной настойчивостью.

— Да, помогите мне! — Вы можете спасти меня! — И даже больше! Я говорю не о жизни, окончание срока земного бытия заботит меня не более, чем заход солнца; но вы можете спасти мою честь, честь вашего друга!

— Как, скажите мне, как; я сделаю все, — отозвался Обри.

— Мне нужно так мало — жизнь моя стремительно убывает — не могу объяснить подробнее — но если вы сохраните в тайне все то, что обо мне знаете, честь моя не пострадает и злоречие ее не коснется — и если еще недолгое время в Англии останутся в неведении касательно моей смерти... я... я... если бы только меня почитали живым!

— О вашей смерти не узнают.

— Поклянитесь! — Вскричал умирающий в свирепом исступлении, приподнимаясь на ложе. — Поклянитесь всем, что чтите в душе, всем, что внушает ужас вашей природе, поклянитесь, что еще год и день вы не сообщите ни о моих преступлениях, ни о моей смерти никому из живущих, никоим образом, что бы ни случилось, что бы вы ни увидели. — Глаза его выкатывались из орбит.

— Я клянусь! — проговорил Обри.

Раненый с хохотом откинулся на подушки и испустил дух.

Обри отправился спать, но уснуть не смог; в памяти его вновь воскресали все обстоятельства знакомства с этим человеком, и, сам не зная почему, вспоминая о клятве, он содрогался, словно от предчувствия чего-то ужасного.

Поднявшись спозаранку, юноша направился было в хижину, где оставил покойного, но встреченный разбойник сообщил ему, что лачуга пуста: он сам и его сотоварищи, как только Обри ушел, перенесли труп на вершину ближайшего утеса, так, чтобы тела коснулся первый же холодный луч встающей луны — во исполнение обещания, данного его светлости. Изумившись, Обри взял с собою нескольких человек и поспешил к скале, дабы там же, на месте, предать умершего земле. Однако, поднявшись на вершину, юноша не обнаружил ни тела, ни одежды, хотя разбойники клялись и божились, что указывают на ту самую скалу, где

оставили труп. Некоторое время Обри терзался догадками, но со временем вернулся к хижине, убежденный, что грабители труп зарыли, а одежду присвоили.

Устав от страны, где на долю его выпали злосключения столь ужасные, и где все словно бы сговорились усилить суеверную меланхолию, воцарившуюся в его мыслях, юноша решил покинуть Грецию и вскоре прибыл в Смирну. Дожидаясь судна, что переправило бы его в Отранто или в Неаполь, он принялся приводить в порядок вещи, оставшиеся после лорда Ратвена.

Среди всего прочего обнаружился футляр с оружием для нападения, в большей или меньшей степени предназначенным для того, чтобы обеспечить смерть жертвы.

Внимание юноши привлекли кинжалы и ятаганы. Обри вертел их в руках, разглядывая причудливую форму, но каково же было изумление юноши, когда он обнаружил ножны, отделанные в том же стиле, что и кинжал, найденный в роковой лачуге.

Обри содрогнулся; торопясь проверить догадку, он отыскал клинок — и вообразите себе его ужас при виде того, что лезвие, невзирая на странную форму, и впрямь подошло к ножнам, что он держал в руке!

Других доказательств взору не требовалось; Обри не отрывал глаз от кинжала; он все еще надеялся, что зрение его обманывает, однако необычность формы и переливы одних и тех же оттенков на рукояти и ножнах, не уступающих друг другу в великолепии, не оставляли места сомнениям; и на ножнах и на рукояти обнаружили капли крови.

Юноша покинул Смирну и уже на пути домой, оказавшись в Риме, первым делом расспросил о юной леди, которую попытался некогда вырвать из порочных объятий лорда Ратвена. Родители пребывали в отчаянии: семья разорилась и впала в нищету, а о девушке не слышали со времен отъезда его светлости. Под влиянием стольких несчастий Обри едва не лишился рассудка; он опасался, что и эта дама стала жертвой погубителя Ианты.

Юноша сделался молчалив и угрюм; теперь единственное его занятие состояло в том, чтобы подгонять форейторов, словно от скорости его передвижения зависела жизнь близкого человека. Он прибыл в Кале; ветер, словно подчиняясь его воле, вскорости пригнал путешественника к английскому берегу; Обри поспешил в родовое гнездо и там нежные объятия и поцелуи сестры на мгновение словно бы изгладил из его памяти все мысли о прошлом. Если и прежде, трогательными детскими ласками, она завоевала его любовь, то теперь, когда в ней пробудилась женщина, она стала наперсницей еще более отрадней.

Мисс Обри не обладала неотразимой прелестью, что приковывает взгляды и вызывает восхищенные отзывы на великосветских приемах. В ней не было того мишурного блеска, что жив только в душной атмосфере запруженного зала. В синих ее глазах не вспыхивали лукавые искорки — признак врожденного легкомыслия. Было в этом взоре меланхоличное очарование, что проистекает не от пережитых несчастий, но от некоего внутреннего ощущения, присущего душе, что прозревает иной мир. Шаг ее не отличался той порывистой легкостью, с какой бездумные девы устремляются навстречу цветному мотыльку или оттенку, — ступала девушка степенно и неспешно. Наедине с собой, она хранила задумчивую серьезность, и улыбка суетного восторга никогда не озаряла ее лица; но когда брат ласково заговаривал с нею и в присутствии сестры тщился позабыть горести, что, как ей было известно, терзали его днем и ночью, кто променял бы ее улыбку на улыбку сластолюбивой Цирцеи? Казалось, что эти очи — это лицо — озаряются светом тех вышних сфер, к коим по праву принадлежат.

Ей только что исполнилось восемнадцать, и ее еще не вывозили в свет; опекуны считали, что представление мисс Обри ко двору следует отсрочить до возвращения ее брата с континента, дабы брат по праву выступил защитником и покровителем девушки.

Теперь же было решено, что следующий же великосветский прием в королевском дворце, до коего оставалось уже недолго, ознаменует вступление мисс Обри на «суетную сцену».

Сам Обри предпочел бы затвориться в фамильном особняке и жить снедающей его меланхолией. Легкомысленные выходки незнакомых светских щеголей не пробуждали ни

малейшего интереса в том, чей рассудок подвергся потрясению столь сильному в результате пережитых трагедий; но юноша решился пожертвовать собственным удобством ради блага сестры.

Вскоре молодые люди прибыли в город и стали готовиться к приему, назначенному на следующий день.

Толпа собралась преогромная — приемов давно уже не устраивали, и все, кто мечтал согреться в лучах улыбки венценосных особ, поспешили туда.

Обри приехал с сестрой.

Юноша одиноко стоял в углу, не замечая никого вокруг, вспоминая, что именно в этом месте он впервые увидел лорда Ратвена, — как вдруг он почувствовал, что его схватили за плечо, и слишком хорошо знакомый голос прошептал ему на ухо: «Помни о клятве». Юноша едва набрался храбрости обернуться, опасаясь узреть призрак, готовый поразить его насмерть, и в некотором отдалении увидел ту же самую фигуру, что привлекла его внимание на этом самом месте в день первого появления Обри при дворе.

Юноша глядел и глядел, не в силах отвести глаз, пока ноги его не подкосились: он был вынужден уцепиться за руку друга, и, пробившись сквозь толпу, вскочил в карету и поехал домой.

Обри нервно расхаживал по комнате, схватившись руками за голову, словно боясь, что мозг его не выдержит столь напряженных раздумий.

Лорд Ратвен снова перед ним — обстоятельства выстраивались в жуткую последовательность — кинжал — клятва!

Несчастный попытался взять себя в руки, он не верил, не мог поверить мертвецы не оживают! Надо полагать, воображение вызвало из небытия тот самый образ, на котором сосредоточены все его помыслы. Не может того быть, чтобы перед ним и впрямь оказалось существо из плоти и крови! Засим юноша решил вернуться в общество; ибо хотя он и пытался расспросить о лорде Ратвене, имя замирало у него на устах и ему так и не удалось получить новых сведений.

Спустя несколько дней Обри отправился вместе с сестрой на ассамблею к близкому родственнику. Оставив девушку под опекой почтенной замужней дамы, он укрылся в нише и предавался мучительным раздумьям. Заметив, наконец, что гости уже разъезжаются, юноша очнулся и, выйдя в соседнюю комнату, нашел сестру в окружении кавалеров и дам, увлеченных беседой; Обри попытался пробиться к ней поближе, как вдруг некто, кого он попросил подвинуться, обернулся, и глазам юноши снова предстали ненавистные черты.

Молодой человек рванулся вперед, схватил сестру за руку и торопливо увлек ее на улицу; у дверей путь им преградило скопище слуг, ожидающих своих господ; и, проталкиваясь сквозь толпу, он снова услышал знакомый голос, прошептавший ему на ухо: «Помни о клятве!» Юноша не посмел обернуться, но, торопя сестру, вскорости возвратился домой.

Обри едва не обезумел. Ежели прежде мысли его поглощал один-единственный предмет, насколько же сильнее навязчивая идея владела юношей теперь, когда уверенность в том, что демон ожил, истерзала его ум.

Знаки внимания сестры оставались без ответа, и напрасно умоляла она объяснить, чем вызвана столь резкая перемена. Обри произнес в ответ только несколько слов, ужаснувших девушку. Чем дольше он размышлял, тем хуже понимал, что следует делать. Клятва приводила его в замешательство: должен ли он оставить на свободе, среди дорогих ему людей, чудовище, — чудовище, тлетворное дыхание которого несет в себе гибель, — и не остановить его? В числе жертв может оказаться и сестра! Но если он нарушит клятву и объявит о своих подозрениях, кто ему поверит? Обри подумывал и о том, чтобы освободить мир от злодея собственной рукой; но ведь один раз демон уже насмеялся над смертью! На протяжении многих дней пребывал несчастный в таком состоянии: он запирался в комнате, ни с кем не виделся и ел только тогда, когда приходила сестра и с полными слез глазами заклинала Обри поддержать угасающие силы — ради нее!

Наконец, не в состоянии долее выносить бездействие и одиночество, Обри вышел из дома и долго бродил по улицам, тщась бежать от преследующего его призрака. Со временем платье странника истрепалось, как вследствие лучей полуденного солнца, так и полуночной сырости. Теперь его никто не узнавал; поначалу с наступлением вечера он возвращался в дом, но позже взял за привычку укладываться там, где его настигала усталость.

Сестра, тревожась о его безопасности, наняла людей следовать за ним; но они вскоре отстали от бедняги, убегающего от преследователя самого быстрого — от мысли.

Но вот поведение его снова резко изменилось. Потрясенный осознанием того, что он покинул всех своих друзей на милость дьявола, о присутствии которого они даже не догадываются, Обри вознамерился вернуться в общество, не спускать с Вампира глаз, и, невзирая на клятву, предупредить любого, с кем лорд Ратвен попытается сойтись поближе.

Но стоило юноше появиться на пороге, его изможденный и в высшей степени подозрительный вид настолько бросался в глаза, а внутренняя дрожь казалась до того приметной, что сестра вынуждена была умолять его закрыть глаза на ее удобство и не появляться более в обществе, что оказывало на него воздействие столь пагубное.

Когда ж уговоры не помогли, опекуны сочли необходимым вмешаться и, опасаясь, что ум юноши повредился, решили, что пора снова взять в свои руки управление имуществом, доверенное им родителями Обри. Стремясь оградить своего подопечного от обид и страданий, коим он ежедневно подвергался в своих скитаниях, и желая помешать ему выставлять на всеобщее обозрение те приметы, что казались им свидетельством помешательства, опекуны наняли доктора: он поселился в доме и неусыпно заботился о пациенте. Обри едва замечал его: настолько одна-единственная кошмарная мысль поглощала его ум.

Наконец душевное расстройство юноши сделалось столь заметным, что он уже не переступал порога спальни. Целыми днями он не вставал с постели, и, казалось, ничто не могло пробудить его от апатии. Он исхудал, глаза подернулись тусклой пеленой; узнавал он только сестру, и только в отношении к ней проявлял сердечную привязанность: при появлении мисс Обри больной порою вздрагивал и, схватив ее за руки и остановив на ней взгляд, приводивший девушку в отчаяние, принимался заклинать: «о, не касайся его, если ты хоть сколько-нибудь меня любишь — не приближайся к нему!» Когда же, однако, сестра спрашивала, о ком идет речь, в ответ звучало только: «Верно! Верно!» — и недужный опять погружался в апатию, пробудить от которой не могла даже мисс Обри. Так продолжалось много месяцев; наконец, по мере того, как год близился к концу, приступы бессвязного бреда случались все реже и реже, угрюмая задумчивость отчасти рассеялась, и опекуны отметили, что несколько раз на дню больной принимался подсчитывать что-то на пальцах и улыбался при этом.

Срок уже почти истек, когда, в последний день года, один из опекунов, войдя в комнату, заговорил с врачом о том, сколь прискорбно нынешнее плачевное состояние Обри, в то время как сестре его на следующий день предстоит сочетаться браком. Это привлекло внимание больного; он с тревогой спросил, с кем. Радуюсь столь явному свидетельству просветления рассудка, коего, как все опасались, юноша лишился, опекуны и врач упомянули имя графа Марсдена.

Полагая, что речь идет о юном графе, коего он прежде встречал в обществе, Обри остался доволен и еще больше удивил собеседников, выразив намерение присутствовать на свадьбе и изъявив пожелание увидеть сестру. Больному не ответили, но спустя несколько минут девушка присоединилась к нему.

Казалось, что к юноше снова вернулась способность поддаваться влиянию ее обворожительной улыбки; он прижал сестру к груди и расцеловал ее щеки, влажные от слез, заструившихся при мысли о том, что брат снова ожил для изъявлений сердечной привязанности. Обри обратился к ней с прежней теплотой, принес поздравления по поводу брака с молодым человеком столь высокого происхождения и стольких достоинств; как вдруг увидел на груди собеседницы медальон; открыв крышку, к вящему своему изумлению,

Обри узнал черты чудовища, так долго игравшего его жизнью. В приступе безудержной ярости недужный выхватил украшение и растоптал его ногой. Когда же дева спросила, зачем он столь безжалостно уничтожил портрет ее будущего супруга, Обри воззрился на сестру так, словно не понял ее слов — затем, сжимая ее руки и иступленно глядя на нее, заставил девушку поклясться, что она никогда не выйдет замуж за этого дьявола, ибо он... Но продолжения не последовало. Казалось, невидимый голос снова напомнил юноше о клятве. Обри резко обернулся, ожидая увидеть лорда Ратвена, но в комнате никого не было. Тем временем врач и опекуны, слышавшие весь разговор и возмнившие, что стали свидетелями нового приступа помешательства, вошли, отстранили недужного от мисс Обри и велели ей уйти. Юноша бросился на колени: он умолял, он заклинал отсрочить свадьбу всего на один день.

Отнеся все происходящее на счет якобы владеющего им безумия, опекуны по возможности успокоили юношу и удалились.

Лорд Ратвен нанес визит на следующее же утро после великосветского приема, и, как и всех прочих, его не пустили. Прослышав о недуге Обри, он тут же понял, что сам является его причиной, но узнав, что молодого человека почитают сумасшедшим, с трудом скрыл ликование и восторг пред лицом тех, от кого получил эти сведения. Он снова поспешил в особняк своего бывшего спутника и, постоянно появляясь в доме и притворяясь, что нежно привязан к юноше и искренне заинтересован в его судьбе, мало-помалу склонил к себе слух мисс Обри.

И кто бы сумел долго противиться его чарам? он разглагольствовал о бесчисленных опасностях и тяготах, выпавших на его долю, — умел сказать о себе, как о несчастном, ни в ком на земле не встретившем сочувствия, кроме как в той, к кому он обращался — уверял, что с тех пор, как узнал мисс Обри, снова стал ценить собственную жизнь, хотя бы только затем, чтобы внимать ее утешительным речам; словом, его светлость так хорошо овладел искусством змия, или, может статься, такова была воля судьбы, но только он завоевал расположение девушки. Со временем графский титул по старшинству перешел к нему, и его светлости предстояло войти в состав важного посольства, что послужило поводом ускорить брак (невзирая на плачевное состояние брата). Свадьба должна была состояться непосредственно перед его отъездом на континент.

Едва доктор и опекуны удалились, Обри попытался подкупить слуг, но безуспешно. Он попросил перо и бумагу; ему дали требуемое; он написал письмо сестре, заклиная ее, если она дорожит собственным счастьем, собственной честью и честью тех, что ныне покоятся в могиле, а некогда качали ее на руках и видели в ней свою надежду и надежду семьи, отложить лишь на несколько часов брак, на который он обрушивал страшнейшие проклятия. Слуги пообещали доставить письмо, но вручили его доктору, а тот счел разумным не тревожить более мисс Обри тем, что он почитал маниакальным бредом.

Для прилежных домочадцев ночь прошла в хлопотах; с ужасом, который легче представить, нежели описать, Обри внимал шуму, свидетельствующему о ведущихся приготовлениях.

Настало утро; до слуха больного донесся грохот экипажей. Обри едва не обезумел. Но любопытство слуг наконец одержало верх над бдительностью, и один за другим они выскользнули из комнаты, оставив больного под присмотром беспомощной старухи. Воспользовавшись возможностью, Обри одним прыжком метнулся к порогу и спустя мгновение оказался в зале, где собрались уже почти все приглашенные.

Лорд Ратвен заметил его первым: он тут же приблизился к незваному гостю, силой взял его за руку и увлек из комнаты; от гнева юноша утратил дар речи. Уже на лестнице лорд Ратвен прошептал ему на ухо: «Помни о клятве, и знай: если сегодня твоя сестра не станет моей женой, она обесчещена. Женщины слабы!»

С этими словами он толкнул молодого человека к слугам, что, упрежденные старухой, явились его искать. Но Обри уже не стоял на ногах; от ярости, что не находила выхода, лопнул кровеносный сосуд, и больного перенесли на кровать. Сестре об этом не сказали,

боясь ее встревожить; появление брата в зале она не застала. Союз был заключен, и новобрачные покинули Лондон.

Слабость Обри усилилась, за кровоизлиянием последовали симптомы надвигающейся смерти. Юноша велел позвать опекунов своей сестры, и едва пробило полночь, он спокойно и сдержанно рассказал все то, о чем читатель уже прочел — в следующее мгновение Обри не стало. Опекуны поспешили на помощь новобрачной; но прибыли они слишком поздно. Лорд Ратвен исчез, а сестра Обри утолила жажду вампира!

Оскар Уайльд Кентервильское привидение

1

Когда мистер Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость, — было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

Сам лорд Кентервиль, человек донельзя щепетильный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не преминул при составлении купчей предупредить мистера Отиса.

— Нас как-то не тянуло в этот замок, — сказал лорд Кентервиль, — с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский священник, преподобный Огастес Дэмпир, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.

— Что ж, милорд, — ответил посол, — пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же молодежь у нас бойкая, способная перевернуть весь ваш Старый Свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.

— Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует, — сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, — хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых триста лет, — точнее сказать, с тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года, — и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

— Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Никаких привидений нет, сэр, и законы природы, смею думать, для всех одни — даже для английской аристократии.

— Вы, американцы, еще так близки к природе! — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил.

Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, которая в свое время — еще под именем мисс Лукреция Р. Тэппен с 53-й Западной улицы — славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Многие американки, покидая родину, принимают вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности, но миссис Отис этим не грешила. Она обладала великолепным телосложением и совершенно

фантастическим избытком энергии. Право, ее нелегко было отличить от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что теперь у нас с Америкой все одинаковое, кроме, разумеется, языка. Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, — о чем он всегда сожалел, — был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилию в казино Ньюпорта и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. Он питал слабость к гардениям и геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслием. Мисс Вирджинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони и, уговорив однажды старого лорда Билтона проскакать с ней два раза наперегонки вокруг Гайд-парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон. В семье было еще двое близнецов, моложе Вирджинии, которых прозвали «Звезды и полосы», поскольку их без конца пороли. Поэтому милые мальчики были, не считая почтенного посла, единственными убежденными республиканцами в семье.

От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Изредка до них доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали по мшистым кочкам. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и, когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь.

На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис, по настоятельной просьбе леди Кентервиль, оставила в прежней должности. Она низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, промолвила:

— Добро пожаловать в замок Кентервилей!

Они вошли вслед за нею в дом и, миновав настоящий тюдоровский холл, очутились в библиотеке — длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли плащи и шали и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Амни разливала чай, разглядывать комнату.

Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу, возле камина, и, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни:

— Наверно, здесь что-то пролили?

— Да, сударыня, — ответила старая экономка шепотом, — здесь пролилась кровь.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Отис. — Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоят!

Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

— Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в тысяча пятьсот семьдесят пятом году супругом своим сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное, несмываемое пятно.

— Что за глупости! — воскликнул Вашингтон Отис. — Непревзойденный Пятновыводитель и Образцовый Очиститель Пинкертон уничтожит его в одну минуту.

И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Меньше чем в минуту от пятна и следа не осталось.

— «Пинкертон» не подведет! — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он это досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств.

— Какой отвратительный климат, — спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. — Наша страна-прародительница до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда считал, что эмиграция — единственное спасение для Англии.

— Дорогой Хайрам, — сказала миссис Отис, — как быть, если она чуть что примется падать в обморок?

— Удержи у нее разок из жалованья, как за битые посуды, — ответил посол, и ей больше не захочется.

И правда, через две-три секунды миссис Амни вернулась к жизни. Впрочем, как нетрудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда.

— Сэр, — сказала она, — мне доводилось видеть такое, от чего у всякого христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смежить век.

Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений, и, призвав благословенье божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалованье, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату.

2

Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.

— В Образцовом Очистителе сомневаться не приходится, — сказал Вашингтон. — Я его на чем только не пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение.

И он снова вывел пятно, а наутро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собою ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов; миссис Отис высказала намеренье вступить в общество спиритов, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда.

День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что все присутствующие отнюдь не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом мне рассказал мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества; о бесспорном превосходстве мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; о том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги; о значении Бостона для формирования мировой души; о преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге; о приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не шла, а о сэре Симоне де Кентервиле никто даже не заикнулся. В одиннадцать вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в

коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит — с каждой минутой все отчетливей — скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Был ровно час ночи. Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Станные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из несессера какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях, с рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.

— Сэр, — сказал мистер Отис, — я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Последнее подтверждают наши известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично удостовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.

Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гнев бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеновая. Но едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось и, прибегнув спасения ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.

Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей; о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечу; о старой мадам де Тремуйяк, которая, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком мосье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарлза Джеймса Фокса на пятьдесят тысяч фунтов и что эту карту ему засунуло в глотку кентервильское привидение. Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоуспоения, какое ведомо всякому истинному художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве Красного Рабена, или Младенца-удавленника, свой дебют в роли Джибона Кожа да Кости, или Кровопийцы с Бекслейской Топи; припомнил и то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками! Такое терпеть нельзя! История не знала примера, чтоб так обходились с привидением. И он замыслил месть и до

рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье.

3

На следующее утро, за завтраком, Отисы довольно долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли.

— Я не собираюсь обижать привидение, — сказал он, — но я не могу в данной связи умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме. — К сожалению, приходится добавить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. — Тем не менее, — продолжал посол, — если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии», придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью.

Впрочем, до конца недели их больше не потревожили, только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирали сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу Свободной американской реформатской епископальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не участвовала в этих забавах; она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась.

Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбежали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретает лишь долгими и упорными упражнениями на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и, по калифорнийскому обычаю, скомандовал «руки вверх!». Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся меж них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме кромешной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. Говорят, от него за ночь поседел парик лорда Рейкера, и этот хохот, несомненно, был причиной того, что три французских гувернантки леди Кентервиль заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что отдались звонким эхом старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте.

— Боюсь, вы расхворались, — сказала она. — Я принесла вам микстуру доктора Добелла. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет.

Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой — талант, который принес ему заслуженную славу и воздействием коего домашний врач объяснил неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, почтенного Томаса Хортон. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения. Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать, и в тот момент, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стон.

Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис крайне его шокировали; но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он полагал, что даже нынешние американцы почувствуют робость, узрев привидение в

доспехах, — ну хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над изящной и усадительной поэзией которого он просиживал часами, когда Кентервилли переезжали в город. К тому же это были его собственные доспехи. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кенильворте и удостоился тогда чрезвычайно лестной похвалы от самой королевы-девственницы. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него, и, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени и пальцы правой руки.

Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, — разве что ночью, для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу семнадцатого августа и в канун этого дня допоздна перебирал свой гардероб, остановив наконец выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Впрочем, подобная погода была как раз по нем. План его был таков: первым делом он тихонько проберется в комнату Вашингтона Отиса и постоит у него в ногах, бормоча себе что-то под нос, а потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно он взял в обычай стирать знаменитое Кентервильское Кровавое Пятно Образцовым Пинкертоновским Очистителем. Доведя этого безрассудного и непочтительного юнца до полной прострации, он проследует затем в супружескую опочивальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис Отис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Насчет маленькой Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела и была красивой и доброй девочкой. Здесь можно обойтись несколькими глухими стонами из шкафа, а если она не проснется, он подергает дрожащими скрюченными пальцами ее одеяло. А вот близнецов он проучит как следует. Перво-наперво он усядется им на грудь, чтобы они заматались от привидевшихся кошмаров, а потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе холодного, позеленевшего трупа и будет так стоять, пока они не омертвеют от страха. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои белые кости, примется расхаживать по комнате, вращая одним глазом, как полагается в роли Безглазого Даниила, или Скелета-самоубийцы. Это была очень сильная роль, ничуть не слабее его знаменитого Безумного Мартина, или Сокрытой Тайны, и она не раз производила сильное впечатление на зрителей.

В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота, — очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну, но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина, и, только пробило полночь, он вышел на дело. Совы бились о стекла, ворон каркал на старом тисовом дереве, и ветер блуждал, стелая, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но Отисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, в храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью; мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением.

Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его, и он замер на месте, но это только собака залаяла на Красной ферме. И он продолжал свой путь, бормоча никому теперь не понятные ругательства XVI века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного. Ветер развеивал его седые космы и свертывал в неопишимо ужасные складки его могильный саван. Пробило четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол; но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми

руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижимый, точно изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное; гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света, рот был как широкий огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре, должно быть, вещала она, о грязных пороках, о диких злодействах. В поднятой правой руке его был зажат меч из блестящей стали.

Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервиля, само собой разумеется, ужасно перепугался и, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся восвояси. Он бежал, не чуя под собою ног, путаясь в складках савана, а заржавленный кинжал уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась бывшая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что, в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Видно, что-то недоброе стряслось с призраком. Свет потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг — о, ужас! — голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова:

ДУХ ФИРМЫ ОТИС!

Единственный подлинный и оригинальный призрак. Остерегайтесь подделок! Все остальные — не настоящие!

Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели! Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что, не успеет Шантеклер дважды протрубить в свой рог, как свершатся кровавые дела и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крыши прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и стал ждать. Много часов прождал он, но петух почему-то больше не запел. Наконец около половины восьмого шаги горничных вывели его из оцепенения, и он вернулся к себе в комнату, горюя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Там, у себя, он просмотрел несколько самых своих любимых книг о старинном рыцарстве и узнал из них, что всякий раз, когда произносилась эта клятва, петух пел дважды.

— Да сгубит смерть бессовестную птицу! — забормотал он. — Настанет день, когда мое копьё в твою вонзится трепетную глотку и я услышу твой предсмертный хрип.

Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты.

4

Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться огромное напряжение целого месяца. Его нервы были вконец расшатаны, он вздрагивал от малейшего шороха. Пять дней он не выходил из комнаты и наконец махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Отисам, значит, они недостойны его. Очевидно, они жалкие

материалисты, совершенно неспособные оценить символический смысл сверхчувственных явлений. Вопрос о небесных знамениях и о фазах астральных тел был, конечно, не спорим, особой областью и, по правде говоря, находился вне его компетенции. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца усаживаться у окна, что выходит фонарем в парк, и бормотать всякий вздор, и он не видел возможности без урона для своей чести отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность во всем, что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он, по обыкновению, от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтобы его не услышали и не увидели. Он ходил без сапог, стараясь как можно легче ступать по источенному червями полу; надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии». Ему, надо сказать, нелегко было прибегнуть к этому последнему средству безопасности. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и стащил бутылочку машинного масла. Правда, он чувствовал себя немного униженным, но только поначалу. В конце концов благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревки, протянутые поперек коридора, а однажды, одетый для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских лесов, он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол от входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Это так разозлило его, что он решил в последний раз стать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и явиться в следующую ночь дерзким воспитанникам Итона в знаменитой роли Отважного Рупера, или Безголового Графа.

Он не выступал в этой роли более семидесяти лет, с тех пор как до того напугал прелестную леди Барбару Модииш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью, где считают позволительным, чтоб такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек вскоре погиб на Вондсвортском лугу от пули лорда Кентервиля, а сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в Танбридж-Уэллс, — так что это выступление в любом смысле имело огромный успех. Однако для этой роли требовался очень сложный грим, — если допустимо воспользоваться театральным термином применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного, или, по-научному, «естественного мира высшего порядка», — и он потратил добрых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики, и один из седельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу. Ровно в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов (она, кстати сказать, называлась «Голубой спальней», по цвету обоев и портьер), он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее... и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промолив его до нитки. В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало.

Теперь он оставил всякую надежду запугать этих грубиянов американцев и большей частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтобы не простыть, и с маленькой аркебузой в руках на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему девятнадцатого сентября. В этот

день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и про себя поиздевался над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, заменившими фамильные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Похитителя Трупов с Чертсейского Гумна, одного из своих лучших созданий. Эту роль прекрасно помнили все Кентервилы, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Раффордом. Было уже около четверти третьего, и сколько он ни прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, исступленно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо: «У-у-у!»

Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем; окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату — грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

Больше он не предпринимал ночных вылазок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады и каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому, счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала великолепный, поразивший все графство пикник на морском берегу, — все кушанья были приготовлены из моллюсков; мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкром и другими американскими национальными играми. А Вирджиния каталась по аллеям на своем пони с молодым герцогом Чеширским, проводившим в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервиля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла.

Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом и, хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое, — особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервиля; поутру лорда Стилтона нашли на полу ломберной разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонных лет, он мог произнести лишь два слова: «шестерка дубль». Эта история в свое время очень нашумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Тэттла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Духу, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве: его кузина была замужем вторым браком за монсеньером де Балкли, а от него, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские.

Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли Монах-вампир, или Бескровный Бенедиктинец, в которой решил предстать перед юным поклонником Вирджинии. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды, в роковой вечер под новый 1764 год, увидела старая леди Стартап, она издала несколько истошных криков, и с ней случился удар. Через три дня она скончалась, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахином с

плюмажами в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.

5

Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, и она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробежала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь с шитьем, она собралась было попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух! Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочная позолота с пожелтевших деревьев и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаянье. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

— Мне очень жаль вас, — сказала она. — Но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит.

— Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя, — ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним, — просто глупо! Мне положено греметь цепями, стонать в замочные скважины и разгуливать по ночам — если ты про это. Но в этом же весь смысл моего существования!

— Никакого смысла тут нет, и вы сами знаете, что были скверный. Миссис Амни рассказала нам еще в первый день после нашего приезда, что вы убили жену.

— Допустим, — сварливо ответил дух, — но это дела семейные и никого не касаются.

— Убивать вообще нехорошо, — сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии.

— Терпеть не могу ваш дешевый, беспредметный ригоризм! Моя жена была очень дурна собой, ни разу не сумела прилично накрахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стряпне. Ну хотя бы такое: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка, — как ты думаешь, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать, — дело прошлое! И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом.

— Они заморили вас голодом? О господин дух, то есть, я хотела сказать, сэр Симон, вы, наверно, голодный? У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста!

— Нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра, и вообще ты гораздо лучше всей своей противной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи.

— Не смейте так говорить! — крикнула Вирджиния, топнув ножкой. — Сами вы противный, невоспитанный, гадкий и вульгарный, а что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Сперва вы забрали все красные краски, даже киноварь, и я не могла больше рисовать закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром; и напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи, а это навевает тоску, да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хоть и сердилась. И вообще все это просто смешно: ну где видали вы кровь изумрудного цвета?

— А что мне оставалось делать? — сказал дух, уже не пытаясь спорить. Теперь непросто достать настоящую кровь, и поскольку твой братец пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я счел возможным воспользоваться твоими красками. А цвет, знаешь ли, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют.

— Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да подучились немного. Папа с радостью устроит вам бесплатный билет, и хотя на спиртное и, наверно, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможне пропустят без всяких. Все чиновники там — демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение — и того больше.

— Боюсь, мне не понравится ваша Америка.

— Потому что там нет ничего допотопного или диковинного? — съязвила Вирджиния.

— Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего диковинного? А ваши нравы?

— Прощайте! Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.

— Не покидайте меня, мисс Вирджиния! — воскликнул дух. — Я так одинок, так несчастен! Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.

— Что за глупости! Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это и грудной младенец сумеет.

— Триста лет я не ведал сна, — печально промолвил дух, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления. — Триста лет я не спал, я так истомился душой!

Вирджиния сделалась очень печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы. Она подошла к нему, опустилась на колени и заглянула в его старое, морщинистое лицо.

— Бедный мой призрак, — прошептала она, — разве негде тебе лечь и уснуть?

— Далеко-далеко, за сосновым бором, — ответил он тихим, мечтательным голосом, — есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна глядит с вышины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими.

Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони.

— Это Сад Смерти? — прошептала она.

— Да, Смерти. Смерть, должно быть, прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобою колышутся травы, и слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, забыть время, простить жизнь, изведать покой. В твоих силах помочь мне. Тебе легко отворить врата Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Вирджиния вздрогнула, точно ее пронизал холод; воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон.

И опять заговорил дух, и голос его был как вздохи ветра.

— Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?

— О, сколько раз! — воскликнула девочка, вскинув головку. — Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек:

Когда заплачет, не шутя,
Здесь златокудрое дитя,
Молитва утолит печаль,
И зацветет в саду миндаль —
Тогда взликует этот дом,
И дух уснет, живущий в нем.

Только я не понимаю, что все это значит.

— Это значит, — печально промолвил дух, — что ты должна оплакать мои прегрешения, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если ты всегда была доброй, любящей и нежной, Ангел Смерти смилуется надо мной. Страшные чудовища явятся тебе в ночи и станут нашептывать злые слова, но они не сумеют причинить тебе вред, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка.

Вирджиния не отвечала, и, видя, как низко склонила она свою златокудрую головку, дух принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем.

— Я не боюсь, — сказала она решительно. — Я попрошу Ангела помиловать вас.

Едва слышно вскрикнув от радости, он поднялся на ноги, взял ее руку, и наклонившись со старомодной грацией, поднес к губам. Пальцы его были холодны как лед, губы жгли как огонь, но Вирджиния не дрогнула и не отступила, и он повел ее через полутемную залу. Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтоб она вернулась назад. «Вернись, маленькая Вирджиния! — кричали они. — Вернись!»

Но дух крепче сжал ее руку, и она закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали: «Берегись, маленькая Вирджиния, берегись! Что, если мы больше не увидим тебя?» Но дух скользил вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их.

Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.

— Скорее, скорее! — крикнул дух. — Не то будет поздно.

И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел.

6

Когда минут через десять гонг зазвонил к чаю и Вирджиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее. Вирджиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, и поначалу у миссис Отис не возникло никаких опасений. Но когда пробило шесть, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии. Все были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и двумя работниками в Блэкфелский лог, где, как он знал, стояли цыгане. Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало хотел идти с ними, но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было, и, судя по тому, что костер еще теплился и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поскакал с грумом по дороге, ведущей в Аскот. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с покрасневшимся от скачки лицом.

— Простите меня, мистер Отис, — сказал мальчик, переводя дух, — но я не могу обедать, пока не сыщется Вирджиния. Не сердитесь, но если б в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не случилось бы. Вы ведь не отошлете меня, правда? Я не хочу домой и никуда не уеду!

Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого ослушника. Его глубоко тронула преданность мальчика, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу.

— Что ж, ничего не поделаешь, — сказал он, — коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой, только надо будет купить вам в Аскоте шляпу.

— Не нужно мне шляпы! Мне нужна Вирджиния! — засмеялся маленький герцог, и

они поскакали к железнодорожной станции.

Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по приметам на Вирджинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владелец которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бексли, что в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Спутники мистера Отиса разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, объехав луг, повернули домой. До замка они добрались только часам к одиннадцати, усталые, разбитые, на грани отчаяния. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями: в парке было уже темно. Они сообщили, что никаких следов Вирджинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чертонскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане и сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке — все напрасно. Было ясно, что в эту по крайней мере ночь Вирджинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчики, опустив голову, пошли к дому, а грум вел за ними обоих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги; старуха домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались: они очень любили сестру.

После ужина мистер Отис, как ни упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара что-то вдруг затрещало и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, звуки неземной музыки полились в воздухе; и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели, и, бледная как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Вирджиния.

В мгновение ока все были возле нее. Миссис Отис нежно обняла ее, маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске.

— Где ты была, дитя мое? — строго спросил мистер Отис: он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. — Мы с Сеслом объехали пол-Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами.

— Дурачить можно только духа, только духа! — вопили близнецы, прыгая как безумные.

— Милая моя, родная, нашлась, слава богу, — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны, — никогда больше не покидай меня.

— Папа, — сказала Вирджиния спокойно, — я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями.

Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезной и невозмутимой. И она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику; Вашингтон со свечой, которую он прихватил со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, утыканной ржавыми гвоздями. Вирджиния прикоснулась к двери, та распахнулась, и они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью страшный скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтоб их нельзя

было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.

— Глядите! — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка. — Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело. Светит луна, и мне хорошо видны цветы.

— Бог простил его! — сказала Вирджиния, вставая, И лицо ее словно озарилось лучезарным светом.

— Вы ангел! — воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее.

7

Четыре дня спустя после этих удивительных событий, за час до полуночи, из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли катафалк, и у каждого на голове качался пышный страусовый султан; богатый пурпурный покров с вытканым золотом гербом Кентервилей был наброшен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажей — процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела миссис Амни — без слов было ясно, что, поскольку привидение пугало ее больше пятидесяти лет, она имеет право проводить его до могилы. В углу погоста, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, и преподобный Огастес Дэмпиер с большим чувством прочитал заупокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю рода Кентервилей, потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна тихо выплыла из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище, а в отдаленной роще раздались соловьиные трели. Вирджиния вспомнила про Сад Смерти, о котором рассказывал дух. Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она едва проронила слово.

На следующее утро, когда лорд Кентервиль стал собираться обратно в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе — редкостный образец работы XVI века; их ценность была так велика, что мистер Отис не считал возможным разрешить своей дочери принять их.

— Милорд, — сказал он, — я знаю, что в вашей стране закон о «мертвой руке» распространяется как на земельную собственность, так и на фамильные драгоценности, и у меня нет сомнения, что эти вещи принадлежат вашему роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. Посему я прошу вас забрать их с собой в Лондон и впредь рассматривать как часть вашего имущества, возвращенную вам при несколько необычных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, слава богу, не слишком интересуется всякими дорогими безделушками. К тому же миссис Отис сообщила мне, — а она, должен сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и прекрасно разбирается в искусстве, — что за эти безделушки можно выручить солидную сумму. По причине вышеизложенного, лорд Кентервиль, я, как вы понимаете, не могу согласиться, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще вся эта бессмысленная мишура, необходимая для поддержания престижа британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих и, я бы сказал, непоколебимых принципах республиканской простоты. Не скрою, впрочем, что Вирджинии очень хотелось бы сохранить, с вашего позволения, шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Вещь эта старая, ветхая, и вы, быть может, исполните ее просьбу. Я же со своей стороны, признаться, крайне удивлен, что моя дочь

проявляет такой интерес к средневековью, и способен объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона, когда миссис Отис возвращалась из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль с должным вниманием выслушал почтенного посла, лишь изредка принимаясь теревить седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис кончил, лорд Кентервиль крепко пожал ему руку.

— Дорогой сэр, — сказал он, — ваша прелестная дочь немало сделала для моего злополучного предка, сэра Симона, и я, как и все мои родственники, весьма обязан ей за ее редкую смелость и самоотверженность. Драгоценности принадлежат ей одной, и если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник, самое позднее через две недели, вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней моих. Что же касается их принадлежности к майорату, то в него не входит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе, а об этих драгоценностях нигде нет ни слова. Поверьте, у меня на них столько же прав, сколько у вашего дворецкого, и я не сомневаюсь, что, когда мисс Вирджиния подрастет, она с удовольствием наденет эти украшения. К тому же вы забыли, мистер Отис, что купили замок с мебелью и привидением, а тем самым к вам отошло все, что принадлежало привидению. И хотя сэр Симон проявлял по ночам большую активность, юридически он оставался мертв, и вы законно унаследовали все его состояние.

Мистер Отис был весьма огорчен отказом лорда Кентервиля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пэр остался непоколебим и в конце концов уговорил посла оставить дочери драгоценности; когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания. Ибо Вирджиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все благонравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, и они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочек, для чего дала не менее трех обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным поначалу примкнул и мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу, он, по теоретическим соображениям, оставался Врагом любых титулов и, как он заявлял, «опасался, что расслабляющее влияние приверженной наслаждениям аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты». Но его скоро удалось уговорить, и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер, то во всей Англии, мне кажется, не нашлось бы человека более гордого собой.

По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона и под конец решили просто вытесать там его инициалы и стихи, начертанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой, и, немного постояв над нею, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал:

— Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа.

— А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесл.

— Нет, есть, — ответил он с улыбкой. — Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением.

— Я никому этого не рассказывала, Сесл, — сказала Вирджиния серьезно.

— Знаю, но мне ты могла бы рассказать.

— Не спрашивай меня об этом, Сесл, я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэр Симон! Я стольким ему обязана! Нет, не смейся, Сесл, это в самом деле так. Он открыл мне,

что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

— Пусть эта тайна остается твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне, шепнул он.

— Оно всегда было твоим, Сесл.

— Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям? Правда?

Вирджиния залилась краской от смущения.

Вальтер Скотт **Комната с гобеленами**

Это еще одна коротенькая история из Ежегодника «Кипсек» 1828 года издания. Она была поведена мне много лет назад покойной мисс Анной Стюард, которая среди прочих своих талантов, делавших столь занимательной обитательницей сельской усадьбы, всегда имела в запасе множество историй подобного рода, кои рассказывала с неизменным успехом — успехом, должен заметить, несравненно большим, и можно предположить по стилю ее литературных сочинений. Любой из нас порою бывает весьма даже не прочь выслушать такой рассказ; и слышал я, что даже самым признанным и прославленным моим современникам доводилось их рассказывать.

Нижеследующее повествование, насколько позволит автору память, будет предано перу в точно таком же виде, в каком предстало его ушам. Автор не притязает на похвалу, но и не ждет себе порицания иначе, чем за то, хорошо или же плохо поступил он, избрав для изложения сей материал, тщательно избегая какой бы то ни было попытки приукрасить его, поскольку подобные старания противоречили бы его безыскусственной простоте.

Следует, однако, признать, что истории подобного рода — повести о происшествиях чудесных и невероятных — производят несравненно большее впечатление, когда рассказываются устно, нежели в напечатанном виде. Пусть книга, прочитанная в полдень, отражает ровно те же события, тем не менее она действует на воображение куда слабее, чем голос рассказчика, который, собрав вокруг себя восторженных почитателей, по ходу дела уснащает повествование сотней мельчайших подробностей, придающих ему еще большую достоверность, для пущего впечатления переходит на таинственный шепот, когда близятся самые душераздирающие и загадочные моменты. Именно при подобных благоприятных обстоятельствах уже более двадцати лет тому назад сам автор, ныне взявшийся за перо, услышал предлагаемую вашему вниманию историю из уст прославленной мисс Стюард из Литчфилда, которая вдобавок ко всем ее бесчисленным совершенным обладала несравненным даром увлечь слушателей захватывающей дух повестью. В настоящем же виде рассказ неизбежно потеряет всю прелесть, коей был обязан выразительному голосу и дышащему умом лицу талантливой рассказчицы. И все же, если прочитать его доброжелательно настроенной аудитории в неверном свете угасающего вечера или при последних бликах догорающих свечей в одиночестве и тишине полутемной комнаты, то он может еще вернуть себе добрую славу отменной истории с привидениями. Мисс Стюард обыкновенно прибавляла, что почерпнула все сведения из весьма надежного источника, хотя и сохраняла в тайне подлинные имена двух главных героев. Я же, в свою очередь, не стану предавать гласности какие-либо более точные подробности, что разузнал с тех пор касательно места, где разыгрались описываемые события, но предоставлю им покоиться под неопределенным и самым общим описанием, в котором они были поведены мне, и по тем же причинам ничего не добавлю к повествованию равно как ничего и не выпущу из него, а просто повторю так, как слышал сам, эту повесть о сверхъестественном ужасе.

Дело было в конце американской войны, когда солдаты армии лорда Корнуэлса, капитулировавшей под Йорктауном, и прочие, пребывавшие во время этого неразумного и злополучного противоборства в плену, возвращались на родину, дабы поведать там о своих приключениях и отдохнуть после пережитых передраг и треволнений.

И был среди этих воинов некий генерал, которого мисс С. именovala Брауном, но, насколько я понял, дала ему это имя для того лишь, чтобы избежать неудобства вводить в повествование безымянного героя. Во время войны он удостоен был немалых наград, а также слыл весьма уважаемым джентльменом благодаря знатному роду и собственным своим достоинствам и заслугам.

Некие дела заставили генерала Брауна совершить поездку по западным графствам. И вот однажды к концу утреннего перегона он оказался вблизи небольшого городка, необыкновенно красивого на вид и казавшегося воплощением самой Англии.

Городок этот, с его статной старой церковью, чья башня несла несомненную печать приверженности давно ушедшей старине, лежал среди пастбищ и крохотных лоскутков пшеничных полей, разграниченных живыми изгородями, деревья в которых равно поражали и размерами своими, и древностью. Вокруг мало что было затронуто новейшими усовершенствованиями в духе времени. Поселение не выдавало ни запустения, свойственного упадку, ни излишней суеты современности. Дома, хоть и старые, поддерживались в отличном состоянии, а прелесть речушка, что журча протекала слева от города, не была стеснена плотинами или же окаймлена полосой вытоптанной земли бечевника.

На вершине пологого холма, возвышавшегося примерно в миле к югу от города, над кронами широкоглавых дубов и густыми зарослями кустарника виднелись шпили старинного замка времен войны Йорка и Ланкастера, который, судя по виду, впоследствии претерпел немалые изменения в эпоху царствования Елизаветы и ее преемников. Замок был не особенно велик; однако ж, судя по всему, жизнь в его стенах и по сей день еще не вовсе угасла — по крайней мере, к таковому заключению генерал Браун пришел, заметив струйки дыма, весело поднимающиеся над затейливыми резными дымоходами старинной постройки. Вдоль ведущей к замку дороги на протяжении двухсот-трехсот ярдов тянулась стена парка, и отдельные ее детали что тут и там являлись взору, проглядывая сквозь листву деревьев, указывали на то, что некогда она была хорошо укреплена.

В подтверждение этого впечатления взгляд выхватывал все новые подробности: то мелькнувший среди дерев фасад здания, то вздымающиеся к небу верхушки башен — первый был богато изукрашен всеми пышностями елизаветинской школы, тогда как простота и надежная прочность прочих частей замка, казалось, давали понять, что выстроен он был ради защиты, а уж никак не ради показной красоты.

Восхищенный видами замка, открывшимися ему сквозь просветы в зеленом лесном покрове, окружавшем эту феодальную твердыню, наш военный путешественник решил проверить, не достоин ли сей памятник старины более ближайшего рассмотрения и не найдется ли там фамильных картин или же иных диковинок, открытых для лицезрения чужакам. Засим, покинув сень парка, он проехал по ровной и ухоженной мостовой и остановился у двери гостеприимного постоялого двора.

Прежде, чем приказать запрягать лошадей для дальнейшего путешествия, генерал Браун навел справки относительно хозяина пленившего его замка, и был в равной степени изумлен и обрадован, услышав в ответ имя дворянина, которого мы с вами назовем лордом Вудвиллом. Какая удача! Великое множество воспоминаний юности Брауна, относящихся к пребыванию его в школе и колледже, были связаны с неким юным Вудвиллом, который, как с несомненностью убедился Браун, задав еще несколько вопросов селянам, и являлся владельцем этого чудесного имения. Несколько месяцев тому назад, после кончины своего отца, он унаследовал звание пэра и, как поведал генералу трактирщик, ныне, когда время траура истекло, превесело проводил в родовом поместье славную осень в компании избранных друзей, разделяющих с ним благородные потехи, коими знаменит этот край.

Отрадной показалась эта весть нашему путешественнику. Фрэнк Вудвилл был фагом Ричарда Брауна в Итоне и закадычным его другом в Крайстчерче. Вместе делили они труды и забавы, и теперь сердце честного воина согрелось от радости найти друга юных лет господином столь восхитительного замка и наследства, которое (как заверил все тот же

трактирщик, кивая и подмигивая) как нельзя лучше соответствовало новому его положению в обществе. И что могло быть естественнее для генерала при столь благоприятно сложившихся обстоятельствах, чем временно прервать путешествие, не связанное ни с какой спешкой, и нанести визит старому другу?

А посему свежим лошадям выпала лишь скромная задача довести карету генерала до Вудвиллского Замка. У сторожки, выстроенной недавно, но в готическом стиле, отвечающем общему облику замка, визитера встретил привратник, и в тот же миг колокол возвестил о появлении в замке гостей. По-видимому, звон колокола прервал развлечения всего общества, занятого различными утренними забавами, ибо когда карета вкатилась во двор, там обнаружилось несколько бездельничающих молодых людей, что слонялись в охотничьих костюмах, глаза по сторонам и обсуждая достоинства псов, которых егеря держали наготове, дабы услаждать господский досуг.

Стоило генералу выйти из кареты, как к нему тотчас же подошел молодой лорд. Признаться, в первый миг он не узнал давнего друга, на чьи черты наложили немалый отпечаток тяготы и бедствия минувшей войны. Но неопределенность длилась лишь до тех пор, пока гость не открыл рта, после чего тут же последовали самые сердечные приветствия, какими только могут обмениваться друзья, вместе делившие веселые дни беззаботного детства и ранней юности.

— Когда бы мне предложили загадать желание, — воскликнул лорд Вудвилл, — то состояло бы оно ни в чем ином, как в том, чтобы, в первую очередь, залучить сюда именно вас и именно теперь, когда мы с друзьями собрались здесь радоваться жизни. Не думайте, пожалуйста, будто я потерял вас из виду на все те годы, что вас не было с нами! О нет, я мысленно следовал за вами сквозь все выпавшие на вашу долю опасности, успехи и неудачи, и счастлив был видеть, что в победе или же в поражении имя моего друга неизменно встречалось рукоплесканиями.

Генерал произнес соответствующую ответную речь и поздравил друга с новыми его титулами и получением в наследство столь дивного имения.

— Нет-нет, вы его еще толком и не видели, — возразил лорд Вудвилл, — и я от всей души верую, что вы не покинете нас по крайней мере до той поры, пока получше с ним не ознакомитесь. Правда, должен покаяться, нынешнее мое общество изрядно велико, а старый замок, подобно всем своим собратьям, не столь богат числом комнат, как то обещает его внешний вид. Однако ж мы отведем вам преудобную, хотя и несколько старомодную спальню. Думаю, я не сильно ошибусь, коли рискну предположить, что военные ваши походы приучили вас довольствоваться и худшими квартирами.

Генерал пожал плечами и засмеялся.

— Сдается мне, что и самые захудалые апартаменты вашего замка неизмеримо превзойдут тот старый бочонок из-под табака, в коем я вынужден был ночевать, когда наш пехотный корпус, жил, как выражаются виргинцы, в глухой глуши. Там и лежал я, точно Диоген, да притом столь радуясь возможности укрыться от стихий, что даже попытался было перекатить его в следующий наш лагерь, но тогдашний мой командир не позволял подобных излишеств и роскошеств, и мне пришлось со слезами на глазах распротиться с моим возлюбленным бочонком.

— Отлично. Коли уж апартаменты вас не пугают, — продолжил лорд Вудвилл, — вы непременно прогостите у меня не меньше недели. Ружей, псов, удочек и наживок — всего, чего только угодно душе для охоты или рыбной ловли — найдется у нас предостаточно, и даже с излишком: какое бы развлечение не избрали вы себе по вкусу, мы уж найдем способ его вам предоставить. Но ежели вы предпочтете охоту с ружьем и пойнтером, то я самолично отправлюсь с вами, и то-то мы поглядим, не улучшили ли вы свою сноровку в стрельбе, покамест жили среди диких индейцев.

Нечего и говорить, что генерал с превеликой охотой принял радушное предложение гостеприимного друга. Проведя утро в разнообразных благородных забавах, все общество встретилось за обедом, где лорд Вудвилл имел удовольствие поведать о высоких

достоинствах своего вновь обретенного друга и представить его своим гостям — людям, по большей части, знатым и высокородным. По его просьбе генерал, в свою очередь, рассказал о событиях, коим был свидетелем, и поскольку каждое слово изобличало в нем храброго и хладнокровного офицера, способного сохранять спокойствие духа и здравую рассудительность даже при самых опаснейших обстоятельствах, все собравшиеся взирали на него с уважением. Воин сей на деле доказал, что наделен был недюжинной отвагой — а, как известно, каждый из нас превыше всего желал бы, чтобы из всех прочих достоинств за ним признали именно это качество.

День в Вудвиллском Замке кончился так, как обыкновенно кончаются дни в подобных имениях. Гостеприимство не оставляло желать лучшего: позвякивание бутылей сменилось музыкой, в коей юный лорд был весьма искусен; бильярд и карты ждали тех, кто предпочитал их всем прочим развлечениям. Однако же планы на утро требовали раннего подъема, и вскоре после одиннадцати гости начали расходиться по своим спальням.

Молодой лорд самолично проводил генерала Брауна к уготованному ему чертогу, который полностью отвечал давешнему описанию, будучи удобным, но старомодным. Кровать отличалась громоздкостью, свойственной концу семнадцатого века, равно как и тяжелые занавеси из выцветшего шелка, окаймленные потускневшим золотым шитьем. Но зато простыни, подушки и одеяла показались взору бывалого вояки просто великолепными, особенно при воспоминаниях о недавнем его пристанище, табачном бочонке. Пожалуй, некую сумрачность комнате придавали изящные, хотя изрядно выцветшие гобелены, что висели на стенах и слабо колыхались в порывах осеннего ветерка, проникавшего в комнату сквозь старинное сводчатое окошко, створки которого легонько потрескивали и постукивали под напором воздуха. Да и трюмо, зеркало на котором было по моде начала семнадцатого века обрамлено вуалью темно-красного шелка, а полочки — уставлены сотнями причудливых коробочек, приготовленных для процедур, вышедших из употребления более пятидесяти лет назад, в свою очередь, тоже имело вид самый что ни на есть древний, а посему весьма меланхолический. Зато ничто не могло бы сиять ярче и жизнерадостнее, чем две восковые свечи, а ежели что и готово было бросить им вызов, то это полыхающие в камине вязанки хвороста, заливающие уютную спальню теплом и золотистым мерцанием. Словом, хотя ничто не нарушало общий старинный облик комнаты, но не было в ней и недостатка в более современных приспособлениях, кои составляли дань необходимости и даже роскоши.

— Спальня эта, конечно, несколько старомодна, генерал, — сказал лорд, — но, надеюсь, ничто здесь не заставит вас пожалеть о вашем пресловутом табачном бочонке.

— Я не особенно прихотлив по части жилья, — отвечал генерал, — однако ж, если бы мне довелось выбирать, то, безусловно, я предпочел бы этот чертог всем более веселым и современным апартаментам вашего родового замка. Поверьте, что сочетание современных удобств с духом почтенной старины да еще и мысль, что владелец всего этого великолепия не кто иной, как ваша светлость, делают эту спальню в моих глазах куда как лучше любого самого пышного лондонского отеля.

— Надеюсь — да что там, не сомневаюсь! — вам будет здесь так уютно, как я вам того желаю, милый генерал, — произнес молодой дворянин, и в очередной раз пожелав своему гостю доброй ночи, пожал ему руку и удалился.

Генерал снова огляделся и, мысленно поздравив себя с возвращением к мирной жизни, радости которой усиливались воспоминаниями о лишениях и тяготах, коим подвергался он так недавно, разделся и приготовился уснуть блаженным сном на роскошном ложе. Здесь, вопреки традициям подобного рода повествований, мы и покинем генерала Брауна, предоставив ему без помех наслаждаться своею спальней вплоть до самого утра.

Все собравшееся в замке общество сошлось за завтраком в весьма ранний час.

Недоставало лишь генерала Брауна — гостя, которого лорд Вудвилл, казалось, желал почтить своим гостеприимством более, нежели кого-либо из прочих друзей. Молодой хозяин замка не единожды выражал удивление по поводу отсутствия генерала, и наконец послал

слугу справиться о нем. Тот вернулся с известием, что генерал Браун чуть свет отправился на прогулку, хотя погода, туманная и ненастная, не благоприятствовала подобному времяпрепровождению.

— Обычай солдата, — пояснил молодой лорд своим друзьям. — Многие военные так привыкают к ранним побудкам, что уже не могут более уснуть после того часа, когда долг службы обычно велит им покинуть кровать.

Однако объяснение, представленное лордом Вудвиллом обществу, казалось, самого его удовлетворило мало или же вовсе не удовлетворило, и он ожидал возвращения генерала, погрузившись в молчаливую задумчивость. Вернулся же тот лишь через час после того, как прозвонил колокол к завтраку. Вид у него был утомленный и лихорадочный. Волосы, укладка и припудривание которых являлись в те дни одним из наиболее важных занятий мужчины и знаменовали собой его положение в обществе в той же степени, в какой в наши дни знаменует его способ повязывать галстук или же отсутствие одного, были всклокочены, не завиты, лишены пудры и влажны от росы. Одежда носила следы бездумного пренебрежения, тем паче удивительного для человека военного, чьи обязанности — настоящие или надуманные — обыкновенно предусматривают некоторое внимание к туалету. Одним словом, генерал более походил на призрак, чем на вчерашнего бравого вояку.

— Вижу я, вам вздумалось нынче утром посрамить нас всех, мой дорогой генерал, — сказал лорд Вудвилл. — Или же постель пришлась вам по вкусу несравненно менее, чем я надеялся, да и вы, вроде бы, чаяли? Как спалось вам минувшей ночью?

— О, замечательно! Просто изумительно! Как никогда в жизни! — поспешно произнес генерал, однако ж с приметным смущением, которое не укрылось от внимания его друга. Затем он торопливо осушил чашку чая и, проигнорировав или же отвергнув прочие яства, погружился в глубокое раздумье.

— Сегодня мы с вами пойдем поохотимся, генерал, — сказал его друг и хозяин, но вынужден был повторить свое предложение дважды, прежде чем получил отрывистый ответ:

— Нет, милорд. Мне, право же, жаль, но я не смогу провести еще день с вашей светлостью — почтовые лошади уже заказаны и вот-вот придут сюда.

Все присутствовавшие выказали изумление, а лорд Вудвилл немедленно воскликнул:

— Почтовые лошади, мой славный друг! Да зачем они вам сдались, коли вы обещали прогостить у меня не меньше недели?

— Должно быть, — промолвил генерал, явно испытывая крайнюю неловкость, — я в упоении первой встречи с вашей светлостью и мог сболтнуть что-то о том, чтобы остаться на несколько дней, но с тех пор пришел уже к выводу, что это никак невозможно.

— Вот уж поистине странно, — отвечал юный дворянин. — Вчера еще вы были совершенно свободны располагать собою по своему усмотрению. Не могли вы получить никаких важных известий и сегодня — ведь наша почта еще не прибыла из города.

Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, генерал Браун пробормотал что-то о неотложном деле и столь упорно продолжал настаивать на непреложнейшей необходимости уехать, что хозяин его вынужден был смириться и прекратил назойливые увещания, увидев, что гость принял твердое решение и уступать не намерен.

— Ну коли вы уж решились, милый мой Браун — молвил лорд, — позвольте мне, прежде, чем вы поступите согласно желанию своему или же долгу, показать вам вид с той террасы. Туман начал уже подниматься и скоро разойдется.

С этими словами он распахнул широкую дверь и шагнул на террасу. Генерал машинально последовал за ним, но, должно признать, проявлял мало интереса к словам своего хозяина, указывавшего ему различные красоты, достойные лицезрения. Так продвигались они, пока лорд Вудвилл не достиг своей цели — отвести гостя подальше от посторонних ушей, а тогда, с величайшею серьезностью и торжественностью, он сказал ему:

— Ричард Браун, мой старый и самый дорогой друг, теперь мы одни. Умоляю — ответьте мне начистоту, поклянитесь словом друга и честью воина. Как на самом деле спали

вы прошлой ночью?

— Хуже некуда, милорд, — отвечал генерал с не меньшей торжественностью, — столь прежалко, что я не рискну провести вторую подобную ночь, даже если бы за это мне предложили не только все земли, принадлежащие вашему замку, но и весь край, что открывается взору с этой возвышенности.

— Поистине, дело в высшей степени необыкновенно, — пробормотал юный лорд, словно говоря сам с собой, — должно быть, и вправду что-то есть во всем, что рассказывают об этой комнате.

И снова повернувшись к генералу, он произнес:

— Ради Бога, друг мой, будьте со мной откровенны и позвольте мне узнать удручающие подробности того, что приключилось с вами под кровлей, где, будь на то воля ее владельца, вас должно было ждать одно лишь приютство.

Казалось, просьба эта повергла генерала в смятение, и он помедлил прежде, чем ответить:

— Любезный лорд мой, — наконец вымолвил он, — то, что случилось со мной минувшей ночью, имеет природу столь странную и неприятную, что едва ли я мог бы заставить себя поделиться этим даже с вашей светлостью, когда бы не то соображение, что помимо моего желания выполнить любую вашу просьбу, искренность с моей стороны могла бы помочь пролить свет на обстоятельства в равной степени пугающие и таинственные. Людям, незнакомым со мною, рассказ мой мог бы показаться бредом слабоумного и суеверного невежи, ставшего жертвой собственного своего воображения, которое сыграло с ним злую шутку. Но вы знаете меня с самого детства и юности и не заподозрите, что, став зрелым мужчиной, я приобрел вдруг слабости и недостатки, коих лишен был в юные годы.

Тут он умолк, и друг поспешил заверить его:

— Не сомневайтесь в полнейшем моем доверии к вашей повести, какой бы странной она ни показалась. Я слишком хорошо знаю силу вашего духа, чтобы подозревать, что вы могли стать жертвою временного помрачения разума. Сознаю я и то, что ваша честь и Дружба со мною удержат вас от какого-то ни было преувеличения того, чему вы стали свидетелем.

— Ну что ж, — сказал генерал, — тогда, уповаю на вашу благосклонность, я, как могу, поведу рассказ. И все же куда как охотнее я выстоял бы против целой батареи противника, чем стал бы по доброй воле воскрешать в памяти невероятные события прошлой ночи.

Он снова помолчал, а затем, убедившись, что лорд Вудвилл не прерывает его и весь обратился во слух, начал, хотя и с видимой неохотой, историю своих ночных злоключений в Комнате с Гобеленами.

— Вчера вечером, едва лишь ваша светлость расстались со мной, я тотчас же разделся и лег в кровать; но дрова в камине напротив моей постели горели так ярко и весело, что я не смог тут же уснуть тем паче, что неожиданная радость встречи с вашей милостью вызвала во мне сотни восхитительных воспоминаний о детстве и юности. Но, должен я сказать, несмотря на все последовавшие события, первые мои мысли были лишь самого приятного и отрадного свойства, каковое удовольствие усиливалось предвкушениями сменить труды, заботы и опасности, связанные с моей профессией, на радости мирной жизни и возобновить те узы дружбы и привязанности, что разорвал я в ответ на бесцеремонный зов войны.

Покамест эти милые воспоминания витали надо мной и незаметно нагоняли на меня дремоту, внезапно меня пробудил звук, похожий на шелест шелкового платья и перестук туфелек на высоких каблуках, словно бы в спальню входила женщина. Не успел я раздвинуть полог балдахина, чтобы поглядеть, в чем дело, как между огнем и кроватью проскользнула маленькая женская фигурка. Она была обращена ко мне спиной, и, насколько мог я судить по плечам и шее, принадлежала какой-то пожилой даме в старинном платье, из тех, думается мне, что леди называют «просторными»; то есть, нечто наподобие балахона, туго собранного широкими складками на шее и плечах, а затем свободно спадающего к полу и заканчивающегося чем-то вроде шлейфа.

Я счел это вторжение несколько странным, но мне и на мгновение не пришло в голову, будто предо мной нечто большее, чем какая-то престарелая горничная или домоправительница из вашей прислуги, которой взбрела нелепая фантазия обрядиться в платье своей бабки и которая, вероятно (ибо я помнил, как вы упоминали о нехватке комнат), была выселена из своей спальни ради моего устройства, но, позабыв о сем обстоятельстве, по старой привычке вернулась сюда. Пребывая в этом убеждении, я слегка пошевелился в постели и негромко кашлянул, дабы уведомить незваную гостью, что уже вошел во владение отведенными мне покаями. Она медленно повернулась ко мне, но, милостивые небеса! Милорд, что за лик явила она мне! Более не оставалось никаких вопросов, была ли она созданием из плоти и крови. И мысли такой не могло возникнуть! Лицо ее, чьи черты застыли в мертвом оскале, носило отпечаток всех гнуснейших и отвратительнейших страстей, что обитали в ней при жизни. Чудилось, будто тело закоренелой преступницы было вызвано из могилы, а не менее преступная душа извлечена из адского пламени, чтобы, воссоединившись, вступить на время в союз с древним сообщником ее грехов. Узрев этот ужасающий призрак, я подскочил на своем ложе и выпрямился, опираясь на ладони. Ведьма же в мгновение ока оказалась подле постели, где я лежал, и, словно передразнивая меня, опустила на нее в точно том же положении, что принял я от крайнего ужаса. Ее богопротивная харя оказалась всего в каком-то полуярде от моего лица, и на харе этой играла мерзкая усмешка, источавшая злобу и насмешку вселившегося в нее дьявола.

Тут генерал Браун умолк и отер лоб от холодной испарины, что выступила на нем при воспоминаниях об этом жутком видении.

— Милорд, — молвил он. — Я не трус. Я побывал во всех смертельных опасностях, свойственных моему роду занятий, и могу по праву гордиться, что никто еще не видел, чтобы Ричард Браун покрыл позором свой клинок. Но в этих ужасных обстоятельствах, под взглядом и, как тогда мнилось, почти что в когтях воплощенного злого духа, бывшее мужество покинуло меня, отвага растаяла, точно воск в горниле печи, и я ощутил, как каждый волосок на моей голове становится дыбом. Кровь перестала струиться по моим жилам, и я в обмороке грохнулся на кровать, как самая распоследняя жертва панического ужаса, как какая-нибудь деревенская девчонка или несмышлениш десяти годов отроду. Не берусь даже гадать, как долго пролежал я в этом состоянии.

Меня пробудил звон замковых часов, пробивших час. Звук этот громом раздался в моих ушах, как будто часы находились в одной со мной комнате. Не сразу осмелился я открыть глаза, боясь, что они снова узрят ужасное зрелище. Когда же я все-таки собрался с духом взглянуть вокруг, призрака уж не было видно. Первым моим побуждением было дернуть за шнурок колокольчика, перебудить всех слуг и найти себе прибежище на остаток ночи где-нибудь на чердаке или же сеновале, лишь бы только избавиться от второго подобного визита. Увы, признаюсь начистоту, что изменил я решение не из стыда выдать свое малодушие, но от страха, что, пробираясь к шнурку, висевшему у самого камина, я снова столкнусь с дьявольской ведьмой, которая, как рассуждал я про себя, вполне могла затаиться в дальнем углу опочивальни.

Не стану описывать, как всю ночь меня бросало то в жар, то в холод, какие муки испытывал я, пребывая между сном и явью, застыв в том оцепенелом состоянии, кое являет собой нечто среднее между тем и другим. Сотни кошмаров, один хуже другого, являлись ко мне; но они не могли уж напугать меня так, как напугал первый призрак, ибо я знал, что все дальнейшие мои видения явились лишь плодом моего же собственного воображения и перевозбужденных нервов.

Наконец забрезжила заря, и я поднялся с постели, весь больной и в самом угнетенном состоянии духа. Я стыдился себя самого как мужчины и солдата, а еще более — своего неодолимого желания бежать из проклятой комнаты — желания, безусловно, перевешивавшего все прочие соображения. Засим, кое-как напялив на себя одежду, я унес ноги из апартаментов вашего замка, стремясь на свежем воздухе успокоить нервы, вконец расстроенные встречей с гостьей, относительно которой я искренне верую, что явилась она с

того света. Теперь ваша светлость выслушали повесть о причинах моего смятения и внезапного желания покинуть ваш гостеприимный замок. Я полагаю, во всех прочих местах мы сможем еще встречаться и не раз, но упаси Господь меня провести еще хоть одну ночь под этой крышей!

Каким бы странным ни казался рассказ генерала, но произнесен он был со столь глубокой убежденностью, что она начисто отбила охоту делать все комментарии, какими обыкновенно сопровождаются такого рода истории. Лорд Вудвилл даже ни разу не спросил друга уверен ли тот, что привидение ему не приснилось, и не высказал ни одного из модных ныне предположений, в которых самые невероятные чудеса объясняются причудами чрезмерно живого воображения или же обманом оптических нервов. Напротив, казалось, правдивость и искренность повествования произвели глубокое впечатление на молодого лорда; и после значительной паузы он выразил искреннейшее свое сожаление, что друг его юности в его же собственном доме претерпел такие жестокие страдания.

— Я тем более сожалею о твоих зловключениях, милый мой Браун, — продолжал лорд, — что они являются результатом, пусть и в высшей степени непредвиденным, моего необдуманного эксперимента! Нужно вам знать, что, по крайней мере, во времена моего отца и деда апартаменты эти держались взаперти, ибо ходили слухи, будто покой их тревожат потусторонние шумы и явления. Когда же несколько недель тому назад я вошел во владение поместьем, то счел, что замок мой и так недостаточно просторен для размещения моих друзей, чтобы позволять обитателям невидимого мира по-прежнему распоряжаться удобной опочивальней. Посему я велел отворить Комнату с Гобеленами, как мы ее называем, и, не нарушая атмосферы милой старины, поместил туда все новые достижения по части комфорта, какими только располагает современность. Однако поскольку мнение, что комната проклята, слишком сильно владело умами моих домочадцев, а также все соседи, да и кое-кто из друзей немало были про то наслышаны, я опасался, как бы первый гость Комнаты с Гобеленами не выказал некой предвзятости, оживив тем самым дурную молву, которую я стремился заглушить. Тогда бы все мои старания сделать комнату полезною частью дома волей-неволей свелись бы на нет. И каюсь, милый мой Браун, что вчерашнее ваше появление, отрадное для меня по тысяче разных причин, показалось еще и самой благоприятной возможностью развеять худую славу, связанную с комнатой, поскольку мужество ваше было несомненно, а разум свободен от предубеждения. Сами видите, я не мог выбрать более подходящего объекта для моего опыта.

— Жизнью клянусь, — запальчиво произнес генерал Браун, — я бесконечно признателен вашей светлости — поистине я в неоплатном долгу. Сдается мне, долго еще буду я помнить последствия этого эксперимента, как ваша милость изволили его именовать.

— Нет, теперь вы несправедливы, дорогой мой друг, — возразил лорд Вудвилл. — Вам следует вспомнить и о том, что я не мог и мысли допустить, что подвергаю вас подобному мучительному испытанию. Еще вчера утром я был законченным скептиком, не признающим ничего сверхъестественного. Более того, я не сомневаюсь, что скажи я вам о слухах, ходящих про эту комнату, вы бы сами, по доброй своей воле, вызвались бы расположиться именно там. Я признаю, что допустил оплошность, ошибку, коли вам будет угодно, но все же нельзя назвать меня злонамеренным виновником столь необычных ваших зловключений.

— Вот уж поистине необычных! — воскликнул генерал, снова обретя доброе расположение духа. — Признаю, что не вправе упрекать дату светлость за то, что вы посчитали меня за такого человека, каким я и сам себя считал — твердого и отважного... Но, вижу, упряжка почтовых уже подана. Не смею долее отвлекать вашу милость от круга веселых друзей и развлечений.

— Нет, старинный мой друг, — сказал лорд Вудвилл, — коли уж вы не можете остаться с нами еще хотя бы на денек, на чем, право же, я более не смею настаивать, уделите мне всего лишь полчаса. Когда-то, помнится, вы знали толк в картинах, а у меня есть галерея портретов, иные из которых принадлежат кисти самого Ван-Дейка. На них изображены мои предки, кому принадлежал некогда и замок, и все прочее достояние.

Думаю, вы сумеете оценить их по достоинству.

Генерал Браун принял приглашение, хотя и без особой охоты. Очевидно было, что он не вздохнет легко и свободно, покуда Вудвиллский Замок не останется далеко позади. И все же он не мог отказаться от предложения старого друга, тем более, что отчасти стыдился еще неблагодарности, которую выказал своему гостеприимному хозяину.

Засим генерал последовал за лордом Вудвиллом сквозь череду комнат к длинной галерее, увешанной портретами, которые лорд принялся по очереди указывать своему гостю, называя имена лиц, изображенных на картинах, и присовокупляя некоторые замечания о них самих и их жизни. Генерала Брауна эти подробности, да и сами портреты заинтересовали крайне мало. Правду сказать, все они принадлежали к числу тех, какие всегда можно найти в любой старой фамильной галерее. Был там кавалер, разоривший поместье на службе его величеству, была и красавица, восстановившая его удачным браком с богатым пуританином из партии круглоголовых. Рядом висели изображения дворянина, подвергшего себя опасности за переписку с двором изгнанников в Сен-Жермене, и родича его, который во время Революции взялся за оружие на стороне Вильгельма; а подле них — и третьего, чья склонность во время всех этих распрей попеременно ложилась на чашу весов то вигов, то тори.

И покуда лорд Вудвилл терзал слух гостя этими подробностями, так сказать «его желаньям вопреки», они потихоньку добрались до середины галереи. Но там генерал Браун вдруг вздрогнул и застыл как вкопанный. На лице его отразилось крайнее изумление, не лишенное и примеси страха, а взгляд устремился на портрет пожилой Дамы в старинном просторном платье по моде конца семнадцатого века.

— Это она! — вскричал генерал. — Это она, лицом и статью, хотя по злобности и дьявольскому выражению ей далеко до проклятушей ведьмы, что посетила меня минувшей ночью!

— В таком случае, — произнес молодой лорд, — более не остается никаких сомнений в ужасающей реальности вашего привидения. Здесь изображена одна из моих прародительниц, гнусная тварь, список чьих черных и страшных преступлений занесен в семейную хронику, хранящуюся у меня и по сей день. Перечислять их было бы слишком ужасно; довольно сказать, что в вашей злополучной опочивальне произошли убийство и кровосмешение. Я возвращаю эту комнату в то нежилое состояние, на которое обрекли ее мои предшественники, лучше меня сумевшие распорядиться ею. И, пока только это будет в моей власти, никогда и никто не будет подвергнут тем сверхъестественным ужасам, которые потрясли даже ваше закаленное в боях мужество.

На сем друзья, встретившиеся с такой радостью, расстались совсем в ином расположении духа. Лорд Вудвилл велел незамедлительно разобрать обстановку в Комнате с Гобеленами и намертво заколотить ведущую в нее дверь; а генерал Браун отправился искать в каком-нибудь не столь прекрасном краю и с каким-нибудь не столь почтенным другом забвения от мучительной ночи, что провел он в Вудвиллском Замке.

Эдвард Джордж Булвер-Литтон **Привидения и жертвы**

Один мой друг, литератор и философ, в один прекрасный день объявил мне, не то в шутку, не то всерьез:

— Вообразите себе: со времен нашей последней встречи я обнаружил дом, ставший вмещалищем потусторонних сил и в самом центре Лондона!

— В самом деле? Потусторонние силы? Привидения, вы хотите сказать?

— На этот вопрос я затрудняюсь ответить; вот все, что я знаю: шесть недель назад мы с женой отправились на поиски меблированных комнат.

Проходя по тихой улочке, в окне одного из домов мы увидели объявление:

«Сдается внаем». Местоположение нам понравилось; мы вошли одобрили помещение сняли его на условиях еженедельной оплаты и уехали уже на третий день. Ни за что на свете жена моя не согласилась бы задержаться в доме; и я тому не дивлюсь.

— Что же вы видели?

— Прошу прощения: я не желаю, чтобы меня высмеяли как суеверного выдумщика; с другой стороны, не могу настаивать, чтобы вы приняли на веру мои утверждения; не имея возможности убедиться на собственном опыте, вы бы сочли их в высшей степени неправдоподобными. Скажу только вот что: не столько увиденное и услышанное (здесь вы можете справедливо предположить, что мы одурачены собственной разыгравшейся фантазией, либо стали жертвами ловкого мошенничества со стороны других) заставило нас уехать, но неопиcуемый ужас, что охватывал нас обоих всякий раз, когда мы проходили мимо двери некоей необставленной комнаты, в которой мы ровным счетом ничего не видели и не слышали. А самое невероятное чудо состоит в том, что впервые в жизни я согласился с женой, она у меня ума небольшого, и признал, после третьей ночи, что на четвертую мы в доме не останемся. Засим на четвертое утро я вызвал экономку (ту особу, что присматривала за особняком и прислуживала нам) и объявил ей, что жилье нас не устраивает и до конца недели мы не задержимся. Она сухо ответила: «Я вас вполне понимаю; вы пробыли дольше других жильцов. Мало кто оставался на вторую ночь; вы первые, кто выдержал третью. Я так понимаю, что они отнеслись к вам по-доброму».

— Они? Кто такие «они»? переспросил я, натянуто улыбаясь.

— Ну как же, призраки дома, кто бы они ни были. Меня они не тревожат; я помню их с незапамятных времен: тогда я жила в этом доме, и отнюдь не в качестве прислуги; я знаю, что однажды они меня убьют. Что мне за дело! я стара, и в любом случае жить мне осталось недолго; а тогда я стану одной из них и вовеки не покину этих стен. Женщина говорила с такой мрачной обреченностью, что благоговейный страх не позволил мне затягивать беседу. Я заплатил за неделю, и мы с женой только порадовались, отделавшись так дешево.

— Вы возбудили мое любопытство, отозвался я, больше всего на свете мне хотелось бы провести ночь в доме с привидениями. Не будете ли вы столь добры дать мне адрес того особняка, который вы столь бесславно покинули?

Приятель снабдил меня адресом, и, расставшись с ним, я отправился напрямик к указанному дому.

Особняк расположен на северной стороне Оксфорд-стрит, в безликом, но респектабельном проулке.

Я нашел дом заколоченным; на окне не висело объявлений, и на стук мой никто не отозвался. Я уже собрался было уходить, как вдруг меня окликнул мальчишка из пивной, собиравший по соседству оловянные кружки:

— Вам нужен кто-то из этого дома, сэр?

— Да, я слыхал, что дом сдается внаем.

— Сдается! Да ведь домоправительница-то умерла вот уже три недели как умерла, и нет такого человека, что согласился бы там пожить, хотя мистер Дж. предлагает ужас как много денег. Моя мать у него в поденщицах, так он посулил ей фунт в неделю только за то, чтобы она открывала да закрывала окна, только она ни в какую.

— Ни в какую? Почему же?

— В доме призраки; старуху-домоправительницу нашли мертвой в постели, с широко открытыми глазами. Говорят, сам дьявол задушил ее.

— Вот вздор! Ты упомянул мистера Дж. это владелец особняка?

— Да.

— Где он живет?

— На Г.-стрит, номер такой-то.

— Чем он занимается? Каким-нибудь предпринимательством?

— Нет, сэр, ничем таким особенным; просто одинокий холостяк. Я вознаграждал мальчишку за любезно предоставленные сведения и проследовал напрямик к мистеру Дж. на

Г.-стрит, каковая находилась неподалеку от улицы, обремененной зловещим особняком.

Мне повезло: я застал мистера Дж. дома.

Он оказался пожилым джентльменом с умным взглядом и приятными манерами. Я назвал себя и с полной откровенностью изложил свое дело. Я сообщил, что мне стало известно, будто пресловутый особняк считается прибежищем потусторонних сил; что я сгораю от желания изучить дом с репутацией столь сомнительной; что я буду весьма признателен, ежели владелец позволит мне его снять, пусть только на одну ночь. Я изъявил готовность заплатить за эту привилегию ровно столько, сколько ему угодно запросить.

— Сэр, отозвался мистер Дж. весьма учтиво, дом в полном вашем распоряжении, причем на любой срок длительный либо краткий. О ренте не идет и речи; напротив, я стану почитать себя вашим должником, ежели вы разгадаете причину странных явлений, что в настоящий момент сводят ценность особняка на нет. Я не могу сдать его; не могу даже нанять слугу, чтобы тот поддерживал порядок и отвечал на звонки. К сожалению, привидения разгуливают по дому (да простится мне это выражение) не только ночью, но и днем; хотя ночные беспорядки носят менее приятный и зачастую менее безобидный характер. Злосчастная старуха, что умерла там три недели назад, была нищенкой; я взял ее из работного дома, потому что родственники мои знавали ее еще ребенком; некогда она располагала достаточными средствами, чтобы арендовать помянутый дом у моего дяди.

Она получила превосходное образование и отличалась характером весьма решительным; эта женщина единственная, кого мне удалось поселить в доме. Однако после ее смерти, каковая приключилась внезапно, а также и судебного осмотра трупа, снискавшего дому печальную известность во всей округе, я настолько отчаялся найти домоправительницу, не говоря уже о жильце, что охотно сдал бы особняк на год безо всякой арендной платы любому, кто согласился бы взять на себя сборы и налоги.

— Как давно дом приобрел столь зловещую репутацию?

— Затрудняюсь ответить; но очень давно. Старуха, о которой я поминал, уверяла, что уже тридцать-сорок лет назад, когда она снимала особняк, в нем водились привидения. Дело в том, что моя жизнь прошла в Восточной Индии, на службе у Компании. Я возвратился в Англию в прошлом году, унаследовав состояние дяди, в собственность которого входил и помянутый дом. Я обнаружил, что здание заколочено и всеми покинуто. Мне сказали, что в доме поселились привидения и никто не пожелает в нем жить. Я посмеялся над досужим вымыслом: как иначе я мог воспринять подобное заявление? Я затратил деньги на ремонт, добавил к старомодной мебели несколько более современных предметов, дал объявление в газету и в результате сдал дом на годичный срок, полковнику в отставке на половинном жаловании. Он въехал вместе с семьей, сыном и дочерью и четырьмя или пятью слугами; все они покинули особняк на следующий же день, и хотя каждый уверял, что наблюдал нечто свое, непохожее на кошмарные видения прочих, это нечто внушало всем равный ужас. Я по совести не мог ни потребовать возмещения убытков, ни даже упрекнуть полковника в нарушении договора. Тогда я поселил в особняке помянутую старуху, и поручил ей сдавать внаем комнаты, но ни один жилец не задержался в доме более трех дней. Я не стану пересказывать вам их истории не было случая, чтобы двоим привиделось одно и то же. Лучше вам обо всем судить самому, нежели входить в дом под впечатлением чужих исповедей; скажу одно: будьте готовы увидеть и услышать нечто исключительное и примите любые меры предосторожности, на ваш взгляд, уместные.

— А у вас никогда не возникало любопытства провести ночь в доме?

— Было такое. Один, без спутников, я провел в доме не ночь, но три часа среди бела дня. Мое любопытство не удовлетворено, однако изрядно поутихло. Повторять эксперимент я не желаю. Видите, сэр, я с вами вполне откровенен: и, разве что ваш интерес разыгрался не на шутку, а нервы исключительно крепки, я по чести добавлю, что не советую вам оставаться в доме на ночь.

— Мой интерес и в самом деле разыгрался, заверил я, и хотя только трус хвастается выдержкой в ситуациях, совершенно ему незнакомых, однако мои нервы закалены в

опасностях столь разнообразных, что я с полным правом надеюсь: они меня не подведут даже в доме с привидениями!

Мистер Дж. почти ничего к тому не прибавил; он достал ключи от дома из ящика письменного стола, вручил их мне, и, сердечно поблагодарив хозяина за откровенность и любезную снисходительность к моему пожеланию, я унес приз.

Сгорая от нетерпения приступить к опыту, я, едва оказавшись дома, призвал к себе доверенного слугу молодого человека, наделенного неунывающим характером, бесстрашным сердцем, и при том совершенно свободного от любых предрассудков и суеверий.

— Ф., объявил я, помнишь, какое разочарование пережили мы в Германии, не обнаружив фантома в том старинном замке, где, по слухам, рыскал безголовый призрак? Ну что ж, здесь, в Лондоне, отыскался дом, в котором, как я имею веские основания надеяться, водятся самые настоящие привидения. Сегодня я там ночую. Из того, что мне довелось услышать, бесспорно следует, что нечто непременно явит себя взору или слуху не исключено, что нечто непередаваемо-жуткое. Если я возьму тебя с собой могу ли я положиться на твое присутствие духа, что бы уж там ни случилось?

— О сэр! Положитесь на меня, отвечив Ф., просияв улыбкой.

— Хорошо же, вот тебе ключи от дома; вот адрес. Ступай туда; выбери для меня любую спальню; и поскольку в доме вот уже много недель никто не живет, разведи в очаге огонь пожарче, проветри постель, запасись и свечами, и топливом. Возьми с собой мой револьвер и мой кинжал, иного оружия я брать не стану, и сам вооружись также; и если мы не выстоим против дюжины призраков, жалкая мы с тобою парочка!

Остаток дня я занимался делом настолько важным, что почти не вспоминал о ночном приключении, за которое поручился честью.

Я поужинал в одиночестве и позже обычного, а за едой, по привычке, почитывал книгу.

В тот день я отдал предпочтение томику «Опытов» Макалея. Я решил прихватить книгу с собой; манера изложения заключала в себе столько здравого смысла, а темы столько практицизма, что «Опыты» послужили бы отличным противоядием противу суеверных фантазий.

Таким образом, около половины десятого, я положил книгу в карман и не спеша направился к загадочному дому. Я взял с собой любимую собаку на редкость смышленного, храброго и бдительного бультерьера этот пес обожал рыскать ночами по зловещим, незнакомым коридорам и углам, выслеживая крыс, словом, первоклассная собака для охоты на призрака!

Стояло лето, но вечер выдался прохладный; пасмурное небо затянули тучи. Однако проглядывала и луна бледная и тусклая, но все же луна; и я знал: если облака разойдутся, после полуночи сделается светлее.

Я дошел до дома, постучался, и мой слуга распахнул дверь, улыбаясь до ушей.

— Все в полном порядке, сэр; ни малейших неудобств.

— Ох! отозвался я, несколько разочарованный. Так ты не слышал и не видел ничего необычного?

— Ну, сэр, я должен признать, что слышал нечто странное.

— Что же? Что?

— Звук шагов за спиной; а пару раз тихие отголоски, вроде шепота, у самого уха; вот и все.

— Ты не испугался?

— Я? Ничуть, сэр! и отважный взгляд слуги убедил меня в одном, а именно: что бы ни случилось, он меня не покинет.

Мы стояли в прихожей, парадная дверь закрылась, и я обратил внимание на собаку. Пес вихрем ворвался в дом, но тут же, поджав хвост, прынул обратно к двери, и теперь царапался и повизгивал, требуя, чтобы его выпустили. Я потрепал бультерьера по загривку и принялся ласково его уговаривать; пес вроде бы примирился с неизбежным и последовал за мной и Ф. на обход дома, однако жался к моим ногам, вместо того, чтобы умчаться вперед на разведку,

как поступал всегда в незнакомых местах.

Сперва мы побывали в подвальных помещениях, в кухне и прочих службах, и, безусловно, в погребах; в последнем из них отыскиались две или три бутылки вина, забытые в клетке и затянутые паутиной; судя по их виду, их не трогали вот уже много лет. Надо полагать, призраки исповедовали трезвый образ жизни. Что до остального, ровным счетом ничего интересного мы не нашли. За домом обнаружился мрачноватый задний дворик, окруженный исключительно высокими стенами. На камнях поблескивали капельки влаги; благодаря сырости, а также пыли и саже, там, где мы шли, на мощеной поверхности оставались легкие следы.

Тут-то и явил себе первый из удивительных феноменов, кои мне своими глазами довелось наблюдать в этом необыкновенном обиталище. Я увидел, как прямо передо мною вдруг возник отпечаток ноги возник сам по себе.

Я остановился, схватил слугу за руку и указал на след. Рядом с первым оттиском так же внезапно образовался еще один. Мы оба это видели. Я быстро шагнул к нужному месту, но след заскользил прочь от меня, след совсем крохотный явно детский; по отпечатку столь слабому затруднительно было определить форму, но нам обоим показалось, что это оттиск босой ноги. Едва мы достигли противоположной стены, явление прекратилось, и на обратном пути не повторилось более.

Мы снова поднялись по лестнице и осмотрели комнаты первого этажа, столовую, крохотную заднюю комнату и еще меньшую комнатенку возможно, некогда предназначавшуюся для лакея, везде царил мертвая тишина.

Затем мы побывали в гостиных; здесь, в обновленных апартаментах, запустения не ощущалось. В парадной гостиной я уселся в кресло. Ф. поставил на стол подсвечник, при помощи которого освещал нам путь. Я велел слуге закрыть дверь. Он повернулся и тут кресло, стоявшее у противоположной стены, быстро и бесшумно стронулось с места и встало напротив меня, на расстоянии ярда.

— Да это забавнее, чем вращающиеся столы! заметил я с натянутым смешком; и при этом звуке пес запрокинул голову и завыл.

Не заметив перемещений кресла, Ф. вернулся к собаке и принялся ее успокаивать. Я по-прежнему не сводил с кресла глаз, и вот мне померещилось, что я различаю в нем бледный, голубоватый, туманный контур человеческой фигуры, однако настолько неясный, что я не был уверен, не подводит ли меня собственное зрение. Бультерьер тем временем затих.

— Поставь на место это кресло, приказал я слуге. Отодвинь назад к стене.

Ф. повиновался.

— Это вы, сэр? вдруг спросил он, резко оборачиваясь.

— Я? Что?

— Что-то меня ударило. По плечу, резко вот сюда.

— Я тут ни при чем, отозвался я. Тут у нас, похоже, завелись фокусники; может быть, их трюков мы и не разгадаем, зато их самих поймает с поличным куда раньше, чем они нападут на нас.

Мы недолго задержались в гостиных там было так сыро и холодно, что мне не терпелось подняться наверх, к очагу. Двери гостиных мы заперли, надо заметить, что эту меру предосторожности мы предприняли в отношении всех помещений нижнего этажа, нами обследованных.

Спальня, выбранная для меня слугой, оказалась лучшей на всем этаже просторная, с двумя окнами, выходящими на улицу. Внушительная кровать с пологом возвышалась напротив очага, в котором плясало яркое, живое пламя; дверь в стене слева, между окном и кроватью, вела в комнатку, где предстояло расположиться слуге. Это тесное помещение с диван-кроватью не сообщалось с лестницей иных дверей, помимо той, что вела в мою спальню, мы не обнаружили. По обе стороны от очага располагались стенные шкафы, в тон со стенами, и оклеенные теми же блекло-коричневыми обоями. Мы заглянули внутрь нашли только вешалки для женских платьев, и ничего более; мы исследовали стены убедились, что

они явно сплошные и явно выходят на улицу. Закончив изучение этих апартаментов, я секунду-другую постоял у огня, зажег сигару и, по-прежнему в сопровождении Ф., вышел из спальни, дабы продолжить осмотр дома.

На лестничной площадке обнаружилась еще одна дверь, плотно закрытая.

— Сэр, удивленно заметил мой слуга, я отпер эту дверь вместе с прочими сразу по прибытии; запереть ее изнутри невозможно, потому что...

Не успел он закончить фразы, как дверь, к которой ни один из нас не прикасался, бесшумно отворилась сама по себе. Мгновение мы глядели друг на друга. Одна и та же мысль пришла в голову обоим здесь не обошлось без человеческого участия. Я вбежал первым, слуга за мной. За дверью оказалась пустая и мрачная обставленная комнатуха: взгляд различал несколько порожних коробок и корзин в углу, да крохотное окно с закрытыми ставнями; взгляд не усматривал ни очага, ни другой двери, помимо той, через которую мы вошли, ни ковра на полу: сам пол, неведомо когда настеленный, неровный, изъеденный червями, был тут и там залатан, судя по проплешинам более светлого дерева. Мы не нашли ни души равно как и места, где живое существо сумело бы спрятаться.

Пока мы стояли, оглядываясь по сторонам, дверь, через которую мы вошли, затворилась так же тихо, как и открылась. Мы оказались в западне.

Впервые я ощутил приступ безотчетного страха. Слуга, впрочем, проявил должную стойкость.

— Тоже мне заманили в ловушку, сэр; да я вышибу эту жалкую дверь одним ударом ноги!

— Сперва попробуй, не удастся ли справиться при помощи рук, посоветовал я, гоня неясную тревогу, меня обуявшую, а я открою ставни и погляжу, что там за окном.

Я отодвинул шпингалет и распахнул ставни: окно выходило на внутренний дворик, описанный выше; карниза не было стена обрывалась совершенно отвесно. Выбравшись из этого окна, человек не нашел бы, куда поставить ногу, и рухнул бы прямо на камни.

Тем временем Ф. тщетно пытался открыть дверь. Наконец он обернулся ко мне и попросил разрешения применить силу. И здесь следует отметить, воздавая должное слуге, что он и не думал поддаваться суеверным страхам; напротив, его выдержка, спокойствие и даже веселость в обстоятельствах столь необычных вызвали мое восхищение, и я поздравил себя с тем, что заручился спутником, во всех отношениях подходящим к случаю. Требуемое разрешение было ему охотно даровано. Но, хотя и он отличался недюжинной статью, грубая сила ни к чему не привела, равно как и более деликатные попытки; дверь даже не дрогнула под самыми мощными пинками. Тяжело дыша, он отступился.

Затем за дверь взялся я и с тем же успехом. Прекратив бесполезные старания, я снова ощутил приступ ужаса; но на этот раз еще более леденящего и неумолимого. Мне казалось, что от щелей шероховатого пола поднимаются неведомые, жуткие испарения, и ядом разливаются в воздухе, угрожая человеческой жизни. Дверь открылась очень медленно и тихо, словно по собственной воле. Мы опрометью выбежали на лестничную площадку. И оба увидели, как огромное, бледное пятно света размером с человеческую фигуру, но бесформенное и бесплотное заскользило впереди нас и поднялось вверх по лестнице, ведущей в мансарду. Я поспешил за светом, а слуга за мной. Световое пятно свернуло направо, в небольшой чулан, дверь которого была открыта. Я вошел следом. Свет сконцентрировался в крохотную шаровидную каплю, ослепительно-яркую и подвижную; на мгновение капля повисла над постелью в углу, затем задрожала и исчезла. Мы подошли к кровати и осмотрели ее самая обыкновенная односпальная кровать с балдахином, из тех, что являются традиционным атрибутом мансарды, отведенной для слуг. На комодке рядом мы нашли старый, выцветший шелковый платок; в прорехе, зашитой до середины, до сих пор торчала иголка. Платок был покрыт слоем пыли; возможно, он принадлежал той самой старухе, что умерла в доме последней; вероятно, чулан служил ей спальней. У меня достало любопытства выдвинуть ящики: внутри обнаружились разные детали дамского туалета и два письма, перевязанные узкой ленточкой поблекшего желтого цвета. Я позволил себе

завладеть письмами.

Ничего больше, достойного упоминания, в комнате мы не нашли, и световое пятно больше не появлялось; но, уже собираясь уходить, мы отчетливо слышали чью-то поступь, легкий топоток прямо перед нами.

Мы прошли через все комнаты мансарды (в общей сложности четыре); эхо шагов по-прежнему звучало впереди. Взгляд не различал ровным счетом ничего, но топоток не умолкал. Я держал письма в руке; спускаясь по лестнице, я ясно почувствовал, как кто-то схватил меня за запястье и предпринял слабую, еле ощутимую попытку вырвать письма. Я крепче сжал пальцы, и борьба тут же прекратилась.

Мы возвратились в мою спальню, и тут я заметил, что пес не последовал за мной, когда мы ушли. Бультерьер жался ближе к огню и весь дрожал. Мне не терпелось изучить письма; пока я их читал, слуга открыл ящичек, в который поместил оружие, мною затребованное; извлек на свет и кинжал, и револьвер, выложил их на стол у изголовья кровати, а затем принялся успокаивать собаку, но не особенно преуспел.

Письма оказались краткими; на них обнаружили даты тридцатипятилетней давности. То были послания от любовника к возлюбленной, либо от мужа к молодой жене. Не только обороты речи, но и прямое упоминание о былом путешествии указывало на то, что автор некогда принадлежал к числу морских скитальцев. Орфография и почерк выдавали человека малообразованного, однако сам по себе язык отличался своеобразной выразительностью. В изъявлениях нежности звучала иступленная, неистовая любовь: но тут и там встречались неясные, мрачные намеки на некую тайну, к любви отношения не имеющую на некий секрет, очевидно, связанный с преступлением.

«Нам должно любить друг друга, гласила одна запомнившаяся мне фраза, ведь теперь каждый преисполнен бы отвращения к нам, если бы все открылось». И еще: «Не позволяй никому оставаться с тобой в одной комнате на ночь ты разговариваешь во сне». И еще: «Сделанного не воротишь; но говорю тебе, против нас нет ни малейших улик, разве что мертвые смогли бы вернуться к жизни». Здесь обнаружилась приписка, сделанная изящным женским почерком: «Они это могут!» В конце письма, датированного более поздним числом, та же женская рука начертала: «Погиб в море 4 июня, в тот же самый день, когда...»

Я отложил письма в сторону и принялся размышлять над их содержанием.

Опасаясь, однако, что подобное направление мыслей не лучшим образом скажется на состоянии нервной системы, я твердо решил сохранить должную рассудительность, способную с честью противостоять любым чудесам, чего бы уж там ни сулила грядущая ночь. Я встал, отложил письма на столик, подбросил дров в огонь, что по-прежнему весело и ярко пылал в очаге, открыл том Маколя, и читал, без каких бы то ни было помех, до половины восьмого. Затем, не раздеваясь, улегся на кровать и велел слуге отправиться к себе, но ни в коем случае не засыпать. Дверь, разделяющую обе комнаты, я оставил открытой.

Оставшись один, я поставил на стол у изголовья кровати две горящие свечи, положил часы рядом с оружием и преспокойно принялся за Маколя.

Напротив меня жарко горел огонь; на коврике у очага лежал пес, очевидно, задремав. Минут через двадцать я почувствовал, как у самой моей щеки потянуло холодным воздухом, словно в комнату, откуда ни возьмись, ворвался сквозняк.

Я решил было, что открылась дверь направо, та, что выходила на лестницу; но нет, ничего подобного. Я посмотрел налево: пламя свечей подрагивало и металось, словно на ветру. В то же мгновение часы, лежащие подле револьвера, медленно соскользнули со столика тихо-тихо, руки я не увидел, но часы исчезли. Я вскочил, одной рукою схватил револьвер, другой кинжал; мне совсем не хотелось, чтобы оружие разделило судьбу часов. Вооружившись до зубов, я оглядел пол: часы пропали бесследно.

Что-то ударило в головье кровати: громкий, отчетливый, размеренный стук прозвучал трижды, и мой слуга крикнул:

— Это вы, сэр?

— Нет; будь настороже.

Бультерьер проснулся и уселся на задние лапы, уши его быстро двигались вперед-назад. Пес не сводил с меня взгляда настолько странного, что все мое внимание поневоле сосредоточилось на нем. Он медленно поднялся, оцетинился и застыл неподвижно; в глазах читалось все то же безумное выражение.

Однако теперь мне было не до собаки. Из смежной комнаты явился мой слуга; если я когда-либо и видел ужас в лице человеческого, этот момент настал. Встретив Ф. на улице, я бы не узнал его, настолько исказились его черты. Слуга вихрем пронесся мимо меня, еле слышно прошептав:

«Бегите, бегите! Оно гонится за мной!» Бедняга добежал до двери, распахнул ее и выскочил на лестничную площадку. Я непроизвольно последовал за ним и окликнул, веля остановиться; но, не слыша меня, он промчался вниз по лестнице, цепляясь за перила и перескакивая через несколько ступенек сразу. Я слышал, как входная дверь открылась и снова захлопнулась. Я остался один.

Только мгновение я колебался, думая, не последовать ли примеру слуги; но гордость и любопытство в равной степени не позволили мне позорно обратиться в бегство.

Я вернулся в спальню, закрыл за собою дверь и осторожно вступил в смежный покой. Я не обнаружил ничего такого, что оправдало бы страх моего слуги. Я снова тщательно изучил стены, проверяя, не обнаружится ли потайной двери. По-прежнему ни следа тускло-коричневые обои затягивали стены сплошняком, не видно было даже места стыка. Откуда же Тварь (уж кем бы она ни оказалась), перепугавшая беднягу до такой степени, проникла внутрь, ежели не через мою собственную спальню?

Я вернулся к себе, закрыл и запер дверь смежной комнаты и остановился перед очагом, не теряя бдительности, ко всему готовый.

Я видел, что собака забилась в угол и всем телом прижимается к стене, словно пытаясь в буквальном смысле слова протиснуться внутрь. Я подступился к бультерьеру и заговорил с ним; тот явно себя не мнил от ужаса. Он скалил зубы, с клыков капала слюна; прикоснись я к нему, пес всенепременно укусил бы меня. Похоже, бультерьер меня не узнавал.

Кто видел в Зоологическом саду кролика, забившегося в угол под гипнотизирующим взглядом змеи, тот отчасти сможет вообразить себе страдания моего пса.

Видя, что все мои усилия успокоить бультерьера ни к чему не приводят, и опасаясь, что его укус в этом состоянии окажется столь же смертоносным, как в случае бешенства или водобоязни, я оставил пса в покое, выложил оружие на стол у огня, уселся сам и снова взялся за Маколея.

Чтобы не создалось впечатления, будто я ставлю себе в заслугу храбрость, или, скорее, хладнокровие, кои читатель может счесть отчасти преувеличенными, да простится мне, если я отвлекусь и позволю себе одно-два самонадеянных замечания.

Поскольку я считаю, что выдержка, иначе называемая храбростью, прямо пропорциональна привычности обстоятельств, помнятое ощущение обуславливающих, я должен сказать, что давно знаком со всеми экспериментами, относящимися к области Чудесного. Я наблюдал немало весьма необычных явлений в разных частях света явлений, которые, возьмись я их охарактеризовать, слушатель счел бы вымыслом либо приписал воздействию сверхъестественных сил.

Моя теория состоит в следующем: Сверхъестественное суть Невозможное, а то, что обычно называется сверхъестественным всего лишь одно из проявлений законов природы, относительно коего мы до поры пребываем в неведении.

Так что, если передо мною вдруг явится призрак, я не имею права сказать: «Итак, сверхъестественное возможно», но скорее: «Итак, явление призрака, вопреки общепринятому мнению, соответствует законам природы т. е. сверхъестественным не является».

При этом, во всем, что мне доселе доводилось наблюдать, и, по чести говоря, во всех чудесах, что современные дилетанты-любители тайн почитают непреложным фактом, всегда

требуется посредничество живого человека, то есть материального фактора. На континенте и по сей день встречаются маги, претендующие на то, что они, якобы умеют вызывать духов. Допустим на мгновение, что это правда; и все же одушевленный, материальный объект, т. е. маг при том присутствует; именно он и является тем вещественным орудием, посредством которого, благодаря определенным особенностям конституции, те или иные непривычные явления воспринимаются нашими органами чувств.

Опять-таки, допустим, что не лгут истории о вестях из потустороннего мира, столь распространенные в Америке из ниоткуда доносятся музыкальные и иные звуки, невидимая рука чертит письма на бумаге, предметы мебели передвигаются сами по себе, как бы без участия человека, либо кто-то видит и ощущает прикосновение рук, лишенных тела — все равно при этом требуется посредничество медиума, то есть живого существа, наделенного физическими особенностями, каковые и обуславливают подобные явления. Короче говоря, во всех этих чудесах, даже если предположить, что речь идет не о мошенничестве, должен присутствовать человек вроде нас, посредством которого, или через которого, производятся подобные эффекты.

Так обстоит дело с широко распространенным ныне явлением гипноза или электробиологии; на ум объекта воздействуют через материального посредника. Даже если предположить, что загипнотизированный объект воздействия и в самом деле подчиняется воле или пассам гипнотизера, находящегося на расстоянии ста миль; все равно отклик вызван материальным фактором; воздействие осуществляется посредством материальных флюидов назовите их Электричеством, назовите Одом (Од гипотетическая всепроникающая сила, описанная в трудах барона Карла фон Рейхенбаха (1788–1869), немецкого естествоиспытателя и, якобы, объясняющая явление гипноза и животного магнетизма; проявления ее заметны лишь особым «сенситивам», преимущественно людям, страдающим различными расстройствами нервной системы), назовите как угодно, что обладают способностью преодолевать пространство и проникать сквозь преграды, так что материальный эффект передается с одного объекта на другой.

Отсюда все, что я до сих пор видел либо ожидал увидеть в этом необычном доме, по моим представлениям, осуществлялось благодаря вмешательству медиума, то есть такого же смертного, как и я, и эта мысль полностью исключала благоговейный страх, каковой в ходе приключений достопамятной ночи неизбежно подчинил бы себе тех, кто воспринимает как сверхъестественное все выходящее за пределы привычных явлений природы.

Итак, поскольку я предполагал, будто все, что явилось или еще будет явлено моему восприятию, исходит от человека, обладающего врожденной способностью вызывать подобные эффекты и имеющего причину это делать, моя теория вызвала во мне интерес скорее философский, нежели суеверный.

Так что могу сказать, положив руку на сердце, что я сохранял невозмутимую способность к наблюдению, подобно любому экспериментатору-практику, ожидающему результатов редкого, и, возможно, опасного сочетания химических элементов.

Разумеется, чем надежнее ограждал я разум от влияния воображения, тем более подобный душевный настрой располагал к беспристрастному наблюдению; так что я обратил взгляд и мысль к ясным, словно день, рассуждениям Маколея.

Но вот я почувствовал, как нечто новое встало между страницей и источником света; на книгу пала тень.

Я поднял глаза и увидел то, что с трудом поддается описанию, ежели вообще поддается.

То была Тьма, возникшая из воздуха Тьма крайне неопределенных очертаний. Не могу сказать, что она приняла человеческое обличие, и однако же более походила на человека, или скорее тень, нежели на что другое.

Она застыла на месте отчетливым пятном, резко обособленная от воздуха и света; исполинских размеров, она уходила под самый потолок. Я не сводил с нее глаз: ощущение стылого холода охватило меня. Даже оказавшись рядом с айсбергом, я не заледенел бы до

такой степени; мороз, исходящий от айсберга, не казался бы настолько ощутимо-реальным. Я был убежден, что озноб мой вызван отнюдь не страхом.

Я продолжал наблюдать; мне почудилось, впрочем, за это не могу поручиться, что я различаю два глаза, взирающие на меня сверху. В первое мгновение показалось, будто я вижу их ясно, в следующую секунду они словно бы исчезли; но по-прежнему два бледно-голубых луча то и дело рассекали тьму с высоты, на которой мне примерещились глаза.

Я попытался заговорить голос подвел меня; я мог только повторять про себя: «Это страх? Нет, это не страх!» Я попытался встать тщетно; на меня словно бы навалилось неодолимое бремя.

В самом деле, впечатление было такое, словно всевластная, всеподчиняющая Сила противилась моему желанию; это ощущение полной беспомощности перед мощью превыше человеческой, которое человек испытывает в физическом плане при шторме, на пожаре, столкнувшись с хищным диким зверем, или, скорее, морской акулой, это ощущение я испытал в плане моральном. Моей воле противостояла воля чужая, превосходящая ее в той же степени, в какой шторм, огонь и акула превосходят в материальном отношении силу человека.

И теперь, по мере того, как это впечатление подчиняло меня себе, наконец-то нахлынул ужас ужас, который невозможно передать словами.

Однако у меня еще осталась гордость, если не смелость; и мысленно я сказал себе так: «Это ужас, но это не страх; до тех пор, пока я не поддамся страху, повредить мне невозможно; мой разум не приемлет кошмарного видения; это только иллюзия я ничего не боюсь».

Нечеловеческим усилием я сумел, наконец, протянуть руку к оружию на столе; и тут что-то ударило меня в плечо и рука безжизненно повисла вдоль тела.

И вот, умножая мой ужас, пламя свечей начало медленно меркнуть: они не погасли, нет, но огонь постепенно убывал; то же самое происходило с очагом свет из него словно вычерпывали; спустя несколько минут в комнате воцарился крошечный мрак. При мысли о том, что я оказался в темноте наедине с порождением Тьмы, сила которого ощущалась так явственно, накатил паника, и нервы мои не выдержали. По сути дела, ужас достиг своего апогея: я должен был либо лишиться чувств, либо прорваться сквозь наваждение.

И я прорвался. Я снова обрел голос пусть срывающийся на крик. Я помню, что воскликнул что-то похожее на: «Я не боюсь, моя душа не боится!» и в то же время нашел в себе силы встать. В непроглядной мгле я ринулся к окну, рывком отдернул занавеску и распахнул ставни; первой моей мыслью было свет! Когда высоко в небе я увидел луну, ясную и безмятежную, радость, нахлынувшая на меня в тот момент, вполне вознаградила меня за пережитый кошмар.

Луна сияла; в придачу к ней на пустынной, уснувшей улице мерцали газовые фонари. Я оглянулся и обвел взглядом спальню: бледные лучи луны лишь отчасти разгоняли тени, но все-таки это был свет.

Порождение тьмы, что бы оно из себя не представляло, исчезло; если не считать того, что я по-прежнему различал смутную тень словно отражение пресловутого сгустка мрака на фоне противоположной стены.

Я перевел взгляд на старинный, круглый стол красного дерева: из-под стола (на нем не было ни скатерти, ни иного покрытия) показалась рука, видимая до запястья. Эта кисть, по виду судя, из плоти и крови, под стать моей собственной, принадлежала человеку преклонных лет, исхудалая, морщинистая, крохотная явно женская кисть. Пальцы неслышно сомкнулись на двух письмах, лежащих на столе; в следующее мгновение и рука, и письма исчезли. Затем послышались три громких, размеренных удара в изголовье кровати, тот же самый стук, что мне довелось услышать перед началом этой удивительной драмы.

По мере того, как звуки медленно затихали, я почувствовал, как ощутимо вибрирует вся комната; а затем в дальнем ее конце над полом взмыли многоцветные искры или капельки вроде пузырьков света зеленые, желтые, огненно-алые, лазурные. Вверх и вниз,

туда и сюда, вперед и назад, словно крохотные болотные огни, заматались искры, то замедляя, то ускоряя полет, каждая следуя собственной прихоти.

Кресло (как и в гостиной нижнего этажа) отодвинулось от стены без чьей-либо помощи и переместилось к противоположному концу стола.

Вдруг, словно отделившись от кресла, возникла фигура женщины: отчетливо различимая, словно отображение жизни; мертвенно-бледная, словно отображение смерти. Юное лицо заключало в себе странную, скорбную красоту; шея и плечи были обнажены, остальное скрывали просторные облачно-белые одежды. Она принялась приглаживать длинные, золотые, рассыпавшиеся по плечам волосы; взгляд был обращен не на меня, но на дверь; незнакомка словно прислушивалась, наблюдала, ждала. Отражение тени на заднем плане сгустилось, и снова померещилось мне, будто в верхней части темного пятна поблескивают глаза глаза, устремленные на привидение.

И вот от двери, хотя она и не открылась, явилась новая фигура, столь же отчетливая, столь же призрачная, фигура мужчины, или, точнее, юноши. Он был облачен в костюм прошлого века, или, скорее, в подобие этого костюма (ибо обе тени, мужская и женская, хотя и четко очерченные, представляли собою лишь видения, фантомы бесплотные, неосязаемые); и нечто несообразное, гротескное, и вместе с тем жуткое заключал в себе контраст между изысканными украшениями, элегантной утонченностью старомодного платья с его гофрированными манжетами, и кружевами, и пряжками, и трупным видом и призрачной неподвижностью иллюзорного владельца. Едва мужская фигура приблизилась к женской, от стены отделилась темная Тень, и все трое на мгновение потонули во мраке.

Когда снова замерцал бледный свет, оба фантома оказались словно в когтях Тени, что возвышалась между ними; и на груди женщины алело кровавое пятно, а призрачный юноша опирался на призрачную шпагу, и кровь потоком струилась по манжетам и кружевам; но тут темнота Тени поглотила их обоих они исчезли. И снова взмыли вверх пузырьки света, и поплыли в воздухе, и волнообразно заколебались; их становилось все больше, и все более беспорядочной казалась неистовая круговерть.

Тут отворилась дверь стенового шкафа справа от очага, и в проеме появилась фигура пожилой женщины. В кулаке она сжимала письма те самые письма, над которыми на моих глазах сомкнулась Рука; и позади нее я услышал шаги. Она обернулась, словно прислушиваясь, а затем вскрыла письма и принялась читать; а за ее плечом маячило посиневшее лицо, лицо давно пролежавшего в воде утопленника, распухшее, бледное в мокрых волосах запутались водоросли; у ног госты лежало нечто бесформенное, напоминающее труп, а рядом с трупом дрожал ребенок, жалкий, грязный заморыш с запавшими от голода щеками и испуганным взглядом. Я пригляделся к старухе: морщины и складки исчезли, передо мной было лицо девушки лицо холодное и жестокое, но все-таки юное; и Тень метнулась вперед, и окутала тьмой эти призраки, точно так же, как и первые.

Ничего не осталось, кроме Тени; я не сводил с нее взгляда, и вот во мгlistом облаке снова обозначились глаза злобные, змеиные глаза. Опять взлетели и опали пузырьки света; в их беспорядочный, хаотический, буйный круговорот вплетались бледные лучи луны. И вот из капелек, словно из скорлупы яйца, вырвались мерзостные твари; воздух наполнился ими; личинок столь бескровных и гнусных я описать не в состоянии, иначе как напомнить читателю о бурлении жизни, что солнечный микроскоп открывает взгляду в капле воды; прозрачные, упругие, верткие твари гонялись друг за другом, пожирали друг друга подобных форм невооруженному глазу еще не доводилось видеть. Как сами создания не отличались симметрией, так движения их не отличались упорядоченностью. В самом неистовстве их не было веселья; они кружились вокруг меня все более плотным роем, все стремительнее, все быстрее, они кишели над головой, они ползали по правой руке, которую я непроизвольно вытянул вперед в ограждающем жесте против любого зла. Порою я ощущал прикосновения, но не личинок; меня касались невидимые ладони. Один раз я почувствовал, как на моем горле сомкнулись холодные, мягкие пальцы. Я по-прежнему ясно осознавал: если я поддамся страху, моя жизнь окажется под угрозой, и я направил все свои силы в единое русло, в русло

сопротивляющейся, упорной воли. Я отвернулся от Тени в первую очередь от странных змеиных глаз глаз, что теперь обозначились весьма отчетливо. Ибо там, только там и нигде больше, я ощущал волю, волю интенсивного, изобретательного, деятельного зла, что могла сокрушить мою собственную.

Белесое марево в комнате приобрело багровый оттенок, как это бывает с воздухом поблизости от места пожара. Личинки сделались огненно-алыми, словно порождения пламени. Комната снова завибрировала; снова послышались три размеренных удара; и снова все потонуло в темноте темной Тени, словно из этой тьмы все появилось, и в нее же все ушло.

Когда мгла рассеялась, Тень сгинула, словно ее и не было.

Медленно, точно так же, как убывало, пламя снова вошло в свечи на столе, в дрова очага. Комната обрела мирный, благопристойный вид.

Обе двери по-прежнему были закрыты; дверь, сообщающаяся с комнатухой слуги, оставалась запертой. В углу, куда он так конвульсивно забился, лежал пес. Я позвал его ответа не последовало; я приблизился бультерьер был мертв; глаза закатились, язык свешивался из пасти, на клыках выступила пена. Я взял пса на руки и отнес к огню; я остро переживал гибель моего бедного любимца и терзался муками совести, обвиняя себя в его смерти; я полагал, что умер он от страха. Но каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что у собаки сломана шея! Это произошло в темноте? Неужели это дело рук человеческих, таких же, как мои? Неужели все-таки не обошлось без вмешательства человека здесь, в этой комнате? Очень похоже на то. Не могу утверждать наверняка. Могу только беспристрастно изложить факты; читатель волен сам сделать выводы.

Еще одно удивительное обстоятельство: мои часы вернулись на стол, откуда столь таинственным образом были похищены, однако остановились в момент похищения; и сколько ни бился над ними часовщик, починить часы так и не удалось порою стрелки начинают беспорядочно вращаться, это продолжается несколько часов а затем часы снова останавливаются. Хоть выброси!

Оставшаяся часть ночи прошла спокойно; вскорости взошло солнце.

Дождавшись, чтобы окончательно рассвело, и ни минутой раньше, я покинул дом с привидениями. Прежде, чем уйти, я вновь заглянул в крохотную глухую комнатуху, где мой слуга и я на время оказались пленниками. Меня не оставляло отчетливое ощущение, объяснить его я не могу, что именно в этой комнате находится механизм, порождающий явления, да простится мне этот термин! которые давали о себе знать в спальне. И хотя на тот раз я вошел туда при дневном свете, и сквозь прозрачное окно проглядывало солнце, стоя на полу, я снова содрогнулся от ужаса, того самого, что впервые нахлынул на меня накануне вечером и что несказанно усилился в результате пережитого в спальне.

По чести говоря, я так и не смог заставить себя задержаться в этих стенах более чем на полминуты. Я спустился с лестницы и снова услышал за спиной шаги; когда же я открыл входную дверь, мне показалось, что раздался тихий смех.

Я вернулся домой, ожидая найти там сбежавшего слугу. Но на квартире его не оказалось; в течение трех дней я ничего о нем не слышал, а потом получил письмо из Ливерпуля, в котором говорилось следующее:

Достопочтимый сэръ!

Всепокорнейше прошу простить меня, хотя и не смею надеяться на ваше снисхождение, разве что не дай Боже! вы видели то же самое, что и я.

Боюсь, что мне понадобятся годы, чтобы прийти в себя; что до пригодности к услужению, об этом речь вообще не идет. Засим я уезжаю к моему шурину в Мельбурн. Корабль отходит завтра. Может быть, долгое путешествие пойдет мне на пользу. Сейчас я то и дело вздрагиваю и трясусь от страха, воображая, что Оно подкрадывается сзади. Смиренно молю вас, достопочтимый сэръ, распорядиться, чтобы мою одежду и причитающееся мне жалованье отослали к моей матушке в Уолворт Джон знает ее адрес.

Письмо заканчивалось пространными, весьма сбивчивыми извинениями, и подробными указаниями касательно того, как распорядиться собственностью отправителя.

Это бегство вполне может привести на мысль о том, что мой слуга лелеял планы уехать в Австралию и так или иначе мошеннически инсценировал происшествия памятной ночи. Я ни словом не стану опровергать это предположение: напротив, предлагаю его большинству в качестве наиболее правдоподобного объяснения неправдоподобных событий.

Что до меня, я непоколебимо верю в собственную теорию.

Вечером я возвратился в загадочный особняк, чтобы увезти в наемном кэбе оставленные мною вещи и труп бедного пса. За этим делом ничто меня не беспокоило, и ничего достойного упоминания со мною не приключилось; однако поднимаясь и спускаясь по лестницам, я по-прежнему слышал впереди звук шагов. Покинув здание, я отправился к мистеру Дж. Он оказался дома.

Я вернул ему ключи, заверил, что любопытство мое полностью удовлетворено, и уже собрался было вкратце пересказать все происшедшее, но тут мистер Дж. остановил меня и сказал, хотя и весьма вежливо, что его более не интересует тайна, которую никто не смог разгадать.

Но я твердо решил сообщить ему по меньшей мере о двух письмах, с содержанием коих ознакомился, а также об их удивительном исчезновении, а затем осведомился, не адресованы ли послания той самой женщине, которая умерла в доме, и не содержит ли ее биография каких-нибудь фактов, по возможности подтверждающих черные подозрения, основания для которых дают письма. Мистер Дж. слегка удивился, подумал несколько мгновений и ответил:

— Я плохо осведомлен о прошлом этой женщины; повторю лишь, что мои родственники знали ее семью. Но вы воскресили смутные воспоминания касательно некоего предубеждения против нее. Я наведу справки и дам вам знать о результатах. Однако же, если бы мы признали истинность распространенного поверья, согласно которому инициаторы или жертвы кровавых преступлений могут возвращаться в обличий неугомонных призраков к месту трагедии, я заметил бы, что странные видения и звуки наводняли дом задолго до того, как эта женщина умерла. Вы улыбаетесь что вы скажете на это?

— Скажу, что я убежден: если мы доберемся до сути таинственных происшествий, мы обнаружим влияние человеческого фактора.

— Как! Вы полагаете, что все это мошенничество? Но зачем?

— Нет, не мошенничество в обычном понимании этого слова. Если мне вдруг случится заснуть крепким сном, от которого вы не сможете меня пробудить, но во сне я отвечу на ряд вопросов с точностью, на которую не претендую в состоянии бодрствования: скажу вам, сколько денег у вас в кармане, или, допустим, подробно опишу ваши мысли это ведь нельзя считать мошенничеством точно так же, как нельзя считать и сверхъестественным явлением. Я, сам того не осознавая, окажусь под гипнотическим влиянием, подчинившим меня на расстоянии по воле человека, получившего надо мною власть в силу уже состоявшегося общения.

— Но если гипнотизер умеет таким образом влиять на живое существо, вы полагаете, что гипнотизер может воздействовать также и на неодушевленные предметы: двигать кресла, открывать и закрывать двери?

— Либо заставлять наши органы чувств воспринимать иллюзию как реальность мы ведь никогда не общались с лицом, на нас воздействующим?

Нет. Гипнозу в обычном понимании этого слова подобное не под силу; но, может статься, на свете существует сила, схожая с гипнозом и далеко превосходящая его то, что в старину называлось Магией. Я не утверждаю, что такой силе подвластны все неодушевленные предметы без исключения; но даже будь это так, это не противоречило бы законам природы речь идет всего лишь о редкостном врожденном свойстве, каковое может проявляться в конституции, наделенной определенными особенностями, и развиваться до

исключительных пределов посредством долгой практики. Согласно весьма древней, хотя и позабытой теории, относительно которой я не рискну высказывать своего мнения, подобная сила может распространяться и на мертвых то есть, на определенные мысли и воспоминания, сохранившиеся у покойников, а также способна явить нашим органам чувств не то, что следует называть Душой и что человеку неподвластно, а что скорее фантом, отображение всего наиболее суетного и «приземленного» на этой земле. Но сверхъестественным явлением я подобную силу не сочту.

Позвольте мне проиллюстрировать мою мысль, сославшись на некий эксперимент: Парацельс называет его нетрудным, а автор «Литературных Курьезов» почитает правдоподобным. Вянет цветок; вы его сжигаете. Какие бы элементы не входили в состав цветка при жизни, они исчезли, рассеялись неведомо куда; вы не можете ни отыскать их, ни собрать заново. Но вы можете, при помощи химии, из пепла цветка возродить призрак цветка, в точности напоминающий живое растение. То же самое можно проделать и с человеком. Душа так же недоступна вам, как суть элементов цветка.

Однако вы можете вызвать призрак. Этот фантом, каковой люди суеверные почитают душой умершего, не следует смешивать с настоящей душой; перед нами всего лишь отображение брэнной оболочки. И здесь, как в самых достоверных историях о привидениях и духах, больше всего потрясает нас отсутствие того, что мы зовем душой; то есть, высшего свободного разума. Эти призраки приходят за малым или вовсе ни за чем; они редко разговаривают, даже и появившись; а если и заговорят, так не скажут ничего более значимого, нежели под силу заурядному обывателю.

Американские духовидцы опубликовали целые тома сообщений потустороннего мира, в прозе и в стихах, каковые выдаются за откровения наиболее прославленных покойников Шекспира, Бэкона, Бог знает кого.

Однако даже лучшие образчики подобных посланий, безусловно, ни на йоту не превосходят высказываний любого нашего современника, образованного и наделенного умеренным талантом; они далеко уступают тому, что Бэкон, Шекспир и Платон говорили и писали при жизни. Что еще более примечательно, сообщения эти не содержат ни одной новой идеи. Так что, сколь удивительными не казались бы эти явления (допуская, что речь идет не о мошенничестве), я вижу многое, что философия могла бы оспорить, но ничего, что философии пристало бы отрицать то есть, ничего сверхъестественного. Перед нами всего лишь идеи, так или иначе (способ покамест не ясен) передаваемые от одного живого мозга к другому.

Неважно, что при этом происходит, самопроизвольно ли перемещаются столы, или демонические призраки являются в магическом круге, или лишенные тела руки возникают из ниоткуда и похищают материальные предметы, или Порождение Тьмы, вроде того, что предстало мне, леденит нашу кровь я все равно убежден, что это лишь внешние воздействия, передаваемые, словно по электрическим проводам, от чужого мозга к моему собственному. У одних организмов задействован химический состав; конституция такого рода порождает химические чудеса; у других все обуславливают флюиды, назовем их электричеством; эти совершают чудеса электрические. Однако чудеса отличаются от Истинной Науки в следующем: они беспредметны, бесцельны, инфантильны, поверхностны.

Они не дают эпохальных результатов, и, следовательно, мир их не замечает, а настоящие мудрецы их не поощряют. Однако я уверен: все, что я видел или слышал, исходит от человека, такого же, как и я; причем неосознанно, то есть конечных последствий медиум себе не представляет, и вот почему: рассказы очевидцев о пережитом никогда не повторяются, каждый видит что-то свое. Вспомните: ровно так же не случается того, чтобы двоим приснился один и тот же сон. Если бы речь шла о заурядном мошенничестве, оборудование обеспечивало бы приблизительно один и тот же эффект; если бы мы имели дело со сверхъестественным вмешательством, дозволенным Господом, оно непременно преследовало бы некую определенную цель. Эти явления не принадлежат ни к тому, ни к другому классу; я убежден, что рождаются они в чьем-то мозгу, ныне от нас удаленном; этот

мозг порождал те или иные эффекты отнюдь не целенаправленно; происходящее только отражает его противоречивые, разнородные, спутанные, непостоянные, не вполне оформленные мысли; короче говоря, все это только грезы такого мозга, приведенные в действие и наделенные подобием субстанции.

Да, я верю в то, что мозг этот обладает немалым могуществом, что он может привести материю в движение, что он сосредоточие деструктивного зла; некая материальная сила, по всей видимости, убила мою собаку; вероятно, этой силы хватило бы и на то, чтобы убить меня, если бы я поддался страху в той же степени, что и бультерьер, если бы мой разум и моя решимость не уравнивали чаши весов, так что моя воля сумела противостоять чужой.

— Оно убило вашу собаку! Какой ужас! В самом деле, странно, что ни одно животное, даже кошку, не удавалось удержать в этом доме. Там отродясь не водилось ни мышей, ни крыс.

— Низшие твари инстинктивно различают воздействия, угрожающие их жизни. Разум человеческий менее чувствителен, потому что сила сопротивления у него выше. Но довольно; вам понятна моя теория?

— Да, в общих чертах и я охотнее соглашусь с любой галиматьей (простите мне это слово), даже самой невероятной, нежели поверю в призраков и гоблинов, о которых нам прожужжали уши в детской. Но, так или иначе, а мой злосчастный особняк по-прежнему непригоден для жилья.

Что мне прикажете делать с домом?

— Я скажу вам, что бы сделал я. Внутреннее чутье подсказывает мне, что необставленная комнатуха по правую руку от спальни, в которой я провел ночь, является исходной точкой иместилищем тех воздействий, что распространяются по всему дому; я настоятельно советую вам содрать обои, разобрать пол и даже снести всю комнату. Я так понимаю, что она пристроена к основному зданию и возведена на заднем дворе, засим ее можно убрать, не нарушая общей планировки особняка.

— И вы полагаете, если я это сделаю...

— Вы перережете телеграфные провода. Попробуйте! Я так убежден в собственной правоте, что готов взять на себя половину расходов, если вы позволите мне руководить операцией.

— Нет, я вполне могу позволить себе такие издержки; что до остального, я вам напишу.

Десять дней спустя я получил письмо от мистера Дж., в котором говорилось, что со времен нашей встречи он побывал в пресловутом доме; нашел два описанных мною письма, они возвратились в тот самый ящик, откуда я их извлек; прочитал их, вполне разделяя мои недобрые подозрения; осторожно навел справки касательно женщины, которая, как я справедливо предположил, явилась адресатом помянутых посланий.

Оказалось, что тридцать шесть лет назад (за год до даты, проставленной на письмах) она вышла замуж, вопреки воле своих родственников, за американца с весьма сомнительной репутацией; молва утверждала, что прежде он занимался морским разбоем.

Сама она происходила из весьма уважаемой купеческой семьи и до замужества служила в гувернантках. У нее был брат, вдовец, который почитался человеком состоятельным; от брака у него остался единственный ребенок лет около шести.

Спустя месяц после свадьбы тело помянутого брата нашли в Темзе близ Лондонского моста; на горле обнаружили следы насилия, однако их не сочли достаточным основанием для того, чтобы начать следствие, и вердикт «найден утонувшим» остался в силе.

Американец и его жена взяли малыша на свое попечение; покойный брат в завещании назначил сестру опекуницей своего единственного сына а в случае смерти ребенка состояние переходило к сестре.

Спустя шесть месяцев ребенок умер; поговаривали, что с ним дурно обращались и не уделяли бедняжке должного внимания. Соседи утверждали, что по ночам слышали детские крики. Хирург, осмотревший тело, объявил, что организм истощен, словно вследствие недостаточного питания, а руки и ноги покрыты синяками.

Складывалось впечатление, что однажды ночью ребенок попытался бежать, прокрался на задний дворик, попытался взобраться по стене, в изнеможении упал и утром был найден на камнях уже при смерти. Но хотя доказательства жестокого обращения нашлись, доказательств преднамеренного убийства не обнаружилось; тетка и ее муж оправдывались в собственной жестокости, ссылаясь на исключительное упрямство и скверный нрав ребенка, объявленного ими полоумным.

Как бы то ни было, по смерти сироты тетка унаследовала богатство брата.

Но не истек еще первый год со дня свадьбы, как американец внезапно покинул Англию и более туда не возвращался. Он приобрел корабль; спустя два года судно затонуло в Атлантическом океане. Вдова осталась владелицей изрядного состояния, но в силу разных причин понесенные убытки вскорости исчерпали капитал; лопнул банк, прогорело капиталовложение, она занялась мелким бизнесом и разорилась окончательно; затем пошла в услужение, опускаясь все ниже и ниже, от домоправительницы до «прислуги за все» и нигде подолгу не задерживаясь, хотя ничего определенного ей в вину не вменялось. Ее считали женщиной рассудительной, честной и на удивление молчаливой; однако несчастья словно преследовали ее. Так она дошла до рабочего дома, откуда и забрал ее мистер Дж., поместив в тот самый особняк, который она снимала как хозяйка в первый год своего замужества.

Мистер Дж. добавил, что один, без спутников, провел час в необставленной комнате, которую я убеждал уничтожить; и ощущение ужаса оказалось настолько реальным, хотя ни взгляд, ни слух не различали ничего особенного, что он твердо вознамерился, последовав моему совету, оголить стены и разобрать полы. Он нанял рабочих и собирался приступить к делу в любой удобный для меня день.

Итак, день был назначен.

Я прибыл в дом с привидениями; мы вошли в глухую, заброшенную комнату, отодрали плинтуса, а затем разобрали пол.

Под балками, заваленными мусором, обнаружилась потайная дверь достаточно большая, чтобы прошел человек. Дверь была намертво заколочена при помощи железных скоб и заклепок. Избавившись от них, мы спустились в нижнюю комнату, о существовании которой прежде не подозревали. Окно и вытяжная труба, заложенные кирпичами, судя по всему, не открывались вот уже много лет.

При свете свеч мы осмотрели помещение; в нем до сих пор сохранилась кое-какая полуразвалившаяся мебель: три кресла, дубовая скамья-ларь и стол все в стиле восьмидесятилетней давности. У стены притулился комод, в котором мы обнаружили полуистлевшие старомодные предметы мужского туалета, что лет восемьдесят или сто назад носили джентльмены из высшего общества: дорогие стальные пряжки и пуговицы, вроде тех, что и по сей день украшают придворные костюмы, изящная парадная рапира; в кармане камзола, что некогда был богато отделан золотым кружевом, но теперь поблек и потемнел от сырости, мы нашли пять гиней, несколько серебряных монет и билетик цвета слоновой кости, возможно, на какой-нибудь званый вечер, давно канувший в небытие.

Но главным нашим открытием стал привинченный к стене железный сейф; над его замком нам пришлось изрядно потрудиться. В сейфе обнаружили три полки и два небольших выдвижных ящика. На полках выстроились хрустальные флаконы, герметически закупоренные.

В них содержались бесцветные летучие масла, о природе которых могу сказать только, что это были не яды; в состав некоторых входили фосфор и аммиак. Там же нашлись затейливые стеклянные трубочки и крохотный заостренный железный жезл с внушительным набалдашником из горного хрусталя и еще один из янтаря а также магнит исключительной силы.

В одном из ящиков мы обнаружили миниатюрный портрет, оправленный в золото и на удивление хорошо сохранившийся, учитывая, сколько лет он пролежал в сейфе: краски нисколько не поблекли.

На портрете был изображен мужчина в возрасте, возможно, сорока семи или сорока

восемью лет. То было примечательное лицо на редкость выразительное лицо!

Если вы вообразите себе гигантскую змею, превращенную в человека, но и в человеческом облике сохранившую характерные змеиные черты, вы получите куда более яркое представление о портрете, нежели возможно передать при помощи пространных описаний; широкий, плоский лоб, изящно очерченный абрис лица, скрывающий силу смертоносных челюстей огромные, удлиненные, жуткие глаза, зеленые и сверкающие, словно изумруды; и при этом некое неумолимое спокойствие, проистекающее от осознания собственного могущества.

Я машинально перевернул миниатюру, чтобы рассмотреть ее сзади: на оборотной стороне была выгравирована пентаграмма; в центре пентаграммы красовалась лестница, а вместо третьей ступени значилась цифра 1765.

Приглядевшись повнимательнее, я обнаружил пружину; при нажатии на нее откинулась крышка. С внутренней стороны крышки висела надпись: «Тебе, Мариана. В жизни и в смерти храни верность...» Далее следовало имя, мне хорошо знакомое, которое я называть не стану. Еще ребенком я слышал его из уст стариков, рассказывавших о прославленном шарлатане, что в течение года или около того пользовался в Лондоне сенсационным успехом, а затем бежал из страны, будучи обвинен в двойном убийстве под кровом собственного дома: убийстве своей любовницы и соперника. Я не стал об этом рассказывать мистеру Дж. и с неохотой уступил ему миниатюру.

Первый выдвижной ящик железного сейфа мы открыли без труда; зато со вторым пришлось изрядно повозиться; он не был заперт, но упорно не поддавался всем нашим усилиям до тех пор, пока мы не вставили в щель зубило.

Выдвинув, наконец, ящик, мы обнаружили крайне любопытный механизм, причем в полной исправности. На крохотной, тонкой книжице, или, скорее, блокноте стояло хрустальное блюдце, наполненное прозрачной жидкостью, а на поверхности плавал компас; игла его стремительно вращалась, но, вместо привычной разметки, на корпусе красовались семь странных знаков, отчасти напоминающих те, что используют астрологи для обозначения планет. От обитого ореховым деревом ящика (вид древесины мы идентифицировали впоследствии) исходил своеобразный запах, впрочем, отнюдь не резкий и не отталкивающий.

Этот аромат, что бы уж ни служило его источником, производил ощутимый эффект на нервную систему. Все мы это почувствовали, даже двое рабочих, находившихся в комнате тревожное, леденящее покалывание распространялось от кончиков пальцев до корней волос.

Мне не терпелось изучить блокнот, и я взял блюдце в руки. Игла компаса завращалась с головокружительной быстротой, неожиданный шок потряс все мое существо, и я выронил блюдце на пол. Жидкость разлилась, хрусталь разбился, компас откатился в другой конец комнаты, и в то же самое мгновение стены дрогнули и закачались, словно гигантская рука встряхнула и сотрясла дом.

Охваченные паникой рабочие проворно вскарабкались по приставной лестнице, по которой все мы спустились в потайную комнату; однако, видя, что ничего более не произошло, вняли уговорам и вернулись.

Тем временем я открыл блокнот; переплет простой красной кожи скрепляла серебряная застежка; внутри обнаружился один-единственный лист плотного пергамента, а на нем, внутри двойной пентаграммы, были начертаны слова на древней церковной латыни, что в дословном переводе означают следующее: «На все, что окажется в пределах этих стен на существа чувствующие и на предметы неодушевленные, на живых и на мертвых да воздействует моя воля, пока вращается игла! Да будет проклят этот дом, да не узнают покоя его обитатели!»

Ничего больше мы не нашли.

Мистер Дж. сжег блокнот вместе с начертанным проклятием. Затем он снес до основания ту часть здания, где располагалась потайная комната и апартаменты над ней. После чего он имел мужество прожить в особняке месяц, и более тихого и благоустроенного

дома не нашлось бы в целом Лондоне. Впоследствии мистер Дж. выгодно сдал его, и от арендатора не поступило ни одной жалобы.

Роберт Льюис Стивенсон **Странная история доктора Джекила и мистера Хайда**

История двери

Мистер Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным — и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей, и особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь; зато она говорила не только в этих безмолвных средоточиях послеобеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой: когда обедал в одиночестве, то, укрощая вождление к тонким винам, пил джин и, горячо любя драматическое искусство, более двадцати лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность, порой с легкой завистью дивился буйному жизнелюбию, крившемуся в их грехах, а когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать.

— Я склонен к каиновой ереси, — говаривал он со скрытой усмешкой. — Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу.

А потому судьба часто судила ему быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде.

Без сомнения, мистеру Аттерсону это давалось легко, так как он всегда был весьма сдержан, и даже дружба его, казалось, проистекала все из той же вселенской благожелательности. Скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая; этому правилу следовал и наш нотариус. Он дружил либо с родственниками, либо с давними знакомыми; его привязанность, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана скука и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее и тот и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела.

И вот как-то раз в такое воскресенье случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Улочка эта была небольшой и, что называется, тихой, хотя в будние дни там шла бойкая торговля. Ее обитатели, по-видимому, преуспевали, и все они ревниво надеялись преуспеть еще больше, а избытки прибылей употребляли на прихорашивание; поэтому витрины по обеим ее сторонам источали приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда улочка прятала наиболее пышные свои прелести и была пустынна, все же по сравнению с окружающим убожеством она сияла, точно костер в лесу, — аккуратно выкрашенные ставни, до блеска начищенные дверные ручки и общий дух чистоты и веселости сразу привлекали и радовали взгляд случайного прохожего.

Через две двери от угла, по левой стороне, если идти к востоку, линия домов

нарушалась входом во двор, и как раз там высилось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна — только дверь внизу да слепой лоб грязной стены над ней, — и каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся, в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее панели, дети играли «в магазин» на ступеньках крыльца, школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках, и уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств.

Мистер Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки, но, когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него.

— Вы когда-нибудь обращали внимание на эту дверь? — спросил он, а когда его спутник ответил утвердительно, добавил: — С ней связана для меня одна очень странная история.

— Неужели? — спросил мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом. — Какая же?

— Дело было так, — начал мистер Энфилд. — Я возвращался домой откуда-то с края света часа в три по-зимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, где все спят, улица за улицей, освещенные, словно для какого-нибудь торжества, и опустелые, как церковь, так что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры: в восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опрометью бежала девочка лет девяти. На углу они, как и можно было ожидать, столкнулись, и вот тут-то произошло нечто непередаваемо мерзкое: мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернулся на ее громкие стоны. Рассказ об этом может и не произвести большого впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а какой-то адский Джаггернаут. Я закричал, бросился вперед, схватил молодчика за ворот и потащил назад, туда, где вокруг стонущей девочки уже собрались люди. Он нисколько не смутился и не пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь покрылся испариной, точно после долгого бега. Оказалось, что люди, толпившиеся возле девочки, — ее родные, а вскоре к ним присоединился и врач, которого она бегала позвать к больному. Он объявил, что с девочкой не случилось ничего серьезного, что она только перепугалась. Тут, казалось бы, мы могли спокойно разойтись, но этому воспрепятствовало одно странное обстоятельство. Я сразу же проникся к этому молодчику ненавистью и омерзением. И родные девочки тоже, что, конечно, было только естественно. Однако меня поразил врач. Это был самый обыкновенный лекарь, бесцветный, не молодой и не старый, говорил он с сильным эдинбургским акцентом, и чувствительности в нем было не больше, чем в волынке. Так вот, сэр. С ним случилось то же, что и со всеми нами, — стоило ему взглянуть на моего пленника, как он даже бледнел от желания убить его тут же на месте. Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, и, хотя убить негодяя, к сожалению, все-таки было нельзя, мы все же постарались его наказать. Мы сказали ему, что можем ослабить его на весь Лондон, — и ославим. Если у него есть друзья или доброе имя, мы позаботимся о том, чтобы он их лишился. И все это время мы с трудом удерживали женщин, которые готовы были растерзать его, точно фурии. Мне никогда еще не приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах, а негодяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость, — я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам Сатана. «Если вы решили нажиться на этой случайности, — заявил он, — то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочтет избежать скандала. Сколько вы требуете?» В конце концов мы выжали из него сто фунтов для родных девочки; он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь оставалось только получить деньги, и знаете, куда он нас привел? К этой самой двери! Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес

десять гиней и чек на банк Куттса, выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в ней-то и заключена главная соль моей истории; скажу только, что фамилия эта очень известна и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги при условии, конечно, что была подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это выглядит: только в романах человек в четыре часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек почти на сто фунтов. Но он и бровью не повел. «Не беспокойтесь, — заявил он презрительно. — Я останусь с вами, пока не откроются банки, и сам получу по чеку». После чего мы все — врач, отец девочки, наш приятель и я — отправились ко мне и просидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало! Подпись оказалась подлинной.

— Так-так! — заметил мистер Аттерсон.

— Я вижу, вы разделяете мой взгляд, — сказал мистер Энфилд. — Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек, подписавший чек, — воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и (что только ухудшает дело) принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж: честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. «Дом шантажиста» — вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все! — Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел мистер Аттерсон, неожиданно спросив:

— Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек?

— В таком-то доме? — возразил мистер Энфилд. — К тому же я прочел на чеке его адрес — какая-то площадь.

— И вы не наводили справок... о доме с дверью? — осведомился мистер Аттерсон.

— Нет. На мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов: в наведении справок есть какой-то привкус Судного дня. Задать вопрос — это словно столкнуть камень с горы: вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой другие камни; какой-нибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на него, а семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило: чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов.

— Превосходное правило, — согласился нотариус.

— Однако я занялся наблюдением за этим зданием, — продолжал мистер Энфилд. — Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже, а на первом этаже окон нет вовсе; окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое.

Некоторое время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон.

— Энфилд, — сказал он, — это ваше правило превосходно.

— Да, я и сам так считаю, — ответил Энфилд.

— Тем не менее, — продолжал нотариус, — мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка.

— Что же, — сказал мистер Энфилд, — не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайд.

— Гм! — отозвался мистер Аттерсон. — А как он выглядит?

— Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное... что-то неприятное... попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной гадливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство, такое

впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить отчего. У него необычная внешность, но необычность эта какая-то неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается: я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл: он так и стоит у меня перед глазами.

Мистер Аттерсон некоторое время шел молча, что-то старательно обдумывая.

— А вы уверены, что у него был собственный ключ? — спросил он наконец.

— Право же... — начал Энфилд, даже растерявшись от изумления.

— Да, конечно, — перебил его Аттерсон. — Я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей.

— Вам следовало бы предупредить меня, — обиженно ответил мистер Энфилд, — но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ: я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад.

Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение прибавил:

— Вот еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме.

— С величайшей охотой, — ответил нотариус. — Совершенно с вами согласен, Ричард.

Поиски мистера Хайда

В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свою холостяцкую обитель в тягостном настроении и сел обедать без всякого удовольствия. После воскресного обеда он имел обыкновение располагаться у камина с каким-нибудь сухим богословским трактатом на пюпитре, за которым и коротал время, пока часы на соседней церкви не отбивали полночь, после чего он степенно и с чувством исполненного долга отправлялся на покой. В этот вечер, однако, едва скатерть была снята со стола, мистер Аттерсон взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер сейф, достал из тайника документ в конверте, на котором значилось: «Завещание д-ра Джекила», и, нахмурившись, принялся его штудировать. Документ этот был написан завещателем собственноручно, так как мистер Аттерсон, хотя и хранил его у себя, в свое время наотрез отказался принять участие в его составлении; согласно воле завещателя, все имущество Генри Джекила, доктора медицины, доктора права, члена Королевского общества и т. д., переходило «его другу и благодетелю Эдварду Хайду», не только в случае его смерти — в случае «исчезновения или необъяснимого отсутствия означенного доктора Джекила свыше трех календарных месяцев»; означенный Эдвард Хайд также должен был вступить во владение его имуществом без каких-либо дополнительных условий и ограничений, если не считать выплаты небольших сумм слугам доктора. Этот документ давно уже был источником мучений для нотариуса. Он оскорблял его и как юриста и как приверженца издавна сложившихся разумных традиций, для которого любое необъяснимое отклонение от общепринятых обычаев граничило с непристойностью. До сих пор его негодование питалось тем, что он ничего не знал о мистере Хайде, теперь же оно обрело новую пищу в том, что он узнал о мистере Хайде. Пока имя Хайда оставалось для него только именем, положение было достаточно скверным. Однако оно стало еще хуже, когда это имя начало облекаться омерзительными качествами и из зыбкого смутного тумана, столь долго застилавшего его взор, внезапно возник сатанинский образ.

— Мне казалось, что это простое безумие, — пробормотал нотариус, убирая ненавистный документ в сейф. — Но я начинаю опасаться, что за этим кроется какая-то позорная тайна.

Мистер Аттерсон задул свечу, надел пальто и пошел по направлению к Кавендиш-сквер, к этому средоточию медицинских светил, где жил и принимал бесчисленных пациентов его друг знаменитый доктор Лэньон.

«Если кто-нибудь и может пролить на это свет, то только Лэньон», — решил он.

Важный дворецкий почтительно поздоровался с мистером Аттерсоном и без промедления провел его в столовую, где доктор Лэньон в одиночестве допивал послеобеденное вино. Это был добродушный краснолицый щеголеватый здоровяк с гривой рано поседевших волос, шумный и самоуверенный. При виде мистера Аттерсона он вскочил с места и поспешил к нему навстречу, сердечно протягивая ему обе руки. В этом жесте, как и во всей манере доктора, была некоторая доля театральности, однако приветливость его была неподдельна и порождало ее искреннее чувство: доктор Лэньон и мистер Аттерсон были старыми друзьями, однокашниками по школе и университету, они питали глубокое взаимное уважение и к тому же (что далеко не всегда сопутствует подобному уважению у людей, так же уважающих и самих себя) очень любили общество друг друга.

Несколько минут они беседовали о том о сем, а затем нотариус перевел разговор на предмет, столь его тревоживший.

— Пожалуй, Лэньон, — сказал он, — мы с вами самые старые друзья Генри Джекила?

— Жаль, что не самые молодые! — рассмеялся доктор Лэньон. — Но, наверное, так оно и есть. Почему вы об этом упомянули? Я с ним теперь редко вижу.

— Неужели? А я думал, что вас сближают общие интересы.

— Так оно и было, — ответил доктор. — Но вот уже десять с лишним лет, как Генри Джекил занялся нелепыми фантазиями. Он сбился с пути — я говорю о путях разума, — и, хотя я, разумеется, продолжаю интересоваться им, вот уже несколько лет я вижу с ним чертовски редко. Подобный ненаучный вздор заставил бы даже Дамона отвернуться от Финтия, — заключил доктор, внезапно побагровев.

Эта вспышка несколько развеяла тревогу мистера Аттерсона. «Они поссорились из-за каких-то научных теорий, — подумал он, и, так как науки его нисколько не интересовали (если только речь не шла о теориях передачи права собственности), он даже с облегчением добавил про себя: — Ну, это пустяки!»

Выждав несколько секунд, чтобы доктор успел успокоиться, мистер Аттерсон наконец задал вопрос, ради которого и пришел сюда:

— А вам знаком его протеже... некий Хайд?

— Хайд? — повторил Лэньон. — Нет. В первый раз слышу. Очевидно, он появился уже после меня.

Это были единственные сведения, полученные нотариусом, и он мог сколько душе угодно размышлять над ними, ворочаясь на огромной темной кровати, пока поздняя ночь не превратилась в раннее утро. Это бдение не успокоило его лихорадочно работавшие мысли, которые блуждали по темному лабиринту неразрешимых вопросов.

Часы на церкви, расположенной в таком удобном соседстве с домом мистера Аттерсона, пробили шесть, а он все еще ломал голову над этой загадкой; вначале она представляла для него только интеллектуальный интерес, но теперь было уже затронуто, а вернее, поработано, и его воображение. Он беспокойно ворочался на постели в тяжелой тьме своей плотно занавешенной спальни, а в его сознании, точно свиток с огненными картинами, разворачивалась история, услышанная от мистера Энфилда. Он видел перед собой огромное поле фонарей ночного города, затем появлялась фигура торопливо шагающего мужчины, затем — бегущая от врача девочка, они сталкивались, Джаггернаут в человеческом облике наступал на ребенка и спокойно шел дальше, не обращая внимания на стоны бедняжки. Потом перед его умственным взором возникала спальня в богатом доме, где в постели лежал его друг доктор Джекил, грезил во сне и улыбался, но тут дверь спальни отворялась, занавески кровати откидывались, спящий просыпался, услышав оклик, и у его изголовья вырастала фигура, облеченная таинственной властью, — даже в этот глухой час он вынужден был вставать и исполнять ее веления. Эта фигура в двух своих ипостасях преследовала нотариуса всю ночь напролет; если он ненадолго забывался сном, то лишь для того, чтобы вновь ее увидеть: она еще более беззвучно кралась по затихшим домам или еще быстрее, еще стремительнее — с головокружительной быстротой — мелькала в еще более

запутанных лабиринтах освещенных фонарями улиц, на каждом углу топтала девочку и ускользала прочь, не слушая ее стонов. И по-прежнему у этой фигуры не было лица, по которому он мог бы ее опознать, — даже в его снах у нее либо вовсе не было лица, либо оно расплывалось и таяло перед его глазами прежде, чем он успевал рассмотреть хоть одну черту; в конце концов в душе нотариуса родилось и окрепло необыкновенно сильное, почти непреодолимое желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Мистер Аттерсон не сомневался, что стоит ему только взглянуть на это лицо — и тайна рассеется, утратит свою загадочность, как обычно утрачивают загадочность таинственные предметы, если их хорошенько рассмотреть. Быть может, он найдет объяснение странной привязанности своего друга к этому Хайду или зависимости от него (называйте это как хотите), а быть может, поймет и причину столь необычного условия, оговоренного в завещании. Да и в любом случае на это лицо стоит посмотреть — на лицо человека, не знающего милосердия, на лицо, которое с первого мгновения возбудило в сердце флегматичного Энфилда глубокую и непреходящую ненависть.

С этих пор мистер Аттерсон начал вести наблюдение за дверью в торговой улочке. Утром, до начала занятий в конторе, днем, когда дел было много, а времени — мало, вечером под туманным ликом городской луны, при свете солнца и при свете фонарей, в часы безмолвия и в часы шумной суеты нотариус являлся на выбранный им пост.

«Как бы он ни прятался, я его увижу», — упрямо твердил он себе.

И наконец его терпение было вознаграждено. Был ясный, сухой вечер, холодный воздух чуть покусывал щеки, улицы были чисты, как бальные залы, фонари, застывшие в неподвижном воздухе, рисовали четкие узоры света и теней. К десяти часам, когда закрылись магазины, улочка совсем опустела, и в ней воцарилась тишина, хотя вокруг все еще раздавалось глухое рычание Лондона. Даже негромкие звуки разносились очень далеко, на обоих тротуарах были ясно слышны отголоски вечерней жизни, которая текла своим чередом в стенах домов, а шарканье подошв возвещало появление прохожего задолго до того, как его можно было разглядеть. Мистер Аттерсон провел на своем посту несколько минут, как вдруг раздались приближающиеся шаги, необычные и легкие. Он столько раз обходил дозором эту улочку, что уже давно свыкся со странным впечатлением, которое производят шаги какого-то одного человека, когда они еще в отдалении внезапно возникают из общего могучего шума большого города. Однако никогда еще ничьи шаги не привлекали его внимания так резко и властно, и он скрылся под аркой ворот с суеверной уверенностью в успехе.

Шаги быстро приближались и сразу стали громче, когда прохожий свернул в улочку. Нотариус выглянул из ворот и увидел человека, с которым ему предстояло иметь дело. Он был невысок, одет очень просто, но даже на таком расстоянии нотариус почувствовал в нем что-то отталкивающее. Незнакомый направился прямо к двери, перешел мостовую наискосок, чтобы сберечь время, и на ходу вытащил из кармана ключ, как человек, возвращающийся домой. Когда он поравнялся с воротами, мистер Аттерсон сделал шаг вперед и, коснувшись его плеча, сказал:

— Мистер Хайд, если не ошибаюсь?

Мистер Хайд попятился и с шипением втянул в себя воздух. Однако его испуг был мимолетен, и хотя он не смотрел нотариусу в лицо, но ответил довольно спокойно:

— Да, меня зовут так. Что вам нужно?

— Я вижу, вы собираетесь войти сюда, — сказал нотариус. — Я старый друг доктора Джекила, мистер Аттерсон с Гонт-стрит. Вы, вероятно, слышали мое имя, и, раз уж мы так удачно встретились, я подумал, что вы разрешите мне войти с вами.

— Вам незачем заходить, доктора Джекила нет дома, — ответил мистер Хайд, продувая ключ, а потом, все еще не поднимая головы, внезапно спросил: — А как вы меня узнали?

— Прежде чем я отвечу, не окажете ли вы мне одну любезность? — сказал мистер Аттерсон.

— Извольте. А какую?

— Покажите мне свое лицо, — попросил нотариус.

Мистер Хайд, казалось, колебался, но потом, словно внезапно на что-то решившись, с вызывающим видом поднял голову. Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Теперь я вас всегда узнаю, — заметил мистер Аттерсон. — Это может оказаться полезным.

— Да, — ответил мистер Хайд, — пожалуй, хорошо, что мы встретились, и аргорос[Кстати (*φρ.*)] мне следует дать вам мой адрес, — и он назвал улицу в Сохо и номер дома.

«Боже великий! — ужаснулся мистер Аттерсон. — Неужели и он подумал о завещании?» — Однако он сдержался и только невнятно поблагодарил за адрес.

— Ну, а теперь скажите, как вы меня узнали? — потребовал мистер Хайд.

— По описанию.

— А кто вам меня описал?

— У нас есть общие друзья.

— Общие друзья? — сипло переспросил мистер Хайд. — Кто же это?

— Например, Джекил, — ответил нотариус.

— Он вам ничего не говорил! — воскликнул мистер Хайд, гневно покраснев. — Я не ждал, что вы мне солжете.

— Пожалуйста, выбирайте выражения, — сказал мистер Аттерсон.

Мистер Хайд издал свирепый смешок и через мгновение, с немыслимой быстротой отперев дверь, уже исчез за ней.

Нотариус несколько минут продолжал стоять там, где его оставил мистер Хайд, и на лице его были написаны тревога и недоумение. Затем он повернулся и медленно побрел по улице, то и дело останавливаясь и потирая рукой лоб, точно человек, не знающий, как поступить. Быть может, задача, которую он пытался решить, вообще не имела решения. Мистер Хайд был бледен и приземист, он производил впечатление уродца, хотя никакого явного уродства в нем заметно не было, улыбался он крайне неприятно, держался с нотариусом как-то противоестественно робко и в то же время нагло, а голос у него был сиплый, тихий и прерывистый — все это говорило против него, но и все это, вместе взятое, не могло объяснить, почему мистер Аттерсон почувствовал дотоле ему неизвестное отвращение, гадливость и страх.

— Тут кроется что-то другое! — в растерянности твердил себе нотариус. — Что-то совсем другое, но я не знаю, как это определить. Боже мой, в нем нет ничего человеческого! Он более походит на троглодита. А может быть, это случай необъяснимой антипатии? Или все дело просто в том, что чернота души проглядывает сквозь тленную оболочку и страшно ее преображает? Пожалуй, именно так, да-да, мой бедный, бедный Гарри Джекил, на лице твоего нового друга явственно видна печать Сатаны.

За углом была площадь, окруженная старинными красивыми особняками, большинство которых, утратив бывшее величие, сдавалось поквартирно людям самых разных профессий и положений — граверам, архитекторам, адвокатам с сомнительной репутацией и темным дельцам. Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом; перед ним-то, хотя он был погружен во мрак, если не считать полукруглого окна над дверью, и остановился теперь мистер Аттерсон. Он постучал. Дверь открыл старый прекрасно одетый слуга.

— Доктор Джекил дома, Пул? — осведомился нотариус.

— Сейчас узнаю, мистер Аттерсон, — ответил Пул, впуская гостя в большую уютную прихожую с низким потолком и каменным полом, где (точно в помещицьем доме) пылал большой камин, а у стен стояли дорогие дубовые шкафы и горки.

— Вы подождете тут у огонька, сэр, или зажечь лампу в столовой?

— Благодарю вас, я подожду тут, — ответил нотариус и оперся о высокую каминную решетку. Прихожая, в которой он теперь остался один, была любимым детищем его друга, доктора Джекила, и сам Аттерсон не раз называл ее самой приятной комнатой в Лондоне. Но

в этот вечер по его жилам струился холод, повсюду ему чудилось лицо Хайда, он испытывал (большая для него редкость) гнетущее отвращение к жизни; его смятенному духу чудилась зловещая угроза в отблесках огня, игравших на полированных шкафах, в тревожном трепете теней на потолке. Он со стыдом заметил, что испытал большое облегчение, когда в прихожую вернулся Пул. Дворецкий сообщил, что доктор Джекил куда-то ушел.

— Я видел, Пул, как мистер Хайд входил в дверь бывшей секционной, — сказал нотариус. — Это ничего? Раз доктора Джекила нет дома...

— Это ничего, сэр, — ответил слуга. — У мистера Хайда есть свой ключ.

— Ваш хозяин, по-видимому, очень доверяет этому молодому человеку, Пул, — задумчиво продолжал нотариус.

— Да, сэр, очень, — ответил Пул. — Нам всем приказано исполнять его распоряжения.

— Мне, кажется, не приходилось встречаться с мистером Хайдом здесь? — спросил Аттерсон.

— Нет, нет, сэр. Он у нас никогда не обедает, — выразительно ответил дворецкий. — По правде говоря, в доме мы его почти не видим; он всегда приходит и уходит через лабораторию.

— Что же! Доброй ночи, Пул.

— Доброй ночи, мистер Аттерсон.

И нотариус с тяжелым сердцем побрел домой. «Бедный Гарри Джекил! — думал он. — Боюсь, над ним нависла беда! В молодости он вел бурную жизнь — конечно, это было давно, но Божеские законы не имеют срока давности. Да-да, конечно, это так: тень какого-то старинного греха, язва скрытого позора, кара, настигшая его через много лет после того, как проступок изгладился из памяти, а любовь к себе нашла ему извинение». Испугавшись этой мысли, нотариус задумался над собственным прошлым и начал рыться во всех уголках памяти, полный страха, что оттуда, точно чертик из коробочки, вдруг выпрыгнет какая-нибудь бесчестная проделка. Его прошлое было почти безупречно — не много нашлось бы людей, которые имели бы право с большей уверенностью перечитать свиток своей жизни, и все же воспоминания о многих дурных поступках не раз и не два повергали его во прах, чтобы затем он мог воспрянуть, с робкой и смиренной благодарностью припомнив, от скольких еще дурных поступков он вовремя удержался. Затем его мысли вновь обратились к прежнему предмету, и в сердце вспыхнула искра надежды. «Этим молодчиком Хайдом следовало бы заняться: у него, несомненно, есть свои тайны — черные тайны, если судить по его виду, тайны, по сравнению с которыми худшие грехи бедняги Джекила покажутся солнечным светом. Так больше продолжаться не может. Я холодею при одной мысли, что эта тварь воровато подкрадывается к постели Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение его ожидает! И какая опасность ему грозит — ведь если этот Хайд проведает про завещание, ему, быть может, захочется поскорее получить свое наследство! Да-да, мне следует вмешаться... Только бы Джекил позволил мне вмешаться, — добавил он. — Только бы он позволил». Ибо перед его умственным взором вновь, словно огненный транспарант, вспыхнули странные условия этого завещания.

Доктор Джекил был спокоен

По счастливому стечению обстоятельств две недели спустя доктор Джекил дал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек шесть старых друзей — людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного — он далеко не в первый раз уходил из гостей позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже покидали его кров; многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе, нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джекил не

был исключением из этого правила, и теперь, когда он расположился по другую сторону камина — крупный, хорошо сложенный, моложавый мужчина лет пятидесяти, с лицом, быть может, не совсем открытым, но, бесспорно, умным и добрым, — вы легко заключили бы по его взгляду, что он питает к мистеру Аттерсону самую теплую привязанность.

— Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джекил, — сказал нотариус. — О вашем завещании.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что тема эта доктору неприятна, однако он ответил нотариусу с веселой непринужденностью.

— Мой бедный Аттерсон! — воскликнул он. — На этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Если, конечно, не считать этого упрямого педанта Лэньона, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. О, я знаю, что он превосходный человек — не хмурьтесь, пожалуйста. Да, превосходный, и я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще; но это не мешает ему быть упрямым педантом — невежественным, надутым педантом! Я ни в ком так не разочаровывался, как в Лэньоне.

— Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным, — продолжал мистер Аттерсон, безжалостно игнорируя попытку доктора переменить разговор.

— Мое завещание? Да, конечно, знаю, — ответил доктор с некоторой резкостью. — Вы мне это уже говорили.

— Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз, — продолжал нотариус. — Мне стало кое-что известно про Хайда.

По крупному красивому лицу доктора Джекила разлилась бледность, его глаза потемнели.

— Я не желаю больше ничего слушать, — сказал он. — Мне кажется, мы согласились не обсуждать этого вопроса.

— Но то, что я слышал, отвратительно.

— Это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении, — сбивчиво ответил доктор. — Оно крайне щекотливо, Аттерсон, крайне щекотливо и странно, очень странно. Это один из тех случаев, когда словами делу не поможешь.

— Джекил, — сказал Аттерсон, — вы знаете меня. Знаете, что на меня можно положиться. Доверьтесь мне, и я не сомневаюсь, что сумею вам помочь.

— Мой дорогой Аттерсон, — сказал доктор, — вы очень добры, очень, и я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я верю вам безусловно и полагаюсь на вас больше, чем на кого-нибудь еще, больше, чем на себя, но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется, и дело обстоит далеко не так плохо; и, чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь: стоит мне захотеть, и я легко и навсегда избавлюсь от мистера Хайда. Даю вам слово и еще раз от всей души благодарю вас. Но я должен сказать вам кое-что, Аттерсон (и надеюсь, вы поймете меня правильно): это — мое частное дело, и я прошу вас не вмешиваться.

Аттерсон некоторое время размышлял, глядя на огонь.

— Разумеется, это ваше право, — наконец сказал он, вставая.

— Ну, раз уж мы заговорили об этом, и, надеюсь, в последний раз, — сказал доктор, — мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. Я знаю, что вы его видели — он мне об этом рассказывал, — и боюсь, он был с вами груб. Однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке; если меня не станет, то прошу вас, Аттерсон, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, зная все, а ваше обещание снимет камень с моей души.

— Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию, — сказал Аттерсон.

— Об этом я не прошу, — грустно произнес Джекил, положив руку на плечо нотариуса. — Я прошу только о справедливости; я только прошу вас помочь ему, ради меня,

когда меня не станет.

Аттерсон не мог удержаться от глубокого вздоха.

— Хорошо, — сказал он. — Я обещаю.

Убийство Кэрю

Одиннадцать месяцев спустя, в октябре 18... года, Лондон был потрясен неслыханно зверским преступлением, которое наделало особенно много шума, так как жертвой оказался человек, занимавший высокое положение. Те немногие подробности, которые были известны, производили ошеломляющее впечатление. Служанка, остававшаяся одна в доме неподалеку от реки, поднялась в одиннадцатом часу к себе в комнату, намереваясь лечь спать. Хотя под утро город окутал туман, вечер был ясным, и проулок, куда выходило окно ее комнаты, ярко освещала полная луна. По-видимому, служанка была романтической натурой: во всяком случае, она села на свой сундучок, стоявший у самого окна, и предалась мечтам. Ни разу в жизни (со слезами повторяла она, когда рассказывала о случившемся), ни разу в жизни не испытывала она такого умиротворения, такой благожелательности ко всем людям и ко всему миру. Вскоре она заметила, что к их дому приближается пожилой и очень красивый джентльмен с белоснежными волосами, а навстречу ему идет другой, низенький джентльмен, на которого она сперва не обратила никакого внимания. Когда они встретились (это произошло почти под самым окном служанки), пожилой джентльмен поклонился и весьма учтиво обратился к другому прохожему. Видимо, речь шла о каком-то пустяке — судя по его жесту, можно было заключить, что он просто спрашивает дорогу, однако, когда он заговорил, на его лицо упал лунный свет, и девушка залюбовалась им — такой чистой и старомодной добротой оно дышало, причем эта доброта сочеталась с чем-то более высоким, говорившим о заслуженном душевном мире. Тут она взглянула на второго прохожего и, к своему удивлению, узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды приходил к ее хозяину и к которому она сразу же прониклась живейшей неприязнью. В руках он держал тяжелую трость, которой все время поигрывал; он не ответил ни слова и, казалось, слушал с плохо скрытым раздражением. Внезапно он пришел в дикую ярость — затопал ногами, взмахнул тростью и вообще повел себя, по словам служанки, как буйнопомешанный. Почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайд, словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьяньей злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов — служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой, и от ужаса лишилась чувств.

Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи. Убийца давно скрылся, но невообразимо изуродованное тело его жертвы лежало на мостовой. Трость, послужившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам — с такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один расщепившийся конец скатился в сточную канаву, а другой, без сомнения, унес убийца. В карманах жертвы были найдены кошелек и золотые часы, но никаких визитных карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, который несчастный, возможно, нес на почту и который был адресован мистеру Аттерсону.

Письмо доставили нотариусу на следующее утро, когда он еще лежал в постели. Едва он увидел конверт и услышал о случившемся, его лицо стало очень озабоченным.

— Я ничего не скажу, пока не увижу тела, — объявил он. — Все это может принять весьма серьезный оборот. Будьте любезны обождать, пока я оденусь.

Все так же хмурясь, он наскоро позавтракал и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Взглянув на убитого, он сразу же кивнул.

— Да, — сказал он. — Я его узнаю. Должен с прискорбием сообщить вам, что это сэр Дэнверс Кэрю.

— Боже великий! — воскликнул полицейский. — Неужели, сэр? — В его глазах

вспыхнуло профессиональное честолюбие. — Это наделает много шума, — заметил он. — Может быть, вам известен убийца? — Тут он кратко сообщил суть рассказа служанки и показал нотариусу обломок трости.

Когда мистер Аттерсон услышал имя Хайда, у него сжалось сердце, но при виде трости он уже не мог более сомневаться: хотя она была сломана и расщеплена, он узнал в ней палку, которую много лет назад сам подарил Генри Джекилу.

— Этот мистер Хайд невысок ростом? — спросил он.

— Совсем карлик и необыкновенно злобный — так утверждает служанка, — ответил полицейский.

Мистер Аттерсон задумался, а потом поднял голову и сказал:

— Если вы поедете со мной, я думаю, мне удастся указать вам его дом.

Было уже около девяти часов утра, и город окутывал первый осенний туман. Небо было скрыто непроницаемым шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и крутил эти колышущиеся пары, и пока кеб медленно полз по улицам, перед глазами мистера Аттерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек: то вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара, то туман на мгновение рассеивался совсем и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном и тягостном вторжении тьмы, — этот район, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. Кроме того, нотариуса одолевали самые мрачные мысли, и, когда он взглядывал на своего спутника, его вдруг охватывал тот страх перед законом и представителями закона, который по временам овладевает даже самыми честными людьми.

Когда кеб был уже близок к цели, туман немного разошелся, и взгляду мистера Аттерсона представилась жалкая улочка, большой кабак, французская харчевня, самого низкого разбора лавка, где торговали горячим за пенс и салатами за два пенса, множество детей в лохмотьях, жмущихся по подъездам, и множество женщин самых разных национальностей, выходящих из дверей с ключом в руке, чтобы пропустить стаканчик с утра. Затем бурый, точно глина, туман вновь сомкнулся и скрыл от него окружающее убожество. Так вот где жил любимец Генри Джекила, человек, которому предстояло унаследовать четверть миллиона фунтов!

Дверь им отперла старуха с серебряными волосами и лицом желтым, как слоновая кость. Злобность этого лица прикрывалась маской лицемерия, но манеры ее не оставляли желать ничего лучшего. Да, ответила она, мистер Хайд проживает здесь, но его нет дома; он вернулся поздно ночью, но ушел, не пробыв тут и часа; нет, это ее не удивило: он всегда приходил и уходил в самое неурочное время и часто пропадал надолго; например, вчера он явился после почти двухмесячного отсутствия.

— Прекрасно. В таком случае проводите нас в его комнаты, — сказал нотариус и, когда старуха объявила, что никак не может исполнить его просьбу, прибавил: — Вам следует узнать, кто со мной. Это инспектор Ньюкомен из Скотленд-Ярда.

Лицо старухи вспыхнуло злобной радостью.

— А! — сказала она. — Попался, голубчик! Что он натворил?

Мистер Аттерсон и инспектор обменялись взглядом.

— Он, по-видимому, отнюдь не пользуется всеобщей любовью, — заметил инспектор. — А теперь, моя милая, покажите-ка нам, что тут и где.

Во всем доме, где не было никого, кроме старухи, мистер Хайд пользовался только двумя комнатами, зато они были обставлены со вкусом и всевозможной роскошью. В стенном шкафу стояли ряды винных бутылок, посуда была серебряной, столовое белье очень изящным; на стене висела хорошая картина — подарок Генри Джекила, решил мистер Аттерсон, знатока и любителя живописи; ковры были пушистыми и красивыми. Однако

теперь в комнате царил величайший беспорядок, словно совсем недавно кто-то торопливо ее обыскивал: на полу была раскидана одежда с вывернутыми карманами, ящики были выдвинуты, а в камине высилась пирамидка серого пепла, как будто там жгли множество бумаг. Из этой кучки золы инспектор извлек обуглившийся корешок зеленой чековой книжки, который не поддался действию огня; за дверью они нашли второй обломок трости, и инспектор очень обрадовался, так как теперь уже не оставалось никаких сомнений в личности убийцы. А когда они посетили банк и узнали, что на счету последнего лежит несколько тысяч фунтов, инспектор даже руки потер от удовольствия.

— Уж поверьте, сэр, — объявил он мистеру Аттерсону, — теперь он от меня не уйдет! Он совсем голову потерял от страха, иначе он унес бы палку, а главное, ни за что не стал бы жечь чековую книжку. Ведь деньги для него — сама жизнь. Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет.

Однако описать приметы мистера Хайда оказалось не так-то просто: у него почти не было знакомых — даже хозяин служанки видел его всего два раза, не удалось разыскать никаких его родных, он никогда не фотографировался, а те немногие, кто знал его в лицо, описывали его по-разному, как обычно бывает в подобных случаях. Они сходились только в одном: у всех, кто его видел, оставалось ощущение какого-то уродства, хотя никто не мог сказать, какого именно.

Эпизод с письмом

День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон оказался наконец у двери доктора Джекила. Ему открыл Пул и немедленно проводил его через черный ход и двор, некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, но, питая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон, но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный; кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшаяся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница вела к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Аттерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами; кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол; три пыльных окна, забранных железной решеткой, выходили во двор. В камине горел огонь, лампа на каминной полке была зажжена, так как туман проникал даже в дома, а возле огня сидел доктор Джекил, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку и поздоровался с ним голосом, совсем не похожим на прежний.

— Так вот, — сказал мистер Аттерсон, едва Пул удалился, — вы слышали, что произошло?

Доктор содрогнулся всем телом.

— Газетчики кричали об этом на площади, — сказал он. — Я слышал их даже в столовой.

— Погодите, — перебил его нотариус. — Кэрю был моим клиентом, но и вы — мой клиент, и поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя?

— Аттерсон, клянусь Богом! — воскликнул доктор. — Клянусь Богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я отрекся от него навсегда. С этим покончено. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи; вы не знаете его так, как знаю я: он нашел себе надежное убежище, очень надежное! И — помяните мое слово — больше о нем никто никогда не услышит.

Нотариус нахмурился; ему не нравилось лихорадочное возбуждение его друга.

— Вы, по-видимому, уверены в нем, — заметил он. — И ради вас я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Ведь, если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя.

— Да, я в нем совершенно уверен, — ответил Джекил. — Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я не могу никому. Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я... я получил письмо и не знаю, следует ли передавать его полиции. Я намерен вручить его зам, Аттерсон, — я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю.

— Вероятно, вы опасаетесь, что письмо может навести на его след? — спросил нотариус.

— Нет, — ответил доктор Джекил. — Право, мне безразлично, что станет с Хайдом; я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации, на которую эта гнусная история может бросить тень.

Аттерсон задумался: он был удивлен эгоизмом своего друга и в то же время почувствовал облегчение.

— Что же, — сказал он наконец, — покажите мне это письмо.

Письмо было написано необычным, прямым почерком, в конце стояла подпись «Эдвард Хайд»; оно очень кратко сообщало, что благодетель пишущего, доктор Джекил, которому он столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может не тревожиться о нем: у него есть верное и надежное средство спасения. Нотариус прочел письмо с некоторым облегчением, так как оно бросало на эти странные отношения гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать, и он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения.

— А конверт? — спросил он.

— Я его сжег, — ответил доктор Джекил. — Прежде чем сообразил, что я делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо принес посыльный.

— Могу я взять его с собой и принять решение утром? — спросил Аттерсон.

— Я целиком полагаюсь на ваше суждение, — ответил доктор. — Себе я больше не верю.

— Хорошо, я подумаю, что делать, — сказал нотариус. — А теперь последний вопрос: это Хайд потребовал, чтобы в ваше завещание был включен пункт об исчезновении?

Доктор, казалось, почувствовал дурноту; он крепко сжал губы и кивнул.

— Я знал это, — сказал Аттерсон. — Он намеревался убить вас. Вы чудом спаслись от гибели.

— Куда важнее другое! — угрюмо возразил доктор. — Я получил хороший урок! Бог мой, Аттерсон, какой я получил урок! — И он на мгновение закрыл лицо руками.

Уходя, нотариус задержался в прихожей, чтобы перемолвиться двумя-тремя словами с Пулом.

— Кстати, — сказал он. — Сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный?

Но Пул решительно объявил, что в этот день письма приносил только почтальон, да и то лишь одни печатные объявления.

Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо, несомненно, попало к доктору через дверь лаборатории, возможно даже, что оно было написано в кабинете, а это придавало ему совсем иную окраску, и воспользоваться им можно было лишь с большой осторожностью. Вокруг на тротуарах охрипшие мальчишки-газетчики вопили: «Специальный выпуск! Ужасное убийство члена парламента!» Таково было надгробное напутствие его старому другу и клиенту, а если его опасения окажутся верны, то доброе имя еще одного его друга могло безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала. При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение, и хотя мистер Аттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. Конечно, прямо попросить совета было невозможно, но, может быть, решил он, его удастся получить косвенным образом.

Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина, напротив него расположился

мистер Гест, его старший клерк, а между ними в надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Аттерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункулами рдели фонари, и в глухой пелене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной.

Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорий собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. От мистера Геста у него почти не было секретов, а может быть, как он иногда подозревал, их не было и вовсе. Гест часто бывал по делам у доктора Джекила, он был знаком с Пулом, несомненно, слышал о том, как мистер Хайд стал своим человеком в доме, и, наверное, сделал для себя кое-какие выводы. Разве не следовало показать ему письмо, разъяснявшее тайну? А Гест, большой знаток и любитель графологии, разумеется, сочтет это вполне естественной любезностью. К тому же старший клерк отличался немалой проницательностью, и столь странное письмо, конечно, понудит его высказать какое-нибудь мнение, которое, в свою очередь, может подсказать мистеру Аттерсону, как ему следует поступить.

— Какой ужасный случай — я имею в виду смерть сэра Дэнверса, — сказал он.

— Да, сэр, ужасный! Он вызвал большое возмущение, — ответил Гест. — Убийца, конечно, был сумасшедшим.

— Я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет, — продолжал Аттерсон. — У меня есть один написанный им документ... это все строго между нами, так как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой — в любом случае дело оборачивается очень скверно. Но как бы то ни было, вот она. Совсем в вашем вкусе — автограф убийцы.

Глаза Геста заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма.

— Нет, сэр, — сказал он наконец. — Это писал не сумасшедший, но почерк весьма необычный.

— И, судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку также далеко не обычному, — добавил нотариус.

В эту минуту вошел слуга с запиской.

— От доктора Джекила, сэр? — осведомился клерк. — Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное, мистер Аттерсон?

— Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть?

— Только взгляну. Благодарю вас, сэр. — И клерк, положив листки рядом, принялся тщательно их сравнивать. — Благодарю вас, сэр, — повторил он затем и вернул оба листка нотариусу. — Это очень интересный автограф. Наступило молчание, а потом мистер Аттерсон после некоторой внутренней борьбы внезапно спросил:

— Для чего вы их сравнивали, Гест?

— Видите ли, сэр, — ответил тот, — мне редко встречались такие схожие почерки, они почти одинаковы — только наклон разный.

— Любопытно, — заметил Аттерсон.

— Совершенно верно: очень любопытно.

— Лучше ничего никому не говорите про это письмо, — сказал патрон.

— Конечно, сэр, я понимаю, — ответил клерк.

Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф, где оно и осталось навсегда.

«Как! — думал он. — Генри Джекил совершает подделку ради спасения убийцы!» И кровь застыла в его жилах.

Примечательный эпизод с доктором Лэньоном

Время шло. За поимку мистера Хайда была назначена награда в несколько тысяч фунтов, так как смерть сэра Дэнверса вызвала всеобщее негодование, но полиция не могла обнаружить никаких его следов, словно он никогда и не существовал. Правда, удалось узнать немало подробностей о его прошлом — гнусных подробностей: о его жестокости, бездушной и яростной, о его порочной жизни, о его странных знакомствах, о ненависти, которой, казалось, был пронизан самый воздух вокруг него, — но ничто не подсказывало, где он мог находиться теперь. С той минуты, когда он наутро после убийства вышел из дома в Сохо, он словно растаял, и постепенно тревога мистера Аттерсона начала утрачивать остроту, и на душе у него стало спокойнее. По его мнению, смерть сэра Дэнверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Для доктора Джекила теперь, когда он освободился от этого черного влияния, началась новая жизнь. Дни его затворничества кончились, он возобновил отношения с друзьями, снова стал их желанным гостем и радушным хозяином; а если прежде он славился своей благотворительностью, то теперь не меньшую известность приобрело и его благочестие. Он вел деятельную жизнь, много времени проводил на открытом воздухе, помогал страждущим — его лицо просветлело, дышало умиротворенностью, как у человека, обретшего душевный мир в служении добру. Так продолжалось два месяца с лишним.

Восьмого января Аттерсон обедал у доктора в тесном дружеском кругу — среди приглашенных был Лэньон, и хозяин все время посматривал то на одного, то на другого, совсем как в те дни, когда они все трое были неразлучны. Двенадцатого января, а затем и четырнадцатого дверь доктора Джекила оказалась для нотариуса закрытой. «Доктор не выходит, — объявил Пул, — и никого не принимает». Пятнадцатого мистер Аттерсон сделал еще одну попытку увидеться с доктором, и снова тщетно. За последние два месяца нотариус привык видеться со своим другом чуть ли не ежедневно, и это возвращение к прежнему одиночеству подействовало на него угнетающе. На пятый день он пригласил Геста пообедать с ним, а на шестой отправился к доктору Лэньону.

Тут его, во всяком случае, приняли, но, войдя в комнату, он был потрясен переменой в своем друге. На лице доктора Лэньона ясно читался смертный приговор. Розовые щеки побледнели, он сильно исхудал, заметно облысел и одряхлел, и все же нотариуса поразили не столько эти признаки быстрого телесного угасания, сколько выражение глаз и вся манера держаться, свидетельствовавшие, казалось, о том, что его томит какой-то неизбывный тайный ужас. Трудно было поверить, что доктор боится смерти, но именно это склонен был заподозрить мистер Аттерсон. «Да, — рассуждал нотариус, — он врач и должен понимать свое состояние, должен знать, что дни его сочтены, и у него нет сил вынести эту мысль». Однако в ответ на слова Аттерсона о том, как он плохо выглядит, Лэньон ответил, что он обречен, и сказал это твердым и спокойным голосом.

— Я перенес большое потрясение, — сказал он. — И уже не оправлюсь. Мне осталось лишь несколько недель. Что же, жизнь была приятной штукой, мне она нравилась; да, прежде она мне очень нравилась. Теперь же я думаю иногда, что, будь нам известно все, мы радовались бы, расставаясь с ней.

— Джекил тоже болен, — заметил нотариус. — Вы его видели?

Лицо Лэньона исказилось, и он поднял дрожащую руку.

— Я не желаю больше ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем, — сказал он громким, прерывающимся голосом. — Я порвал с этим человеком и прошу вас избавить меня от упоминаний о том, кого я считаю умершим.

— Так-так! — произнес мистер Аттерсон и после долгой паузы спросил: — Не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы ведь все трое — старые друзья, Лэньон, и новых уже не заведем.

— Помочь ничем нельзя, — ответил Лэньон. — Спросите хоть у него самого.

— Он отказывается меня видеть, — сказал нотариус.

— Это меня не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти, Аттерсон, вы, может быть, узнаете все, что произошло. Я же ничего вам объяснить не могу. А теперь, если вы способны разговаривать о чем-нибудь другом, то оставайтесь — я очень рад вас видеть, но если вы не в силах воздержаться от обсуждения этой проклятой темы, то, ради Бога, уйдите, потому что я

этого не вынесу.

Едва вернувшись домой, Аттерсон сел и написал Джекилу, спрашивая, почему тот отказывает ему от дома, и осведомляясь о причине его прискорбного разрыва с Лэньоном. На следующий день он получил длинный ответ, написанный очень трогательно, но местами непонятно и загадочно. Разрыв с Лэньоном был окончателен. «Я ни в чем не виню нашего старого друга, — писал Джекил, — но я согласен с ним: нам не следует больше встречаться. С этих пор я намерен вести уединенную жизнь — не удивляйтесь и не сомневайтесь в моей дружбе, если теперь моя дверь будет часто заперта даже для вас. Примиритесь с тем, что я должен идти моим тяжким путем. Я навлек на себя кару и страшную опасность, о которых не могу говорить. Если мой грех велик, то столь же велики и мои страдания. Я не знал, что наш мир способен вместить подобные муки и ужас, а вы, Аттерсон, можете облегчить мою судьбу только одним: не требуйте, чтобы я нарушил молчание».

Аттерсон был поражен: черное влияние Хайда исчезло, доктор вернулся к своим прежним занятиям и друзьям, лишь неделю назад все обещало ему бодрую и почтенную старость, и вдруг в один миг дружба, душевный мир, вся его жизнь оказались погубленными. Такая огромная и внезапная перемена заставляла предположить сумасшествие, однако поведение и слова Лэньона наводили на мысль о какой-то иной причине.

Неделю спустя доктор Лэньон слег, а еще через две недели скончался. Вечером после похорон, чрезвычайно его расстроивших, Аттерсон заперся у себя в кабинете и при унылом свете свечи достал конверт, адресованный ему и запечатанный печаткой его покойного друга. «Личное. Вручить только Г. Дж. Аттерсону, а в случае, если он умрет прежде меня, сжечь, не вскрывая» — таково было категорическое распоряжение на конверте, и испуганный нотариус не сразу нашел в себе силы ознакомиться с его содержимым. «Я похоронил сегодня одного друга, — думал он. — Что, если это письмо лишит меня и второго?» Затем, устыдившись этого недостойного страха, он сломал печать. В конверте оказался еще один запечатанный конверт, на котором было написано: «Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила». Аттерсон не верил своим глазам. Но нет — и тут говорилось об исчезновении: как и в нелепом завещании, которое он уже вернул его автору, тут вновь объединялись идея исчезновения и имя Генри Джекила. Однако в завещании эту идею подсказал зловещий Хайд, и ужасный смысл ее был ясен и прост. А что подразумевал Лэньон, когда его рука писала это слово? Душеприказчик почувствовал необоримое искушение вскрыть конверт, несмотря на запрет, и найти объяснение этим тайнам, однако профессиональная честь и уважение к воле покойного друга оказались сильнее — конверт был водворен в самый укромный уголок его сейфа невскрытым.

Но одно дело — подавить любопытство и совсем другое — избавиться от него вовсе; с этого дня Аттерсон уже не искал общества второго своего друга с прежней охотой. Он думал о нем доброжелательно, но в его мыслях были смятение и страх. Он даже заходил к нему, но, пожалуй, испытывал только облегчение, когда его не принимали; пожалуй, в глубине души он предпочитал разговаривать с Пулом на пороге, где их окружали воздух и шум большого города, и не входить в дом добровольного заточения, не беседовать с уединившимся там загадочным отшельником. Пул к тому же не мог сообщить ему ничего утешительного. Доктор теперь постоянно запирался в кабинете над лабораторией и иногда даже ночевал там; он пребывал в постоянном унынии, стал очень молчалив, ничего не читал, и казалось, его что-то гнетет. Аттерсон так привык к этим неизменным сообщениям, что его визиты малопомалу становились все более редкими.

Эпизод у окна

Однажды в воскресенье, когда мистер Аттерсон, как обычно, прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все в той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее.

— Во всяком случае, — сказал Энфилд, — эта история окончилась, и мы больше уже

никогда не увидим мистера Хайда.

— Надеюсь, что так, — ответил Аттерсон. — Я вам не говорил, что видел его однажды и почувствовал такое же отвращение, как и вы?

— Это само собой разумеется — увидев его, не почувствовать отвращения было просто невозможно, — заметил Энфилд. — Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться, когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекила! Собственно, если бы не вы, я бы этого по-прежнему не знал.

— Так вы это знаете? — сказал Аттерсон. — В таком случае мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. Откровенно говоря, бедняга Джекил меня очень тревожит, и я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему помочь.

Во дворе было прохладно, веяло сыростью, и, хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено, и Аттерсон увидел, что возле него, вероятно, решив подышать свежим воздухом, сидит доктор Джекил, невыразимо печальный, словно неутешный узник.

— Как! Джекил! — воскликнул нотариус. — Надеюсь, вам лучше?

— Я очень плох, Аттерсон, — ответил доктор тоскливо, — очень плох. Благодарение Богу, скоро все это должно кончиться.

— Вы слишком мало выходите на воздух, — сказал Аттерсон. — Вам бы следовало побольше гулять, разгонять кровь, как делаем мы с Энфилдом. (Мой родственник мистер Энфилд, доктор Джекил.) Вот что: берите-ка шляпу и идемте с нами.

— Вы очень любезны, — со вздохом ответил доктор. — Я был бы в восторге... Но нет, нет, нет, это невозможно, я не смею. Право же, Аттерсон, я счастлив видеть вас, это большая радость для меня. Я пригласил бы вас с мистером Энфилдом подняться ко мне, но у меня такой беспорядок...

— В таком случае, — добродушно ответил нотариус, — мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами, не сходя с места.

— Именно это я и хотел предложить, — с улыбкой согласился доктор, но не успел он договорить, как улыбка исчезла с его лица и сменилась выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Так же молча они шли по улочке, и только когда оказались на соседней большой улице, оживленной, даже несмотря на воскресенье, мистер Аттерсон, наконец, посмотрел на своего спутника. Оба были бледны, и во взгляде, которым они обменялись, крылся страх.

— Да простит нас Бог, да простит нас Бог! — сказал мистер Аттерсон.

Но мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперед, по-прежнему храня молчание.

Последняя ночь

Как-то вечером, когда мистер Аттерсон сидел после обеда у камина, к нему неожиданно явился Пул.

— Бог мой, что вас сюда привело, Пул? — изумленно воскликнул нотариус и, поглядев на старого слугу, добавил: — Что с вами? Доктор заболел?

— Мистер Аттерсон, — ответил дворецкий, — случилась какая-то беда.

— Садитесь, выпейте вина, — сказал нотариус. — И не спеша объясните мне, что вам нужно.

— Вы ведь знаете, сэр, привычки доктора, — ответил Пул, — как он теперь ото всех запирается. Так вот: он опять заперся в кабинете, и мне это не нравится, сэр... очень не нравится, право слово. Мистер Аттерсон, я боюсь.

— Успокойтесь, мой милый, — сказал нотариус. — Говорите яснее. Чего вы боитесь?

— Я уже неделю как боюсь, — продолжал Пул, упрямо не отвечая на вопрос. — И

больше у меня сил нет терпеть.

Весь облик Пула подтверждал справедливость его слов; он и держался иначе, чем обычно, и с той минуты, как он впервые упомянул о своем страхе, он ни разу не посмотрел нотариусу в лицо. Он сидел, придерживая на колене полную рюмку, к которой даже не прикоснулся, и смотрел в пол.

— Больше сил моих нет терпеть, — повторил он.

— Успокойтесь же, — сказал нотариус. — Я вижу, Пул, что у вас есть веские основания так говорить, я вижу, что случилось что-то серьезное. Скажите же мне, в чем дело!

— Я думаю, тут произошло преступление, — хрипло ответил Пул.

— Преступление! — воскликнул нотариус раздраженно, так как он был очень испуган. — Какое преступление? О чем вы говорите?

— Не смею объяснить, сэр, — ответил Пул. — Но, может, вы пойдете со мной и сами посмотрите?

Вместо ответа мистер Аттерсон встал, надел пальто и взял шляпу; при этом он с большим удивлением заметил, какое невыразимое облегчение отразилось на лице дворецкого, но еще больше нотариус удивился, когда Пул поставил рюмку на стол, так и не пригубив вина.

Была холодная, бурная, истинно мартовская ночь, бледный месяц опрокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра, а по небу неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлестал по щекам, что к ним прилиwała кровь. Кроме того, он, казалось, вымел с улиц прохожих — во всяком случае, мистеру Аттерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой пустынной. Пустынность эта угнетала его, ибо никогда еще он не испытывал столь настоятельной потребности видеть и ощущать вокруг себя людей — как он ни разубеждал себя, им властно владело тягостное предчувствие непоправимой беды. Площадь, когда они добрались до нее, была полна ветра и пыли, чахлые деревья за садовой решеткой хлестали друг друга ветвями. Дворецкий, который всю дорогу держался шагах в двух впереди, теперь остановился посреди мостовой и, несмотря на резкий ветер, снял шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Как ни быстро он шел, росинки пота, которые он вытирал, были вызваны не усталостью, а душевной мукой — лицо его побелело, голос, когда он заговорил, был сиплым и прерывистым.

— Что ж, сэр, — сказал он. — Вот мы и пришли. Дай-то Бог, чтобы все оказалось хорошо.

— Аминь, — ответил нотариус.

Дворецкий осторожно постучал, дверь приоткрылась на цепочке, и кто-то негромко спросил:

— Это вы, Пул?

— Да-да, — сказал Пул. — Открывайте.

Прихожая была ярко освещена, в камине пылал огонь, а возле, словно овцы, жались все слуги доктора — и мужчины и женщины. При виде мистера Аттерсона горничная истерически всхлипнула, а кухарка с воплем «Благодарение Богу! Это мистер Аттерсон!» кинулась к нотариусу, будто намереваясь заключить его в объятия.

— Как так? — кисло сказал нотариус. — Почему вы все собрались здесь? Весьма прискорбный беспорядок, ваш хозяин будет очень недоволен.

— Они все боятся, — сказал Пул.

Последовало глухое молчание, никто не возразил дворецкому, и только горничная, уже не сдерживаясь больше, зарыдала в голос.

— Помолчите-ка! — прикрикнул на нее Пул со свирепостью, показывавшей, насколько были расстроены его собственные нервы; более того, когда столь внезапно раздалось рыдание девушки, все вздрогнули и повернулись к двери, ведущей в комнаты, с таким выражением, словно ожидали чего-то ужасного.

— Ну-ка, подай мне свечу, — продолжал дворецкий, обращаясь к кухонному

мальчишке, — и мы сейчас же со всем этим покончим.

После этого он почтительно попросил мистера Аттерсона следовать за ним и через черный ход вывел его во двор.

— А теперь, сэр, — сказал он, — идите тихонько: я хочу, чтобы вы слышали, но чтобы вас не слышали. И вот что еще, сэр: если он вдруг пригласит вас войти, вы не входите.

Нервы мистера Аттерсона при этом неожиданном заключении так дернулись, что он чуть было не потерял равновесия; однако он собрался с духом, последовал за дворецким в лабораторию и, пройдя через анатомический театр, по-прежнему заставленный ящиками и химической посудой, приблизился к лестнице. Тут Пул сделал ему знак остановиться и слушать, а сам, поставив свечу на пол и сделав над собой видимое усилие, поднялся по ступеням и неуверенно постучал в дверь, обитую красным сукном.

— Сэр, вас хочет видеть мистер Аттерсон, — сказал он громко и снова судорожно махнул нотариусу, приглашая его слушать хорошенько.

Из-за двери донесся голос.

— Скажите ему, что я никого не принимаю, — произнес он жалобно и раздраженно.

— Слушаю, сэр, — отозвался Пул почти торжествующим тоном и, взяв свечу, вывел мистера Аттерсона во двор, а оттуда направился с ним в большую кухню, — огонь в большой плите был погашен, и по полу сновали тараканы.

— Сэр, — спросил он, глядя мистеру Аттерсону прямо в глаза, — это был голос моего хозяина?

— Он очень изменился, — ответил нотариус, побледнев, но не отводя взгляда.

— Изменился? Еще бы! — сказал дворецкий. — Неужто, прослужив здесь двадцать лет, я не узнал бы голоса хозяина? Нет, сэр. Хозяина убили; его убили восемь дней назад, когда мы услышали, как он вдруг воззвал к Богу; а что теперь там вместо него и почему оно там остается... это вопиет к небесам, мистер Аттерсон!

— Вы рассказываете странные вещи, Пул; это какая-то нелепость, любезный, — ответил мистер Аттерсон, прикусывая палец. — Предположим, произошло то, что вы предполагаете — предположим, доктор Джекил был... ну, допустим... убит. Так зачем убийце оставаться там? Этого не может быть. Это противоречит здравому смыслу.

— Вас трудно убедить, мистер Аттерсон, но все равно я вам докажу! — ответил Пул. — Всю эту неделю, вот послушайте, он... оно... ну, то, что поселилось в кабинете, день и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно. Раньше он — хозяин то есть — имел привычку писать на листке, что ему было нужно, и выбрасывать листок на лестницу. Так вот, всю эту неделю мы ничего, кроме листков, не видели — ничего, только листки да закрытую дверь; даже еду оставляли на лестнице, чтобы никто не видел, как ее заберут в кабинет. Так вот, сэр, каждый день по два, по три раза на дню только и были, что приказы да жалобы, и я обегал всех лондонских аптекарей. Чуть я принесу это снадобье, так тотчас нахожу еще листок с распоряжением вернуть его аптекарю, — дескать, оно с примесями, — и обратиться еще к одной фирме. Очень там это снадобье нужно, сэр, а уж для чего — неизвестно.

— А у вас сохранились эти листки? — спросил мистер Аттерсон.

Пул пошарил по карманам и вытащил скомканную записку, которую нотариус, нагнувшись поближе к свече, начал внимательно разглядывать. Содержание ее было таково: «Доктор Джекил с почтением заверяет фирму Мау, что последний образчик содержит примеси и совершенно непригоден для его целей. В 18... году доктор Джекил приобрел у их фирмы большую партию этого препарата. Теперь он просит со всем тщанием проверить, не осталось ли у них препарата точно такого же состава, каковой и просит выслать ему немедленно. Цена не имеет значения. Доктору Джекилу крайне важно получить этот препарат». До этой фразы тон письма был достаточно деловым, но тут, как свидетельствовали чернильные брызги, пишущий уже не мог совладать со своим волнением. «Ради всего святого, — добавлял он, — разыщите для меня старый препарат!»

— Странное письмо, — задумчиво произнес мистер Аттерсон и тут же резко спросил:

— А почему оно вскрыто?

— Приказчик у Мау очень рассердился, сэр, и швырнул его мне прямо в лицо, — ответил Пул.

— Это ведь почерк доктора, вы видите? — продолжал нотариус.

— Похож-то он похож, — угрюмо согласился дворецкий и вдруг сказал совсем другим голосом: — Только что толку от почерка? Я же его самого видел!

— Видели его? — повторил мистер Аттерсон. — И что же?

— А вот что! — ответил Пул. — Было это так: я вошел в лабораторию из сада. А он, наверное, прокрался туда искать это свое снадобье, потому что дверь кабинета была открыта, а он возился среди ящиков в дальнем конце залы. Он поднял голову, когда я вошел, взвизгнул и кинулся вверх по лестнице в кабинет. Я и видел-то его одну минуту, сэр, но волосы у меня все равно стали дыбом, что твои перья. Сэр, если это был мой хозяин, то почему у него на лице была маска? Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса, и убежал от меня? Я ведь много лет ему служил! И еще... — Дворецкий умолк и провел рукой по лицу.

— Все это очень странно, — сказал мистер Аттерсон, — но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Совершенно ясно, Пул, что ваш хозяин стал жертвой одной из тех болезней, которые не только причиняют человеку мучительные страдания, но и обезображивают его. Вот, наверное, почему изменился его голос. Вот почему он стал носить маску и отказывается видеть своих друзей. Вот почему он так стремится отыскать это лекарство, с помощью которого несчастный надеется исцелиться — дай Бог, чтобы надежда его не обманула! Вот что я думаю, Пул. Это очень печально, даже ужасно, но, во всяком случае, понятно и естественно, все объясняет и избавляет нас от излишних тревог.

— Сэр, — сказал дворецкий, чье бледное лицо пошло мучнистыми пятнами, — это была какая-то тварь, а не мой хозяин, я хоть присягнуть готов. Мой хозяин, — тут он оглянулся и перешел на шепот, — мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а это был почти карлик...

Аттерсон попробовал возражать, но Пул перебил его.

— Ах, сэр! — воскликнул он. — Что ж, по-вашему, я не узнаю хозяина, прослужив у него двадцать лет? Что же, по-вашему, я не знаю, до какого места достигает его голова в двери кабинета, где я видел его каждое утро чуть ли не всю мою жизнь? Нет, сэр, этот в маске не был доктором Джекилом. Одному Богу, известно, что это была за тварь, но это был не доктор Джекил; и я знаю, что произошло убийство.

— Пул, — сказал нотариус, — раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. Мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина (а это странное письмо как будто свидетельствует, что он еще жив), но я считаю, что мой долг — взломать эту дверь.

— И правильно, мистер Аттерсон! — вскричал дворецкий.

— Однако возникает новый вопрос, — продолжал Аттерсон. — Кто это сделает?

— Мы с вами, — мужественно ответил дворецкий.

— Прекрасно сказано, — воскликнул нотариус. — И чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали.

— В лаборатории есть топор, — продолжал Пул, — а вы, сэр, возьмите кочергу.

Нотариус поднял это нехитрое, но тяжелое оружие и взвесил его в руке.

— А вы знаете, Пул, — сказал он, глядя на дворецкого, — что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение?

— А как же, сэр! Понятное дело, — ответил дворецкий.

— В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными, — заметил нотариус. — Мы оба говорим не все, что думаем, так выскажемся начистоту. Вы узнали эту замаскированную фигуру?

— Ну, сэр, эта тварь бежала так быстро, да еще сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер Хайд, так я думаю, что да.

Видите ли, и сложение такое, и проворность, да и кто еще мог войти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли, сэр, что у него был ключ, когда случилось то убийство. И мало того! Я не знаю, мистер Аттерсон, вы этого мистера Хайда встречали?

— Да, — ответил нотариус. — Я однажды беседовал с ним.

— Ну, тогда вы, как и все мы, наверное, замечали, что есть в нем какая-то странность... отчего человеку не по себе становится... не знаю, как бы выразиться пояснее, сэр, — вроде как сразу мороз до костей пробирает.

— Признаюсь, и я испытал нечто подобное, — сказал мистер Аттерсон.

— Так вот, сэр, — продолжал Пул, — когда эта тварь в маске запрыгала, точно обезьяна, среди ящиков и кинулась в кабинет, я весь оледенел. Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда, мистер Аттерсон, настолько-то и я учен. Но что человек чувствует, то он чувствует: я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайд.

— Да-да, — ответил нотариус. — Я сам этого опасался. Боюсь, эту связь породило зло, и сама она могла породить только зло. Да, я верю вам, я верю, что бедный Гарри убит, и я верю, что его убийца (для чего, только Богу ведомо) все еще прячется в комнате своей жертвы. Ну, да будет нашим делом отмщение. Позовите Брэдшоу.

Лакей тотчас явился, бледный и испуганный.

— Возьмите себя в руки, Брэдшоу, — сказал нотариус. — Я понимаю, что эта неопределенность измучила вас всех; но теперь мы намерены положить ей конец. Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Если все благополучно, ответственность я возьму на себя. Но если действительно что-то случилось, злодей может попытаться спастись через черный ход, поэтому вы с мальчиком возьмите по крепкой палке и сторожите его на улице у двери лаборатории. Мы дадим вам десять минут, чтобы вы успели добраться до своего поста.

Брэдшоу вышел, а нотариус поглядел на свои часы.

— А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост, — сказал он и, взяв кочергу под мышку, вышел во двор.

Луну затянули тучи, и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора лишь отдельными порывами, колебал и почти гасил огонек свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов в кабинете.

— Оно расхаживает так все дни напролет, сэр, — прошептал Пул. — Да и почти всю ночь тоже. Перестает, только когда приносят от аптекаря новый образчик. Нечистая совесть — лютый враг покоя! И каждый этот шаг, сэр, — капля безвинно пролитой крови! Послушайте, послушайте, мистер Аттерсон! Внимательно послушайте и скажите мне, разве это походка доктора?

Шаги были легкие и странные — несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость, и они ничуть не походили на тяжелую поступь Генри Джекила. Аттерсон вздохнул.

— И больше ничего не бывает слышно? — спросил он.

Пул многозначительно кивнул.

— Один раз, — сказал он, — один раз я слышал, что оно плачет.

— Плачет? Как так? — воскликнул нотариус, внезапно похолодев от ужаса.

— Точно женщина или неприкаянная душа, — пояснил дворецкий. — И так у меня тяжело на сердце стало, что я сам чуть не заплакал.

Тем временем десять минут истекли. Пул извлек топор из-под вороха упаковочной соломы, свеча была водворена на ближайший к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим, и они, затаив дыхание, приблизились к двери, за которой в ночной тиши все еще раздавался мерный звук терпеливых шагов.

— Джекил, — громко воскликнул Аттерсон, — я требую, чтобы вы меня впустили! — Ответа не последовало, и он продолжал: — Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе и я должен увидеть вас — и увижу. Если не добром, так силой, если не с вашего

согласия, то взломав эту дверь!

— Аттерсон! — раздался голос за дверью. — Сжальтесь, во имя Бога!

— Это не голос Джекила! — вскричал Аттерсон. — Это голос Хайда! Ломайте дверь, Пул!

Пул взмахнул топором, все здание содрогнулось от удара, а обитая красным сукном дверь подпрыгнула на петлях и замке. Из кабинета донесся пронзительный вопль, полный животного ужаса. Вновь взвился топор, и вновь затрещали филенки, вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно, и первые четыре удара не достигли цели; только после пятого замок расскочился, и сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете.

Аттерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озаренный мягким светом кабинет: в камине пылал и что-то бормотал яркий огонь, пел свою тоненькую песенку чайник, на письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги, два-три ящика были слегка выдвинуты, столик у камина был накрыт к чаю — более мирную комнату трудно было себе представить, и, если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всем Лондоне.

Посреди нее на полу, скорчившись, лежал человек — его тело дергалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда была ему велика — она пришлась бы впору человеку сложения доктора Джекила; вздутые жилы на лбу, казалось, еще хранили биение жизни, но жизнь уже угасла, и Аттерсон, заметив раздавленный флакончик в сведенных пальцах и ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы.

— Мы явились слишком поздно и чтобы спасти и чтобы наказать, — сказал он угрюмо. — Хайд покончил расчеты с жизнью, и нам остается только найти тело вашего хозяина.

Анатомический театр занимал почти весь первый этаж здания и освещался сверху; кабинет находился на антресолях и был обращен окнами во двор. К двери, выходившей в улочку, из театра вел коридор, а с кабинетом она сообщалась второй лестницей. Кроме нескольких темных чуланов и обширного подвала, никаких других помещений в здании больше не было. Мистер Аттерсон и дворецкий обыскали кабинет и театр самым тщательным образом. В чуланы достаточно было просто заглянуть, так как они были пусты, а судя по слою пыли на дверях, в них очень давно никто не заходил. Подвал, правда, был завален всяческим хламом, восходившим еще ко временам хирурга, предшественника Джекила, но стоило им открыть дверь, как с нее сорвался настоящий ковер паутины, возвещая, что и здесь они ничего не найдут. Все поиски Генри Джекила, живого или мертвого, оказались тщетными.

Пул, топая и прислушиваясь, прошел по каменным плитам коридора.

— Наверное, он похоронил его тут, — сказал дворецкий.

— А может быть, он бежал, — отозвался Аттерсон и подошел к двери, выходившей на улицу. Она была заперта, а на полу вблизи нее они обнаружили ключ, уже слегка покрывшийся ржавчиной.

— Им, кажется, давно не пользовались, — заметил нотариус.

— Не пользовались? — переспросил Пул. — Разве вы не видите, сэр, что ключ сломан? Словно на него наступили.

— Верно, — ответил Аттерсон. — И место излома тоже заржавело.

Они испуганно переглянулись.

— Я ничего не понимаю, Пул, — сказал нотариус. — Вернемся в кабинет.

Они молча поднялись по лестнице и, с ужасом косясь на труп, начали подробно осматривать все, что находилось в кабинете. На одном из столов можно было заметить следы химического опыта: на стеклянных блюдечках лежали разной величины кучки какой-то белой соли, точно несчастному помешали закончить проводимое им исследование.

— То самое снадобье, которое я ему все время разыскивал, — сказал Пул, но тут чайник вскипел, и вода с шипением пролилась на огонь.

Это заставило их подойти к камину — к нему было пододвинуто покойное кресло, рядом на столике расставлен чайный прибор и даже сахар был уже положен в чашку. На каминной полке стояло несколько книг; раскрытый том лежал на столике возле чашки — это был богословский трактат, о котором Джекил не раз отзывался с большим уважением, но теперь Аттерсон с изумлением увидел, что поля испещрены кощунственными замечаниями, написанными рукой доктора.

Затем, продолжая осмотр, они подошли к вращающемуся зеркалу и посмотрели в него с невольным страхом. Однако оно было повернуто так, что они увидели только алые отблески, играющие на потолке, пламя и сотни его отражений в стеклянных дверцах шкафов и свои собственные бледные, испуганные лица.

— Это зеркало видело странные вещи, сэр, — прошептал Пул.

— Но ничего более странного, чем оно само, — так же тихо ответил нотариус. — Для чего Джекил... — при этом слове он вздрогнул и умолк, но тут же справился со своей слабостью. — Зачем оно понадобилось Джекилу?

— Кто знает! — ответил Пул.

Затем они подошли к столу. На аккуратной стопке бумаг лежал большой конверт, на котором почерком доктора было написано имя мистера Аттерсона. Нотариус распечатал его, и на пол упало несколько документов. Первым было завещание, составленное столь же необычно, как и то, которое нотариус вернул доктору за полгода до этого, — как духовная на случай смерти и как дарственная на случай исчезновения; однако вместо имени Эдварда Хайда нотариус с невыразимым удивлением прочел теперь в завещании имя Габриэля Джона Аттерсона. Он посмотрел на Пула, затем снова на документ и, наконец, перевел взгляд на мертвого преступника, распростертого на ковре.

— У меня голова кругом идет, — сказал он. — Хайд был здесь полным хозяином несколько дней, у него не было причин любить меня, он, несомненно, пришел в бешенство, обнаружив, что его лишили наследства, — и все-таки он не уничтожил завещания!

Он поднял вторую бумагу. Это оказалась короткая записка, написанная рукой доктора, сверху стояла дата.

— Ах, Пул! — вскричал нотариус. — Он был сегодня здесь, и он был жив. За столь короткий срок скрыть его тело бесследно было бы невозможно — значит, он жив, значит, он бежал! Но почему бежал? И как? Однако в таком случае можем ли мы объявить об этом самоубийстве? Мы должны быть крайне осторожны. Я предвижу, что мы можем навлечь на вашего хозяина страшную беду.

— Почему вы не прочтете записку, сэр? — спросил Пул.

— Потому что я боюсь, — мрачно ответил нотариус. — Дай-то Бог, чтобы мой страх не оправдался!

Он поднес бумагу к глазам и прочел следующее: «Дорогой Аттерсон! Когда вы будете читать эти строки, я исчезну — при каких именно обстоятельствах, я не могу предугадать, однако предчувствие и немыслимое положение, в котором я нахожусь, убеждают меня, что конец неотвратим и, вероятно, близок. В таком случае начните с письма Лэньона, которое он, если верить его словам, собирался вам вручить; если же вы желаете узнать больше, в таком случае обратитесь к исповеди, которую оставляет вам ваш недостойный и несчастный друг Генри Джекил».

— Тут было вложено что-то еще? — спросил Аттерсон.

— Вот, сэр, — ответил Пул и вручил ему пухлый пакет, запечатанный в нескольких местах сургучом. Нотариус спрятал его в карман.

— Об этих бумагах нельзя говорить никому. Если ваш хозяин бежал или умер, мы можем хотя бы попробовать спасти его доброе имя. Сейчас десять часов, я должен пойти домой, чтобы без помехи прочесть эти бумаги, но я вернусь до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией.

Они вышли, заперли дверь лаборатории, и Аттерсон, оставив слуг в прихожей у огня, отправился к себе домой, чтобы прочесть два письма, в которых содержалось объяснение тайны.

Письмо доктора Лэньона

Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего коллеги и школьного товарища Генри Джекила. Это меня очень удивило, так как у нас с ним не было обыкновения переписываться, а я видел его — собственно говоря, обедал у него — только накануне; и, уж во всяком случае, я не мог понять, зачем ему понадобилось прибегать к столь официальному способу общения, как заказное письмо. Содержание письма только усилило мое недоумение. Я приведу его полностью.

«9 января 18... года.

Дорогой Лэньон, Вы — один из моих старейших друзей, и хотя по временам у нас бывали разногласия из-за научных теорий, наша взаимная привязанность как будто нисколько не охладела — во всяком случае, с моей стороны. Я не могу припомнить дня, когда, скажи Вы мне: «Джекил, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок», — я не пожертвовал бы левой рукой, лишь бы помочь Вам. Лэньон, в Ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок — если Вы откажете сегодня в моей просьбе, я погиб. Подобное предисловие может навести Вас на мысль, что я намерен просить Вас о какой-то неблагоприятной услуге. Но судите сами.

Я прошу Вас освободить этот вечер от каких-либо дел — если даже Вас вызовут к постели больного монарха, откажитесь! Возьмите кеб, если только Ваш собственный экипаж уже не стоит у дверей, и с этим письмом (для справок) поезжайте прямо ко мне домой. Пулу, моему дворецкому, даны надлежащие указания — он будет ждать Вашего приезда, уже пригласив слесаря. Затем пусть они взломают дверь моего кабинета, но войдете в него Вы один. Войдя, откройте стеклянный шкаф слева (помеченный буквой «Е») — если он заперт, сломайте замок и выньте со всем содержимым четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий, считая снизу. Меня грызет страх, что в расстройстве чувств я могу дать Вам неправильные указания, но даже если я ошибся, Вы узнаете нужный ящик по его содержимому: порошки, небольшой флакон и толстая тетрадь. Умоляю Вас, отвезите этот ящик прямо, как он есть, к себе на Кавендиш-сквер.

Это первая часть услуги, которой я от Вас жду. Теперь о второй ее части. Если Вы поедете ко мне немедленно после получения письма, Вы, конечно, вернетесь домой задолго до полуночи, но я даю Вам срок до этого часа — не только потому, что опасаюсь какой-нибудь из тех задержек, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, но и потому, что для дальнейшего предпочтительно выбрать время, когда Ваши слуги будут уже спать. Так вот: в полночь будьте у себя и непременно одни — надо, чтобы Вы сами открыли дверь тому, кто явится к Вам от моего имени, и передали ему ящик, который возьмете в моем кабинете. На этом Ваша роль окончится, и Вы заслужите мою вечную благодарность. Затем через пять минут, если Вы потребуете объяснений, Вы поймете всю важность этих предосторожностей и убедитесь, что, пренебреги Вы хотя бы одной из них, какими бы нелепыми они Вам ни казались, Вы могли бы оказаться повинны в моей смерти или безумии.

Как ни уверен я, что Вы свято исполните мою просьбу, сердце мое сжимается, а рука дрожит при одной только мысли о возможности обратного. Подумайте: в этот час я нахожусь далеко от дома, меня снедает черное отчаяние, которое невозможно даже вообразить, и в то же время я знаю, что стоит Вам точно выполнить все мои инструкции — и мои тревоги останутся позади, как будто я читал о них в книге. Помогите мне, дорогой Лэньон, спасите

Вашего друга
Г. Дж.

р. S. Я уже запечатал письмо, как вдруг мной овладел новый страх. Возможно, что почта задержится и Вы получите это письмо только завтра утром. В таком случае, дорогой Лэньон, выполните мое поручение в течение дня, когда Вам будет удобнее, и снова ожидайте моего посланца в полночь. Но возможно, будет уже поздно, и если ночью к Вам никто не явится, знайте, что Вы уже никогда больше не увидите Генри Джекила».

Прочитав это письмо, я исполнился уверенности, что мой коллега сошел с ума, но тем не менее считал себя обязанным исполнить его просьбу, так как у меня не было иных доказательств его безумия. Чем меньше я понимал, что означает вся эта абракадабра, тем меньше мог судить о ее важности, а оставить без внимания столь отчаянную мольбу значило бы взять на себя тяжкую ответственность. Поэтому я тут же встал из-за стола, сел на извозчика и поехал прямо к дому Джекила. Дворецкий уже ждал меня: он тоже получил с вечерней почтой заказное письмо с инструкциями и тотчас послал за слесарем и за плотником. Они явились, когда мы еще разговаривали, и мы все вместе направились в секционную покойного доктора Денмена, откуда (как вам, несомненно, известно) легче всего попасть в кабинет Джекила. Дверь оказалась на редкость крепкой, а замок — чрезвычайно хитрым. Плотник заявил, что взломать дверь будет очень трудно и что ему придется сильно ее повредить, и слесарь тоже совсем было отчаялся. Однако он оказался искусным мастером, и через два часа замок все же поддался его усилиям. Шкаф, помеченный буквой «Е», не был заперт, я вынул ящик, приказал наложить в него соломы и обернуть его простыней, а затем поехал с ним к себе на Кавендиш-сквер.

Там я внимательно рассмотрел его содержимое. Порошки были завернуты очень аккуратно, но все же не так, как завернул бы их настоящий аптекарь, из чего я заключил, что их изготовил сам Джекил. Когда же я развернул один пакетик, то увидел какую-то кристаллическую соль белого цвета. Флакончик, которым я занялся в следующую очередь, был наполнен до половины кроваво-красной жидкостью — она обладала резким душным запахом и, насколько я мог судить, имела в своем составе фосфор и какой-то эфир. Что еще входило в нее, сказать не могу. Тетрадь была самой обыкновенной тетрадью и не содержала почти никаких записей, кроме столбиков дат. Они охватывали много лет, но я заметил, что они резко обрывались на числе более чем годовой давности. Иногда возле даты имелось какое-нибудь примечание, чаще всего — одно слово. «Удвоено» встречалось шесть или семь раз на несколько сот записей, а где-то в самом начале с тремя восклицательными знаками значилось: «Полнейшая неудача!!!» Все это только раздражило мое любопытство, но ничего не объяснило. Передо мной был флакончик с какой-то тинктурой, пакетики с какой-то солью и записи каких-то опытов, которые (подобно подавляющему большинству экспериментов Джекила) не дали практических результатов. Каким образом присутствие этих предметов в моем доме могло спасти или погубить честь, рассудок и жизнь моего легкомысленного коллеги? Если его посланец может явиться в один дом, то почему не в другой? И даже если на то действительно есть веская причина, то почему я должен хранить его приход в тайне? Чем больше я ломал над этим голову, тем больше убеждался, что единственное объяснение следует искать в мозговом заболевании. Поэтому, хотя я и отпустил слуг спать, но тем не менее зарядил свой старый револьвер, чтобы иметь возможность защищаться.

Не успел отзвучать над Лондоном бой часов, возвещавший полночь, как раздался чуть слышный стук дверного молотка. Я сам пошел открыть дверь и увидел, что к столбику крыльца прижимается человек очень маленького роста.

— Вы от доктора Джекила? — осведомился я.

Он судорожно кивнул, а когда я пригласил его войти, он прежде тревожно оглянулся через плечо на темную площадь. По ней в нашу сторону шел полицейский с горящим фонарем в руках, и при виде его мой посетитель вздрогнул и поспешно юркнул в прихожую.

Все это, признаюсь, мне не понравилось, и, следуя за ним в ярко освещенный кабинет, я держал руку в кармане, где лежал револьвер. Тут, наконец, мне представилась возможность рассмотреть его. Я сразу убедился, что вижу этого человека впервые. Как я уже говорил, он был невысок; меня поразило омерзительное выражение его лица, сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и — в первую очередь — странное, неприятное ощущение, которое возникало у меня при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и сопровождалось заметным замедлением пульса. В первую минуту я объяснил это какой-то личной своей идиосинкразией и только подивился четкости симптомов; однако позже я пришел к заключению, что причину следует искать в самых глубинах человеческой натуры и определяется она началом более благородным, нежели ненависть.

Неизвестный (с первой же секунды своего появления вызвавший во мне чувство, которое я могу назвать только смесью любопытства и гадливости) был одет так, что, будь на его месте кто-нибудь другой, он вызвал бы смех. Его костюм, отлично сшитый из прекрасной темной материи, был ему безнадежно велик и широк — брюки болтались и были подсучены, чтобы не волочиться по земле, талия сюртука приходилась на бедра, а ворот сползал на плечи. Но, как ни странно, это нелепое одеяние отнюдь не показалось мне смешным. Напротив, в самой сущности стоявшего передо мной незнакомца чувствовалось что-то ненормальное и уродливое — что-то завораживающее, жуткое и гнусное, — и такое облачение гармонировало с этим впечатлением и усиливало его. Поэтому меня заинтересовали не только характер и натура этого человека, но и его происхождение, образ его жизни, привычки и положение в свете.

Эти наблюдения, хотя они и занимают здесь немало места, потребовали всего нескольких секунд. К тому же моего посетителя, казалось, снедало жгучее нетерпение.

— Он у вас? — вскричал он. — У вас?

Его лихорадочное возбуждение было так велико, что он даже схватил меня за плечо, словно собираясь встряхнуть.

Я отстранил его руку, почувствовав, что от этого прикосновения по моим венам прокатилась ледяная волна.

— Простите, сэр, — сказал я. — Вы забываете, что я еще не имею чести быть с вами знакомым. Будьте добры, присядьте.

И я показал ему пример, опустившись в свое кресло так, словно передо мной был пациент, и стараясь держаться естественно, насколько это позволяли поздний час, одолевавшие меня мысли и тот ужас, который внушал мне мой посетитель.

— Прошу извинения, доктор Лэньон, — ответил он достаточно учтиво. — Ваш упрек совершенно справедлив — мое нетерпение забежало вперед вежливости. Я пришел к вам по просьбе вашего коллеги доктора Генри Джекила в связи с весьма важным делом — насколько я понял... — Он умолк, прижав руку к горлу, и я заметил, что, несмотря на свою сдержанность, он лишь с трудом подавляет припадок истерии. — Насколько я понял... ящик...

Но тут я сжалился над мучительным нетерпением моего посетителя, а может быть, и над собственным растущим любопытством.

— Вот он, сэр, — сказал я, указывая на ящик, который стоял на полу позади стола, все еще накрытый простыней.

Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и прижал руку к сердцу. Я услышал, как заскрежетали зубы его сведенных судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось, что я испугался за его рассудок и даже за жизнь.

— Успокойтесь, — сказал я.

Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке, и с решимостью отчаяния

сдернул простыню. Увидев содержимое ящика, он испустил всхлипывающий вздох, полный такого невыразимого облегчения, что я окаменел. А затем, уже почти совсем овладев своим голосом, он спросил:

— Нет ли у вас мензурки?

Я встал с некоторым усилием и подал ему просимое.

Он поблагодарил меня кивком и улыбкой, отмерил некоторое количество красной тинктуры и добавил в нее один из порошков. Смесь, которая была сперва красноватого оттенка, по мере растворения кристаллов начала светлеть, с шипением пузыриться и выбрасывать облачка пара. Внезапно процесс этот прекратился, и в тот же момент микстура стала темно-фиолетовой, а потом этот цвет медленно сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня.

— А теперь, — сказал он, — последнее. Может быть, вы будете благоразумны? Может быть, вы послушаетесь моего совета и позволите мне уйти из вашего дома с этой мензуркой в руке и без дальнейших объяснений? Или ваше любопытство слишком сильно? Подумайте, прежде чем ответить, ведь как вы решите, так и будет. Либо все останется, как прежде, и вы не сделаетесь ни богаче, ни мудрее, хоть мысль о том, что вы помогли человеку в минуту смертельной опасности, возможно, и обогащает душу! Либо, если вы предпочтете иное, перед вами откроются новые области знания, новые дороги к могуществу и славе — здесь, сейчас, в этой комнатке, и ваше зрение будет поражено феноменом, способным сокрушить неверие самого Сатаны.

— Сэр, — ответил я с притворным спокойствием, которого отнюдь не ощущал, — вы говорите загадками, и вас, наверное, не удивит, если я скажу, что слушаю вас без особенного доверия. Я слишком далеко зашел по пути таинственных услуг, чтобы остановиться, не увидев конца.

— Пусть так, — ответил мой посетитель. — Лэньон, вы помните нашу профессиональную клятву? Все дальнейшее считайте врачебной тайной. А теперь, теперь, человек, столь долго исповедовавший самые узкие и грубо материальные взгляды, отрицавший самую возможность трансцендентной медицины, смеявшийся над теми, кто был талантливей, — смотри!

Он поднес мензурку к губам и залпом выпил ее содержимое. Раздался короткий вопль, он покачнулся, зашатался, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым ртом; и вдруг я заметил, что он меняется... становится словно больше... его лицо вдруг почернело, черты расплылись, преобразились — и в следующий миг я вскочил, отпрянул к стене и поднял руку, заслоняясь от этого видения, теряя рассудок от ужаса.

— Боже мой! — вскрикнул я и продолжал твердить «Боже мой!», ибо передо мной, бледный, измученный, ослабевший, шаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых, — передо мной стоял Генри Джекил!

Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел, я слышал то, что слышал, и моя душа была этим растерзана; однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами, я спрашиваю себя, верю ли я в то, что было, — и не знаю ответа. Моя жизнь сокрушена до самых ее корней, сон покинул меня, дни и ночи меня стережет смертоносный ужас, и я чувствую, что дни мои сочтены и я скоро умру, и все же я умру, не веря. Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть со слезами раскаяния. Я скажу только одно, Аттерсон, но этого (если вы заставите себя поверить) будет достаточно. Тот, кто прокрался ко мне в дом в ту ночь, носил — по собственному признанию Джекила — имя Хайда, и его разыскивали по всей стране, как убийцу Кэрю.

Хейсти Лэньон.

Исчерпывающее объяснение Генри Джекила

Я родился в году 18... наследником большого состояния; кроме того, я был наделен немалыми талантами, трудолюбив от природы, высоко ставил уважение умных и благородных людей и, казалось, мог не сомневаться, что меня ждет славное и блестящее будущее. Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям, которое для многих служит источником счастья; однако я не мог примирить эти наклонности с моим настойчивым желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и почтенным. Поэтому я начал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мною путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной. Немало людей гордо выставляли бы напоказ те отклонения со стези добродетели, в которых я был повинен, но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия. Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений — те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей. Та же причина заставляла меня упорно и настойчиво размышлять над тем суровым законом жизни, который лежит в основе религии и является самым обильным источником человеческого горя. Но, несмотря на мое постоянное притворство, я не был лицемером: обе стороны моей натуры составляли подлинную мою сущность — я был самым собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству и когда при свете дня усердно трудился на ниве знания или старался облегчить чужие страдания и несчастья. Направление же моих ученых занятий, тяготевших к области мистического и трансцендентного, в конце концов повлияло и пролило яркий свет на эту вечную войну двух начал, которую я ощущал в себе. Таким образом, с каждым днем обе стороны моей духовной сущности — нравственная и интеллектуальная — все больше приближали меня к открытию истины, частичное овладение которой обрекло меня на столь ужасную гибель; я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Я говорю «двоичен» потому, что мне не дано было узнать больше. Но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов. Я же благодаря своему образу жизни мог продвигаться в одном и только в одном направлении. В своей личности абсолютную и изначальную двойственность человека я обнаружил в сфере нравственности. Наблюдая в себе соперничество двух противоположных натур, я понял, что назвать каждую из них своей я могу только потому, что и та и другая равно составляют меня; еще задолго до того, как мои научные изыскания открыли передо мной практическую возможность такого чуда, я с наслаждением, точно заветной мечте, предавался мыслям о полном разделении этих двух элементов. Если бы только, говорил я себе, их можно было расселить в отдельные тела, жизнь освободилась бы от всего, что делает ее невыносимой; дурной близнец пошел бы своим путем, свободный от высоких стремлений и угрызений совести добродетельного двойника, а тот мог бы спокойно и неуклонно идти своей благой стезей, творя добро согласно своим наклонностям и не опасаясь более позора и кары, которые прежде мог бы навлечь на него соседствовавший с ним носитель зла. Это насильственное соединение в одном пучке двух столь различных прутьев, эта непрерывная борьба двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души были извечным проклятием человечества. Но как же их разъединить?

Вот куда уже привели меня мои размышления, когда, как я упоминал, на лабораторном столе забрезжил путеводный свет. Я начал осознавать глубже, чем кто-либо осознавал это

прежде, всю зыбкую нематериальность, всю облачную бесплотность столь неизменного на вид тела, в которое мы облечены. Я обнаружил, что некоторые вещества обладают свойством колебать и преобразовать эту мышечную оболочку, как ветер, играющий с занавесками в беседке. По двум веским причинам я не стану в своей исповеди подробно объяснять научную сторону моего открытия. Во-первых, с тех пор я понял, что предопределенное бремя жизни возлагается на плечи человека навеки и попытка сбросить его неизменно кончается одним: оно вновь ложится на них, сделавшись еще более неумолимым и тягостным. Во-вторых, как — увы! — станет ясно из этого рассказа, открытие мое не было доведено до конца. Следовательно, достаточно будет сказать, что я не только распознал в моем теле всего лишь эманацию и ореол неких сил, составляющих мой дух, но и сумел приготовить препарат, с помощью которого эти силы лишались верховной власти, и возникал второй облик, который точно так же принадлежал мне, хотя он был выражением и нес на себе печать одних низших элементов моей души.

Я долго колебался, прежде чем рискнул подвергнуть эту теорию проверке практикой. Я знал, что опыт легко может кончиться моей смертью: ведь средство, столь полно подчиняющее себе самый оплот человеческой личности, могло вовсе уничтожить призрачный ковчег духа, который я надеялся с его помощью только преобразить, — увеличение дозы на ничтожнейшую частицу, мельчайшая заминка в решительный момент неизбежно привели бы к роковому результату. Однако соблазн воспользоваться столь необыкновенным, столь неслыханным открытием в конце концов возобладал над всеми опасениями. Я уже давно изготовил тинктуру, я купил у некой оптовой фирмы значительное количество той соли, которая, как показали мои опыты, была последним необходимым ингредиентом, и вот в одну проклятую ночь я смешал элементы, увидел, как они закипели и задымились в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна.

Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришел в себя, словно после тяжелой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неопишимо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывала приятная и счастливая легкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно более порочным — рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений, и тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом.

Тогда в моем кабинете не было зеркала: то, которое стоит сейчас возле меня, я приказал поставить здесь позже — именно для того, чтобы наблюдать эту метаморфозу. Однако на смену ночи уже шло утро — утро, которое, как ни черно оно было, готовилось вот-вот породить день, — моих домочадцев крепко держал в объятиях непробудный сон, и я, одурманенный торжеством и надеждой, решил отправиться в моем новом облике к себе в спальню. Я прошел по двору, и созвездия, чудилось мне, с удивлением смотрели на первое подобное существо, которое им довелось узреть за все века их бессонных бдений; я прокрался по коридору — чужой в моем собственном доме — и, войдя в спальню, впервые увидел лицо и фигуру Эдварда Хайда.

Далее следуют мои предположения — не факты, но лишь теория, представляющаяся мне наиболее вероятной. Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро. С другой стороны, самый образ моей жизни, на девять десятых состоявшей из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность и тем самым сохранял его силы. Вот почему, думается мне, Эдвард Хайд был ниже ростом, subtilнее и моложе Генри Джекила. И если лицо одного дышало добром, лицо другого несло на себе

ясный и размашистый росчерк зла. Кроме того, зло (которое я и теперь не могу не признать губительной стороной человеческой натуры) наложило на этот облик отпечаток уродства и гнилости. И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь это тоже был я. Образ в зеркале казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, он был более четким отражением духа, более выразительным и гармоничным, чем та несовершенная и двойственная внешность, которую я до тех пор привык называть своей. И в этом я был, без сомнения, прав. Я замечал, что в облике Эдварда Хайда я внушал физическую гадливость всем, кто приближался ко мне. Этому, на мой взгляд, есть следующее объяснение: обычные люди представляют собой смесь добра и зла, а Эдвард Хайд был единственным среди всего человечества чистым воплощением зла.

Я медлил перед зеркалом не более минуты — мне предстояло проделать второй и решающий опыт: я должен был проверить, смогу ли я вернуть себе прежнюю личность или мне придется, не дожидаясь рассвета, бежать из дома, переставшего быть моим. Поспешив назад в кабинет, я снова приготовил и испил магическую чашу, снова испытал муки преобразования и очнулся уже с характером, телом и лицом Генри Джекила.

В ту ночь я пришел к роковому распутию. Если бы к моему открытию меня привели более высокие побуждения, если бы я рискнул проделать этот опыт, находясь во власти благородных или благочестивых чувств, все могло бы сложиться иначе и из агонии смерти и возрождения я восстал бы ангелом, а не дьяволом. Само средство не обладало избирательной способностью, оно не было ни божественным, ни сатанинским, оно лишь отперло темницу моих склонностей и, подобно узникам в Филиппах, наружу вырвался тот, кто стоял у двери. Добро во мне тогда дремало, а зло бодрствовало, разбуженное тщеславием, и поспешило воспользоваться удобным случаем — так возник Эдвард Хайд. В результате, хотя теперь у меня было не только два облика, но и два характера, один из них состоял только из зла, а другой остался прежним двойственным и негармоничным Генри Джекилом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему.

Даже и в то время я еще не полностью преодолел ту скуку, которую внушало мне сухое однообразие жизни ученого. Я по-прежнему любил развлечения, но мои удовольствия были (мягко выражаясь) не слишком достойными, а я не только стал известным и уважаемым человеком, но достиг уже пожилого возраста, и раздвоенность моей жизни с каждым днем делалась для меня все тягостнее. Тут мне могло помочь мое новообретенное могущество, и, не устояв перед искушением, я превратился в раба. Мне стоило только выпить мой напиток, чтобы сбросить с себя тело известного профессора и, как плотным плащом, укутаться телом Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли — тогда она показалась мне забавной — и занялся тщательной подготовкой. Я снял и меблировал тот дом в Сохо, до которого впоследствии полиция проследила Хайда, и поручил его заботам женщины, которая, как мне было известно, не отличалась щепетильностью и умела молчать. Затем я объявил моим слугам, что некий мистер Хайд (я описал его внешность) может распоряжаться в доме, как у себя, — во избежание недоразумений я несколько раз появился там в моем втором облике, чтобы слуги ко мне привыкли. Далее я составил столь возмущившее вас завещание; если бы с доктором Джекилом что-нибудь произошло, я благодаря этому завещанию мог бы окончательно преобразиться в Эдварда Хайда, не утратив при этом моего состояния. И вот, обезопасившись, как мне казалось, от всех возможных случайностей, я начал извлекать выгоду из странных привилегий моего положения.

В старину люди пользовались услугами наемных убийц, чтобы их руками творить свои преступления, не ставя под угрозу ни себя, ни свою добрую славу. Я был первым человеком, который прибегнул к этому способу в поисках удовольствий. Я был первым человеком, которого общество видело облаченным в одежды почтенной добродетели и который мог в мгновение ока сбросить с себя этот временный наряд и, подобно вырвавшемуся на свободу школьнику, кинуться в море распущенности. Но в отличие от этого школьника мне в моем

непроницаемом плаще не грозила опасность быть узнанным. Поймите, я ведь просто не существовал! Стоило мне скрыться за дверью лаборатории, в одну-две секунды смешать и выпить питье — я бдительно следил за тем, чтобы тинктура и порошки всегда были у меня под рукой, — и Эдвард Хайд, что бы он ни натворил, исчез бы, как след дыхания на зеркале, а вместо него в кабинете оказался бы Генри Джекил, человек, который, мирно трудясь у себя дома при свете полночной лампы, мог бы смеяться над любыми подозрениями.

Удовольствия, которым я незамедлительно стал предаваться в своем маскарадном облике, были, как я уже сказал, не очень достойными, но и только; однако Эдвард Хайд вскоре превратил их в нечто чудовищное. Не раз, вернувшись из подобной экскурсии, я дивился развращенности, обретенной мной через его посредство. Этот фактотум, которого я вызвал из своей собственной души и послал одного искать наслаждений на его лад, был существом по самой своей природе злобным и преступным; каждое его действие, каждая мысль диктовались себялюбием, с животной жадностью он упивался чужими страданиями и не знал жалости, как каменное изваяние. Генри Джекил часто ужасался поступкам Эдварда Хайда, но странность положения, неподвластного обычным законам, незаметно убаюкивала совесть. Ведь в конечном счете виноват во всем был Хайд и только Хайд. А Джекил не стал хуже, он возвращался к лучшим своим качествам как будто таким же, каким был раньше. Если это было в его силах, он даже спешил загладить зло, причиненное Хайдом. И совесть его спала глубоким сном.

Я не хочу подробно описывать ту мерзость, которой потворствовал (даже и теперь мне трудно признать, что ее творил я сам), я намерен только перечислить события, которые указывали на неизбежность возмездия и на его приближение. Однажды я навлек на себя большую опасность, но так как этот случай не имел никаких последствий, я о нем здесь только упомяну. Моя бездушная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я узнал в вашем кузене в тот раз, когда вы видели меня у окна; к нему на помощь пришли родные девочки и врач, и были минуты, когда я уже опасался за свою жизнь; чтобы успокоить их более чем справедливое негодование, Эдвард Хайд был вынужден привести их к двери лаборатории и вручить им чек, подписанный Генри Джекилом. Однако я обеспечил себя от повторения подобных случаев, положив в другой банк деньги на имя Эдварда Хайда; а когда я научился писать, изменяя наклон, и снабдил моего двойника подписью, я решил, что окончательно перехитрил судьбу.

Месяца за два до убийства сэра Дэнверса я отправился на поиски очередных приключений, вернулся домой очень поздно и проснулся на следующий день с каким-то странным ощущением. Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель и высокий потолок моей спальни в доме на площади, тщетно я узнавал знакомый узор на занавесках кровати красного дерева и резьбу на ее спинке — что-то продолжало настойчиво шептать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатухе в Сохо, где я имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мысли и, поддавшись моему обычному интересу к психологии, начал лениво размышлять над причинами этой иллюзии, иногда снова погружаясь в сладкую утреннюю дрему. Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на свою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекила по форме и размерам была настоящей рукой врача — крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле полусжатая в кулак рука, которую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землисто-бледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда.

Я, наверное, почти минуту смотрел на нее в тупом изумлении, но затем меня объял ужас, внезапный и оглушающий, как грохот литавр, — вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При виде того, что в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и леденеет. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Как можно это объяснить? — спросил я себя и тут же с новым приливом ужаса задал себе второй вопрос: как это исправить? Утро было в разгаре, слуги давно встали, все мои порошки хранились в

кабинете, отделенном от того места, где я в оцепенении стоял перед зеркалом, двумя лестничными маршами, коридором, широким двором и всей длиной анатомического театра. Конечно, я мог бы закрыть лицо, но что пользы? Ведь я был не в состоянии скрыть перемену в моем телосложении. Но тут с неизъяснимым облегчением я вспомнил, что слуги были уже давно приучены к внезапным появлениям моего второго «я». Я быстро оделся, хотя моя одежда, разумеется, была мне теперь велика, быстро прошел через черный ход, где Брэдшоу вздрогнул и попятился, увидев перед собой мистера Хайда в столь неурочный час и в столь странном одеянии, и через десять минут доктор Джекил, уже обретший свой собственный образ, мрачно сидел за столом, делая вид, что завтракает.

Да, мне было не до еды! Это необъяснимое происшествие, это опровержение всего моего предыдущего опыта, казалось, подобно огненным письмам на вальтасаровом пиру, пророчило мне грозную кару, и я впервые серьезно задумался над страшными возможностями, которыми было чревато мое двойное существование. Та часть моей натуры, которую я научился выделять, была в последнее время очень деятельной и налилась силой — мне даже начинало казаться, будто тело Эдварда Хайда стало выше и шире в плечах, будто (когда я принимал эту форму) кровь более энергично струится в его жилах; значит, если так будет продолжаться и дальше, думал я, возникнет опасность, что равновесие моей духовной сущности нарушится безвозвратно, я лишусь способности преображаться по собственному желанию и навсегда останусь Эдвардом Хайдом. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, питье не подействовало вовсе, и с тех пор я не раз должен был принимать двойную дозу, а как-то, рискуя жизнью, принял даже тройную. До сих пор эти редкие капризы сложнейшего препарата были единственной тенью, омрачавшей мою радость. Однако теперь, раздумывая над утренним происшествием, я пришел к выводу, что если вначале труднее всего было сбрасывать с себя тело Джекила, то в последнее время труднее всего стало вновь в него облекаться. Таким образом, все наталкивало на единственно возможный вывод: я постепенно утрачивал связь с моим первым и лучшим «я» и малопомалу начинал полностью сливаться со второй и худшей частью моего существа.

Я понял, что должен выбрать между ними раз и навсегда. Мои две натуры обладали общей памятью, но все остальные их свойства распределялись между ними крайне неравномерно. Джекил (составная натура) то с боязливым трепетом, то с алчным смакованием ощущал себя участником удовольствий и приключений Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу и помнил о нем, как горный разбойник помнит о пещере, в которой он прячется от преследователей. Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес, Хайд отвечал ему более чем сыновним равнодушием. Выбрать Джекила значило бы отказаться от тех плотских склонностей, которым я прежде потакал тайно и которые в последнее время привык удовлетворять до пресыщения. Выбрать Хайда значило бы отказаться от тысячи интересов и упований, мгновенно и навеки превратиться в презираемого всеми отщепенца. Казалось бы, выбор представляется неравным, но на весах приходилось бросить еще одно соображение: Джекил был бы обречен мучительно страдать в пламени воздержания, в то время как Хайд не имел бы ни малейшего понятия о том, чего он лишился. Пусть положение мое было единственным в своем роде, но в сущности этот спор так же стар и обычен, как сам человек; примерно такие же соблазны и опасности решают, как выпадут кости для любого грешника, томимого искушением и страхом; и со мной произошло то же, что происходит с подавляющим большинством моих ближних: я выбрал свою лучшую половину, но у меня не хватило силы воли остаться верным своему выбору.

Да, я предпочел пожилого доктора, втайне не удовлетворенного жизнью, но окруженного друзьями и лелеющего благородные надежды; я предпочел его и решительно простился со свободой, относительной юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями — со всем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Возможно, я сделал этот выбор с бессознательными оговорками, так как я не отказался от дома в Сохо и не уничтожил одежду Эдварда Хайда, которая по-прежнему хранилась у меня в кабинете. Однако два месяца я свято соблюдал свое решение, два месяца

я вел чрезвычайно строгую жизнь, о какой и мечтать не мог прежде, и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести. Но время притупило остроту моей тревоги, спокойная совесть становилась чем-то привычным, меня начинали терзать томительные желания, словно Хайд пытался вырваться на волю, и, наконец, в час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток.

Пьяница, задумавший отучить себя от своего порока, лишь в редком случае искренне содрогнется при мысли об опасностях, которым он подвергается, впадая в физическое отупение. Так же и я, постоянно размышляя над своим положением, все же склонен был к некоторым легкомыслием относиться к абсолютному нравственному отупению и к неутолимой жажде зла, которые составляли главные черты характера Эдварда Хайда. Но именно они и навлекли на меня кару. Мой дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава, как уже ощутил неудержимое и яростное желание творить зло. Вероятно, именно поэтому учтивая речь моей несчастной жертвы и подняла в моей душе бурю раздражения; Бог свидетель, ни один душевно здоровый человек не был бы способен совершить подобное преступление по столь незначительному поводу — я нанес первый удар под влиянием того же чувства, которое заставляет больного ребенка ломать игрушку. Однако я добровольно освободился от всех сдерживающих инстинктов, которые даже худшим из нас помогают сохранять среди искушений хоть какую-то степень разумности; для меня же самый малый соблазн уже означал падение.

Мгновенно во мне проснулся и забушевал адский дух. В экстазе злорадства я калечил и уродовал беспомощное тело, упиваясь восторгом при каждом ударе, и только когда мной начала овладевать усталость, я вдруг в самом разгаре моего безумия ощутил в сердце леденящий ужас. Туман рассеялся, я понял, что мне грозит смерть, и бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно, — удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена, как струна скрипки. Я бросился в Сохо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме; затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы все в том же двойственном настроении — я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, какие еще совершу в будущем, и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться, не раздались ли уже позади меня шаги отмстителя. Хайд весело напевал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам. Завеса самообольщения была рассечена сверху донизу. Передо мной прошла вся моя жизнь, я вновь пережил дни детства, когда я гулял, держась за отцовскую руку, годы самозабвенного труда на благо больных и страждущих — и опять, и опять, с тем же чувством нереальности, я возвращался к ужасу этого проклятого вечера. Мне хотелось кричать, я пытался слезами и молитвами отогнать жуткие образы и звуки, которыми пыталась меня моя память, но уродливый лик моего греха продолжал заглядывать в мою душу. Однако, по мере того как муки раскаяния стихали, их начинала сменять радость. Все было решено окончательно. С этих пор о Хайде не могло быть и речи, я волей-неволей должен был довольствоваться лучшей частью моего существа. О, как я этому радовался! С каким истовым смирением я вновь принял ограничения естественной жизни! С каким искренним отречением я запер дверь, которой так часто пользовался прежде, и сломал каблуком ключ!

На следующий день я узнал, что убийство видели, что виновность Хайда твердо установлена и что убитый был человеком известным и пользовался всеобщим уважением. Это было не просто преступление, это было трагическое безумие. Мне кажется, я обрадовался — обрадовался тому, что страх перед эшафотом станет теперь надежной опорой и защитой моим благим намерениям. Джекил будет отныне моей крепостью: стоит Хайду хоть на мгновение выглянуть наружу — и руки всех людей протянутся, чтобы схватить его и предать смерти.

Я решил, что мое будущее превратится в искупление прошлого, и могу сказать без

хвастовства, что мое решение принесло кое-какие добрые плоды. Вам известно, как усердно в последние месяцы прошлого года старался я облегчать страдания и нужду; вам известно, что мною немало было сделано для других, а мои собственные дни текли спокойно, почти счастливо. И, право, мне не надоедала эта полезная и чистая жизнь — напротив, с каждым днем она приносила мне все большую радость, но душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием, и когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которую я столь долго лелеял и лишь так недавно подавил и сковал, начала злобно бунтовать и требовать выхода. Конечно, мне и в голову не приходило воскрешать Хайда — одна мысль об этом ввергала меня в панический ужас! Нет-нет, я вновь поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник.

Всему наступает конец; переполняется даже самая вместительная мера; и эта краткая уступка моему злему началу оказалась последней соломинкой, безвозвратно уничтожившей равновесие моей души. А я даже не встревожился! Падение это казалось мне естественным — простым возвращением к тем дням, когда я еще не сделал своего открытия. Был прекрасный январский день, сырой от растаявшего снега, но ясный и безоблачный. Риджент-парк звенел от зимнего чириканья и благоухал ароматами весны. Я сидел на залитой солнцем скамье, зверь во мне облизывал косточки воспоминаний, духовное начало дремало, обещая раскаяние впоследствии, но немного его откладывая. В конце концов, размышляя я, чем я хуже всех моих ближних? И тут я улыбнулся, сравнивая себя с другими людьми, сравнивая свою деятельную доброжелательность с ленивой жесткостью их равнодушия. И вот, когда мне в голову пришла эта тщеславная мысль, по моему телу вдруг пробежала судорога, я ощутил мучительную дурноту и ледяной озноб. Затем они прошли, и я почувствовал слабость, а когда оправился, то заметил, что характер моих мыслей меняется и на смену прежнему настроению приходят дерзкая смелость, презрение к опасности, пренебрежение к узам человеческого долга. Я посмотрел на себя и увидел, что одежда повисла мешком на моем съезжившемся теле, что рука, лежащая на колене, стала жилистой и волосатой. Я вновь превратился в Эдварда Хайда. За мгновение до этого я был в полной безопасности, окружен уважением, богат, любим — и дома меня ждал накрытый к обеду стол; а теперь я стал изгоем, затравленным, бездомным, я был изблещенным убийцей, добычей виселицы.

Мой рассудок затуманился, но все же остался мне верен. Я и прежде не раз замечал, что в моем втором облике мои способности словно обострялись, а дух обретал новую гибкость. Вот почему там, где Джекил, вероятно, погиб бы, Хайд нашел выход из положения. Тинктура и порошки были спрятаны у меня в кабинете в ящике одного из шкафов. Как до них добраться? Эту задачу я и старался решить, сдавив виски ладонями. Дверь лаборатории я запер навсегда. Если я попробую войти через дом, мои собственные слуги отправят меня на виселицу. Я понял, что должен прибегнуть к помощи посредника, и остановил свой выбор на Лэньоне. Но как увидаться с ним? Как убедить его? Предположим, мне даже удастся избежать ареста на улице — примет ли он меня? А если примет, то каким образом неизвестный и неприятный посетитель сможет убедить знаменитого врача обыскать кабинет его коллеги доктора Джекила? Тут я вспомнил, что у меня кое-что сохранилось от моей прежней личности — мой почерк; и эта искорка, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца.

Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля, название которого случайно запомнил. Поглядев на меня (а выглядел я действительно забавно, хоть за этим нелепым маскарадом и крылась трагедия), извозчик не мог сдержать улыбки. Во мне поднялась дьявольская ярость, я заскрежетал зубами, и улыбка мгновенно исчезла с его лица — к счастью для него, но еще к большому счастью для меня, так как через секунду я, несомненно, стащил бы его с козел. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали: не посмея даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Хайд, которому грозила

смерть, был для меня чем-то новым — его снедало неутомимое бешенство, он готов был убивать и жаждал причинять боль. Тем не менее он сохранял благоразумие. Огромным усилием воли подавив свою ярость, он написал два важнейших письма — Лэньону и Пулу — и приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены.

Затем до ночи он просидел у камина в своем номере, грызя ногти; он пообедал там наедине со своими страхами, и официант бледнел и дрожал под его взглядом; с наступлением ночи он уехал, забившись в угол закрытого экипажа, и приказал кучеру возить его по улицам без всякой цели. «Он», говорю я — и не могу написать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого, в его душе жили только ненависть и страх. И когда в конце концов, опасаясь, как бы извозчик чего-нибудь не заподозрил, он отпустил экипаж и отправился далее пешком в своем костюме не по росту, привлекавшем к нему внимание всех ночных прохожих, только два эти низменные чувства бушевали в его груди. Он шагал торопливо, гонимый тревогой, что-то бормотал про себя, сворачивал в безлюдные проулки и считал минуты, еще остававшиеся до полуночи. Один раз его остановила какая-то женщина, продававшая, кажется, спички. Он ударил ее по лицу, и она убежала.

Когда я снова стал собой в кабинете Лэньона, ужас моего старого друга, возможно, тронул меня, но точно сказать не могу: это была лишь капля в море того отчаяния и отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличения Лэньона я выслушивал, как в тумане, и, как в тумане, я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня, я уснул тяжелым, непробудным сном, и даже терзавшие меня кошмары не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я по-прежнему ненавидел и страшился зверя, спавшего во мне, не забыл я и смертельной опасности, пережитой накануне, но ведь я теперь был дома, у себя, возле моих порошков, и радость, охватывавшая меня при мысли о моем чудесном спасении, лучезарностью почти равнялась надежде.

Я неторопливо шел по двору после завтрака, с удовольствием вдыхая утренний холод, как вдруг меня вновь охватила неопишуемая дрожь, предвестница преображения — у меня только-только достало времени укрыться в кабинете, как я уже опять горел и леденел страстями Хайда. На этот раз, чтобы стать собой, мне потребовалась двойная доза, и — увы! — шесть часов спустя, когда я грустно сидел у камина, глядя в огонь, я вновь почувствовал знакомые спазмы и должен был прибегнуть к порошкам. Короче говоря, с этого дня мне удавалось сохранять обличье Джекила только ценой безостановочных усилий и только под действием препарата. В любой час дня и ночи по моему телу могла пробежать роковая дрожь, а стоило мне уснуть или хотя бы задремать в кресле, как я просыпался Хайдом. Это вечное ожидание неизбежного и бессонница, на которую я теперь обрек себя, — я и не представлял, что человек может так долго не спать! — превратили меня, Джекила, в снедаемое и опустошаемое лихорадкой существо, обессиленное и телом и духом, занятое одной-единственной мыслью — ужасом перед своим близнецом. Но когда я засыпал или когда кончалось действие препарата, я почти без перехода (с каждым днем спазмы преображения слабели) становился обладателем воображения, полного ужасных образов, души, испепеляемой беспричинной ненавистью, и тела, которое казалось слишком хрупким, чтобы вместить такую бешеную жизненную энергию. Хайд словно обретал мощь по мере того, как Джекил угасал. И ненависть, разделявшая их, теперь была равной с обеих сторон. У Джекила она порождалась инстинктом самосохранения. Он теперь полностью постиг все уродство существа, которое делило с ним некоторые стороны сознания и должно было стать сонаследником его смерти — но вне этих объединяющих звеньев, которые сами по себе составляли наиболее мучительную сторону его несчастья, Хайд, несмотря на всю свою жизненную энергию, представлялся ему не просто порождением ада, но чем-то не причастным органическому миру. Именно это и было самым ужасным: тина преисподней обладала голосом и кричала, аморфный прах двигался и грешил, то, что было мертвым и

лишенным формы, присваивало функции жизни. И эта бунтующая мерзость была для него ближе жены, неотъемлемее глаза, она томила в его теле, как в клетке, и он слышал ее глухое ворчание, чувствовал, как она рвется на свет, а в минуты слабости или под покровом сна она брала верх над ним и вытесняла его из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу была иной. Страх перед виселицей постоянно заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному положению компонента, лишаясь статуса личности; но эта необходимость была ему противна, ему было противно уныние, в которое впал теперь Джекил, и его бесило отвращение Джекила к нему. Поэтому он с обезьяньей злобой устраивал мне всяческие гадости: писал моим почерком гнусные кощунства на полях моих книг, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца, и только страх смерти удерживал его от того, чтобы навлечь на себя гибель, лишь бы я погиб вместе с ним. Но его любовь к жизни поразительна! Скажу более: я содрогаюсь от омерзения при одной мысли о нем, но, когда я вспоминаю, с какой трепетной страстью он цепляется за жизнь и как он боится моей власти убить его при помощи самоубийства, я начинаю испытывать к нему жалость.

Продолжать это описание не имеет смысла, да и часы мои сочтены. Никому еще не приходилось терпеть подобных мук — пусть будет довольно этого; однако привычка принесла — нет, не смягчение этих мук, но некоторое огрубение души, притупление отчаяния, и мое наказание могло бы длиться еще многие годы, если бы не последний удар, бесповоротно лишающий меня и моего облика и моего характера. Запасы соли, не возобновлявшиеся со времени первого опыта, начали иссякать. Я послал купить ее и смешал питье — жидкость закипела, цвет переменялся, но второй перемены не последовало; я выпил, но состав не подействовал. Пул расскажет вам, как я приказывал обшарить все аптеки Лондона, но тщетно, и теперь я не сомневаюсь, что в той соли, которой я пользовался, была какая-то примесь, и что именно эта неведомая примесь придавала силу питью.

С тех пор прошло около недели, и я дописываю это мое объяснение под действием последнего из прежних моих порошков. Если не случится чуда, значит, Генри Джекил в последний раз мыслит, как Генри Джекил, и в последний раз видит в зеркале свое лицо (увы, изменившееся до неузнаваемости!). И я не смею медлить с завершением моего письма — до сих пор оно могло уцелеть лишь благодаря величайшим предосторожностям и величайшей удаче. Если перемена застигнет меня еще за письмом, Хайд разорвет его в клочки, но если я успею спрятать его заблаговременно, невероятный эгоизм Хайда и заботы его нынешнего положения могут спасти письмо от его обезьяньей злобы. Да, тяготеющий над нами обоими рок уже изменил и раздавил его. Через полчаса, когда я вновь и уже навеки облекусь в эту ненавистную личину, я знаю, что буду, дрожа и рыдая, сидеть в кресле или, весь превратившись в испуганный слух, примусь без конца расхаживать по кабинету (моему последнему приюту на земле) и ждать, ждать, что вот-вот раздадутся звуки, предвещающие конец. Умрет ли Хайд на эшафоте? Или в последнюю минуту у него хватит мужества избавить себя от этой судьбы? Это ведомо одному Богу, а для меня не имеет никакого значения: час моей настоящей смерти уже наступил, дальнейшее же касается не меня, а другого. Сейчас, отложив перо, я запечатаю мою исповедь, и этим завершит свою жизнь злополучный

Генри Джекил.

**Мэри Уолстонкрафт Шелли
Франкенштейн, или Современный Прометей**

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

В Англию, м-с Сзвилл,
Санкт-Петербург, 11 дек. 17..

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера; и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе моего дела.

Я нахожусь уже далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламенней. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти; он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там — ибо ты позволишь, мне хоть несколько доверять бывалым мореходам — кончается власть мороза и снега, и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, доньше открытые человеком. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только нельзя ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку; а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня — побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя меня, перед началом трудного пути, той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита, — ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с которой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели — точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образование моим никто не занимался; но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что мой отец, как я узнал, еще будучи ребенком, перед смертью строго наказал моему дяде не пускать меня в море.

Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известна постигшая меня неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам моего детства.

Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря; я довольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался подшкипером на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал меня согласиться: так высоко он

оценил мою службу.

А теперь скажи, милая Маргарет: неужели я не достоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши; но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решение мои непоколебимы; но надежда и бодрость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуется вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, во иногда и в себе, когда все остальные падут духом.

Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешнее сани быстро несутся по снегу; этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха; такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе — совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

В последний из названных мной городов я отправлюсь через две-три недели; и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму; хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я думаю пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь? Ах, милая сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может, и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро — или не увидишь никогда.

Прощай, моя милая, добрая Маргарет. Пусть Бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за твою любовь и заботу. Любящий тебя брат.

Р. Уолтон.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

В Англию, м-с Сэвилл

Архангельск, 28 март 17..

Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом! Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов; те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными.

Мне не хватает лишь одного — не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга, Маргарет; никого, кто мог бы разделить со мною радость, если мне суждено счастье успеха; никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду верить свои мысли бумаге; но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым; нет друга, который разделял бы мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата! Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкою: первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны; но слишком поздно убедился я в необходимости знать другие языки, кроме родного, — когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, а ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю; но этим мечтам недостает того, что художники называют «соотношением», и мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить.

Впрочем, все эти жалобы бесполезны; какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им, при всей

их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, человек на редкость отважный и предприимчивый; он страстно жаждет славы, или, вернее сказать, преуспевания на своем поприще. Он родом англичанин и, при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту, китобойного судна: узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии.

Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства, в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием, и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах; я никогда не считал ее необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах, от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот, вкратце, его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на их брак. Перед свадьбой он встретился со своей невестой; но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить её; она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда, — все это, вместе с остатками наградных денег, он отдал своему сопернику на обзаведение и сам испросил у отца девушки согласия на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом; тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое благородство!» — воскликнешь ты. Да, он именно таков, но при этом совершенно необразован, молчалив в угрюмом, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которые этот человек мог бы вызывать.

Но если я порой жалею и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба; и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Зима была на редкость суровой; но весна обещает быть дружной и очень ранней; так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво; ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда мне вверена безопасность других.

Не могу описать тебе моих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить трепетное чувство, радостное и вместе тревожное, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в «края туманов и снегов», но я не намерен убивать альбатроса, поэтому не бойся за меня, — я не вернусь к тебе разбитым и больным, как «Старый мореход». Ты улыбнешься при этой аллюзии; но я открою тебе один секрет. Мою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетается любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать.

Вернусь, однако, к вещам, более близким сердцу. Увижу ли я тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря и вернусь назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни обо мне с любовью, если больше

обо мне не услышишь. Любящий тебя брат
Роберт Уолтон.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В Англию, м-с Сэвилл
7 июля 17..

Дорогая сестра!

Пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр; мои люди отважны и тверды; их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт; но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал.

До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне — все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков; я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого.

До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен.

Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане; самые звезды являются свидетелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти в дальше, в глубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваге и воле человека?

Перепополняющие меня чувства невольно рвутся наружу; а между тем пора кончать. Да благословит небо мою милую сестру!

Р. У.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В Англию, м-с Сэвилл
5 августа 17..

С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо.

В прошлый понедельник (31 июля) мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя нам свободный проход. Положение наше стало опасным, в особенности из-за густого тумана. Поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды.

Около двух часов дня туман рассеялся, и мы увидели простиравшиеся во все стороны обширные поля неровного льда, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу; но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле от нас мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; в санях, управляя собаками, сидело существо подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами.

Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли; но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.

Часа через два после этого события мы услышали шум волн; к ночи лед вскрылся, и наш корабль был освобожден. Однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавучими глыбами, которые появляются при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть.

Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно, переговариваясь с кем-то, находящимся в море. Оказалось, что к кораблю, на большой льдине, прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Это не был туземец с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник; это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море».

Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, — сказал он, — я прошу сообщить мне, куда он направляется».

Нетрудно вообразить, мое изумление, когда я услышал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем в мире. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу.

Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий Боже! Если бы ты только видела, Маргарет, человека, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, лишенный свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова принесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком; несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяла и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил.

Прошло два дня, прежде чем он смог заговорить, и я уже опасался, что страдания лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мне мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека; обычно взгляд его дик и почти безумен; но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благостной улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен; а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий.

Когда мой гость немного оправился, мне стоило больших трудов удерживать матросов, которые жаждали расспросить его; я не мог допустить, чтобы его донимали праздным любопытством, когда тело и дух его явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его: как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже?

Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил: «Я преследовал беглеца».

— А беглец путешествует тем же способом?

— Да.

— В таком случае, мне думается, что мы его видели; накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях — человека.

Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким отправился демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал: «Я наверняка возбудил ваше любопытство, как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать».

— Разумеется; бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами.

— Но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни.

Затем он спросил, не могли ли те, другие, сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что наверное этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места.

С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное.

Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его, как брата; его постоянная, глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, он так привлекает к себе.

В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах; и, однако ж, я нашел человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если б только его не сломило горе.

Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать.

13 августа 17..

Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и, вместе, так мудр; он так широко образован; а когда говорит, речь его поражает и беглостью и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью.

Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо, ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним языком сердца; высказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь — сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества. При этих моих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметив, что он пытается скрыть свое волнение: он закрыл глаза руками; но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк — и он заговорил прерывающимся голосом: «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием? И ты испил опьяняющего напитка? Так выслушай же меня, узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом!»

Эта слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство; но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились.

Справившись со своими: чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душой, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив.

— Я с вами согласен, — отвечал незнакомец, — мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, — а именно таким должен быть друг, — не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед

вами — весь мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я — я все утратил и не могу начать жизнь снова.

При этих словах лицо его выразило тяжкое, неизбежное горе, тронувшее меня до глубины сердца. Но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту.

Даже сломленный духом, он, как никто, умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан и все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь: он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого; но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу; его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа горю и злу.

Быть может, восторг, с каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку. Но это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной; но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над любым человеком, доньше мне встречавшимся. Мне кажется, что это — некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения; необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей; добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями.

19 августа 17..

Вчера незнакомец сказал мне: «Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить мое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию, и я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, которые довели меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае, успеха и утешением в неудаче. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку; но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у непосвященных в тайны природы; не сомневаюсь к тому же, что мое повествование включает в себе самое доказательство своей истинности».

Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению; но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бережил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если б это оказалось в моих силах. Все эти чувства я выразил в своем ответе.

— Благодарю вас за сочувствие, — ответил он, — но оно бесполезно; судьба моя свершилась. Я жду лишь одного события — и тогда обрету покой. Я понимаю ваши чувства, — продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, — но вы ошибаетесь, друг мой, если мне позволено так называть вас; ничто не может изменить моей судьбы; выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно.

Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом; но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам, я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст! Вот в сейчас, когда я приступаю к записям, мне слышится его звучный голос, на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза, я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычной и страшной была повесть его жизни; ужасна была буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.

Глава I

Я житель Женевы; мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками; отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. Он пользовался уважением всех знавших его за честность и усердие на общественном поприще. Молодость его была всецело посвящена служению стране; некоторые обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом.

Обстоятельства его брака столь ярко рисуют его характер, что я должен о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негоциант, который вследствие многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек, по фамилии Бофор, обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсказавшей его другу поступок, столь недостойный их дружбы. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить его начать жизнь сначала и воспользоваться его поддержкой.

Бофор всячески постарался скрыть свое местопребывание, в отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи Реймса. Но там он увидел отчаяние и горе. После крушения Бофору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев; тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось оттого, что он имел время на размышления, и наконец так овладело им, что на исходе третьего месяца он слег и уже ничего не мог предпринять.

Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни.

Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже; уход за ним отнимал у нее почти все время; добывать деньги стало труднее; а на десятом месяце отец скончался на ее руках, оставив ее сиротою и нищей. Последний удар сразил ее; горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора; в эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдалась под его покровительство. Похоронив своего друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. Два года спустя Каролина стала его женой.

Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чувство справедливости; он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостойн, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери было благоговение и признательность, отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность; они были внушены восхищением перед ее достоинствами и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок от каждого дуновения ветра, и окружал всем, что могло приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили ее здоровье и поколебали даже ее душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил с себя все свои общественные обязанности; тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемена

обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством.

Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и первые годы жизни сопровождал их в их странствиях. В течение нескольких лет я был их единственным ребенком. Как ни были они привязаны друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца — таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой и их божком, и еще лучше того — их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполняют свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, можно представить себе, что, хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием.

Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет пять, мои родители, во время поездки за пределы Италии, провели неделю на берегу озера Комо. Их доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для моей матери это было больше, чем простым долгом; в память о собственных страданиях и избавлении от них для нее стало потребностью и страстью в свою очередь являться страждущим как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок их внимание привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказался крестьянин с женой, согбенные трудом и заботами; они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери; она казалась существом какой-то иной породы. Четверо других были черноглазые, крепкие маленькие оборвыши; а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и, несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому, видевшему ее, она казалась созданием особенным, сошедшим с небес и отмеченным печатью своего небесного рождения.

Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешала рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой; она умерла при ее рождении. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью; тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их питомицы был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии; одним из *scilavi ognor fretenti*¹, стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице — этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротою и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника.

Вернувшись из Милана, мой отец увидел в гостиной нашей виллы играющего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, — существо, словно излучавшее свет, а в движениях легкое, как горная серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать ей их питомицу. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить ее в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посоветовались с деревенским священником, и вот Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более — прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была

¹ 1. рабов, ежечасно ропшущих (итал.)

общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, моя мать шутливо сказала мне: «У меня есть для моего Виктора отличный подарок, завтра он его получит». Когда она наутро представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал ее слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет моей — порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузенom и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней — она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.

Глава II

Мы воспитывались вместе; разница в нашем возрасте была менее года, нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня; зато я, при всей моей необузданности, обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жаждой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом, — в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неугомонной жизни нашего альпийского лета — она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне проявлялись уже любознательность, упорное стремление узнать тайные законы природы и восторженная радость познания.

С рождением второго сына — спустя семь лет после меня — родители мои отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача на Бельрив, на восточном берегу озера, в расстоянии более лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Я был поэтому равнодушен к школьным товарищам; однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль был сыном женевского негоцианта. Этот мальчик был наделен выдающимися талантами и живым воображением. Трудности, приключения и даже опасности влекли его сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах. Он сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания; причем чаще всего мы изображали персонажей Ронсевалья, рыцарей Артурова Круглого стола и воинов, проливших кровь за освобождение Гроба Господня из рук неверных.

Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность еще усиливала мою сыновнюю любовь.

Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело; но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские забавы, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекал ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба; будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы и тайны человеческой души, мой интерес был сосредоточен на метафизических или — в высшем смысле этого слова — физических тайнах мира.

Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая

жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев — вот что его занимало: его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил миротворный дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность — грубым, если бы ее не было рядом со мной, чтобы смягчать меня, передавая мне частицу своей кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места и благородной душе Клерваля, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.

Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не омрачили мой дух и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными на одном себе. К тому же, рисуя картины моего детства, я повествую о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям; ибо, желая проследить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, возникла из ничтожных и почти невидимых источников; разрастаясь по пути, она стала потоком, унесшим все мои надежды и радости.

Естественные науки стали моей судьбой; поэтому в своей повести я хочу указать обстоятельства, которые заставили меня предпочесть их всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Дурная погода на целый день заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я открыл его равнодушно, но теория, которую он пытается доказать, и удивительные факты, о которых он повествует, скоро превратили равнодушие в энтузиазм. Меня словно озарил новый свет; я поспешил сообщить о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать даром времени: все это чепуха».

Если бы вместо этого отец дал себе труд объяснить мне, что положения Агриппы были в свое время полностью опровергнуты и заменены новой научной системой, более основательной, — ибо мощь старой была призрачной, тогда как новая имеет под собой твердую почву реальности, — я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое разгоряченное воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мысли мои не получили бы рокового толчка, направившего меня к гибели. Но беглый взгляд, который отец бросил на книгу, не убедил меня, что он знаком с ее содержанием, и я продолжал читать ее с величайшей жадностью.

Вернувшись домой, я первым делом постарался достать полное собрание сочинений этого автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением погрузился в их безумные вымыслы; книги их казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд в удивительные открытия современных ученых, изучение их книг всегда оставляло меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.

Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал немногим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.

А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил

им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке; но дело в том, что, обучаясь в женевской школе, я по части моих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец мой не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством моих новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня и эликсира жизни; последний вскоре целиком завладел моим воображением. Богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава ожидала меня, если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для любой смерти, кроме насильственной?

Я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы охотно обещали обучить заклинанию духов и нечистой силы; и мне этого страстно хотелось; если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал его собственной неопытности или ошибке, но не смел сомневаться в учености или точности моих наставников. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякий невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новое направление моим мыслям.

Когда мне пошел пятнадцатый год, мы переехали на нашу загородную дачу возле Бельрив и там стали свидетелями на редкость сильной грозы. Она пришла из-за горного хребта Юры; гром страшной силы загредел отовсюду сразу. Пока длилась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из мощного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось, пламя, а когда исчез этот слепящий свет, исчез и дуб, и на месте его остался один лишь обугленный пень. Подойдя туда на следующее утро, мы увидели, что гроза разбила дерево необычным образом. Оно не просто раскололось от удара, но все расщепилось на узкие полоски. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения.

Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма, которые были для меня и новы и удивительны. Все рассказанное им отодвинуло на задний план властителей моих дум — Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса; но свержение этих идолов одновременно отбило у меня и охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не стоящим внимания. Повинуясь одному из тех капризов, которые более свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои занятия, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, которой не суждено даже переступить порога подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с нею науки, покоящиеся на прочном фундаменте, а потому достойные моего внимания.

Вот как странно устроен человек и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что это почти чудом совершившаяся перемена склонностей была подсказана мне моим ангелом-хранителем; то была последняя попытка добрых сил отвратить грозу, уже нависшую надо мной и готовую меня поглотить. Победа доброго начала сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении, которые я обрел, отказавшись от прежних занятий, в последнее время ставших для меня наукой. Мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня губительны и что мое спасение — в отказе от них.

Дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы несли мне ужасную гибель.

Глава III

Когда я достиг семнадцати лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но, прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшие.

Элизабет заболела скарлатиной: она хворала тяжело и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров; но, услышав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной — ее неусыпная забота победила злой недуг — Элизабет была спасена, но ее спасительница поплатилась за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо; появились самые тревожные симптомы, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети, — сказала она, — я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами! Я была счастлива и любима — каково мне покидать вас... Но это — недостойные мысли; я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире».

Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо; пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда, — что могло навеки угаснуть сияние любимых глаз, навеки умолкнуть звуки знакомого, милого голоса. Таковы размышления первых дней; когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает наконец время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать; и, хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые надо было выполнять; надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти.

Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кощунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался, и прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет.

Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, она забывала о своем.

Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив; но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции.

Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». Наконец оно было сказано, и мы разошлись, якобы на покой; каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого; когда на утренней заре я вышел к экипажу,

в котором должен был уехать, все собрались снова: отец — чтобы еще раз благословить меня, Клерваль — чтобы еще пожать мою руку, моя Элизабет — чтобы повторить свои просьбы писать почаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским глазом.

Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и проникала всецело в домашнем кругу; это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля; это были «милые, знакомые лица», и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути; но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах; мне хотелось повидать свет и занять место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо.

Путь в Ингольштадт был долог и утомителен, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на мою одинокую квартиру, предоставив провести вечер как мне заблагорассудится.

Наутро я вручил мои рекомендательные письма и сделал визиты некоторым из главных профессоров. Случай — а вернее злой рок, Дух Гибели, взявший надо мною полную власть, едва я скрепя сердце покинул родительский кров — привел меня сперва к господину Кремпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов, с целью проэкзаменовать меня в различных областях естествознания. Я отвечал ему небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза, «И вы в самом деле тратили время на эту чепуху?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, — с жаром сказал господин Кремпе, — каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали, тысяча лет и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия».

Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман, по другим дням недели, будет читать лекции по химии.

Я возвратился к себе не то чтобы разочарованный, ибо я и сам, как я уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги; но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Г-н Кремпе был приземистый человечек с резким голосом и уродливой внешностью; таким образом, и личность профессора не расположила меня к его науке. В общем, так сказать, философском смысле я уже говорил, к каким заключениям я пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царила полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства; я прошел вспять по пути науки и открытиям моих современников предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я чувствовал презрение к утилитарности современной науки. Иное дело, когда ученые искали секрет бессмертия и власти; то были великие, хотя и тщетные стремления; теперь же все обстояло иначе. Нынешний ученый, казалось, ограничивался задачей опровергнуть именно те видения, которые больше всего привлекали меня к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма мизерную реальность.

Так размышлял я в первые два-три дня по прибытии в Ингольштадт, которые я

посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых г-ном Кремпе. Хотя я и не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человек, я вспомнил, что он говорил мне о г-не Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его не было в городе.

Частью из любопытства, а частью от нечего делать, я пришел в аудиторию, куда вскоре явился г-н Вальдман. Этот профессор был очень непохож на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят, и лицо его выражало величайшую доброту; на висках волосы его начинали седеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце осветил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключение произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду.

— Прежние преподаватели этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало; они знают, что превращение металлов немыслимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса; они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру.

Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того как он говорил, я чувствовал, что схватился наконец с достойным противником; он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. Если столько уже сделано — восклицала душа Франкенштейна — я сделаю больше, много больше; идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою неизведанные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы.

В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело; я чувствовал, его из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его навести. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре; некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что уже рассказывал его коллеге. Он внимательно выслушал мою краткую повесть и улыбнулся при упоминании о Корнелии Агриппе в Парацельсе, однако без того презрения, какое обнаружил г-н Кремпе. Он сказал, что «неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих званий. Они оставили нам задачу более легкую: дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные с их помощью. Труд гениев, даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества». Я выслушал эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, и сказал, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков; я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг.

— Я счастлив, — сказал г-н Вальдман, — что приобрел ученика, и если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия.

Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике.

Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов; сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинулся в науке, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и я откланялся.

Так окончился этот памятный для меня день; он решил мою судьбу.

Глава IV

С того дня естествознание, и особенно химия, в самом широком смысле слова, стало почти единственным моим занятием. Я усердно читал талантливые и обстоятельные сочинения современных ученых. Я слушал лекции и знакомился с университетскими профессорами и даже в г-не Кремпе обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но оттого не менее ценных. В лице г-на Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отзывала нравоучительностью; свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого педантизма. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание, поначалу неустойчивое, постепенно окрепло, и вскоре я стал работать с таким рвением, что утренний свет, гасивший звезды, часто заставлял меня в лаборатории.

При таком упорстве я, разумеется, сделал большие успехи. Я поражал студентов своим усердием, а наставников — познаниями. Профессор Кремпе не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелий Агриппа, а г-н Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, и за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшись занятиям, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым до вас прошли другие, ничего вам не оставив; тогда как здесь вы непрерывно что-то открываете и изумляетесь. Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний; поставив себе одну-единственную цель и полностью ей отдавшись, я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из теории и практики естествознания все, что могли мне дать ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места; но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте.

Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало? Вопрос смелый и всегда считавшийся загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и лень. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало; необходимо было наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не вкрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные рассказы, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обиталищ красоты и силы сделались добычей червей. Теперь мне

предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет — столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.

Напомню, что эта повесть — не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни; более того — я узнал, как самому оживлять безжизненную материю.

Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний — в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие было столь ошеломляющим, что ход мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из моей памяти, и я видел один лишь конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен. Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству; то, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели; но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидевшему выход из склепа при свете единственной, слабо мерцавшей свечи.

По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет — выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, как я сам был тогда, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставления, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливей того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов.

Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело, во всей сложности нервов, мускулов и сосудов, оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм; но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой трудной задачи, но я не сомневался в конечном успехе. Я заранее приготовился к множеству трудностей; к тому, что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным; но, памятуя о ежедневных достижениях техники и науки, я надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основание для будущих успехов. Сложность и дерзость моего замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального замысла и решил создать гиганта — около восьми футов ростом и соответственно мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело.

Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя; множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, как буду иметь я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я, со временем (хотя сейчас это было для меня невозможно) я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже

обрекла на исчезновение.

Эти мысли поддерживали мой дух, пока я неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, что я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами, при свете месяца, я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках. Как рассказать об ужасах тех ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при вооспоминании об этом я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман; но в ту пору какое-то безудержное исступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все чувства и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость; все чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала, и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее чердаке, отделенном от всех других помещений галереей и лестницей; иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов; и я часто содрогался от отвращения, но, подгоняемый все возрастающим нетерпением, все же вел работу к концу.

За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное: никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники — лучшего сбора; но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и не виденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца: «Знаю, что, пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями».

Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, и все же не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо.

Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и ленью; но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желаниям возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в нас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в этих занятиях наверняка есть нечто не подобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греция не попала бы в рабство. Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению.

Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее.

Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробней, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был занят своими трудами, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, — настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил, и теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены; я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину; меня поддерживало только мое стремление к цели; труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что

прогулки и развлечения предотвратят начинающуюся болезнь; все это я обещал себе, как только работа будет окончена.

Глава V

Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло; свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтью глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться.

Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище, как изобразить несчастного, созданного мною с таким невероятным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые — Боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта.

Нет в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти два года я трудился с единственной целью — вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с исступленной страстью; а теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла, и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида своего творения, я кинулся вон из комнаты и долго шагал по своей спальне, чувствуя, что не смогу заснуть. Наконец мое волнение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Но напрасно; мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар: прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уже я держу в объятиях труп моей матери; тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся, на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, и все тело свела судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного уродца, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати; глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.

Он, кажется, говорил, но я не слышал; он протянул руку, словно удерживал меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.

На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным; оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте.

Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К моему ужасу примешивалась горечь разочарования; то, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение; и как внезапна и непоправима была эта перемена!

Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим глазам, воспаленным от бессонницы, предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем; я вышел на улицу и быстро зашагал, спешно желая избежать встречи, которой боялся на каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру; что-то гнало меня

вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба.

Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку. Я проходил по улицам, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неровным шагом, не смея оглянуться назад.

Так одинокий пешеход,
Чье сердце страх гнетет,
Назад не смотрит и спешит,
И смотрит лишь вперед,
И зияет, знает, что за ним
Ужасный враг идет.²

Незаметно я дошел до постоянного двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это был швейцарский дилижанс; он остановился прямо подле меня, дверцы открылись, и появился Анри Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа. «Милый Франкенштейн, — воскликнул он, — как я рад тебя видеть! Как удачно, что ты оказался здесь к моему приезду».

Ничто не могло сравниться с моей радостью при виде Клерваля; его появление напомнило мне об отце, Элизабет и милых радостях домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас и свою беду, — впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга, и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших общих друзьях и радовался, что ему разрешили приехать в Ингольштадт.

— Ты можешь себе представить, — сказал он, — как трудно было убедить моего отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии; думаю, что он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в «Векфильдском священнике»: «Мне платят десять тысяч флоринов в год — без греческого языка; я ем-пью без всякого греческого языка». Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он разрешал мне предпринять путешествие в страну знания.

— Я безмерно рад тебя видеть, но скажи мне, как поживает мой отец, братья и Элизабет?

— Они здоровы, и все у них благополучно; их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн, — прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо, — я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид; ты худ и бледен и выглядишь так, точно не спал несколько ночей.

— Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, как видишь; но я надеюсь, что теперь с этим покончено и я свободен.

Я весь дрожал; я не мог даже подумать, не то что рассказывать, о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро пришли к моему колледжу. Тут я сообразил — и мысль эта заставила меня содрогнуться, — что существо, оставшееся у меня на квартире, могло быть еще там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти; холодная дрожь пронизывала меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети,

² 2. Перевод В. Левика.

ожидаю увидеть привидение; за дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста; ужасного гостя не было и в спальне. Я едва решался верить такому счастью, но когда убедился, что мой враг действительно исчез, я радостно всплеснул руками и побежал за Клервалем.

Мы поднялись ко мне в комнату, и скоро с луга принес туда завтрак; я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью — все мое тело трепетало от возбуждения, и пульс бился как бешеный. Я ни минуты ни мог оставаться на месте; я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, взглядевшись в меня внимательней, он заметил в моих глазах дикие искры безумия, а мой неудержимый, истерический хохот удивил и испугал его.

— Милый Виктор, — воскликнул он, — скажи, ради Бога, что случилось? Не смейся так. Ведь ты болен. Что за причина всего этого?

— Не спрашивай, — вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату, — он может рассказать... О, спаси меня, спаси! — Мне показалось, что чудовище схватило меня, и стал бешено отбиваться и в судорогах упал на пол.

Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать! Встреча, которой он ждал с такой радостью, обернулась бедой. Но я ничего этого не сознавал. Я был без памяти, и прошло много времени, прежде чем я пришел в себя.

То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность моего положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом.

В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неуставной самоотверженной заботы моего друга, не могло бы вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенное мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри; сперва он счел их за бессмысленный бред, но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие.

Я поправлялся очень медленно — не раз повторные вспышки болезни пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, осенявших мое окно, вместо осенних листьев были молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло моему выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость; моя мрачность исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда я еще не знал роковой страсти.

— Дорогой мой Клерваль, — воскликнул я, — ты бесконечно добр ко мне! Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем смогу я отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе; но ты меня простишь.

— Ты полностью отблаговаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться и постарайся поскорей поправиться; и раз ты так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой?

Я вздрогнул. Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать?

— Успокойся, — сказал Клерваль, заметив, что я переменялся в лице, — я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел, и потревожены твоим долгим молчанием.

— И это все, милый Анри? Как мог ты подумать, что моей первой мыслью не будет мысль о дорогих и близких людях, таких любимых и таких достойных любви.

— Если так, друг мой, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уже несколько дней тебя ожидает. Кажется, оно от твоей кузины.

Глава VI

И Клерваль протянул мне письмо.

Оно было от моей Элизабет.

«Дорогой кузен! Ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено писать — даже держать перо, но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уже давно жду письма с каждой почтой и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Ингольштадт. Я не хочу, чтобы он подвергался неудобствам, быть может даже опасностям, столь долгого пути, но как часто я сожалела, что сама не могу его проделать! Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твои желания и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади; Клерваль пишет, что тебе лучше. Я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом.

Выздоровливай — и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодр и здоров, и ему нужно только одно — увидеть тебя, убедиться, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста! Ему уже шестнадцать, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска, но мы не в силах с ним расстаться, по крайней мере до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военной службы в чужих странах, но ведь у Эрнеста никогда не было твоего прилежания. Учение для него — тяжкое бремя; он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь.

С тех пор как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве что подросли наши милые дети. Синее озеро и снеговые горы не меняются; мне кажется, что наш мирный дом и безмятежные сердца живут по тем же неизблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды мне служат довольные и добрые лики окружающих.

Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жюстина Мориц. А может быть, и нет — поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю. Мать ее, госпожа Мориц, осталась вдовой с четырьмя детьми, из которых Жюстина была третьей. Эта девочка была любимицей отца; но мать, по какой-то странной прихоти, невзлюбила ее и после смерти г-на Морица стала обращаться с ней очень скверно. Моя тетушка заметила это и, когда Жюстине было лет двенадцать, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны породил более простые и здоровые нравы, чем в окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положения общественных групп; низшие слои не находятся в такой бедности и презрении и поэтому более цивилизованны. В Женеве служанка — это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью, Жюстина взяла на себя обязанности служанки; но в нашей счастливой стране это положение не означает невежества или утраты человеческого достоинства. Жюстина всегда была твоей любимицей; я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение; и объяснил это так же, как Ариосто, когда он описывает красоту Анжелики: уж очень мило ее открытое и сияющее лицо. Моя тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена сторицею; Жюстина оказалась самым благодарным созданием на свете; она

не выражала свою признательность словами — этого я от нее никогда не слышала, но в ее глазах светилась благоговейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это была веселая и даже ветреная девушка, тетушку она слушалась во всем. Она видела в ней образец всех совершенств и старалась подражать ее речи и манерам, так что до сих пор часто напоминает мне ее.

Когда моя дорогая тетушка скончалась, все мы были слишком погружены в собственное горе, чтобы замечать бедняжку Жюстину, которая во время болезни ходила за ней с величайшей заботливостью. Жюстина сама потом тяжело заболела, но ей были уготованы еще и другие испытания.

Ее братья и сестра умерли один за другим, и мать ее осталась бездетной, если не считать дочери, которой она в свое время пренебрегала. Мать ощутила укоры совести и стала думать, что смерть любимых детей была ей карой за ее несправедливость. Она была католичкой, и ее духовник, как видно, утвердил ее в этой мысли. Вот почему, спустя несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт, раскаявшаяся мать призвала к себе Жюстину. Бедняжка! Она плакала, расставаясь с нами; со смертью тетушки она очень переменялась; горе смягчило ее, и вместо прежней живости в ней появилась подкупающая кротость. Пребывание под материнской кровлей также не могло вернуть ей веселость. Раскаяние ее матери было очень неустойчивым. Бывали дни, когда она просила Жюстину простить ей несправедливость, но чаще она обвиняла ее в смерти братьев и сестры. Постоянное раздражение привело к болезни, а от этого нрав госпожи Мориц стал еще тяжелее; однако теперь она успокоилась навеки. Она умерла в начале прошлой зимы, с наступлением холодов. Жюстина возвратилась к нам, и я нежно люблю ее. Она очень умна, добра и очень хороша собой; как я уже сказала, многое в ее манере держаться и говорить постоянно напоминает мне мою дорогую тетушку.

Надо рассказать тебе, дорогой кузен, и о нашем милом маленьком Уильяме. Вот бы тебе посмотреть на него! Для своих лет он очень рослый; у него смеющиеся синие глаза, темные ресницы и кудрявые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щеках появляются ямочки. У него уже было несколько маленьких «невест», но самая любимая из них — Луиза Бирон, хорошенькая пятилетняя девочка.

А теперь, милый Виктор, тебе наверняка хочется узнать новости о ваших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу ее предстоящего брака с молодым англичанином, Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира, г-на Дювилара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда Клерваля потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на хорошенькой и бойкой француженке г-же Тавернье. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников.

Описывая тебе все это, дорогой кузен, я и сама немного развлеклась, но теперь, кончая письмо, вновь ощущаю тревогу. Напиши нам, Виктор. Одна строчка, одно слово будет для нас радостью. Тысячу раз спасибо Анри за его доброту и заботу и за частые письма; мы благодарны ему от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя! Женева, 18 марта 17..

Элизабет Лавенца».

— О милая Элизабет! — воскликнул я, прочтя письмо. — Надо сейчас же написать им и рассеять их тревогу.

Я написал домой; после этого я почувствовал сильную усталость; но выздоровление началось и пошло быстро. Спустя еще две недели я уже мог выходить.

Одной из первых моих забот по выздоровлении было представить Клерваля некоторым из университетских профессоров. При этом мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самому слову «естественные науки». Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного расстройства. Анри заметил это и убрал

подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стала неприятна моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клерваля были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Г-н Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными успехами в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор: вместо моих успехов он заговорил о самой науке, с явным желанием дать мне блеснуть. Что мне было делать? Думая сделать приятное, он терзал меня. Мне казалось, что он старательно демонстрирует одно за другим орудия пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клерваль, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы, под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы заговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал. Я видел его недоумение, но он ни разу не попытался вывести мою тайну, а я, любя и безмерно уважая его, не решился сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению и которое я страшился оживить в памяти, рассказывая о нем другому.

С г-ном Кремпе мне пришлось труднее: при моей тогдашней чувствительности, обостренной до крайности, его грубоватые похвалы были для меня еще мучительнее, чем доброжелательность г-на Вальдмана. «Черт бы побрал этого пария! — воскликнул он. — Знаете ли, господин Клерваль, ведь он нас всех заткнул за пояс. Да, да, что вы на меня так уставились? Это сушая правда. Зеленый юнец, который еще недавно веровал в Корнелия Агриппу как в святое Евангелие, сейчас занял первое место. Если его не одернуть, он нас всех посрамит. Да, да, — продолжал он, заметив страдальческое выражение моего лица, — господин Франкенштейн у нас скромник — отличное качество в молодом человеке. Юноше положено быть скромным, господин Клерваль; в молодости я и сам был таков, да только этой скромности ненадолго хватает».

Тут г-н Кремпе принялся расхваливать себя самого и, к счастью, оставил столь неприятную для меня тему.

Клерваль никогда не сочувствовал моей склонности к естественным наукам; у него самого были совершенно иные, филологические интересы. В университет он приехал, чтобы овладеть восточными языками и таким образом подготовиться к деятельности, о которой мечтал. Желая многого достичь, он обратил свои помыслы к Востоку, где открывался простор для его предприимчивости. Его интересовали персидский, арабский и санскрит, и он без труда убедил меня заняться тем же. Праздность всегда меня тяготила, а теперь, возненавидев прежние свои занятия и стремясь отвлечься от размышлений, я нашел большое облегчение в этих общих уроках с моим другом; в сочинениях восточных авторов я открыл много и поучительного и приятного. В отличие от Клерваля, я не вдавался в научное изучение восточных языков, ибо не ставил себе иной цели, кроме временного развлечения. Я читал лишь ради содержания и был вознагражден за труды. Грусть у них успокоительна, а радость — возвышенна, более чем у писателей любой другой страны. Когда читаешь их творения, жизнь представляется солнечным сиянием, садом цветущих роз, улыбками и капризами прекрасной противницы и любовным огнем, сжигающим ваше сердце. Как это непохоже на мужественную и героическую поэзию Греции и Рима!

За этими занятиями прошло лето; поздней осенью я предполагал возвратиться в Женеву; но произошли некоторые задержки, а там пришла зима, выпал снег, дороги стали непроезжими, и мой отъезд был отложен до весны. Я крайне досадовал на это промедление, ибо мне не терпелось увидеть родные края и своих близких. Если вначале я задерживался, то лишь потому, что не хотел покинуть Клерваля в чужом городе, прежде чем он приобретет там друзей. Впрочем, зиму мы провели приятно; весна была необычайно поздней, но, когда пришла, ее прелесть искупила это запоздание. Наступил май, и я ежедневно ожидал письма, которое должно было назначить день моего отъезда; тут Анри предложил пешую прогулку по окрестностям Ингольштадта, чтобы я мог проститься с местами, где прожил так долго. Я

с удовольствием согласился; я любил ходить, и в родных местах Клерваль был моим постоянным спутником в подобных экскурсиях.

В этих странствиях мы провели две недели; бодрость и здоровье к тому времени вернулись ко мне; чистый воздух, путевые впечатления и общение с другом еще более укрепили меня. Мои занятия отдалили меня от людей и сделали затворником; Клерваль пробудил во мне мои лучшие качества; он заново научил меня любить природу и радостные детские лица. Незабвенный друг! Как искренне ты любил меня, как возвышал меня до уровня собственной высокой души! Себялюбивые устремления принизили меня, но твоя забота и привязанность отогрели мое сердце. Я снова стал тем счастливецом, который всего лишь несколько лет назад всех любил, всеми был любим и не знал печали. Когда я бывал в хорошем расположении духа, природа являлась для меня источником восхитительных ощущений. Ясное небо и зеленеющие поля наполняли меня восторгом. Весна в тот год и в самом деле была дивной; весенние цветы цвели на живых изгородях, летние готовились расцвести. Я наконец отдыхал от мыслей, угнетавших меня весь год, несмотря на все старания отогнать их.

Анри радовался моей веселости и искренне разделял мое настроение; он старался развлечь меня и одновременно выражал чувства, переполнявшие его самого. В те дни он был поистине неистощим. Иногда, подражая персидским и арабским писателям, он сочинял повести, исполненные воображения и страсти. А не то читал мои любимые стихи или заводил спор и весьма искусно его поддерживал.

Мы возвратились в колледж под вечер воскресного дня; крестьяне затевали пляски; повсюду нам встречались веселые и счастливые лица. Я и сам был в отличном расположении духа; ноги несли меня особенно легко, а сердце смеялось и ликовало.

Глава VII

Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца:

«Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которое назначит день твоего возвращения; и сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать день, когда мы тебя ожидаем. Но это малодушие было бы жестоко во отношении к тебе. Каково тебе будет, вместо радостного приема, которого ты ждешь, встретить здесь горе и слезы! Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим радостям и бедам; а я вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно; ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести.

Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце улыбкой. Виктор! Его убили!

Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось.

В прошлый четверг (седьмого мая) я, моя племянница и оба твои брата отправились на прогулку в Пленпале. Вечер был теплый и тихий, и мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели да скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели ли мы его брата: они играли в прятки, Уильям побежал прятаться, он никак не мог его найти, а потом долго ждал, но тот так и не появился.

Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи; Элизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов, ибо я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в пять я нашел свое дорогое дитя; еще накануне здоровый и цветущий, он был распростерт на траве, бледный и недвижимый; на шее его отпечатались пальцы убийцы.

Его принесли домой; горе, написанное на моем лице, все объяснило Элизабет. Она захотела видеть тело; сперва я попытался помешать ей, но она настаивала; взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула: «Боже! Я погубила моего милого ребенка!»

Она потеряла сознание, и ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, она снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с портретом матери. Вещица исчезла. Она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удастся, хотя мы и прилагаем все усилия; но это ведь не воскресит моего Уильяма!

Приезжай, дорогой Виктор; ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка; слова ее разывают мне сердце. Мы все несчастны, но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас. Бедная твоя мать! Увы, Виктор! Сейчас я благодарю Бога, что она не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки.

Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растревляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя. Женева, 12 мая 17..

Твой убитый горем отец
Альфонс Франкенштейн».

Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо, с изумлением увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками.

— Дорогой Франкенштейн! — воскликнул Анри, видя мои горькие слезы. — Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?

Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал.

— Не могу утешать тебя, мой друг, — сказал он, — твое горе неутешно. Но что ты намерен делать?

— Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей.

По дороге Клерваль все же пытался утешить меня. Он сочувствовал мне всей душой. «Бедный Уильям, — сказал он, — бедный, милый ребенок! Он теперь покоится со своей праведницей матерью. Всякий, кто знал его во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно; ощутить на себе руки убийцы! Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного! Бедное дитя! Одним только можно утешиться: его близкие плачут о нем, но сам он уже отстрадал. Страшный миг позади, и он успокоился навеки. Его нежное тельце сокрыто в могиле; и он не чувствует боли. Ему уже не нужна жалость; сбережем ее для несчастных, которые его пережили».

Так говорил Клерваль, быстро идя со мной по улице. Слова его запечатлелись у меня в уме, и я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и простился со своим другом.

Невеселое это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее утешить моих опечаленных близких, но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал места, знакомые с детства, но не виденные почти шесть лет. Как все должно было измениться за это время! Произошло одно неожиданное и страшное событие; а множество мелких обстоятельств могло привести и к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас, хотя я и не сумел бы их назвать.

В этом тяжелом состоянии духа я пробыл два дня в Лозанне. Я смотрел на озеро: воды его были спокойны, все вокруг тихо, и снеговые вершины, эти «дворцы природы», были все те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня, и я продолжал свой путь в Женеву.

Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я

уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался, как ребенок. «Милые горы! И ты, мое прекрасное озеро! Вот как вы встречаете странника! Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это — обещание покоя или насмешка над моими страданиями?»

Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей; но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О любимая родина! Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы, и особенно твое дивное озеро!

Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страха. Спускалась ночь; когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще мрачнее. Все окружающее представилось мне огромной и темной ареной зла, и в смутно почувствовал, что мне суждено стать несчастнейшим из смертных. Увы! предчувствия не обманули меня, и только в одном я ошибся: все воображаемые ужасы не составляли и сотой доли того, что мне суждено было испытать на деле.

Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сешероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное; я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Пленпале в лодке, по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии чертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать.

Она пришла; тучи заволокли небо; упали первые редкие и крупные капли, а потом хлынул ливень.

Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались, а гром гремел над самой моей головою. Ему вторило эхо Салэв, Юры и Савойских Альп; яркие вспышки молний ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня; потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бельрив и деревней Копэ. Слабые вспышки молний освещали Юру, а к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль.

Наблюдая грозу, прекрасную и вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся в небе, подняла мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул: «Уильям, мой ангел! Вот твое погребение, вот похоронный звон по тебе!» В этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев; я замер, пристально вглядываясь в нее; ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила фигуру, и я ясно ее увидел; гигантский рост и немыслимая для обычного человека уродливость говорили, что передо мной был мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь делал? Уж не он ли (я содрогнулся при одной мысли об этом) был убийцей моего брата? Едва эта догадка мелькнула в моей голове, как превратилась в уверенность; ноги у меня подкосились, и я вынужден был прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо меня и затерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка. Убийцей мог быть только он! Я в этом не сомневался. Самая мысль об этом казалась неоспоримым доказательством.

Я хотел было погнаться за чудовищем; но это было бы напрасно; уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он карабкается на почти отвесную скалистую гору Мон Салэв, которая замыкает Пленпале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез.

Я стоял, не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть: все этапы моего открытия, появление оживленного мной существа у моей постели и его исчезновение. С той ночи, когда я оживил его, прошло почти два года. Быть может, это уже не первое его преступление? Горе мне! Я выпустил в мир чудовище, наслаждавшееся убийством и кровью;

разве не он убил моего брата?

Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь; я провел ее под открытым небом, я промок и озяб. Но я даже не замечал ненастья. Ужас и отчаяние наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого.

Рассвело, и я направился в город. Ворота были открыты, и я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и которая заставит считать горячечным бредом весь мой рассказ, и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его за безумца. К тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если бы родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Мон Салэва? Эти соображения убедили меня; и я решил молчать.

Было около пяти утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дожидаться обычного часа пробуждения семьи.

Прошло шесть лет — они прошли незаметно, как сон, не считая одной непоправимой утраты, — и вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель! Он еще оставался мне. Я взглянул на портрет матери, стоявший на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала плачущую Каролину Бофор на коленях у гроба ее отца. Одежда ее была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства, что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет Уильяма; взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест: он слышал, как я приехал, и поспешил мне навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью.

— Добро пожаловать, милый Виктор, — сказал он. — Ах, еще три месяца назад ты застал бы всех нас счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твой приезд подбодрит отца; он тает на глазах. И ты сумеешь убедить бедную Элизабет не упрекать себя понапрасну. Бедный Уильям! Это был наш любимец и наша гордость.

Слезы покатались из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь в воображении видел горе своих домашних; действительность оказалась не менее ужасной. Я попытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной.

— Ей больше, чем нам всем, нужны утешения, — сказал Эрнест, — она считает себя причиной гибели брата, и это ее убивает. Но теперь, когда преступник обнаружен...

— Обнаружен? Боже! Возможно ли? Кто мог поймать его? Ведь это все равно, что догнать ветер или соломинкой преградить горный поток. А кроме того, я его видел. Еще и он ночью он был на свободе.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — в недоумении ответил мой брат. — Нас это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет — та не верит и до сих пор, несмотря на все улики. Да и кто бы мог подумать, что Жюстина Мориц, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить столь чудовищное преступление?

— Жюстина Мориц? Несчастливая! Так вот кого обвиняют? Но ведь это напраслина, и никто, конечно, этому не верит, не правда ли, Эрнест?

— Сначала не верили; но потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к уликам, она ведет себя так странно, что сомнений — увы! — не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам.

Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жюстина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она болела, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по-видимому, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав нам, отнесла его судье. На основании этой улики Жюстину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством еще усилила подозрения.

Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности, и я сказал:

— Вы все ошибаетесь; я знаю, кто убийца. Бедная добрая Жюстина невиновна.

В эту минуту в комнату дошел отец. Горе наложило на него глубокий отпечаток, но он бодрился ради встречи со мной. Грустно поздоровавшись, он хотел было заговорить на постороннюю тему, чтоб не касаться нашего несчастья, но тут Эрнест воскликнул:

— Боже мой, папа! Виктор говорит, что знает, кто убил бедного Уильяма.

— К несчастью, и мы это знаем, — ответил отец. — А лучше бы навеки остаться в неведении, чем обнаружить такую испорченность и неблагодарность в человеке, которого ценил так высоко.

— Милый отец, вы заблуждаетесь. Жюстина невиновна.

— Если так, не дай Бог, чтобы ее осудили. Суд будет сегодня, и я искренне надеюсь, что ее оправдают.

Эти слова меня успокоили. Я был твердо убежден, что ни Жюстина, ни кто-либо другой из людей не причастны к этому преступлению. Поэтому я не опасался, что найдутся косвенные улики, достаточно убедительные, чтобы ее осудить. Мои показания нельзя было оглашать; толпа сочла бы этот ужасный рассказ за бред безумца. Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости?

Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее, с тех пор как я видел ее в последний раз. Оно наделило ее красотой, несравнимой с ее прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем том выражение, говорящее и об уме и о чувстве. Она встретила меня с нежной лаской.

— Твой приезд, милый кузен, — сказала она, — вселяет в меня надежду. Быть может, тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жюстину. Если ее считать преступницей, кто из нас застрахован от такого же обвинения? Я убеждена в ее невинности, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне; мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем и эту бедняжку, которую я искренне люблю и которой предстоит, пожалуй, еще худшая участь. Если ее осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, я уверена, что этого не будет. И тогда я снова буду счастлива, даже после смерти моего маленького Уильяма.

— Она невиновна, Элизабет, — сказал я, — и это будет доказано. Не бойся ничего, бодрись и верь, что ее оправдают.

— Как ты великодушен и добр! Все поверили в ее виновность, и это меня терзает; ведь я-то знаю, что этого не может быть; но когда видишь, как все предубеждены против нее, можно прийти в отчаяние.

Она заплакала.

— Милая племянница, — сказал отец, — осуши свои слезы. Если она непричастна к убийству, положиись на справедливость наших законов, а уж я постараюсь, чтобы ее судили без малейшего пристрастия.

Глава VIII

Мы провели несколько печальных часов; в одиннадцать был назначен суд. Так как отец

и остальные члены семьи должны были присутствовать на нем как свидетели, я вызвался сопровождать их. Пока длился этот фарс правосудия, я испытывал нестерпимые муки. В результате моего любопытства и недозволенных опытов оказывались приговоренными к смерти два человеческих существа; один из них был невинный, смеющийся ребенок; другого ожидала еще более ужасная смерть, сопряженная с позором и вечным клеймом злодейства. Жюстина была достойной девушкой, все сулило ей счастливую жизнь, а ее предадут позорной смерти — и виною этому буду я! Я тысячу раз предпочел бы сам взять на себя преступление, приписываемое Жюстине, но меня не было, когда оно совершилось; мое заявление было бы сочтено бредом безумного и не спасло бы ту, которая пострадала из-за меня.

Жюстина держалась достойно. Она была в трауре; ее лицо, вообще привлекательное, под влиянием скорби приобрело особую красоту. Она сохраняла спокойствие невинности и не дрожала, хотя тысячи глаз смотрели на нее с ненавистью; сочувствие, которое ее красота могла бы вызвать у присутствующих, пропадало при мысли о кошмарном преступлении, которое ей приписывали. Она была спокойна, но спокойствие явно стоило ей труда. Так как ее смятение с самого начала посчитали за доказательство вины, она старалась сохранить хотя бы подобие мужества. Войдя в зал суда, она окинула его взглядом и сразу же увидела нас. Слезы затуманили ей глаза, но она быстро овладела собой и посмотрела на нас с любовью и грустью, говорившими о ее невинности.

Суд начался; после речи обвинителя, который сформулировал обвинение, выступило несколько свидетелей. Странное стечение обстоятельств, говоривших против нее, поразило бы каждого, кто не имел, подобно мне, бесспорных доказательств ее непричастности. В ночь убийства она оказалась вне дома, а утром какая-то рыночная торговка видела ее недалеко от того места, где было позже обнаружено тело убитого ребенка. Женщина спросила ее, что она тут делает; но она как-то странно посмотрела на нее и пробормотала что-то невнятное. Домой она возвратилась около восьми часов и на вопрос, где она провела ночь, ответила, что ходила искать ребенка, а потом с тревогой спросила, нашелся ли он. Когда ей показали труп, с ней случился сильнейший истерический припадок, и она на несколько дней слегла в постель. Теперь ей показали миниатюру, найденную служанкой в кармане ее платья; и когда Элизабет дрожащим голосом опознала в ней ту самую, которую она надела на шею ребенка за час до его исчезновения, по залу пронесся ропот негодования и ужаса.

Жюстину спросили, что она может сказать в свое оправдание. Пока шло разбирательство, она заметно переменилась. Теперь ее лицо выражало изумление и ужас. Временами она с трудом удерживалась от слез; но когда ей дали слово, она собрала все силы в заговорила внятно, хотя и срывающимся голосом.

— Видит Бог, — сказала она, — я ни в чем не виновата; но и понимаю, что одних лишь моих заверений мало. Я хочу дать простое объяснение фактам, которые свидетельствуют против меня. Может быть, судьи, зная мою прежнюю жизнь, благожелательно истолкуют все, что сейчас кажется им подозрительным или странным.

Она рассказала, что с разрешения Элизабет провела вечер накануне убийства в доме своей тетки, в деревне Шэн, поблизости от Женеви. Возвращаясь оттуда около девяти часов, она встретила человека, спросившего у нее, не видела ли она пропавшего ребенка. Это ее очень встревожило, и она несколько часов искала его, а там городские ворота оказались закрытыми на ночь, и остаток ночи ей пришлось провести в сарае, возле одного дома, где ее хорошо знали; но будить хозяев она постеснялась. Она почти не спала и только к утру, как видно, ненадолго уснула. Ее разбудили чьи-то шаги. Уже рассвело, и она вышла из своего убежища и снова принялась за поиски. Если она при этом оказалась вблизи места, где потом нашли тело, то это вышло случайно. Когда проходившая мимо торговка обратилась к ней с вопросами, она, должно быть, действительно казалась растерянной, но причиной была бессонная ночь и тревога за бедного Уильяма. О миниатюре она ничего сказать не могла.

— Я знаю, — продолжала несчастная, — что эта улика является для меня роковой, но объяснить ничего не сумею; могу только гадать, как она попала ко мне в карман. Но и тут я

теряюсь. Насколько я знаю, врагов у меня нет; не может же быть, чтобы кто-нибудь захотел погубить меня просто так, из прихоти. Быть может, мне подбросил ее убийца? Но когда он успел это сделать? А если это он, зачем ему было похищать драгоценность, чтобы тут же с нею расстаться?

Я предаю себя в руки судей, хотя ни на что не надеюсь. Если можно, пусть опросят свидетелей, которые могли бы дать обо мне отзыв; если и после их показаний вы сочтете меня способной на такое злодейство, пусть меня судят; но, клянусь спасением души, я невиновна.

Опросили нескольких свидетелей, знавших ее много лет; и они отзывались о ней хорошо, но выступали робко и неохотно, — вероятно, из отвращения к ее предполагаемому преступлению. Видя, что последняя надежда обвиняемой — ее безупречная репутация — готова рухнуть, Элизабет, несмотря на крайнее волнение, попросила слова.

— Я прихожусь родственницей несчастному ребенку, — сказала она, — почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать. Но я вижу, что человек может погибнуть из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне выступить и сказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю. Я прожила с ней под одной кровлей пять лет подряд, а потом еще около двух лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти, с величайшей заботливостью и любовью; а потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжело; и это тоже она делала так, что вызывала восхищение всех, ее знавших. После этого она снова жила в доме моего дяди, где ее все любили. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему, как самая нежная мать. Я, не колеблясь, заявляю, что, несмотря на все улики против нее, я твердо верю в ее невинность. У нее не было никаких мотивов для преступления; а что касается вещицы, которая оказалась главной уликой, я охотно отдала бы ее ей, стоило ей пожелать, — так высоко я ее ценю и уважаю.

Простая и убедительная речь Элизабет вызвала шепот одобрения; однако одобрение относилось к ее великодушному заступничеству, но отнюдь не к бедной Жюстине, которую все возненавидели еще сильнее за такую черную неблагодарность. Во время речи Элизабет она плакала, но ничего не ответила. Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невинность подсудимой; я зная о ней. Неужели же дьявол, убивший моего брата (что это он, я ни минуты не сомневался), продлил свою адскую забаву и обрек несчастную позорной смерти? Я не в силах был долее выносить ужас моего положения; видя, что общее мнение уже осудило мою несчастную жертву и что к этому склоняются и судьи, я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой — ее поддерживало сознание невинности, меня же безжалостно терзали угрызения совести.

Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд; в горле и во рту у меня пересохло. Я не решался задать роковой вопрос; но меня там знали, и судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось; Жюстину единогласно осудили на смерть.

Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти снова, чтобы его описать; но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жюстина созналась в своем преступлении. «Это подтверждение, — заметил он, — едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно; но все же я рад; никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески».

Это сообщение было неожиданно и странно: что же все это значит? Неужели мои глаза обманули меня? Иди я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, если бы я объявил вслух, кого я подозреваю? Я поспешил домой; Элизабет с нетерпением ждала известий.

— Кузина, — сказал я, — все решилось именно так, как ты ожидала; судьи всегда предпочитают осудить десять невинных, лишь бы не помиловать одного виновного. Но

она сама созналась.

Это было жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невинность Жюстины. «Увы, — сказала она, — как теперь верить доброму в людях? Жюстина, которую я любила, как сестру, как могла она носить личину невинности? Ее кроткий взгляд выражал одну доброту, а она оказалась убийцей».

Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоставил решение ей самой. «Да, — сказала Элизабет, — я войду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор. Одна я не могу». Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя.

Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Жюстину, сидевшую в дальнем углу на соломе; руки ее были скованы, голова низко опущена. При виде нас она встала, а когда нас оставили с нею наедине, она упала к ногам Элизабет, горько рыдая. Заплакала и моя кузина.

— Ах, Жюстина, — сказала она, — зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невинность, и, хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас.

— Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? Неужели и вы, заодно с моими врагами, клеймите меня как убийцу? — Голос ее прервался рыданиями. — Встань, моя бедная, — сказала Элизабет, — зачем ты стоишь на коленях, если ты невиновна? Я тебе не враг. Я верила в твою невинность, несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, это ложный слух; поверь, милая Жюстина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания.

— Я действительно созналась, но только это неправда. Я созналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта ложь тяготит меня больше, чем все мои грехи. Да простит мне Господь! После того как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он грозился перед смертью отлучить меня от церкви и обречь адскому огню, если я стану запираяться. Милая госпожа, ведь я здесь одна; все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Что же мне оставалось делать? В недобрый час я согласилась подтвердить ложь; с этого и начались мои мучения.

Она умолкла и заплакала, а потом добавила: «Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать нашу Жюстину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям! Милый мой крошка! Скоро я свижусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь».

— О Жюстина! Прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая. И не бойся. Я всем скажу о твоей невинности, я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь! Ты, подруга моего детства, моя сестра, и погибнешь на эшафоте? Нет, нет, я не переживу такого горя.

Жюстина печально покачала головой.

— Смерти я не боюсь, — сказала она, — этот страх уже позади. Господь сжалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я уйду из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь со своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться Божьей воле.

Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муки. Отчаяние! Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой наутро предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я, — такого глубокого в безысходного ужаса. Я закрипел зубами, я стиснул их, и у меня вырвался стон, исходивших из самой глубины души. Жюстина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала: «Вы очень добры, что навестили меня, сэр. Ведь вы, не считаете меня убийцей?»

Я не в силах был отвечать.

— Нет, Жюстина, — сказала Элизабет, — он больше верил в тебя, чем я; даже

услышав, что ты созналась, он этому не поверил.

— Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает. Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. От этого становится вдвое легче. Вы и ваш кузен, милая госпожа, признали мою невиновность — теперь можно умереть спокойно.

Так бедная страдальца старалась утешить других и самое себе. Она достигла желанного умиротворения. А я, истинный убийца, носил в груди грызущего червя, и не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала; но и это были невинные слезы, горе, подобное тучке на светлом лике луны, которая затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души; во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы пробыли с Жюстиной несколько часов; Элизабет была не в силах расстаться с ней. «Я желала бы умереть с тобой! — воскликнула она. — Как жить в этом мире страданий?»

Жюстина старалась бодриться, но с трудом удерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение: «Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный и любимый друг. Да благословит и сохранит вас милосердный Господь. Пусть это будет вашим последним горем! Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других».

На следующий день Жюстина рассталась с жизнью. Пылкое красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдальца. Не вняли они и моим страстным и негодующим уверениям. Когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственные рассуждения, признание, уже готовое было вырваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца, но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертве. Ока погибла на эшафоте, как убийца!

Терзаясь сам, я видел глубокое, безмолвное горе моей Элизабет. И это тоже из-за меня! Горе отца, траур в недавно счастливой семье — все было делом моих трижды проклятых рук! Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы! Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания! Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радости, если она не отражается в ваших любимых глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, — это он заставляет вас рыдать — проливать бесконечные слезы; и не смеет даже надеяться, что неумолимый рок насытится этим и разрушение остановится прежде, чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий!

Так говорил во мне пророческий голос, когда, терзаемый муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах Уильяма и Жюстины, первых жертв моих проклятых опытов.

Глава IX

Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий мертвый покой бездействия — та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жюстина умерла; она обрела покой; а я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах, но сердце было сдавлено тоской и раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня, я бродил точно злой дух, ибо действительно свершил неслыханные злодеяния, и еще больше, гораздо больше (в этом я был уверен) предстояло мне впереди. А между тем душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами, я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло; утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед, я терзался раскаянием и сознанием вины, я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами.

Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того, первого удара. Я избегал людей; все, что говорило о радости и довольстве, было для меня мукой; моим единственным прибежищем было одиночество — глубокое, мрачное, подобное смерти.

Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены и с помощью поводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество в развеять нависшую надо мной мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, — сказал он однажды, — что мне легче, чем тебе? Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата (тут на глаза его навернулись слезы), но разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять их горя? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек не пригоден для жизни в обществе».

Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня; я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались горькие укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз.

К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Бельрив. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, ибо ровно в десять городские ворота запирались и оставаться на озере после этого было нельзя. Теперь я был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парус и плыл по ветру; иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем и его нарушал один лишь я, не считая летучих мышей и лягушек, сипло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свое горе. Но меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил, для которой я так много значил. Я думал также об отце и втором брате; не мог же я подло покинуть их, беззащитных, оставив во власти злобного дьявола, которого сам на них напустил.

В такие минуты я горько плакал и молил Бога вернуть мне душевный покой хотя бы для того, чтобы служить им опорой и утешением. Но это было недостижимо. Угрызения совести убивали во мне надежду. Я уже причинил непоправимое зло и жил в постоянном страхе, как бы созданный мною урод не сотворил нового злодеяния. Я смутно предчувствовал, что это еще не конец, что он совершит кошмарное преступление, перед которым померкнут прежние. Пока оставалось в живых хоть одно любимое мной существо, мне было чего страшиться. Моя ненависть к чудовищу не поддается описанию. При мысли о нем я скрежетал зубами, глаза мои горели, и я жаждал отнять у него жизнь, которую даровал ему так бездумно. Вспоминая его злобность и свершенные им злодеяния, я доходил до исступления в своей жажде мести. Я взобрался бы на высочайшую вершину Андов, если б мог низвергнуть его оттуда. Я хотел увидеть его, чтобы обрушить на него всю силу своей ненависти и отомстить за гибель Уильяма и Жюстины.

В нашем доме поселилась скорбь. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль; она уже не находила радости в домашних делах; ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых; что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не была уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе — из тех, что ниспосылаются нам, чтобы отлучить от земного, — уже посетило ее, и его мрачная тень погасила ее улыбку.

— Когда я думаю о страшной смерти Жюстины Мориц, — говорила она, — я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала или слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне вымыслом и небылицей, во всяком случае, чем-то далеким и отвлеченным, а теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне

чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки, а если бы она действительно совершила преступление, за которое была казнена, то была бы гнуснейшей из злодеек. Ради нескольких драгоценных камней убить сына своих благодетелей и друзей, ребенка, которого она нянчила с самого рождения и, казалось, любила как своего! Я никому не желаю смерти, но подобное существо я не считала бы возможным оставить жить среди людей. Только ведь она-то была невинна. Я это знаю, я это чувствую, и ты тоже, и это еще укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может так походить на правду, кто может поверить в счастье? Я словно ступаю по краю пропасти, а огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жюстина погибли, а убийца остался безнаказанным; он на свободе и, быть может, пользуется общим уважением. Но будь я даже приговорена к смерти за подобное преступление, я не поменялась бы местами с этим злодеем.

Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей — если не прямо, то косвенно — был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала:

— Успокойся, милый. Бог видит, как глубоко я горюю, но я не так несчастна, как ты. На твоём лице я читаю отчаяние, а порой — мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти. Помни о близких; ведь вся их надежда на тебя. Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим — пока мы верны друг другу, здесь, в стране красоты и покоя, твоём родном краю, нам доступны все мирные радости жизни, и что может нарушить наш покой?

Но даже эти слова из уст той, кто был для меня драгоценнейшим из даров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня.

Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемая для благих влияний. Я был подобен раненому оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзившую его стрелу.

Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаянья; но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчения мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние альпийские долины, чтобы созерцанием их вечно величавого великолепия заставить себя забыть преходящие человеческие несчастья. Я решил добраться до Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло шесть лет; ничто не изменилось в этих суровых пейзажах — а что случилось со мной?

Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного на крутых горных тропах. Погода стояла отличная; была середина августа; прошло уже почти два месяца после казни Жюстины — после черных дней, с которых начались мои страдания. Угнетавшая меня тяжесть стала как будто легче, когда я углубился в ущелье Арвэ. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшейся по камням, грохот водопадов — все говорило о могуществе Всевышнего, и я забывал страх, я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всемогущего создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем прекраснее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших сосной; бурная Арвэ; хижины, там и сям видные меж деревьев, — все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное величие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем, точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ.

Я переехал по мосту в Пелисье, где мне открылся вид на прорытое рекою ущелье, и стал подыматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамуни. Эта долина еще величавее, хотя менее живописна, чем долина Серво, которую я только что миновал. Ее тесно окружили высокие снежные горы; но здесь уже не увидишь старинных

замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступали к самой дороге; я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружающих *aiguilles*³ высился царственный и великолепный Монблан; его исполинский купол господствовал над долиной.

Во время этой поездки меня не раз охватывало давно не испытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывающийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветер нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнской лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапно очарование рассеивалось, я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям. Тогда я прищипоривал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего стража и от себя самого — или спешивался и в отчаянии бросался ничком в траву, подавленный ужасом а тоской.

Наконец я добрался до деревни Шамуни. Здесь дало себя знать крайнее телесное и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, наблюдая бледные зарницы, полыхавшие над Монбланом, и слушая рокот Арвэ, продолжавшем внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убавляли мою тревогу; сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку; я ощутил его приход и благословил дарителя забвения.

Глава X

Весь следующий день я бродил по долине. Я постоял у истоков Арвейрона, берущего начало от ледника, который медленно сползает с вершин, перегораживая долину. Передо мной высились крутые склоны гигантских гор; над головой нависала ледяная стена глетчера; вокруг были разбросаны обломки поверженных им сосен. Торжественное безмолвие этих тронных зал Природы нарушалось лишь шумом потока, а по временам — падением камня, грохотом снежной лавины или гулким треском скопившихся льдов, которые, подчиняясь каким-то особым законам, время от времени ломаются, точно хрупкие игрушки. Это великолепное зрелище давало мне величайшее утешение, какое я способен был воспринять. Оно подымало меня над мелкими чувствами, и если не могло развеять моего горя, то хотя бы умеряло и смягчало его. Оно отчасти отвлекало меня от мыслей, терзавших меня весь последний месяц. Когда я в ту ночь ложился спать, меня провожали ко сну все величавые образы, которые я созерцал днем. Все они сошлись у моего изголовья: и непорочные снежные вершины, и сверкающие льдом пики, и сосны, и скалистый каньон — все они окружили меня и сулили покой.

Но куда же они скрылись при моем пробуждении? Вместе со сном бежали прочь все восхитившие меня видения, и мою душу заволокло черной тоской. Дождь лил ручьями, вершины гор утонули в густом тумане, и я не мог уже видеть своих могучих друзей. Но я готов был проникнуть сквозь завесу тумана в их заоблачное уединение. Что мне дождь и ненастье? Мне привели моего мула, и я решил подняться на вершину Монтанвер; Я помнил, какое впечатление произвела на меня первая встреча с исполинским, вечно движущимся ледником. Она наполнила меня окрыляющим восторгом, вознесла мою душу из тьмы к свету и радости. Созерцание всего могучего и великого в природе всегда настраивало меня торжественно, заставляя забывать преходящие жизненные заботы. Я решил совершить восхождение без проводника, ибо хорошо знал дорогу, а присутствие постороннего только нарушило бы мрачное величие этих пустынных мест.

Склон горы очень крут, но тропа вьется спиралью, помогая одолеть крутизну. Кругом

³ 3. пиков (франц.).

расстилается безлюдная и дикая местность. На каждом шагу встречаются следы зимних лавин: поверженные на землю деревья, то совсем расщепленные, то согнутые, опрокинутые на выступы скал или поваленные друг на друга. По мере восхождения тропа все чаще пересекается заснеженными промоинами, по которым то и дело скатываются камни. Особенно опасна одна на них: достаточно малейшего сотрясений воздуха, одного громко произнесенного слова, чтобы обрушить гибель на говорящего. Сосны не отличаются здесь стройностью или пышностью; их мрачные силуэты еще больше подчеркивают суровость ландшафта. Я взглянул вниз, в долину; над потоком подымался туман; клубы его плотно окутывали соседние горы, скрывшие свои вершины в тучах; с темного неба лил дождь, завершая общее мрачное впечатление. Увы! почему человек так гордится чувствами, возвышающими его над животными? Они лишь умножают число наших нужд. Если бы наши чувства ограничивались голодом, жаждой и похотью, мы были бы почти свободны; а сейчас мы подвластны каждому дуновению ветра, каждому случайному слову или воспоминанию, которое это слово в нас вызывает.

Мы можем спать — и мучиться во сне,
Мы можем встать — и пустяком терзаться,
Мы можем тосковать наедине,
Махнуть на все рукою, развлекаться, —
Всего проходит краткая поря,
И все возьмет таинственная чаща;
Сегодня не похоже на вчера,
И лишь Изменчивость непреходяща.⁴

Время близилось к полудню, когда я достиг вершины. Я немного посидел на скале, нависшей над ледяным морем. Как и окрестные горы, оно тоже тонуло в тумане. Но вскоре ветер рассеял туман, и я спустился на поверхность глетчера. Она очень неровна, подобна волнам беспокойного моря и прорезана глубокими трещинами; ширина ледяного поля составляет около лье, но чтобы пересечь его, мне потребовалось почти два часа. На другом его краю гора обрывается отвесной стеной. Монтанвер теперь был напротив меня, в расстоянии одного лье, а над ним величаво возвышался Монблан. Я остановился в углублении скалы, любуясь несравненным видом. Ледяное море, вернее, широкая река вилась между гор; их светлые вершины нависали над ледяными заливами. Сверкающие снежные пики, выступая из облаков, горели в лучах солнца. Мое сердце, так долго страдавшее, ощутило нечто похожее на радость. Я воскликнул: «О души умерших! Если вы витаете здесь, а не покоитесь в тесных гробах, дайте мне вкусить это подобие счастья или возьмите с собой, унесите от всех радостей жизни!»

В этот миг я увидел человека, приближавшегося ко мне с удивительной быстротой. Он перепрыгивал через трещины во льду, среди которых мне пришлось пробираться так осторожно; рост его вблизи оказался выше обычного человеческого роста. Я ощутил внезапную слабость, и в глазах у меня потемнело; но холодный горный ветер быстро привел меня в чувство. Когда человек приблизился, я узнал в нем (о, ненавистное зрелище!) сотворенного мной негодяя. Я задрожал от ярости, решив дожидаться его и схватиться с ним насмерть. Он приблизился; его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение; при его сверхъестественной уродливости это было зрелище почти невыносимое для человеческих глаз. Но я едва заметил это; ненависть и ярость сперва лишили меня языка; придя в себя, я обрушил на него поток гневных и презрительных слов.

— Дьявол! — вскричал я. — Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет, постой, я сейчас растопчу тебя в прах! О,

⁴ 4. Перевод К.Чемены.

если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этим несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью!

— Я ждал такого приема, — сказал демон. — Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих! Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение, а ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня. Но как смеешь ты так играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня, тогда и я исполню свой — перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое, если же откажешься, я всласть напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких.

— Ненавистное чудовище! Дьявол во плоти! Муки ада недостаточны, чтобы искупить твои злодеяния. Проклятый! И ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал? Так подойди же ко мне, и я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно.

Гнев мой был беспределен; я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, какие могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого.

Он легко уклонился от моего удара и сказал:

— Успокойся! Заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, что ты хочешь прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полная страданий, все же дорога мне, и я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил меня силой, превосходящей твою; я выше ростом и гибче в суставах. Но я не стану с тобой бороться. Я — твоё создание и готов покорно служить своему господину, если и ты выполнишь свой долг передо мною. О Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был бы быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, и только мне оно не досталось. Я был кроток и добр; несчастья превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен.

— Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно; мы — враги. Прочь! Или давай померяемся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть.

— Как мне тронуть твоё сердце? Неужели никакие мольбы не заставят тебя благосклонно взглянуть на твоё создание, которое молит о жалости? Поверь, Франкенштейн, я был добр, душа моя горела любовью к людям; но ведь я одинок, одинок безмерно! Даже у тебя, моего создателя, я вызываю одно отвращение; чего же мне ждать от других людей, которые мне ничем не обязаны? Они меня гонят и ненавидят. Я нахожу убежище в пустынных горах, на угрюмых ледниках. Я брожу здесь уже много дней; ледяные пещеры, которые не страшны только мне, служат мне домом — единственным, откуда люди не могут меня изгнать. Я радуюсь этому мрачному небу, ибо оно добрее ко мне, чем твои братья-люди. Если бы большинство их знало о моем существовании, они поступили бы так же, как ты, и попытались уничтожить меня вооруженной рукой. Не мудрено, что я ненавижу тех, кому так ненавистен. Я не пойду на сделку с врагами. Раз я несчастен, пусть и они страдают. А между тем ты мог бы осчастливить меня и этим спасти их от бед — и каких бед! От тебя одного зависит, чтобы не только твои близкие, но тысячи других не погибли в водовороте моей ярости. Сжался надо мной и не гони меня прочь. Выслушай мою повесть; а тогда пожалей или оттолкни, если рассудишь, что я заслужил это. Даже по людским законам, как они ни жестоки, преступнику дают сказать слово в свою защиту, прежде чем осудить его. Выслушай же меня, Франкенштейн. Ты обвиняешь меня в убийстве, а сам со спокойной совестью готов убить тобою же созданное существо. Вот она, хваленая справедливость людей! Ни я не прошу пощадить меня, а только выслушать. Потом, если сможешь, уничтожь творение собственных рук.

— Зачем, — сказал я, — напоминать мне события, злополучным виновником которых я признаю себя с содроганием? Да будет проклят день, когда ты впервые увидел свет, гнусное чудовище! И прокляты руки, создавшие тебя, пусть это были мои собственные! Ты причинил мне безмерное горе. Я уже не в силах решать, справедливо ли я с тобой поступаю. Поди

прочь! Избавь меня от твоего ненавистного вида.

— Вот как я тебя избавлю от него, мой создатель, — сказал он, заслоняя мне глаза своими отвратительными руками, которые я тотчас же гневно оттолкнул. — И все же ты можешь выслушать и пожалеть меня. Прошу тебя об этом во имя добродетелей, которыми я некогда обладал. Выслушай мой рассказ; он будет долог и необычен, а здешний холод опасен для твоего хрупкого организма. Пойдем укроемся в горной хижине. Солнце еще высоко в небе; прежде чем оно опустится за те снежные вершины и осветит иные страны, ты все узнаешь, а тогда и рассудишь. От тебя зависит решить: удалиться ли мне навсегда от людей и никому не делать вреда или же сделаться бичом человечества и погубить прежде всего тебя самого.

С этими словами он зашагал по леднику; я последовал за ним. Я был слишком взволнован и ничего ему не ответил. Но, идя за ним, я обдумал все им сказанное и решил хотя бы выслушать его повесть. К этому меня побуждало отчасти любопытство, но отчасти и сострадание. Я считал его убийцей моего брата и хотел окончательно установить истину. Кроме того, я впервые осознал долг создателя перед своим творением и понял, что должен был обеспечить его счастье, прежде чем обвинять в злодействах. Это заставило меня согласиться на его просьбу. Мы пересекли ледяное поле и поднялись на противоположную скалистую гору. Было холодно, дождь возобновился; мы вошли в хижину. Демон — с ликующим видом, а я — глубоко подавленный, Но я приготовился слушать. Я уселся у огня, разведенного моим ненавистным спутником, и он так начал свой рассказ.

Глава XI

Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом: они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу: я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи, и все это одновременно. Понадобилось немало времени, прежде чем я научился различать ощущения. Помню, что сильный свет заставил меня закрыть глаза. Тогда меня окутала тьма, и я испугался; должно быть, я вновь открыл глаза, и снова стало светло. Я куда-то пошел, кажется, куда-то вниз, и тут в моих чувствах произошло прояснение. Сперва меня окружали темные, плотные предметы, недоступные зрению или осязанию. Теперь я обнаружил, что я в состоянии продвигаться свободно, а каждое препятствие могу перешагнуть или обойти. Почувствовав утомление от яркого света и жары, я стал искать тенистого места. Так я оказался в лесу близ Ингольштадта; там я отдыхал у ручья, пока не ощутил голода и жажды. Они вывели меня из оцепенения. Я поел ягод, висевших на кустах и разбросанных по земле, и утолил жажду водой из ручья; после этого я лег и уснул.

Когда я проснулся, уже стемнело; я озяб и инстинктивно испугался одиночества. Еще у тебя в доме, ощутив холод, я накинул на себя кое-какую одежду, но она недостаточно защищала меня от ночной росы. Я был жалок, беспомощен и несчастен; я ничего не знал и не понимал, я лишь чувствовал, что страдаю, — и я заплакал.

Скоро небо озарилось мягким светом, в это меня обрадовало. Из-за деревьев вставало какое-то сияние. Я подивился ему. Оно восходило медленно, но уже освещало передо мной тропу, и я снова принялся искать ягоды. Мне было холодно, но под деревом я нашел чей-то плащ, закутался в него и сел на землю. В голове моей не было ясных мыслей; все было смутно. Я ощущал свет, голод, жажду, мрак; слух мой полнился бесчисленными звуками, обоняние воспринимало множество запахов; единственное, что я различал ясно, был диск луны — и на него я устремил радостный взор.

Ночь не раз сменилась днем, а ясный диск заметно уменьшился, прежде чем я научился разбираться в своих ощущениях. Я начал узнавать поивший меня прозрачный ручей и деревья, укрывавшие меня своей тенью. Я с удовольствием обнаружил, что часто слышимые

мной приятные звуки издавались маленькими крылатыми существами, которые то и дело мелькали между мной и светом дня. Я стал яснее различать окружающие предметы и границы нависшего надо мной светлого купола. Иногда я безуспешно пытался подражать сладкому пению птиц. Я хотел по-своему выразить волновавшие меня чувства, но издаваемые мной резкие и дикие звуки пугали меня, и я умолкал.

Луна перестала всходить, потом появилась опять в уменьшенном виде, а я все еще жил в лесу. Теперь ощущения мои стали отчетливыми, а ум ежедневно обогащался новыми понятиями. Глаза привыкли к свету и научились правильно воспринимать предметы; я уже отличал насекомых от растений, а скоро и одни растения от других. Я обнаружил, что воробей издает одни только резкие звуки, а дрозд — нежные и приятные.

Однажды, мучимый холодом, я наткнулся на костер, оставленный какими-то бродягами, и с восхищением ощутил его тепло. Я радостно протянул руку к пылающим углям, но тотчас отдернул ее с криком. Как странно, подумал я, что одна и та же причина порождает противоположные следствия! Я стал разглядывать костер и, к своей радости, обнаружил, что там горят сучья, Я тотчас набрал веток, но они были сырые и не загорелись. Это огорчило меня, и я долго сидел, наблюдая за огнем. Сырые ветки, лежавшие у огня, подсохли и тоже загорелись. Я задумался; трогая то одни, то другие ветки, я понял, в чем дело, и набрал побольше дров, чтобы высушить их и обеспечить себя теплом. Когда наступила ночь и пора было спать, я очень боялся, как бы мой костер не погас. Я бережно укрыл его сухими сучьями и листьями, а сверху наложил сырых веток; затем, разостлав свой плащ, я улегся и заснул.

Утром первой моей заботой был костер. Я разрыл его, и легкий ветерок тотчас же раздул пламя, Я запомнил и это и смастерил из веток опахало, чтобы раздувать погасающие угли. Когда снова наступила ночь, я с удовольствием обнаружил, что костер дает не одно лишь тепло, но и свет, и что огонь годится для приготовления пищи; ибо оставленные путниками объедки были жареные и на вкус куда лучше ягод, которые я собирал с кустов. Я попробовал готовить себе пищу тем же способом и положил ее на горячие угли. Оказалось, что ягоды от этого портятся, зато орехи и коренья становятся гораздо вкуснее.

Впрочем, добывать пищу становилось трудней; и я иной раз тратил целый день на поиски горсти желудей, чтобы хоть немного утолить голод. Поняв это, я решил перебраться в другие места, где мне легче было бы удовлетворять мои скромные потребности. Но, задумав переселение, я печалился об огне, который нашел случайно и не знал, как зажечь самому. Я размышлял над этим несколько часов, но ничего не придумал. Завернувшись в плащ, я зашагал по лесу, вслед заходящему солнцу. Так я брел три дня, пока не вышел на открытое место. Накануне выпало много снега, и поля скрылись под ровной белой пеленой; это зрелище навело на меня грусть, а ноги мерзли на холодном, влажном веществе, покрывавшем землю.

Выло, должно быть, часов семь утра, и я тосковал по пище и крову. Наконец я заметил на пригорке хижину, вероятно, выстроенную для пастухов. Такого строения я еще не видел, и я с любопытством осмотрел его. Дверь оказалась незапертой, и я вошел внутрь. Возле огня сидел старик и готовил себе пищу. Он обернулся на шум; увидев меня, он громко закричал и, выскочив из хижины, бросился бежать через поле с такой быстротой, на какую его дряхлое тело казалось неспособным. Его облик, непохожий на все виденное мной до тех пор, и его бегство удивили меня. Зато хижина привела меня в восхищение; сюда не проникали снег и дождь; пол был сухой; словом, хижина показалась мне тем роскошным дворцом, каким был Пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере. Я с жадностью поглотил остатки трапезы пастуха, состоявшей из хлеба, сыра, молока и вина; последнее, впрочем, не пришлось мне по вкусу. Затем, ощутив усталость, я лег на кучу соломы и заснул.

Проснулся я уже в полдень; обрадовавшись солнцу к снегу, сверкавшему под его лучами, я решил продолжать свой путь; положив остатки пастушьего завтрака в суму, которую я нашел тут же, я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом! Я поочередно восхищался в хижинами, и более богатыми

домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел; но не успел я переступить порог, как дети закричали, а одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню; кто пустился бежать, а кто бросился на меня; израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой после дворцов, виденных мной в деревне. Правда, лачуга примыкала к чистенькому домику; но после недавнего горького опыта я не решился туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом умещался в нем сидя. Пол был не дощатый, а земляной, но сухой; и хотя ветер дул в бесчисленные щели, мне, после снега и дождя, показалось здесь хорошо.

Тут я и укрылся, счастливый уже тем, что нашел пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы, но прежде всего от людской жестокости.

Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома; к ней примыкал свиной закут и небольшой бочаг с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я и проник; но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками, однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти; свет проникал ко мне только из свиного хлева, но этого мне было довольно.

Устроившись в своем жилище и устлав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался каков-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день: украл кусок хлеба и черпак, которым удобнее, чем горстью, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка приподнят, а потому сух; близость печи, топившейся в доме, давала немного тепла.

Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачужке, пока какие-либо новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу, на сырой земле, под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай. Я с удовольствием поел и собрался отодвинуть одну из досок, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг услышал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это было совсем юное и кроткое на вид создание, непохожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно — в грубую синюю юбку и полотняную кофту; светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены; лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова; теперь ее ведро были до половины налито молоком. Пока она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним, и они оба скрылись. Позднее я снова увидел юношу; он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия; видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе.

Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, теперь забитое досками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу, около огня, сидел старик; опустив голову на руки в позе глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату; потом она вынула из ящика какую-то работу и села рядом со стариком; а тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки более сладостные, чем пение дрозда или соловья.

Это было прелестное зрелище, и его оценил даже я, жалкое существо, не видавшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца вызвали во мне уважение, а кротость девушки — нежную любовь. Он играл красивую и грустную мелодию, которая вызвала слезы на глаза прекрасной слушательницы; он, однако, не замечал их пока они не перешли в рыдания; тогда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделье, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь с такой добротой и любовью, что я ощутил сильное и новое для меня волнение; в нем смешивались радость и боль, прежде

не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи; и я отошел от окна, не в силах выносить этого дольше.

Вскоре вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ноши и, взяв часть дров, подложила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторону, и он достал большой хлеб и кусок сыра. Это ее, видимо, обрадовало; принесся из огорода какие-то коренья и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взялась за свое рукоделие, а юноша ушел в огород и принялся выкапывать коренья. Когда он проработал так примерно с час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом.

Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечи юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар, с серебряной сединой и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь; другой, молодой, был строен и гибок, и черты его отличались необычайной правильностью; правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудия, но иные, чем утром, отправился в поле.

Скоро стемнело, но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи; я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял; в старик снова взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром. Когда он кончил, юноша начал издавать какие-то монотонные звуки, непохожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц; впоследствии я обнаружил, что он читал вслух, но тогда я не имел еще понятия о письменности.

Проведя некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет и, как я понял, улеглось спать.

Глава XII

Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразил кроткий вид этих людей; я тянулся к ним, и вместе с тем боялся их. Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне; я не знал еще, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения.

Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому.

Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка — в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю. Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, а он награждал их ласковыми улыбками.

И все же они не были вполне счастливы. Юноша и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания, я уже не удивлялся тому, что несчастен я — жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом (таким, по крайней мере, он мне казался) и всяческая роскошь: огонь, чтобы согреться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда; но главное — общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдание? Вначале я не в силах был разрешить эти

вопросы, но время и неустанное наблюдение объяснили мне многое, прежде казавшееся загадкой.

Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи: то была бедность; они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которая зимой почти не доилась, так как хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода, особенно молодые; бывало, что они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя.

Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал. У них часть запасов, но убедившись, что это им в ущерб, я перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и кореньями, которые собирал в соседнем лесу.

Я нашел также способ помогать им. Оказалось, что юноша проводит большую часть дня, заготавливая дрова для дома; и вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней.

Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов; подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его за домашними делами и в огороде.

Затем я сделал еще более важное открытие. Я понял, что эти люди умеют сообщать друг другу свои мысли и чувства с помощью членораздельных звуков. Я заметил, что произносимые ими слова вызывают радость или печаль, улыбку или огорчение на лицах слушателей. Это была наука богов, и я страстно захотел овладеть ею. Но все мои попытки кончались неудачей. Они говорили быстро, и слова их не были связаны ни с какими видимыми предметами, так что у меня не было ключа к тайне. Однако, прожив в моей лачуге несколько лунных месяцев и приложив много стараний, я узнал названия некоторых, наиболее часто упоминавшихся предметов: огонь, молоко, хлеб, дрова. Узнал я и имена обитателей дома. Юноша и девушка имели их по нескольку, а старик только одно — отец. Девушку называли то сестра, то Агата, а юношу — Феликс, брат или сын. Не могу описать восторг, с каким я постигал значение всех этих сочетаний звуков и учился их произносить. Я запомнил и некоторые другие слова, еще не понимая, что они значат: хороший, малый, несчастный.

Так прошла для меня зима. Кротость и красота обитателей хижины привязали меня к ним: когда они грустили, я бывал подавлен; когда радовались, я радовался вместе с ними. Кроме них, я почти не видел людей, а когда они появлялись в хижине, их грубые голоса и ухватки только подчеркивали в моих глазах превосходство моих друзей. Я заметил, что старик часто уговаривал своих детей, как он их называл, не предаваться печали. Он говорил с ними бодро и с такой добротой, которая трогала даже меня. Агата почтительно выслушивала его; иногда на глаза ее навертывались слезы, которые она старалась незаметно смахнуть, но все же после увещаний отца она обычно становилась веселее. Не так было с Феликсом. Он казался всех печальнее, и даже моему неопытному взгляду было заметно, что он перестрадал больше всех. Но если лицо его выражало больше грусти, то голос звучал еще бодрее, чем у сестры, особенно когда он обращался к старику.

Я мог бы привести множество примеров, пусть незначительных, но весьма характерных для этих достойных людей.

Живя в нужде, Феликс тем не менее спешил порадовать сестру первым белым цветочком, появлявшимся из-под снега. Каждое утро, пока она еще спала, он расчищал ей тропинку к коровнику, приносил воды из колодца и дров из сарая, где, к его удивлению, дровяные запасы непрерывно пополнялись чьей-то невидимой рукой. Днем он, очевидно, иногда работал на соседнего фермера, ибо часто уходил до самого обеда, а дров с собой не приносил. Бывало, что он работал на огороде, но зимой такой работы было мало, и он читал вслух старику и Агате.

Это чтение сперва приводило меня в крайнее недоумение, но постепенно я стал замечать, что, читая, он часто произносит те же сочетания звуков, что и в разговоре. Я

заклучил из этого, что на страницах книги он видит понятные ему знаки, которые можно произнести, и я жаждал их постичь, но как — если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? В этой последней науке я, правда, продвинулся, хоть и не настолько, чтобы понимать их речь целиком, и продолжал стараться изо всех сил; несмотря на мое горячее желание показаться им, я понимал, что мне не следует этого делать, пока я не овладею их языком, и они за это, быть может, простят мне мое уродство; последнее я тоже осознал по контрасту, постоянно бывшему у меня перед глазами.

Я любовался красотой обитателей хижины — их грацией и нежным цветом лица; но как ужаснулся я, когда увидел свое собственное отражение в прозрачной воде! Сперва я отпрянул, не веря, что зеркальная поверхность отражает именно меня, а когда понял, как я уродлив, сердце мое наполнилось горькой тоской и обидой. Увы! Я еще не вполне понимал роковые последствия своего уродства.

Солнце пригревало сильнее, день удлинился, снег сошел, обнажив деревья и черную землю. У Феликса прибавилось работы, и страшная угроза голода исчезла. Их пища, хоть и грубая, была здоровой, и теперь ее было достаточно. В огороде появились новые растения, которые они употребляли в пищу; и с каждым днем их становилось больше.

Ежедневно в полдень старик выходил на прогулку, опираясь на плечо сына, если только не шел дождь, — так, оказывается, назывались потоки воды, изливавшиеся с небес. Это бывало нередко, но ветер скоро осушал землю, и погода становилась еще лучше.

Я вел в своем укрытии однообразную жизнь. Утром я наблюдал обитателей хижины; когда они расходились по своим делам, я спал; остаток дня я снова посвящая наблюдению за моими друзьями. Когда они ложились спать, а ночь была лунная или звездная, я отправлялся в лес добывать пищу для себя и дрова для них. На обратном пути, если было нужно, я расчищал тропинку от снега или выполнял за Феликса другие его обязанности. Работа, сделанная невидимой рукой, очень удивляла их; в таких случаях я слышал слова добрый дух и чудо, но тогда я еще не понимал их смысла.

Я научился мыслить и жаждал побольше узнать о чувствах и побуждениях милых мне существ. Мне не терпелось знать, отчего тоскует Феликс и задумывается Агата. Я надеялся (глупец!), что как-нибудь сумею вернуть этим достойным людям счастье. Во сне и во время моих походов в лес перед моими глазами всегда стояли почтенный седой старец, нежная Агата и мужественный Феликс. Я видел в них высших существ, вершителей моей судьбы. Тысячу раз рисовал я в своем воображении, как явлюсь перед ними и как они меня примут. Я понимал, что вызову в них отвращение, но думал кротостью и ласковыми речами снискать их расположение, а затем и любовь.

Эти мысли радовали меня и побуждали с новым рвением учиться человеческой речи. Голос у меня был резкий, но достаточно гибкий, и хотя он сильно отличался от их нежных и мелодичных голосов, я довольно легко произносил те слова, которые понимал. Это было как в басне об осле и комнатной собачке. Но неужели кроткий осел, привязчивый, хоть с виду и грубый, не заслуживал иного отношения, кроме побоев и брани?

Веселые ливни и весеннее тепло преобразили землю. Люди, прежде словно прятавшиеся где-то в норах, рассыпались по полям в принялись за крестьянские работы. Птицы запели веселее; на деревьях развернулись листья. О, счастливая земля! Еще недавно голая, сырая и неприветливая, она была теперь достойна богов. Моя душа радовалась великолепию природы; прошедшее изгладилось из моей памяти, в настоящем царили мир и покой, а будущее озарялось лучами надежды и ожиданием счастья.

Глава XIII

Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь.

Весна быстро вступала в свои права: погода стала теплой, а небо — безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и расцвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ.

В один из тех регулярно наступавших дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов, — старик играл на гитаре, а дети слушали, — я заметил, что лицо Феликса бесконечно печально и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова, но тут раздался стук в дверь.

Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин — провожатый. Она была в темной одежде, под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее; в ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликса. Голос ее был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно приблизился, девушка откинула перед ним свою вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее, черные как вороново крыло, были искусно заплетены в косы; глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие; черты правильные, а кожа, на редкость белая, окрашивалась на щеках нежным румянцем.

При виде ее Феликс безмерно обрадовался; вся его грусть мигом исчезла, и лицо выразило восторг, на какой я не считал его способным: глаза его засияли, щеки разгорелись; в этот миг он показался мне так же прекрасен, как незнакомка. Ее, однако, волновали иные чувства. Отерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав ее, если я верно расслышал, своей прекрасной аравитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу, а юная незнакомка опустилась перед стариком на колени и хотела поцеловать у него руку, но он поднял ее и нежно прижал к сердцу.

Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объяснялись знаками, которые зачастую были мне непонятны; но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман. Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кроткая Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, остававшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово, я понял, что она пытается научиться их языку; я мне тотчас пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомка усвоила около двадцати слов, большая часть которых была мне, правда, уже известна; остальными я пополнил свой запас.

Вечером Агата и аравитянка рано удалились на покой. Прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки и сказал: «Доброй ночи, милая Сафия». После этого он еще долго беседовал с отцом; и, судя по частому повторению ее имени, предметом их беседы была прекрасная гостья. Я жадно старался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно.

Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, аравитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился и замирал, точно песнь соловья в лесу.

Кончив, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась. Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему, но ей было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата попыталась объяснить Сафии: он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость.

Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей: лица моих друзей

выражали теперь радость вместо печали. Сафия была неизменно весела; мы с ней делали большие успехи в языке, и через каких-нибудь два месяца я мог уже, почти целиком понимать речь моих покровителей.

Между тем черная земля покрылась травой; на этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взор и обоняние, а ночью, под луной, светившиеся, точно бледные звезды. Солнце грело все сильнее, ночи стояли ясные и теплые; ночные походы были для меня большим удовольствием, хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, ибо я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому же обращению, что в первой деревне, куда я попытался войти.

Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее овладеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем аравитянке, которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке, тогда как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов.

Учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которому обучали незнакомку, и не переставал дивиться и восхищаться.

Книга, по которой Феликс учил Сафию, была «Руины империй» Вольнея. Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс, читая, не давал самых подробных объяснений. Он сказал, что избрал это произведение потому, что слог его подражал восточным авторам. Эта книга дала мне понятие об истории и о главных, ныне существующих государствах; я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощимом творческом гении греков, о войнах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении и о падении их могучей империи; о рыцарстве, о христианстве и королях. Я узнал об открытии Америки и вместе с Сафией плакал над горькой участью ее коренных обитателей.

Эти увлекательные рассказы вызывали во мне недоумение. Неужели человек действительно столь могуч, добродетелен и велик и вместе с тем так порочен и низок? Он казался мне то воплощением зла, то существом высшим, поистине богоподобным. Быть великим и благородным человеком представлялось мне величайшей честью, доступной мыслящему созданию; быть порочным и низким, как многие из описанных в книге людей, казалось мне глубочайшим падением, участью более жалкой, чем удел слепого крота или безобидного червяка. Я долго не мог понять, как может человек убивать себе подобных; и для чего существуют законы и правительства; но когда я больше узнал о пороках и жестокостях, я перестал дивиться и содрогнулся от отвращения.

С тех пор каждая беседа обитателей хижины открывала мне новые чудеса. Слушая объяснения, которые Феликс давал аравитянке, я постигал странное устройство человеческого общества. Я узнал о неравенстве состояний, об огромных богатствах и жалкой нищете, о чинах, знатности и благородной крови.

Все это заставило меня взглянуть на себя как бы со стороны. Я узнал, что люди превыше всего ставят знатное и славное имя в сочетании с богатством. Можно добиться их уважения каким-нибудь одним из этих даров судьбы; но человек, лишенный обоих, считается, за крайне редкими исключениями, бродягой и рабом, обреченным отдавать все силы работе на немногих избранных. А кто такой я? Я не знал, как и кем я был создан; знал только, что у меня нет ни денег, ни друзей, ни собственности. К тому же я был наделен отталкивающе уродливой внешностью и отличался от людей даже самой своей природой. Я был сильнее их, мог питаться более грубой пищей, легче переносил жару и холод и был гораздо выше ростом. Оглядываясь вокруг, я нигде не видел себе подобных. Неужели же я — чудовище, пятно на лице земли, создание, от которого все бегут и все отрекаются?

Не могу описать, какие муки причинили мне размышления. Я старался отмахнуться от них, но чем больше узнавал, тем больше скорбел. О, лучше бы я навеки оставался у себя в лесу, ничего не ведая и не чувствуя, кроме голода, жажды и жары!

Странная вещь — познание! Однажды познанное вами держится в уме цепко, как лишайник на скалах. Порой мне хотелось стряхнуть все мысли и чувства; но я узнал, что от

страданий существует лишь одно избавление — смерть, а ее я боялся, хотя и не понимал. Я восхищался добродетелью и высокими чувствами; мне нравились кротость и мягкость обитателей хижины, но я не имел с ними общения и лишь украдкой наблюдал их, оставаясь невидимым и неизвестным, а это только разжигало, но не удовлетворяло мое желание приобщиться к людскому обществу. Не для меня были нежные слова Агаты и сверкающие улыбки аравитянки. Не ко мне обращались кроткие увещания старца или остроумные реплики милого Феликса. О, несчастный отверженный!

Некоторые уроки поразили меня еще глубже. Я узнал о различии полов; о рождении и воспитании детей; о том, как отец любит улыбку младенца и смеется шалостям старших детей; как все заботы и вся жизнь матери посвящены драгоценному бремени; как развивается юный ум, как он познает жизнь, какими узами — родственными и иными — связаны между собой люди.

А где же были мои родные и близкие? У моей колыбели не стоял отец, не склонялась с ласковой улыбкой мать, а если все это и было, то теперь моя прошлая жизнь представлялась мне темной пропастью, где я ничего не различал. С тех пор как я себя помнил, я всегда был тех же размеров, что и сейчас. Я еще не видел никого, похожего на меня, никого, кто желал бы иметь со мной дело. Так кто же я? Задавая себе этот вопрос снова и снова, я мог отвечать на него лишь горестным стоном.

Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины, чья история вызвала во мне и негодование, и удивление, а восхищение, но в итоге заставила еще больше любить и уважать моих покровителей, как я охотно называл их про себя, поддаваясь невинному самообману.

Глава XIV

Историю моих друзей я узнал не сразу. Она неизбежно должна была произвести на меня глубокое впечатление, ибо многие ее обстоятельства были новы и поразительны для неопытного существа вроде меня.

Фамилия старика была Де Лэси. Он происходил из хорошей французской семьи и долго жил в полном достатке, пользуясь уважением вышестоящих и любовью равных. Сын его готовился вступить на военную службу, а Агата занимала подобающее ей место среди дам высшего круга. За несколько месяцев до моего появления они еще жили в большом и богатом городе, именуемом Париж, окруженные друзьями, пользуясь всеми благами, какие могут доставить добродетель, образование и тонкий вкус в соединении с большим достатком.

Причиной их бедствий стал отец Сафии. Это был турецкий негодьянт, который давно проживал в Париже, но вдруг, по какой-то непонятной для меня причине, стал негоден правительству. Он был схвачен и заключен в тюрьму в тот самый день, когда к нему из Константинополя приехала Сафия. Его судили и приговорили к смертной казни. Несправедливость приговора была очевидной; весь Париж был возмущен; все считали, что причиной осуждения явилось его богатство и вероисповедание, а вовсе не приписанное ему преступление.

Феликс случайно присутствовал на суде; услышав приговор, он пришел в крайнее негодование. Он дал торжественный обет спасти невинного и стал изыскивать для этого средства. После многих тщетных попыток проникнуть в тюрьму он обнаружил зарешеченное окно в неохранявшейся части здания, которое сообщалось с камерой несчастного мусульманина; закованный в цепи, тот в отчаянии ожидал исполнения жестокого приговора. Ночью Феликс пришел под окно и сообщил узнику о своем намерении. Изумленный и обрадованный турок попытался подогреть усердие своего избавителя, посулив ему богатую награду. Феликс с презрением отверг ее; но, увидев однажды прекрасную Сафию, которой

было дозволено навещать отца и которая знаками выразила юноше горячую благодарность, он должен был признать, что узник действительно обладал сокровищем, которое могло бы всецело вознаградить его за труды и риск.

Турок тотчас заметил впечатление, произведенное его дочерью на Феликса, и решил сильнее заинтересовать его, обещав ему руку своей дочери, как только его самого удастся препроводить в безопасное место. Деликатность не позволяла Феликсу принять подобное предложение, во о возможности этого события он стал мечтать как о высшем для себя счастье.

В последующие дни, пока шли приготовления к побегу, Феликс разгорелся еще больше, получив несколько писем от красавицы, которая нашла способ сноситься с влюбленным юношей на его языке через посредство старого отцовского слуги, знавшего по-французски. Она в самых пылких выражениях благодарила его за обещанную отцу помощь и в то же время горько сетовала на свою судьбу.

Я переписал эти письма, ибо за время жизни в сарае сумел добыть письменные принадлежности, а письма часто находились в руках Феликса или Агаты. Я дам их тебе, перед тем как уйти; они подтвердят правду моих слов, а сейчас солнце уже клонится к закату, и я едва успею пересказать тебе их суть.

Сафия писала, что мать ее, крещеная аравитянка, была похищена турками и продана в рабство; своей красотой она пленила сердце отца Сафии, который на ней женился. Девушка восторженно говорила о своей матери; рожденная свободной, та презирала свое нынешнее рабство. Свою дочь она воспитала в догмах христианства и научила стремиться к духовному развитию и свободе, недозволенной женщинам мусульманских стран. Ее уже не было в живых; во ее наставления навсегда запечатлелись в душе Сафии, которой претила мысль о возвращении в Азию, где ее ждало заточение в стенах гарема, позволявшего женщине одни лишь ребяческие забавы; а это возмущало ее душу, приученную к возвышенным помыслам и благородному стремлению к добродетели. Сафия радовалась мысли о браке с христианином и возможность остаться в стране, где женщины могут занимать определенное положение в обществе. День казни турка уже был назначен, но накануне ночью он бежал из тюрьмы и к утру был уже за много лье от Парижа. Феликс добыл паспорта за свое имя, а также на имя своего отца и сестры. Отцу он предварительно сообщил о своем плане, и тот помог обману, сделав вид, что отправляется в поездку, тогда как в действительности укрылся, вместе с дочерью, на глухой окраине Парижа.

Феликс довез беглецов до Лиона, а затем через Мон-Сени до Ливорно, где купец намечен был дожидаться удобного случая переправиться в турецкие владения.

Сафия решила оставаться с отцом до его отъезда, а турок повторил свое обещание сочетать ее браком со своим спасителем. В ожидании свадьбы Феликс остался с ними, наслаждаясь обществом своей аравитянки, которая выказывала ему самую нежную и искреннюю любовь. Они беседовали с помощью переводчика, а иногда одними лишь взглядами, и Сафия пела ему дивные песни своей родины.

Турок поощрял это сближение и поддерживал надежды юной пары, а сам между тем лелеял совсем иные планы. Ему была ненавистна мысль выдать дочь за христианина, но он боялся показать это Феликсу, ибо пока еще зависел от своего спасителя, который мог, если бы захотел, выдать его властям итальянского княжества, где они находились. Он придумывал все новые способы длить свой обман до тех пор, пока он уже не будет нужен, и решил, уезжая, тайно увезти с собой дочь. Вести из Парижа помогли его намерениям.

Французское правительство было взбешено побегом своей жертвы и не жалело усилий, чтобы обнаружить и покарать ее спасителя. Заговор Феликса был быстро обнаружен, и Де Лэси вместе с Агатой брошены в тюрьму. Весть эта дошла до Феликса и пробудила его от блаженного забытья. Его старый слепой отец и кроткая сестра томились в сырой темнице, а он наслаждался свободой и близостью своей любимой. Эта мысль была ему нестерпима. Он условился с турком, что Сафия укроется в монастыре в Ливорно, если ее отцу представится возможность уехать прежде, чем Феликс сумеет вернуться в Италию; сам же Феликс

поспешил в Париж и отдался в руки правосудия, надеясь таким образом добиться освобождения Де Лэси и Агаты.

Это ему не удалось. Их продержали в тюрьме пять месяцев, вплоть до суда, а затем приговорили к пожизненному изгнанию с конфискацией всего имущества.

Тогда-то они и поселились в Германии, в той бедной хижине, где я их нашел. Вскоре Феликс узнал, что вероломный турок, из-за которого он и его семья претерпели такие бедствия, поправ все законы морали и чести, уехал из Италии вместе с дочерью; в довершение оскорбления он прислал Феликсу небольшую сумму денег, чтобы, как он писал, помочь ему стать на ноги.

Вот что терзало душу Феликса и делало его, когда я впервые его увидел, самым несчастным из всей семьи. Он мог бы смириться с бедностью и даже гордиться ею, как расплатой за свой благородный поступок; но неблагодарность турка и потеря любимой девушки были худшими и непоправимыми бедствиями. Сейчас приезд аравитянки словно влил в него новую жизнь.

Когда до Ливорно дошла весть, что Феликс лишился имущества и звания, турок приказал дочери забыть о возлюбленном и готовиться к отъезду на родину. Благородная душа Сафии была возмущена этим приказом. Девушка попыталась спорить с отцом, но тот, не слушая ее, гневно повторил свое деспотическое требование.

Несколько дней спустя он вошел в ее комнату в торопливо сообщил, что его пребывание в Ливорно, видимо, стало известно властям, которые не замедлят выдать его французскому правительству; а потому он уже нанял судно и через несколько часов отплывает в Константинополь. Дочь он решил оставить на попечении верного слуги, с тем чтобы она последовала за ним позже, вместе с большей частью имущества, которое еще не успели доставить в Ливорно.

Оставшись одна, Сафия избрала тот план действий, какой считала правильным. Жизнь в Турции была ей ненавистна; против этого говорили и чувства ее и верования. Из бумаг отца, попавших ей в руки, она узнала об изгнании своего возлюбленного и его местопребывании. Некоторое время она еще колебалась, но потом решилась. Взяв с собой драгоценности и некоторую сумму денег, она, в сопровождении служанки, уроженки Ливорно, знавшей по-турецки, покинула Италию и отправилась в Германию.

Она благополучно достигла городка, находившегося в каких-нибудь двадцати лье от хижины Де Лэси, во тут ее служанка тяжело заболела. Сафия нежно за ней ухаживала, но бедняжка умерла, и аравитянка осталась одна, незнакомая с языком страны в совершенно неопытная в житейских делах. Однако ей повезло на добрых людей. Итальянка успела назвать ей местность, куда они направлялись; а после ее смерти хозяйка дома позаботилась о том, чтобы Сафия благополучно добралась до своего возлюбленного.

Глава XV

Такова была история милых мне обитателей хижины. Она глубоко меня растрогала. Через нее мне раскрылись различные стороны общественной жизни; она научила меня восхищаться добродетелью и ненавидеть порок.

Зло еще было мне чуждо; примеры доброты и великодушия постоянно были у меня перед глазами; они вызвали у меня желание самому участвовать в жизни, где можно и нужно было проявлять столь высокие качества. Но, рассказывая о своем духовном развитии, я не могу умолчать об одном обстоятельстве, относящемся к началу августа того же года.

Однажды ночью, пробираясь, по своему обыкновению, в лес, где я добывал себе пищу и собирал дрова для своих друзей, я нашел кожаную дорожную сумку, в которой была кое-какая одежда и несколько книг. Я радостно схватил этот трофей и вернулся с ним к себе в сарай. По счастью, книги были написаны на языке, уже отчасти знакомом мне. То был

«Потерянный Рай», один из томов «Жизнеописаний» Плутарха и «Страдания молодого Вертера». Обладание этими сокровищами принесло мне много радости. Отныне я непрерывно питал ими свой ум, пока мои друзья занимались повседневными делами.

Трудно описать действие на меня этих сочинений. Они вызывали множество новых образов и чувств, иногда приводивших меня в экстаз, но чаще ввергавших в глубочайшее уныние. В «Страданиях Вертера», интересных не одним лишь простым и трогательным сюжетом, высказано столько мнений, освещено столько вопросов, ранее мне непонятных, что я нашел там неиссякаемый источник удивления и размышлений. Мирные семейные сцены, а также возвышенные чувства и побуждения, в которых не было места себялюбию, согласовывались с тем, что я наблюдал у моих друзей, и со стремлениями, жившими в моей собственной груди. Сам Вертер представлялся мне высшим из всех виденных или воображаемых мною существ. Все в нем было просто, но трогало до глубины души. Размышления о смерти и самоубийстве неизбежно должны были наполнить меня удивлением. Я не мог во всем этом разобраться, но сочувствовал герою и плакал о его смерти, хотя и не вполне понимал ее надобность.

Читая, я многое старался применить к себе. Я казался себе похожим и вместе странно непохожим на тех, о ком читал и кого наблюдал. Я им сочувствовал и отчасти понимал их, но ум мой был еще не развит; я ни от кого не зависел и ни с кем не был связан, и оплакивать меня было некому, когда меня «Возьмет таинственная чаша». Я был страшен на вид и гигантского роста. Что это значило? Кто я был? Откуда? Каково мое назначение? Эти вопросы я задавал себе непрестанно, но ответа на них не знал.

Попавший ко мне том Плутарха содержал жизнеописания основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем «Страдания молодого Вертера». Вертер научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли; он поднял меня над жалкими себялюбивыми заботами, заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторое представление о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Но я был совершенно незнаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу; а эта книга показала мне новые и более широкие арены действия. Я прочел о людях, занятых общественными делами; о тех, кто правил себе подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько я понимая значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или болью. Это заставило меня восхищаться миролюбивыми законодателями — Нумой, Соловом и Ликургом, скорее чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия; если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнился бы иных чувств.

«Потерянный Рай» вызвал во мне иное к гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как и другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощущал все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего Бога, ведущего войну со своими созданиями. При этом я часто проводил параллели с собственной судьбой.

Как и у Адама, у меня не было родни; но во всем другом мы были различны. Он вышел из рук Бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего творца; он мог беседовать с высшими существами и учиться у них; а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что я скорее подобен Сатане; при виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть.

Еще одно обстоятельство укрепило и усилило эти чувства. Вскоре после того как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, захваченной мною из твоей лаборатории, какие-то записки. Сперва я не обратил на них внимания; но теперь, когда я мог их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за четыре месяца, предшествовавшие моему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно,

помнишь их, вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением; здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность; и притом такими словами, в которых выразилось все твое отвращение и которых мне никогда не забыть. «Будь проклят день моего рождения! — восклицал я. — Проклятий творец! Зачем ты создал чудовище, от которого даже ты сам отвернулся с омерзением? Бог, в своем милосердии, создал человека прекрасным по своему образу и подобию; я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства. У Сатаны были собратья демоны; в их глазах он был прекрасен. А я одинок и всем ненавистен».

Так я размышлял в часы одиночества и уныния; но, видя добродетели обитателей хижины, их кротость и благожелательность, я убеждал себя, что они пожалеют меня, когда узнают о моем восхищении ими, и простят мне мое уродство. Неужели они прогонят от себя существо, умоляющее о жалости и дружбе, как бы уродливо оно ни было? Я решил не отчаиваться, но как можно лучше подготовиться к встрече с ними, которая решит мою судьбу. Эту встречу я отложил еще на несколько месяцев; значение, которое я придавал ей, заставляло меня страшиться неудачи. К тому же каждодневный опыт так развивал мой ум, что мне не хотелось ничего предпринимать, пока время не прибавит мне мудрости.

Между тем в хижине произошли некоторые перемены. Приезд Сафии принес не только радость, но и достаток. Феликс и Агата уделяли теперь больше времени забавам и беседе, а в трудах им помогали работники. Это было не богатство, но довольство; у них царил безмятежный покой; а во мне с каждым днем росло смятение. Познание лишь яснее показало мне, что я — отверженный. Правда, я лелеял надежду; но стоило мне увидеть свое отражение в воде или свою тень при лунном свете, как надежда исчезала, подобно зыбкому отражению и неверной тени.

Я пытался побороть страх и укрепить свой дух для предстоявшего мне через несколько месяцев испытания. Иногда, не сдерживая свои мечты разумом, я позволял им уноситься в сады рая и осмеливался рисовать в своем воображении прекрасные и нежные создания, которые сочувствуют мне и ободряют меня; на их ангельских лицах сияют для меня улыбки утешения. Но это были лишь мечты; у меня не было Евы, которая делила бы мои мысли и развеивала мою печаль; я был один. Я вспоминал мольбу Адама к своему создателю. А где же был мой создатель? Он покинул меня, я, ожесточись сердцем, я проклинал его.

Так прошла осень. С удивлением и грустью я увидел, как опали листья и все вновь стало голо и мрачно, как было тогда, когда я впервые увидел лес и свет луны. Стужа меня не пугала. Я был лучше приспособлен для нее, чем для жары. Но меня радовали цветы, птицы и весь веселый наряд лета; когда я лишился этого, меня еще больше потянуло к жителям хижины. Их счастье не убавилось с уходом лета. Они любили друг друга, и радости, которые они друг другу дарили, не зависели от происходивших в природе перемен. Чем больше я наблюдал их, тем больше мне хотелось просить у них защиты и ласки; я жаждал, чтобы они узнали меня и полюбили; увидеть их ласковые взгляды, обращенные на меня, было пределом моих мечтаний. Я не решился подумать, что они могут отвернуть их от меня с презрением и брезгливостью. Ни одного нищего они не прогоняли от своих дверей. Правда, я собирался просить о большем, чем приют или кусок хлеба, я искал сочувствия и расположения; но неужели я был совершенно недостоин их?

Наступила зима; с тех пор как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. Теперь все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателям хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один. Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, что все видевшие меня до тех пор более всего пугались моего внешнего уродства. Голос мой был груб, но не страшен. Поэтому я полагал, что если я завоюю расположение старого Де Лэси в отсутствие его детей, то и мои молодые покровители, быть может, согласятся меня терпеть.

Однажды, когда солнце ярко освещало багровую листву, устилавшую землю, и еще радовало взор, хотя уже не Грело, Сафия, Агата и Феликс отправились в дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда его дети ушли, он взял свою гитару и сыграл

несколько печальных и нежных мелодий, самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его светилось удовольствием, но скоро сделалось задумчивым и печальным; отложив инструмент, он погрузился в раздумье.

Сердце мое сильно билось; пришел час испытания, который осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближнюю ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее; это был отличный случай; и все же, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня, и я опустился на землю. Но я тут же поднялся и, призвав на помощь всю твердость, на какую я был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. Свежий воздух ободрил меня, и я с новой решимостью приблизился к дверям хижины.

Я постучал.

— Кто там? — откликнулся старик. — Войдите.

Я вошел.

— Прошу простить мое вторжение, — сказал я. — Я — путник и нуждаюсь в отдыхе. Я буду очень благодарен, если вы позволите мне немного посидеть у огня.

— Входите, — сказал Де Лэси, — и я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не сумею вас накормить.

— Не утруждайте себя, мой добрый хозяин, еда у меня есть; мне нужно лишь обогреться и отдохнуть.

Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор; но тут старик сам обратился ко мне:

— Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк — ведь вы тоже француз, не правда ли?

— Нет, но я вырос во французской семье и знаю один лишь этот язык. Сейчас я пришел просить убежища у друзей, которых я искренне люблю и надеюсь к себе расположить.

— А они немцы?

— Нет, они французы. Но позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное, на всем свете у меня нет ни родственников, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало обо мне знают. Мне страшно; если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем.

— Не отчаивайтесь. Одиночество действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь; если это добрые люди, отчаиваться не следует.

— Они добры, нет никого добрее их; но, к несчастью, они предубеждены против меня. У меня кроткий нрав, я никому еще не причинил зла и даже старался даять добро; но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга видят только отвратительного урод.

— Это печально, но если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение?

— Я попытаюсь это сделать; поэтому-то меня и томит страх. Я нежно люблю своих друзей; незнаемый ими, я вот уже много месяцев стараюсь им служить, но они могут подумать, что я хочу причинить им зло; вот предубеждение, которое мне надо рассеять.

— Где они живут?

— Поблизости отсюда.

Старик помолчал, а затем продолжая:

— Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, быть может, помогу вам расположить их к себе, Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему.

— Добрый человек! Благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы подымаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних.

— Упаси Боже! Пусть вы даже преступник, отлучение только доведет вас до отчаяния,

но не обратит к добру. Я тоже несчастен; я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям.

— Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые слышу добрые слова, обращенные ко мне. Я вечно буду вам благодарен; ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием и у друзей, с которыми я должен сейчас встретиться.

— Позвольте узнать их имена и где они живут?

Я умолк. Вот она, решительная минута, которая осчастливит меня или лишит счастья навеки. Я напрасно пытался ответить ему; волнение лишило меня последних сил. Я опустился на стул и разрыдался. В это время послышались шаги моих молодых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул:

— Час настал! Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь, — это вы и ваша семья. Не оставляйте меня в этот час испытания!

— Боже! — вскричал старик. — Кто же вы такой?

Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, Сафия и Агата. Кто опишет их ужас при виде меня? Агата упала без чувств. Сафия, не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон. Феликс кинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, у которого я обнимал колени. В ярости он опрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев — антилопу. Но мое сердце сжала смертельная тоска, и я удержался. Он приготовился повторить удар, но тут я, не помня себя от горя, бросился вон из хижины и среди общего смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае.

Глава XVI

Проклятый, проклятый мой создатель! Зачем я остался жить? Зачем тут же не погасил искру жизни, так необдуманно зажженную тобой? Не знаю; но тогда я еще не впал в отчаяние; мной владели ярость и жажда мести. Я с радостью уничтожил бы хижину вместе с ее обитателями и наслаждался бы их стонами и страданиями.

Когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и побрел по лесу; здесь, не опасаясь быть услышанным, я выразил свою муку ужасными криками. Подобно дикому зверю, порвавшему пути, я сокрушал все, что мне попадалось, и метался по лесу с быстротою оленя. О, какую страшную ночь я пережил! Холодные звезды смотрели на меня с насмешкой; обнаженные деревья качали надо мною ветвями; по временам тишина нарушалась мелодичным пением птиц. Все, кроме меня, вкушали покой и радость; и только я, подобно Сатане, носил в себе ад; не видя нигде сочувствия, я жаждал вырывать с корнем деревья и сеять вокруг себя разрушение; а потом любоваться делом своих рук.

Но подобное иступление не могло длиться долго. Буйство утомило меня, и я в бессильном отчаянии опустился на влажную траву. Среди бесчисленных жителей земли не нашлось ни одного, кто пожалел бы меня и помог мне; так что же мне щадить моих врагов? Нет, с той минуты я объявил вечную войну всему человеческому роду, и прежде всего тому, кто создал меня и обрек на нестерпимые муки.

Взошло солнце; я услышал людские голоса и понял, что при свете дня не смогу вернуться в свое убежище. Поэтому я спрятался в густом кустарнике, решив посвятить ближайшие часы раздумьям над своим положением.

Солнечное тепло и чистый воздух несколько умиротворили меня; вспомнив, что произошло в хижине, я заключил, что слишком поторопился с окончательным выводом. Я, несомненно, поступил неосторожно. Мои речи явно расположили старика в мою пользу, но какой же я был дурак, что тут же показался на глаза его детям! Мне надо было прежде приучить к себе старого Де Лэси, а перед остальными членами семьи появиться позже, когда

они были бы к этому подготовлены. Однако эти ошибки не казались мне непоправимыми. После долгих размышлений я решил вернуться в хижину, снова обратиться к старику и склонить его на свою сторону.

Эти мысли меня успокоили; и к полудню я крепко уснул; но жар в моей крови еще не остыл, в мои сновидения не могли быть мирными. Страшная сцена, происшедшая накануне, вновь и вновь разыгрывалась передо мной: женщины убегали, а разъяренный Феликс отрывал меня от колен своего отца. Я проснулся в изнеможении; видя, что уже стемнело, я вылез из кустов и отправился добывать пищу.

Утолив голод, я вышел на знакомую тропинку и направился к хижине. Там царила тишина. Я прокрался в свой сарай и стал дожидаться часа, когда семья обычно пробуждалась. Этот час прошел, солнце поднялось совсем высоко, а обитатели хижины не показывались. Я дрожал, опасаясь какого-нибудь ужасного несчастья. Внутри хижины было темно и не слышалась ни звука; не могу описать, как мучительна была эта неизвестность.

Вот прошли мимо два крестьянина; замедлив шаг возле хижины, они завели разговор, сопровождая его оживленной жестикуляцией; но я не понимал их, ибо они говорили на языке своей страны, а это не был язык моих покровителей. Вскоре, однако, подошел Феликс, а с ним еще один человек. Это меня удивило, ибо я не видел, чтобы он утром выходил из дому; и я с волнением ждал, надеясь из его речей понять, что происходит.

— Ты, значит, хочешь, — говорил Феликсу его спутник, — уплатить за три месяца аренды, да еще оставить в огороде несобранный урожай? Я не хочу пользоваться чужой бедой. Давай лучше подождем несколько дней, может, ты передумаешь?

— Бесплезно, — ответил Феликс, — мы не сможем здесь оставаться. Мой отец опасно занемог после пережитых ужасов. Моя жена и моя сестра никогда от них не оправятся. Нет, не уговаривайте меня. Вот вам ваш дом, а мне бы только скорее бежать отсюда.

Говоря это, Феликс весь дрожал. Вместе со своим спутником он на несколько минут вошел в дом, а затем удалился. С тех пор я больше не видел никого из семьи Де Лэси.

Остаток дня я провел в своем сарае, погруженный в тупое отчаяние. Мои покровители уехали и порвали единственную связь, соединявшую меня с миром. Тут моя душа впервые наполнилась ненавистью и жаждой мести, и я не пытался их побороть; я отдался в их власть, и все мои помыслы обратились на разрушение и смерть. При воспоминании о моих друзьях, о ласковом голосе Де Лэси, о кротких глазах Агаты, о дивной красоте аравитянки эти мысли исчезали и сменялись слезами, которые несколько облегчали меня. Но я тут же вспоминал, как они оттолкнули и покинули меня, и во мне снова закипала неистовая ярость; не имея возможности сокрушить что-либо живое, я обратил ее на неодушевленные предметы. Когда стемнело, я обложил хижину всевозможными горючими материалами; уничтожив все, что росло в огороде, я стал с нетерпением дожидаться, пока зайдет луна и можно будет начать действовать.

Ночью из леса подул сильный ветер и быстро разогнал замешкавшиеся в небе облака; порывы его все усиливались и крепчали и вызвали во мне какое-то безумие, опрокинувшее все преграды рассудка. Я поджег сухую ветку и заплясал вокруг обреченной хижины, не переставая взглядывать на запад, где луна уже заходила. Наконец часть ее диска скрылась, и я взмахнул своим факелом; когда она скрылась целиком, я с громким криком поджег собранную мной солому, вереск и ветки кустарника. Ветер раздул огонь, и скоро вся хижина окуталась пламенем, лизавшим ее губительными языками.

Убедившись, что дом уже невозможно спасти, я удалился и скрылся в лесу.

Передо мной был открыт весь мир; куда же направиться? Я решил бежать как можно дальше от мест, где я столько выстрадал. Но для меня, всеми ненавидимого и презираемого, любой край таил в себе ужасы. Наконец меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателем; к кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь? В числе предметов, которым Феликс обучал Сафию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре. Ты упоминал Женеву как свой родной город; туда я и решил отправиться.

Но как я мог найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении; но единственным моим путеводителем было солнце. Я не знал названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа; однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи, хотя и не питал к тебе ничего, кроме ненависти. Безжалостный, бессердечный создатель! Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид, и я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми.

Путешествие мое было долгим, и я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местность, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увядала, солнце уже не излучало тепла; шел дождь и свет; замерзали могучие реки; поверхность земли стала твердой, холодной и голой; я нигде не находил крова. О Земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падал снег; водоемы замерзли, но я не отдыхая. Некоторые случайности время от времени помогали мне, и у меня была карта страны; но все же я часто далеко отклонялся от своего пути. Мои страдания не давали мне передышки; не было события, которое не питало бы мою ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я очутился а пределах Швейцарии и солнце снова стало излучать тепло, а земля покрываться зеленью, особенно ожесточило меня.

Обычно я отдыхал в течение дня в отправлялся в путь, только когда ночь надежно скрывала меня от людей. Но однажды утром, убедившись, что мой путь проходит через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца; наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня — так ярко светило солнце и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы; я даже благодарно возвел влажные глаза к благословенному солнцу, дарившему меня таков радостью.

Я долго кружил по лесным тропинкам, пока не добрался до опушки, где протекала глубокая и быстрая речка, над которой деревья склоняла свои ветви, ожившие с весною. Здесь я остановился, как вдруг услышал голоса, заставившие меня укрыться в тень кипариса. Едва я успел спрятаться, как к моему укрытию подбежала молодая девушка, громко смеясь, словно она, играючи, от кого-то спасалась. Она побежала дальше по обрывистому берегу, но вдруг поскользнулась и упала в быстрый поток. Я выскочил из своего укрытия; напрягая все силы в борьбе с течением, я спас ее и вытащил на берег. Она лежала без чувств. Я употребил все, что было в моих силах, чтобы ее оживить; но тут меня застиг крестьянин, вероятно, тот самый, от которого она в шутку убегала. Увидев меня, он бросился ко мне и, вырвав девушку из моих рук, поспешно направился в глубь леса. Я быстро последовал за ними, едва отдавая себе отчет, зачем я это делаю. Но когда он увидел, что я нагоняю его, он прицелился в меня из ружья и выстрелил. Я упал, а мой обидчик с еще большей поспешностью скрылся в лесу.

Вот какую награду я получил за свою доброту! Я спас человеческую жизнь, а за что корчился теперь от ужасной боли; выстрел разорвал мышцу и раздробил кость. Добрые чувства, которые я испытывал лишь за несколько мгновений да этого, исчезли, и я в бешенстве скрежетал зубами. Обезумев от боли, я дал обет вечной ненависти и мщения всему человечеству. Но страдания, причиненные раной, истощили меня; пульс мой остановился, и я потерял сознание.

В течение нескольких недель я влачил жалкое существование в лесах, пытаюсь залечить полученную рану. Пуля попала мне в плечо, и я не знал, застряла ли она там или прошла насквозь; во всяком случае, у меня не было никакой возможности ее извлечь. Мои страдания

усугублялись гнетущим сознанием несправедливости, мыслью о неблагодарности тех, кто их причинил. Я ежедневно клялся в мщении — смертельном мщении, которое одно могло вознаградить меня за все муки и оскорбления.

Через несколько недель рана зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежные дуновения весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость обернулась насмешкой, оскорбившей мою неутешную душу и заставившей меня еще мучительнее почувствовать, что я не создан для счастья.

Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через два месяца я достиг окрестностей Женеви.

Когда я прибыл, уже вечерело, и я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, сядившегося за громадные вершины Юры.

Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум; но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле.

Вот почему я поймал мальчика, когда он пробежал мимо меня, и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в стороны и сказал:

— Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня.

Он отчаянно забился.

— Пусти меня, — кричал он. — Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на кусочки. Ты — людоед. Пусти меня, а то я скажу папе.

— Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу; ты должен пойти со мной.

— Отвратительное чудовище! Пусти меня. Мой папа — судья. Его зовут Франкенштейн. Он тебя накажет. Ты не смеешь меня держать.

— Франкенштейн! Ты, значит, принадлежишь к стану моего врага, которому я поклялся вечно мстить. Так будь же моей первой жертвой.

Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими в меня отчаяние. Я сжал его горло, чтоб он замолчал, и вот он уже лежал мертвым у моих ног.

Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством; хлопнув в ладоши, я воскликнул:

— Я тоже могу сеять горе; оказывается, мой враг уязвим; эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий истерзает и раздавит его!

Уставившись на ребенка, я увидел на его груди что-то блестящее. Я взял вещицу в руки; это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста. Но вскоре гнев снова обуял меня; я вспомнил, что навсегда лишен радости, какую способны дарить такие женщины; ведь если б эта женщина, чьим портретом я любовался, увидела меня, выражение божественной доброты сменилось бы у нее испугом и отвращением.

Можно ли удивляться, что такие думы приводили меня в ярость? Я удивляюсь лишь одному: почему в тот момент я дал выход своим чувствам только восклицаниями, а не бросился на людей и не погиб в схватке с ними.

Подавленный этими чувствами, я покинул место, где совершил убийство, и в поисках более надежного укрытия вошел в какой-то сарай, думая, что там никого нет. На соломе спала женщина; она была молода, правда, не так прекрасна, как та, чей портрет я держал в руках, но приятной внешности, цветущая юностью и здоровьем. Вот, подумал я, одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме меня. Тогда я склонился над нею и прошептал:

«Проснись, прекраснейшая, твой возлюбленный тут, рядом с тобою и готов отдать жизнь за один твой ласковый взгляд; любимая, проснись!»

Спящая шевельнулась; и дрожь ужаса пронизала меня. А вдруг она в самом деле проснется, увидит меня, проклянет и обличит как убийцу? Так она и поступила бы, если бы глаза ее открылась в она увидела меня. Эта мысль могла свести с ума; она разбудила во мне дьявола; пусть пострадаю не я, а она, пусть поплатится за убийство, которое я совершил; ведь я навеки лишен всего, что она могла бы мне дать. Она породила преступление, пусть она и понесет наказание! Уроки Феликса и кровавые законы людей научили меня творить зло. Я склонился над ней и спрятал портрет в складках ее платья. Она снова шевельнулась, и я убежал.

Еще несколько дней я бродил возле места, где произошли эти события, то желая увидеть тебя, то решая навсегда покинуть этот мир страданий. Наконец я поднялся в горы и теперь брожу здесь в глуши, снedaемый жгучей страстью, которую могу удовлетворить лишь при твоей помощи. Мы не можем расстаться до тех пор, пока ты не обещаешь согласиться на мое требование. Я одинок и несчастен; ни один человек не сблизится со мной; но существо такое же безобразное, как я сам, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть такой же, как я, и отличаться таким же уродством. Это существо ты должен создать.

Глава XVII

Чудовище умолкло и вперило в меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян и не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требование. Он продолжал:

— Ты должен создать для меня женщину, с которой мы могли бы жить, питая друг к другу привязанность, необходимую мне как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать.

Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который было утих, пока он рассказывал о своей мирной жизни в хижине; когда же он произнес эти слова, я больше не в силах был совладать со своей яростью.

— Я отказываюсь, — ответил я, — и никакие пытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей, но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое, подобное тебе, существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня! Мой ответ ясен; ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь.

— Ты несправедлив, — ответил демон. — Я не стану угрожать, я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня, разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью растерзал бы меня; пойми это и скажи, почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело — создание твоих собственных рук. Почему же я должен щадить людей, когда они меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе; тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их. Но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза неодолимую преграду. А я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх; и прежде всего на тебя — моего заклятого врага, моего создателя, я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись: я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, я не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце и ты не проклянешь час своего рождения.

Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасой, которую не мог выдержать человеческий взгляд. Однако вскоре он успокоился и

продолжал:

— Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только повредить себе в твоих глазах; ибо ты не хочешь понять, что именно ты ее причина. Если б кто-нибудь отнесся ко мне с ласкою, я отплатил бы ему стократно; ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. Но это — несбыточная мечта. А то, что я прошу у тебя, разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость, но это все, что я могу получить. И я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира; но благодаря этому мы еще более привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, но она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О мой создатель! Сделай меня счастливым; позволь мне почувствовать благодарность к тебе за одну-единственную милость. Позволь мне убедиться, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие; не отказывай в моей просьбе!

Я был тронут. Я содрогался, думая о возможных последствиях моего согласия, но признавал, что в его доводах есть нечто справедливое. Его рассказ и выраженные им чувства показали, что это существо наделено чувствительностью. И не был ли я обязан, как его создатель, наделить его частицей счастья, если это было в моей власти? Он заметил перемену в моем настроении и продолжал:

— Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит: я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой; я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы; желуды и ягоды — вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей. Нашим ложем будут сухие листья; солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды. Картина, которую я тебе рисую, — мирная и человеческая, и ты, конечно, сознаешь, что не можешь отвергнуть мою просьбу, ради того, чтобы показать свою власть и жестокость. Как ты ни безжалостен ко мне, сейчас я вижу в твоих глазах сострадание. Дай мне воспользоваться благоприятным моментом, обещай мне то, чего я так горячо желаю.

— Ты предполагаешь, — отвечал я, — покинуть населенные места и поселиться в пустыне, где единственными твоими соседями будут дикие звери. Как сможешь ты, кто так страстно жаждет любви и привязанности людей, оставаться в изгнании? Ты вернешься и снова будешь искать их расположения и снова встретишься с их ненавистью. Твоя злоба разгорится вновь, а у тебя еще будет подруга, которая поможет тебе все сокрушать. Этого не должно быть; не настаивай, ибо я все равно не могу согласиться.

— Как ты непостоянен в своих чувствах! Только мгновение назад ты был тронут моими доводами; зачем же, выслушав мои жалобы, ты снова ожесточаешься против меня? Клянусь землей, на которой я живу, и тобой — моим создателем, — что вместе с подругой, которую ты мне дашь, я удалюсь от людей и удовольствуюсь жизнью в самых пустынных местах. Злобные страсти оставят меня, ибо кто-то будет меня любить. Моя жизнь потечет спокойно, и в мой смертный час я не прокляну своего творца.

Его слова производили на меня странное действие. Порой во мне пробуждалось сострадание и являлось желание утешить его. Но стоило мне взглянуть на него и увидеть отвратительного уроды, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось и доброе чувство вытеснялось ужасом и ненавистью. Я пытался подавить их. Я говорил себе, что, хотя и не могу ему сочувствовать, однако не имею права отказывать в доле счастья, которую могу ему дать.

— Ты клянешься не приносить вреда, — сказал я, — но разве ты уже не обнаружил злобности, которая мешает мне поверить твоим словам? Как знать, может быть, все это одно притворство и ты будешь торжествовать, когда получишь более широкий простор для осуществления своей мести.

— Ах, вот как? Со мной нельзя шутить. Я требую ответа. Если у меня не будет привязанностей, я предамся ненависти и пороку. Любовь другого существа устранила бы причину моих преступлений, и никто обо мне ничего не услышал бы. Мои злодеяния

порождены вынужденным одиночеством, которое мне ненавистно; мои добродетели непременно расцветут, когда я буду общаться с равным мне существом. Я буду ощущать привязанность мыслящего создания; я стану звеном в цепи всего сущего, в которой мне сейчас не находится места.

Я помолчал, размышляя над его рассказом и всеми его доводами. Я думал о добрых задатках, которые обнаружились у него в начале его жизненного пути, и о том, как все хорошее было уничтожено в нем отвращением и презрением, с которым к нему отнеслись его покровители. Подумал я также и об его физической мощи и его угрозах; создание, способное жить в ледяных пещерах и убегать от преследователей по краю неприступных пропастей, обладало такой силой, что с ним трудно было тягаться. После длительного раздумья я решил, что справедливость, как по отношению к нему, так и по отношению к моим ближним, требует, чтоб я согласился на его просьбу. Обратясь к нему, я сказал:

— Я исполню твоё желание, но ты должен дать торжественную клятву навсегда покинуть Европу и все другие населённые места, как только получишь от меня женщину, которая разделит с тобой изгнание.

— Клянусь солнцем в голубом своде небес, — воскликнул он, — клянусь огнём любви, горящим в моем сердце, что, исполнив мою просьбу, ты больше меня не увидишь, пока они существуют. Возвращайся домой и приступай к работе. Я буду следить за её ходом с невыразимой тревогой; и будь уверен — как только все будет готово, я появлюсь.

Произнеся эти слова, он поспешно покинул меня, вероятно, боясь, что я могу передумать. Я видел, как он спускался с горы быстрее, чем летит орел; вскоре он затерялся среди волнистого ледяного моря.

Рассказ его занял весь день; когда он удалился, солнце уже садилось. Я знал, что мне нужно не медля спускаться в долину, так как вскоре все погрузится в темноту; но на сердце у меня было тяжело, и это замедляло мой шаг. Поглощенный мыслями о событиях прошедшего дня, я с трудом пробирался по узким горным тропинкам, то и дело рискуя оступиться. Была уже глубокая ночь, когда я подошел к месту привала, лежащему на полпути, и присел около источника.

По временам в просветы между облаков светили звезды. Передо мной поднимались высокие сосны; кое-где они лежали поваленные. То была суровая картина, возбуждавшая во мне странные думы. Я горько заплакал. В отчаянии сжимая руки, я воскликнул: «О звезды, тучи и ветры! Вы насмехаетесь надо мной. Если вам действительно жаль меня, лишите меня чувств и памяти, превратите в ничто; если же вы этого не можете, исчезните и оставьте меня во тьме».

Это были бессвязные и мрачные думы. Не могу описать, как угнетало меня мерцание звезд, как я прислушивался к каждому порыву ветра, словно то был зловещий сирокко, грозивший мне гибелью.

Уже рассвело, когда я пришел в деревню Шамуни; сразу же, не отдохнув, я направился в Женеву. Я не мог разобраться в обуревавших меня чувствах. На меня навалилась тяжесть, огромная, как гора; она притупляла даже мои страдания. В таком состоянии я вернулся домой и предстал перед родными. Мой изможденный вид возбудил сильную тревогу. Но я не отвечал ни на один вопрос и едва был в состоянии говорить. Я сознавал, что на мне тяготеет проклятие и я не имею права на сочувствие; мне казалось, что я никогда уже не буду наслаждаться общением с близкими. Однако и теперь любил их самозабвенно. Ради их спасения я решил посвятить себя ненавистной мне работе. Все другие стороны жизни отступили, точно сон, перед перспективой этой работы. Только одна эта мысль и представлялась мне ясно.

Глава XVIII

Шли день за днем, неделя за неделей после моего возвращения в Женеву, а я все не мог набраться мужества и приступить к работе. Я страшился мести демона, обманутого в своих надеждах, но все еще не мог преодолеть отвращение к навязанному мне делу. Мне стало ясно, что я не могу создать женщину, не посвятив снова несколько месяцев тщательным исследованиям и изысканиям. Я слышал о некоторых открытиях, сделанных одним английским ученым; сведения о них могли иметь важное значение для успеха моей работы, и я иногда подумывал отпроситься у отца и посетить Англию в этих целях. Но я цеплялся за каждый предлог отложить разговор и уклонялся от первого шага, тем более что срочность дела начала казаться мне все более сомнительной. Во мне произошла перемена; мое здоровье, прежде подорванное, теперь окрепло; соответственно поднималось и мое настроение, когда оно не омрачалось мыслью о злополучном обещании. Отец мой с радостью наблюдал эту перемену и думал об одном: как бы найти наилучший способ развеять без остатка мою печаль, которая иногда возвращалась и затмевала восходившее солнце. В такие минуты я искал полного одиночества. Целые дни я проводил один в маленькой лодке на озере, молчаливый и безучастный, следя за облаками и прислушиваясь к плеску волн. Но свежий воздух и яркое солнце почти всегда восстанавливали в какой-то степени мой душевный покой. По возвращении я отвечал на приветствия своих близких более весело и не так натянуто.

Однажды, после возвращения с такой прогулки, отец, отозвав меня в сторону, обратился ко мне со следующими словами:

— Я с радостью замечая, милый сын, что ты вернулся к прежним любимым развлечениям и, как мне кажется, приходишь в себя. И, однако, ты все еще несчастен и все еще избегаешь нашего общества. Некоторое время я терялся в догадках о причине этого; но вчера меня осенила одна мысль, и, если она верна, я умоляю тебя открыться мне. Умолчание в таком деле не только бесполезно, но может навлечь на всех нас еще большие несчастья.

От такого вступления я задрожал всем телом, а отец продолжал:

— Сознаюсь, я всегда смотрел на твой брак с нашей милой Элизабет как на довершение нашего семейного благополучия и опору для меня в старости. Вы привязаны друг к другу с раннего детства; вы вместе учились и, по своим склонностям в вкусам, вполне друг к другу подходите. Но людская опытность слепа, и то, что я считал наилучшим путем к счастью, может целиком его разрушить. Быть может, ты относишься к ней, как к сестре, не имея ни малейшего желания сделать ее своей женой. Более того, возможно, что ты встретил другую девушку и полюбил ее; считая себя связанным словом чести с Элизабет, ты борешься со своим чувством, в это, по-видимому, причиняет тебе страдания.

— Дорогой отец, успокойтесь. Я люблю свою кузину нежно и искренне. Я никогда не встречал женщины, которая так же, как Элизабет, возбуждала бы во мне самое горячее восхищение в любовь. Мои надежды на будущее и все мои планы связаны с нашим предстоящим союзом.

— Твои слова, милый Виктор, доставляют мне радость, какую я давно не испытывал. Если таковы твои чувства, то мы, несомненно, будем счастливы, как бы ни печалили нас недавние события. Но именно этот мрак, который окутал твою душу, я хотел бы рассеять. А что, если не откладывать дальше вашей свадьбы? На нас обрушились несчастья; недавние события вывели нас из спокойствия, подобающего мне по моим летам и недугам. Ты моложе; но я не считаю, чтобы при твоем достатке ранний брак мог помешать выполнению любых намерений отличиться и послужить людям. Не подумай, однако, что я собираюсь навязывать тебе счастье и что отсрочка вызовет у меня беспокойство. Не ищи в моих словах какой-либо задней мысли я, умоляю тебя, отвечай мне доверчиво и искренне!

Я молча выслушал отца и в течение некоторого времени не мог отвечать. Множество мыслей пронеслось в моей голове. Я старался прийти к какому-либо решению. Увы! Немедленный союз с моей Элизабет внушал мне ужас и страх. Я был связан торжественным обещанием, которое еще не выполнил и которое не смел нарушить. А если бы я это сделал, какие несчастья нависли бы надо мной и моей обреченной семьей! Мог ли я праздновать

свадьбу, когда на шее у меня висел смертельный груз, пригibasший меня к земле? Я должен был выполнить свое обязательство и дать возможность чудовищу скрыться вместе с его подругой, прежде чем мог насладиться счастьем союза, сулившего мне желанный покой.

Я вспомнил также о настоятельной необходимости либо поехать в Англию, либо завязать длительную переписку с теми из тамошних ученых, познания и открытия которых были крайне необходимы в предстоявшей мне работе. Второй способ получения желаемых сведений мог оказаться медленным и недостаточным. Кроме того, мне претила мысль заняться моей омерзительной работой в доме отца, при постоянном общении с теми, кого я любил. Я знал, что возможна тысяча несчастных случайностей и самая ничтожная из них может раскрыть тайну, которая заставит трепетать от ужаса всех, кто со мной связан. Я сознавал также, что часто буду терять самообладание и способность скрывать мучительные чувства, которые я буду испытывать во время своей ужасной работы. Выполняя ее, я должен был бы изолировать себя от всех, кого я любил. Раз начав ее, я быстро мог ее закончить и вернуться в семью, к мирному счастью. Если я выполню обещание, чудовище удалится навеки. А может быть (так рисовалось моей безрассудной фантазии), тем временем произойдет какая-либо катастрофа, которая уничтожит его и навсегда положит конец моему рабству.

Этими чувствами был продиктован мой ответ отцу. Я выразил желание посетить Англию; но, скрыв истинные причины этой просьбы, я сослался на обстоятельства, не вызывавшие подозрений, и так настаивал на необходимости поездки, что отец легко согласился. Он с удовольствием обнаружил, что после длительного периода мрачного уныния, почти что безумия, я способен радоваться предстоящей поездке; он надеялся, что перемена обстановки и разнообразные развлечения окончательно приведут меня в себя еще до возвращения домой.

Продолжительность моего отсутствия предоставили определить мне самому; предполагалось, что она составит несколько месяцев или, самое большее, год. Отец проявил нежную заботу, обеспечив меня спутником. Не сообщив мне об этом заранее, он уговорился с Элизабет и устроил так, что Клерваль должен был присоединиться ко мне в Страсбурге. Это мешало уединению, к которое я стремился для выполнения своего обязательства. Однако в начале моего путешествия присутствие друга ни в коем случае не могло быть помехой, и я искренне обрадовался, что таким образом мне удастся избежать многих часов одиноких раздумий, способных свести с ума. Более того, Анри мог служить преградой между мною и моим врагом. Если я буду один, не станет ли он время от времени навязывать мне свое отвратительное присутствие, чтобы напоминать мне о моей задаче или следить за ее выполнением?

Итак, я отправлялся в Англию, и было решено, что, мой брак с Элизабет совершится немедленно по моем возвращении. Учитывая возраст отца, можно понять, с какой неохотой он соглашался на отсрочку. Что касается меня, была лишь одна награда, которую я обещал за ненавистный, тяжкий труд, одно утешение в моих беспримерных страданиях — то была надежда дожидаться дня, когда, освобожденный от гнусного рабства, я смогу просить руки Элизабет и в союзе с ней забыть прошлое.

Я занялся сборами; но одна мысль преследовала меня и наполняла тревогой и страхом. На время своего отсутствия я оставлял своих близких, не подозревающих о существовании их врага и ничем не защищенных от его нападения, — а ведь мой отъезд должен был привести его в ярость. Правда, он обещал следовать за мною, куда бы я ни поехал; не будет ли он сопровождать меня и в Англию? Такая мысль была страшной сама по себе, но в то же время утешительной, ибо обеспечивала безопасность моих близких. Было бы хуже, если бы вышло наоборот. В течение всего времени, пока я был рабом своего создания, я действовал под влиянием момента, и теперь инстинкт настойчиво подсказывал мне, что демон последует за мною и не подвергнет опасности мою семью.

В конце сентября я снова покинул родную страну. Путешествие было предпринято по моему собственному желанию, и поэтому Элизабет не возражала; однако она была полна

тревоги при мысли, что горе опять завладеет мной, а она будет далеко. Благодаря ее заботам я имел спутника в лице Клерваля; и все же мужчина остается слеп к тысяче житейских мелочей, требующих внимания женщины. Ей страстно хотелось просить меня вернуться скорее. Множество противоречивых чувств заставило ее молчать, и мы простились со слезами, но без слов.

Я сел в дорожный экипаж, едва сознавая, куда я направляюсь, равнодушный к тому, что происходило вокруг. Я вспомнил только — и с какой горечью! — о моих химических приборах и распорядился, чтобы их упаковали мне в дорогу. Полный самых безотрадных мыслей, я проехал многие прекрасные места; мои глаза, устремленные в одну точку, ничего не замечали. Я мог думать только о цели своего путешествия и о работе, которой предстояло занять все мое время.

После нескольких дней, проведенных в апатичной праздности, в течение которых я проехал много лье, я прибыл в Страсбург, где два дня дожидался Клерваля. Наконец он прибыл. Увы! Какой контраст составляли мы между собой! Он вдохновлялся каждым новым видом, преисполнялся радостью, созерцая красоту заходящего солнца, но еще более радовался его восходу и наступлению нового дня. Он обращал мое внимание на сменяющиеся краски ландшафта и неба. «Вот для чего стоит жить! — восклицал он. — Вот когда я наслаждаюсь жизнью! Но ты, милый Франкенштейн, почему ты так подавлен и печален?» Действительно, голова моя была занята мрачными мыслями, и я не видел ни захода вечерней звезды, ни золотого восхода солнца, отраженного в Рейне. И вы, мой друг, получили бы гораздо большее удовольствие, читая дневник Клерваля, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои размышления. Ведь я — несчастное существо, надо мной тяготеет проклятие, закрывшее для меня все пути к радости.

Мы решили спуститься по Рейну от Страсбурга до Роттердама, а оттуда отправиться в Лондон. Во время этого путешествия мы проплыли мимо множества островов, заросших ивняком, и увидели несколько красивых городов. Мы остановились на день в Мангенме, а на пятый день после отплытия из Страсбурга прибыли в Майнц. Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными. Течение реки убыстряется, она извивается между невысокими, но крутыми, красиво очерченными холмами. Мы видели многочисленные развалины замков, стоящие на краю высоких и неприступных обрывов, окруженные темным лесом. В этой части Рейна ландшафты необычайно разнообразны. То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, на дне которой мчатся темные воды Рейна; а то вдруг, в излучине реки на мысу, возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами и людные города.

Наше путешествие пришлось на время сбора винограда; скользя по воде, мы слушали песни виноградарей. Даже я, подавленный тоской, обуреваемый мрачным предчувствием, слушал их с удовольствием. Я лежал на дне лодки и, глядя в безоблачное синее небо, словно впитывал в себя покой, который так долго был мне неведом. Если даже мною овладевали такие чувства, кто сможет описать чувства Анри? Он словно очутился в стране чудес и упивался счастьем, какое редко дается человеку. «Я видел, — говорил он, — самые прекрасные пейзажи моей родины, я посетил озера Люцерн и Ури, где снежные горы почти отвесно спускаются к воде, бросая на нее темные, непроницаемые тени, которые придавали бы озеру очень мрачный вид, если бы не веселые зеленые островки, радующие взор; я видел эти озера в бурю, когда ветер вздымал и кружил водяные вихри, так что можно было представить себе настоящий смерч на просторах океана; я видел, как волны яростно бросались к подножью горы, где снежный обвал однажды застиг священника и его наложницу, — говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышны в завывании ночного ветра; я видел горы Ля Вале и Пэи де Во. И все же здешний край, Виктор, нравится мне больше, чем все наши чудеса. Швейцарские горы более величественны и необычны; но берега этой божественной реки таят в себе некое очарование и несравнимы для меня ни с чем, виденным прежде. Взгляни на замок, который повис вон там, над обрывом, или на тот, на острове, почти скрытый в листве деревьев; а вот виноградары, возвращающиеся со своих

виноградников; а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой, более созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники или обитающие на неприступных горных вершинах нашей родины».

Клерваль! Любимый друг! Я и сейчас с восторгом повторяю твои слова и возношу тебе хвалу, которую ты так заслужил. Это был человек, словно созданный самой поэзией природы. Его бурная, восторженная фантазия сдерживалась чувствительностью его сердца. Он был способен горячо любить; в дружбе он проявлял ту преданность, которая, если верить житейской мудрости, существует лишь в нашем воображении. Но человеческие привязанности не могли всецело заполнить его пылкую душу. Природу, которой другие только любят, он любил страстно.

...Грохот водопада
Был музыкой ему. Крутой утес,
Вершины хор, густой и темный лес,
Их контуры в краски вызывали
В нем истинную, пылкую любовь.
Он не нуждался в доводах рассудка,
Чтоб их любить. Что радовало взор,
То трогало и душу...⁵

Где же он теперь? Неужели этот прекрасный, благородный человек исчез без следа? Неужели этот высокий ум, это богатство мыслей, это причудливое и неистощимое воображение, творившее целые миры, которые зависели от жизни своего создателя, — неужели все это погибло? Неужели он теперь живет лишь в моей памяти? Нет, это не так! Твое тело, столь совершенное и сиявшее красотой, стало прахом; но дух твой еще является утешать твоего несчастного друга.

Простите мне эти скорбные излияния. Мои слова — всего лишь слабая дань беспримерным достоинствам Анри, но они успокаивают мое сердце, утоляют боль, которую вызывает память о нем. Теперь я продолжу свой рассказ.

За Кельном мы спустились на равнины Голландии. Остаток нашего пути мы решили проделать по суше, так как ветер был противным, а течение слишком слабым, чтобы помочь нам.

В этом месте наше путешествие стало менее интересным с точки зрения красот природы, но уже через несколько дней мы прибыли в Роттердам, откуда продолжали путь морем в Англию. В одно ясное утро, в конце декабря, я впервые увидел белые скалы Британии. Берега Темзы представляли совершенно новый для вас пейзаж: они были плоскими, но плодородными; почти каждый город был отмечен каким-либо преданием. Мы увидели форт Тильбюри и вспомнили испанскую Армаду; потом Грэйвсенд, Вулвич и Гринвич — места, о которых я слышал еще на родине.

Наконец нашим взорам открылись бесчисленные шпили Лондона, возвышающийся над всем купол св. Павла и знаменитый в английской истории Тауэр.

Глава XIX

Нашим пунктом назначения был Лондон: мы решили провести в этом удивительном и прославленном городе несколько месяцев. Клерваль хотел познакомиться со знаменитостями того времени, но для меня это было второстепенным. Я был больше всего озабочен

⁵ 5. Перевод З. Александровой.

получением сведений, необходимых для выполнения моего обещания, и поспешил пустить в ход захваченные с собой рекомендательные письма, адресованные самым выдающимся естествоиспытателям.

Если бы это путешествие было предпринято в счастливые дни моего учения, оно доставило бы мне невыразимую радость. Но на мне лежало проклятие; и я посещал этих людей только, чтобы получить сведения о предмете, имевшем для меня роковой интерес. Общество меня тяготило; оставшись один, я мог занять свое внимание картинами природы; голос Анри успокаивал меня, и я обманывал себя краткой иллюзией покоя. Но чужие лица, озабоченные, равнодушные или довольные, снова вызывали во мне отчаяние. Я чувствовал, что между мною и другими людьми воздвигался непреодолимый барьер. Эта стена была скреплена кровью Уильяма в Жюстины; воспоминания о событиях, связанных с этими именами, были мне тяжелой мукой.

В Клервале я видел отражение моего прежнего я. Он был любознателен и нетерпеливо жаждал опыта и знаний. Различные обычаи, которые он наблюдал, он находил и занимательными и поучительными. Кроме того, он преследовал цель, которую давно себе наметил. Он решил посетить Индию, уверенный, что со своим знанием ее различных языков и ее жизни он сможет немало способствовать прогрессу европейской колонизации в торговле. Только в Англии он мог ускорить выполнение своего плана. Он был постоянно занят; единственно, что его огорчало, были моя грусть и подавленность. Я старался, насколько возможно, скрывать их от него, чтобы не лишать его удовольствий, столь естественных для человека, вступающего на новое жизненное поприще и не отягощенного заботами или горькими воспоминаниями. Часто я отказывался сопровождать его, ссылаясь на то, что приглашен в другое место, или изыскивая еще какой-нибудь предлог, чтобы остаться одному. В это время я начал собирать материалы, необходимые для того, чтобы произвести на свет мое новое создание; этот процесс был для меня мучителен, подобно пытке водою, когда капля за каплей равномерно падает на голову. Каждая мысль, посвященная моей задаче, причиняла невыносимые страдания; каждое произносимое мною слово, пускай даже косвенно связанное с моей задачей, заставляло мои губы дрожать, а сердце — учащенно биться.

Через несколько месяцев по прибытии в Лондон мы получили письмо из Шотландии от одного человека, который бывал прежде нашим гостем в Женеве. Он описывал свою страну и убеждал нас, что, хотя бы ради ее красот, необходимо продолжать наше путешествие на север, до Перта, где он проживал. Клервалю очень хотелось принять это приглашение; да и мне, хоть я и сторонился людей, захотелось снова увидеть горы, потоки и все удивительные творения, которыми природа украсила свои излюбленные места.

Мы прибыли в Англию в начале октября, а теперь уже был февраль. Поэтому мы решили предпринять путешествие на север в исходе следующего месяца. В этой поездке мы, вместо того чтобы следовать по главной дороге прямо до Эдинбурга, решили заехать в Виндзор, Оксфорд, Матлок и на Кимберлендские озера, рассчитывая прибыть к цели путешествия в конце июля. Я упаковал химические приборы и собранные материалы, решив закончить свою работу в каком-либо уединенном местечке на северных плоскогорьях Шотландии.

Мы покинули Лондон 27 марта и пробыли несколько дней в Виндзоре, бродя по его прекрасному лесу. Для нас, горных жителей, природа этих мест казалась такой непривычной: могуче дубы, обилие дичи и стада величавых оленей — все было в новинку.

Оттуда мы проследовали в Оксфорд. При въезде в этот город нас охватили воспоминания о событиях, происшедших там более полутора столетий тому назад. Здесь Карл I собрал свои силы. Этот город оставался ему верным, когда вся страна отступилась от него и стала под знамена парламента к свободы. Память о несчастном короле и его сподвижниках, о добродушном Фолкленде, дерзком Горинге, о королеве и ее сыне придавала особый интерес каждой части города, где они, может быть, жили. Здесь пребывал дух старины, и мы с наслаждением отыскивали ее следы. Но если бы воображение,

вдохновляемое этими чувствами, и не нашло здесь для себя достаточной пищи, то сам по себе город был настолько красив, что вызывал в нас восхищение. Здания колледжей дышат стариной и очень живописны; улицы великолепны, а прекрасная Изис, текущая близ города по восхитительным зеленым лугам, широко и спокойно разливает свои воды, в которых отражается величественный ансамбль башен, шпили и купола, окруженные вековыми деревьями.

Я наслаждался этой картиной, и все же радость моя омрачалась воспоминанием о прошлом и мыслями о будущем. Я был создан для мирного счастья. В юношеские годы я не знал недовольства. И если когда-либо меня одолевала тоска, то созерцание красот природы или изучение прекрасных и возвышенных творений человека всегда находило отклик в моем сердце и подымало мой дух. Теперь же я был подобен дереву, сраженному молнией; она пронзила мне душу насквозь; и я уже чувствовал, что мне предстояло остаться лишь подобием человека и являть жалкое зрелище распада, вызывающее сострадание у других и невыносимое для меня самого.

Мы провели довольно долгое время в Оксфорде, блуждая по его окрестностям и стараясь опознать каждый уголок, который мог быть связан с интереснейшим периодом английской истории. Наши маленькие экскурсии часто затягивались из-за все новых достопримечательностей, неожиданно открываемых нами. Мы посетили могилу славного Хемлдена и поле боя, на котором пал этот патриот. На какой-то миг моя душа вырвалась из тисков унижительного и жалкого страха, чтобы осмыслить высокие идеи свободы и самопожертвования, увековеченные в этих местах. На какой-то миг я отважился сбросить свои цепи и оглядеться вокруг свободно и гордо. Но железо цепей уже разъело мою душу, и я снова, дрожа и отчаиваясь, погрузился в свои переживания.

С сожалением покинули мы Оксфорд и направились в Матлок, к нашему следующему привалу. Местность вокруг этого селения напоминает швейцарские пейзажи, но все здесь в меньшем масштабе; зеленым холмам недостает венца далеких снежных Альп, всегда украшающего лесистые горы моей родины. Мы посетили удивительную пещеру и миниатюрные музеи естественной истории, где редкости расположены таким же образом, как и в собраниях Серво и Шамуни. Последнее название вызвало у меня дрожь, когда Анри произнес его вслух; и я поспешил покинуть Матлок, с которым связалось для меня ужасное воспоминание.

Из Дерби мы продолжили путь далее на север и провели два месяца в Кимберленде и Вестморленде. Теперь я почти мог вообразить себя в горах Швейцарии. Небольшие участки снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурное течение горных рек — все это было мне привычно и дорого моему сердцу. Здесь мы также завели некоторые знакомства, которые почти вернули мне способность быть счастливым; Клерваль воспринимал все с гораздо большим восхищением, чем я. Он блистал в обществе талантливых людей и обнаружил в себе больше способностей и возможностей, чем когда вращался среди тех, кто стоял ниже его. «Я мог бы провести здесь всю жизнь, — говорил он мне. — Среди этих гор я вряд ли сожалел бы о Швейцарии и Гейне».

Однако он находил, что в жизни путешественника наряду с удовольствиями существует много невзгод. Ведь он постоянно находится в напряжении, и едва начинает отдыхать, как вынужден покинуть ставшие приятными места в поисках чего-то нового, что снова занимает его внимание, а затем в свою очередь отказываться и от этого ради других новинок.

Мы едва успели посетить разнообразные озера Кимберленда и Вестморленда и сдружиться с некоторыми из их обитателей, когда приблизился срок нашей встречи с шотландским другом; мы покинули своих новых знакомых и продолжили путешествие. Что касается меня, то я этим не огорчился. Я некоторое время пренебрегал своим обещанием и теперь опасался гнева обманутого демона. Возможно, он остался в Швейцарии, чтобы обрушить свою месть на моих близких. Эта мысль преследовала и мучила меня даже в те часы, которые могли дать мне отдых и покой. Я ожидал писем с лихорадочным нетерпением:

когда они запаздывали, я чувствовал себя несчастным и терзался бесконечными страхами, а когда они прибывали и я видел адрес, написанный рукой Элизабет или отца, я едва осмеливался прочесть их и узнать свою судьбу. Иногда мне казалось, что демон следует за мной и может отомстить за мою медлительность убийством моего спутника. Когда мною овладевали эти мысли, я ни на минуту не оставлял Анри и следовал за ним словно тень, стремясь защитить его от воображаемой ярости его губителя. Я словно совершил тяжкое преступление, думы о котором преследовали меня. Я не был преступником, но навлек на свою голову страшное проклятье, точно действительно совершил преступление.

Я прибыл в Эдинбург в состоянии полной апатии; а ведь этот город мог бы заинтересовать самое несчастное существо. Клервалю он понравился меньше, чем Оксфорд: тот привлекал его своей древностью. Однако красота и правильная планировка нового Эдинбурга, его романтический замок и окрестности, самые восхитительные в мире: Артурово Кресло, источник св. Бернарда и Пентландская возвышенность привели его в восторг и исправили первое впечатление. Я же нетерпеливо ждал конца путешествия.

Через неделю мы покинули Эдинбург, проследовав через Кьюпар, Сент-Эндрюс и вдоль берегов Тэй до Перта, где нас ожидал наш знакомый. Но я не был расположен шутить и беседовать с посторонними или разделять с ними их чувства и планы с любезностью, подобающей гостю. Поэтому я объявил Клервалю о своем желании одному совершить поездку по Шотландии. «Развлекайся сам, — сказал я ему, — а здесь будет место нашей встречи. Я могу отсутствовать один-два месяца; но умоляю тебя не мешать моим передвижениям; оставь меня на некоторое время в покое и одиночестве, а когда я вернусь, я надеюсь быть веселее и более под стать тебе».

Анри пытался было отговорить меня, но, убедившись в моей решимости, перестал настаивать. Он умолял меня чаще писать. «Я охотнее последовал бы за тобой в твоих странствиях, — сказал он, — чем ехать к этим шотландцам, которых я не знаю; постарайся вернуться поскорее, дорогой друг, чтоб я снова мог чувствовать себя как дома, а это невозможно в твоём отсутствии».

Расставшись со своим другом, я решил найти какое-нибудь уединенное место в Шотландии и там, в одиночестве, завершить свой труд. Я не сомневался, что чудовище следует за мной по пятам и, как только я закончу работу, предстанет передо мной, чтобы получить от меня свою подругу.

Прийдя к такому решению, я пересек северное плоскогорье и выбрал для своей работы один из дальних Оркнейских островов. Это было подходящее место для подобного дела — высокий утес, о который постоянно бьют волны. Почва там бесплодна и родит только траву для нескольких жалких коров да овес для жителей, которых насчитывается всего пять; их изможденные, тощие тела наглядно говорят об их жизни. Овощи и хлеб, когда они позволяют себе подобную роскошь, и даже свежую воду приходится доставлять с большого острова, лежащего на расстоянии около пяти миль.

На всей острове было лишь три жалких хижины; одна из них пустовала, когда я прибыл. Эту хижину я и снял. В ней было всего две комнаты, и она являла чрезвычайно убогий вид. Соломенная крыша провалилась, стены были неоштукатурены, а дверь сорвана с петель. Я распорядился починить хижину, купил кой-какую обстановку и вступил во владение; эти обстоятельства должны были, безусловно, удивить здешних обитателей, если бы все чувства не были у них притуплены жалкой бедностью. Как бы то ни было, я жил, не опасаясь любопытных взглядов и помех и едва получая благодарность за пищу и одежду, которые я раздавал: до такой степени страдания заглушают в людях простейшие чувства.

В этом убежище я посвящал утренние часы работе; в вечернее же время, когда позволяла погода, я совершал прогулки по каменистому берегу моря, прислушиваясь к реву волн, разбивавшихся у моих ног. Картина была однообразна, но вместе с тем изменчива. Я думал о Швейцарии; как непохожа она на этот неприветливый, угрюмый ландшафт! Ее возвышенности покрыты виноградниками, а в долинах разбросаны дома. Ее дивные озера отражают голубое, кроткое небо; а когда ветер вздымает на них волны, это всего лишь

веселая ребячья игра по сравнению с ревом гигантского океана.

Так я распределил часы своих занятий в первое время. Но моя работа становилась для меня с каждым днем все более страшной и тягостной. Иногда я в течение нескольких дней не мог заставить себя войти в свою лабораторию; а бывало, что я работал днем и ночью, стремясь закончить работу скорее. И действительно, занятие было отвратительное. Во время первого моего эксперимента меня ослепляло некое восторженное безумие, не дававшее мне почувствовать весь ужас моих поисков; мой ум был целиком устремлен на завершение работы, и я закрывал глаза на ее ужасные подробности. Но теперь я шел на все это хладнокровно и часто чувствовал глубочайшее отвращение.

За этим омерзительным делом, в полном одиночестве, когда ничто ни на миг не отвлекало меня от моей задачи, мое настроение стало неровным: я сделался беспокойным и нервным. Я ежеминутно боялся встретиться со своим преследователем. Иногда я сидел, устремив взгляд на землю, боясь поднять его и увидеть того, кого так страшился увидеть. Я боялся удалиться от людей, чтобы он не застал меня одного и не потребовал свою подругу.

Тем временем я продолжал работу, и она уже значительно продвинулась. Я ожидал ее окончания с трепетной и нетерпеливой надеждой, которую не осмеливался выразить самому себе, но которая смешивалась с мрачными предчувствиями беды, заставлявшими замирать мое сердце.

Глава XX

Однажды вечером я сидел в своей лаборатории; солнце зашло, а луна только еще поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий, и я сидел праздно, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За три года до того я был занят тем же делом и создал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истерзали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонностях которого я так же, как тогда, ничего не знаю; оно может оказаться в тысячу раз злее своего друга и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места и укрыться в пустыне; но она такой клятвы не давала; она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство; не почувствует ли оно еще большее отвращение, когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины? Да и она может отвернуться от него с омерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова окажется одиноким в еще более разъяренном новой обидой, на этот раз со стороны себе подобного существа.

Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях Нового Света, одним из первых результатов привязанности, которой жаждет демон, будут дети, и на земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самого существования человеческого рода. Имею ли я право, ради собственных интересов, обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа, я был обескуражен его дьявольскими угрозами; но теперь мне впервые предстала безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня как их губителя, как себялюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода.

Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывающего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он увидел меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии; он бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях; а теперь

явился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания.

Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое подобное ему существо и, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым он связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез.

Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу; неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один; вблизи не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжелого гнета моих ужасных дум.

Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море; оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыболовных судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов; это перекликались рыбаки. Я чувствовал тишину, хотя едва ли сознавал, как безмерно она глубока, но вдруг до моих ушей донесся всплеск весел вблизи берега, и кто-то причалил у моего дома.

Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я задрожал всем телом. Предчувствие подсказало мне, кто это мог быть; у меня было желание позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня. Но я был подавлен чувством беспомощности, которое так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности; и какая-то сила пригвоздила меня к месту.

Тотчас же я услышал шаги в коридоре; дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь;

— Ты уничтожил начатую работу, что это значит? Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений; я покинул Швейцарию вместе с тобой; я пробирался вдоль берегов Рейна, через заросшие ивняком острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел холод, голод и усталость; и ты отважишься обмануть мои надежды?

— Убирайся прочь! Да, я отказываюсь от своего обещания; никогда я не создам другое существо, подобное тебе, такое же безобразное и жестокое.

— Раб, до сих пор я рассуждал с тобой, но ты показал себя недостойным такой снисходительности. Помни, что я могуч. Ты уже считаешь себя несчастным, а я могу сделать тебя таким жалким и разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель, но я твой господин. Покорись!

— Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Твоя угрозы не заставят меня совершить злое дело; наоборот, они подтверждают мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущу на свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь! Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость.

Чудовище прочло на моем лице решимость и заскрежетало зубами в бессильной злобе.

— Каждый мужчина, — воскликнул он, — находит себе жену, каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок! Мне присущи чувства привязанности, а в ответ я встретил отвращение и презрение. Человек! Ты можешь меня ненавидеть, но берегись! Твои дни будут полны страха и горя, и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти, но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть; но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце — свидетеля твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен и поэтому всемогущ. Я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскаешься в причиненном мне зле.

— Довольно, дьявол, не отравляй воздух злобными речами. Я объявил тебе свое решение, и я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня, я непреклонен.

— Ладно, я ухожу; но запомни, я буду с тобой в твою брачную ночь.

Я подался вперед и воскликнул:

— Негодяй! Раньше чем выносить мне смертный приговор, убедись, находишься ли ты сам в безопасности.

Я схватил бы его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротой стрелы; вскоре она затерялась среди волн.

Снова наступила тишина; но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься вслед за губителем моего покоя и низвергнуть его в океан. Я быстро и встревоженно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин. Зачем я не погнался за ним и не схватился с ним насмерть? Я дал ему уйти, и он отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова: «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Итак, этот час назначен для свершения моей судьбы. В этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу. Эта перспектива не вызвала во мне страха; но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее слезы и беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из глаз моих брызнули слезы; и я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы.

Прошла ночь, и солнце поднялось из океана; я немного успокоился, если можно назвать спокойствием состояние, когда неистовая ярость переходит в глубокое отчаяние. Я покинул дом, где прошедшей ночью разыгралась страшная сцена, и направился к берегу моря, которое казалось мне почти непреодолимой преградой между мной и людьми; мне даже захотелось, чтобы так и было. Мне захотелось провести свою жизнь на этой голой скале, правда, жизнь трудную, но защищенную от внезапных бедствий. Если я уеду отсюда, придется умереть самому или увидеть, как те, кого я любил больше всего на свете, гибнут в железных тисках созданного мною дьявола.

Я бродил по острову, точно беспокойный призрак, разлученный со всеми, кого я любил, и несчастный в этой разлуке. Когда наступил полдень и солнце поднялось выше, я лег в траву и меня одолел глубокий сон. Всю предшествующую ночь я бодрствовал, нервы мои были возбуждены, а глаза воспалены ночным бдением и тоской. Сон, овладевший теперь мною, освежил меня; когда я проснулся, я снова почувствовал, что принадлежу к человеческому роду, состоящему из подобных мне существ, и я начал размышлять о случившемся с большим спокойствием. Но слова дьявола еще отдавались в моих ушах словно похоронный звон; они казались сновидением, но отчетливым и гнетущим, как действительность.

Солнце заметно опустилось, а я все еще сидел на берегу, утоляя мучивший меня голод овсяной лепешкой. Тут я увидел, что близко от меня причалила рыбацья лодка; один из людей принес мне пакет. В нем были письма из Женевы, а вместе с ними и письмо от Клерваля, умолявшего меня присоединиться к нему. Он писал, что там, где он находится, он проводит время впустую; друзья, которых он приобрел в Лондоне, в своих письмах просят его вернуться, чтобы закончить переговоры, начатые ими по поводу его путешествия в Индию. Он не может больше откладывать свой отъезд; а так как вслед за поездкой в Лондон должно состояться, и даже скорее, чем он предполагал, более длительное путешествие, то он умолял меня побыть с ним возможно больше времени. Он настойчиво просил меня покинуть мой уединенный остров и встретиться с ним в Перте, чтобы затем вместе ехать на юг. Это письмо заставило меня немного очнуться, и я решил покинуть остров через два дня.

Однако до отъезда необходимо было выполнить одно дело, о котором я боялся и подумать: надо было упаковать мои химические приборы; а для этой цели мне предстояло войти в комнату, где я занимался ненавистным мне делом, и взять в руки инструменты, один вид которых вызывал во мне отвращение. На следующий день на рассвете я призвал на помощь все свое мужество и отпер дверь лаборатории. Остатки наполовину законченного создания, растерзанного мною на куски, валялись на полу; у меня было почти такое чувство, словно я расчленил на части живое человеческое тело. Я выждал, чтоб собраться с силами, а

затем вошел в комнату. Дрожащими руками я вынес оттуда приборы, и тут же подумал, что не должен оставлять следов своей работы, которые могут возбудить ужас и подозрения крестьян. Поэтому я уложил остатки в корзину вместе с большим количеством камней и решил выбросить их в море той же ночью. Пока же я сел на берегу я занялся чисткой и приведением в порядок моих химических приборов.

Ничто не могло быть резче перемены, происшедшей в моих чувствах с той ночи, когда передо мной появился демон. Раньше я относился к своему обещанию с мрачным отчаянием, как к чему-то такому, что, невзирая на возможные последствия, должно, быть выполнено: теперь же мне казалось, что с моих глаз упала пелена и я впервые стал ясно видеть. Ни на миг не приходила мне в голову мысль о возобновлении моей работы; угрозы, которые я выслушал, угнетали меня, но я не допускал мысли сознательно пойти на то, чтобы отвратить удар. Я решил, что создание второго существа, подобного дьяволу, сотворенному мною в первый раз, будет актом самого подлого и жестокого эгоизма, и гнал прочь всякую мысль, которая могла бы привести к иным выводам.

Между двумя и тремя часами утра взошла луна; тогда я, взяв корзину на борт небольшого ялика, отплыл почти за четыре мили от берега. Все было безлюдно; несколько лодок возвращалось к берегу, но я отплыл подальше от них. Мне казалось, что я совершаю страшное преступление, и я с ужасом избегал встречи с людьми. Луну, которая ясно светила, вдруг закрыло густое облако, и я, воспользовавшись темнотой, выбросил корзину в море. Я прислушался к бульканью, с каким она погружалась, а затем отплыл от этого места. На небе появились облака, но воздух был чист, хотя и прохладен от поднявшегося северо-восточного ветра. Он освежил меня и наполнил такими приятными чувствами, что я решил остаться некоторое время в море. Установив руль в прямом направлении, я растянулся на дне лодки. Луна спряталась за облака, все покрылось мраком, и я слышал лишь плеск воды под килем, резавшим волны; это журчание убаюкало меня, и вскоре я крепко заснул.

Не знаю, как долго я спал, но когда проснулся, оказалось, что солнце стояло уже довольно высоко. Ветер крепчал, а волны непрерывно угрожали безопасности моей крохотной лодки. Я заметил, что ветер был северо-восточным; он отнес меня далеко от берега, где я сел в лодку. Я попытался изменить курс, но тотчас же убедился, что, если повторю такую попытку, лодка мгновенно наполнится водой. При таких обстоятельствах единственный выход состоял в том, чтобы идти по ветру. Признаюсь, меня охватил страх. У меня не было с собой компаса, а мои познания в географии этой части света были настолько скудны, что положение солнца мало могло мне подсказать. Меня могло вынести в открытый океан, где я переживу все мучения голодной смерти или буду поглощен бездонными водами, которые ревели и бились вокруг меня. Я уже провел в море много часов и чувствовал мучительную жажду — предвестие других моих страданий. Я взглянул на небо, где облака, гонимые ветром, непрерывно сменялись другими облаками. Я взглянул на море, оно должно было стать моей могилой. «Дьявол! — воскликнул я. — Твоя угроза уже приведена в исполнение!» Я подумал об Элизабет, о моем отце и Клервале; всех их я оставлял, и чудовище могло обратить на них свою кровавую жестокость. От этой мысли я погрузился в такое отчаяние и ужас, что даже теперь, когда все живое скоро навеки исчезнет для меня, я весь дрожу при одном этом воспоминании.

Так протекло несколько часов; но, по мере того как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз, и буруны на море исчезли. Зато началась мертвая зыбь; я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега.

Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытывал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости к самому моему сердцу, и слезы хлынули из моих глаз.

Как изменчивы наши чувства и как удивительна цепкая любовь к жизни даже в минуты тягчайшего горя! Я соорудил второй парус, используя часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый; но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем.

Я увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лоно цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который наконец показался из-за небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где мог легче достать себе пищу. К счастью, у меня оказались с собой деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, в которую вошел с бьющимся сердцем, радуясь неожиданному спасению.

Пока я привязывал лодку и убирал паруса, около меня собралось несколько человек. Они, казалось, были очень удивлены моим появлением; но, вместо того чтобы предложить мне помощь, они шепталась между собой, сопровождая это жестикуляцией, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы то ни было, я услышал, что они говорят по-английски, и поэтому обратился к ним на том же языке.

— Добрые друзья, — сказал я, — не откажитесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь?

— Скоро узнаешь, — ответил один из них хриплым голосом. — Возможно, что наши места придутся тебе не совсем по вкусу; но об этом тебя никто не станет спрашивать, — это уж будь уверен.

Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца; меня смутили также хмурые, злые лица его спутников.

— Почему вы так грубо отвечаете? — спросил я. — Это непохоже на англичан — так негостеприимно встречать чужестранцев.

— Не знаю, — ответил он, — что принято у англичан, но у ирландцев преступников не жалуют.

Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается. Лица людей выражали смесь любопытства и гнева, что рассердило и несколько встревожило меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я двинулся вперед; толпа последовала за мной и окружила меня с глухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину — там во всем отчитаетесь.

— Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться? Разве здесь не свободная страна?

— Да, сэр, достаточно свободная для честных людей. Мистер Кирвин — судья. А отчитаться надо потому, что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью.

Эти слова сильно поразили меня; но вскоре я успокоился. Я был невиновен; это легко можно было доказать. Поэтому я безмолвно последовал за моим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода; но, окруженный толпой, я посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений: сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступит и боязнь позора, и страх смерти.

На этом я вынужден остановиться, ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать.

Глава XXI

Вскоре меня привели к судье, старому, добродушному на вид человеку со спокойными и мягкими манерами. Он посмотрел на меня, однако, довольно сурово; затем, повернувшись к моим конвоирам, он спросил, кто может быть свидетелем по этому делу.

Человек шесть выступили вперед; судья выбрал из них одного, который показал, что предыдущей ночью он отправился на рыбную ловлю вместе с сыном и зятем, Дэниелом Ньюгентом; около десяти часов поднялся сильный северный ветер, и они решили вернуться в

гавань. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Они причалили не в гавани, а, по обыкновению, в бухте, мили на две ниже. Сам он шел первым, неся часть рыболовных снастей, а его спутники следовали за ним на некотором расстоянии. Ступая по песку, он споткнулся о какой-то предмет и упал. Спутники его подошли, чтоб помочь ему; при свете их фонаря они обнаружили, что он упал на человеческое тело, по видимости мертвое. Вначале они предположили, что это утопленник, выброшенный на берег; однако, осмотрев его, они установили, что одежда была сухой, а тело еще не успело остыть. Они немедленно отнесли его в домик одной старой женщины, живущей неподалеку, и попытались, к сожалению, напрасно, вернуть его к жизни. Это был красивый молодой человек лет двадцати пяти. Очевидно, он был задушен, так как на нем не было никаких следов насилия, кроме темных отпечатков пальцев на шее.

Первая часть этих показаний не вызвала во мне ни малейшего интереса; но когда он упомянул о следах пальцев, я вспомнил убийство моего брата и пришел в крайнее волнение; по телу прошла дрожь, а глаза застлал туман; это вынудило меня прислониться к креслу в поисках опоры. Судья наблюдал за мной острым взглядом, и мое поведение, несомненно, произвело на него неблагоприятное действие.

Сын подтвердил показания отца; а когда был допрошен Даниел Ньюгент, он положительно поклялся, что незадолго перед падением их спутника заметил недалеко от берега лодку, а в ней человека; насколько он мог судить при свете звезд, это была та самая лодка, на которой я только что прибыл.

Одна из женщин показала, что она живет вблизи берега и примерно за час до того, как услышала об обнаружении трупа, стояла у дверей своего дома, ожидая возвращения рыбаков; и тут заметила лодку, а в ней человека, который отчаливал от того места на берегу, где впоследствии был найден труп.

Другая женщина подтвердила рассказ рыбаков, принесших тело в ее дом; тело было еще теплым. Они положили его на кровать и стали растирать, а Дэниел отправился в город за лекарем; но жизнь в теле уже угасла.

Еще несколько человек было опрошено об обстоятельствах моего прибытия; они сходились на том, что при сильном северном ветре, поднявшемся прошедшей ночью, я мог бороться со стихией в течение многих часов и был вынужден возвратиться к тому же месту, откуда отчалил. Кроме того, они считали, что я, по-видимому, принес тело из другого места и, поскольку берег мне незнаком, я мог войти в гавань, не имея представления о расстоянии от города до места, где я оставил труп.

Выслушав эти показания, мистер Кирвин пожелал, чтобы меня привели в комнату, где лежало тело, приготовленное для погребения; ему хотелось видеть, какое впечатление произведет на меня вид убитого. Эта мысль, вероятно, была подсказана ему моим чрезвычайным волнением при описании способа, каким было совершено убийство. Итак, судья и еще несколько лиц повели меня в комнату, где лежал покойник. Меня невольно поразили странные совпадения, происшедшие в эту беспокойную ночь; однако, зная, что меня видело несколько человек на острове, где я проживая, примерно в тот час, когда был найден труп, я был совершенно спокоен насчет исхода дела.

Я вошел в комнату, где лежал убитый, и меня подвели к гробу. Какими словами описать мои чувства при виде трупа? Еще сейчас у меня пересыхают губы от ужаса, и я не могу вспоминать тот страшный миг без содрогания. Допрос, присутствие судьи к свидетелей — все это исчезло как сон, когда переда мной предстало безжизненное тело Анри Клерваля. Я задыхался; упав на тело, я вскричал: «Неужели мои преступные козни лишили жизни и тебя, милый Анри? Двоих я уже убил, другие жертвы ждут своей очереди, но ты, Клерваль, мой друг, мой благодетель...»

Человеку не под силу выдерживать дальше подобные страдания, и меня вынесли из комнаты в сильнейших конвульсиях.

За ними последовала лихорадка. Два месяца я находился на грани жизни и смерти. Бред мой, как мне после рассказывали, наводил на всех ужас: я называя себя убийцей Уильяма,

Жюстины и Клерваля. Я то умолял присутствующих помочь мне расправиться с дьяволом, который меня мучил; то чувствовал, как пальцы чудовища впиваются в мое горло, и издавал громкие вопли страдания и ужаса. К счастью, я бредил на своем родном языке, и меня понимал один лишь мистер Кирвин; но моей жестикуляции и криков было достаточно, чтобы испугать и других свидетелей.

Зачем я не умер? Более несчастный, чем кто-либо из людей, почему я не впал в забытие и не обрел покой? Смерть уносит столько цветущих детей — единственную надежду любящих родителей; столько невест и юных возлюбленных сегодня находятся в расцвете сил и надежд, а завтра становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого же материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых моя пытка непрерывно возобновлялась, точно на колесе.

Но мне суждено было выжить; через два месяца, словно проснувшись от тяжелого сна, я очутился в тюрьме, на жалкой постели, окруженный тюремщиками, надзирателями, запорами и всеми мрачными атрибутами заключения. Помню, было утро, когда ко мне вернулось сознание; я забыл, что со мной произошло, и помнил только, что на меня обрушилось какое-то горе. Но когда я осмотрелся вокруг, увидел решетки на окнах и грязную комнату, в которой я находился, все ожило в моей памяти, и я горько застонал.

Мои стоны разбудили старуху; дремавшую в кресле около меня. Это была жена одного из надзирателей, которую наняли; ко мне сиделкой; ее лицо выражало все дурные наклонности, часто характерные для людей этого круга. Черты ее лица были жестки и грубы, как у тех, кто привык смотреть на чужое горе без сочувствия. Тон ее выражал полное равнодушие; она обратилась ко мне по-английски, и я узнал голос, который не раз слышал во время болезни.

— Вам теперь лучше, сэр? — спросила она.

Я едва внятно ответил, тоже по-английски:

— Кажется, да; но если все это правда, а не сон, мне жаль, что я еще живу и чувствую свое горе и ужас.

— Что и говорить, — сказала старуха, — если вы имеете в виду джентльмена, которого вы убили, то, пожалуй, оно бы и лучше, если бы вы умерли; вам придется очень плохо. Однако это дело не мое. Меня прислали ходить за вами и помочь вам встать на ноги. Это я делаю на совесть; хорошо бы каждый так работал.

Я с отвращением отвернулся от женщины, которая могла обратиться с такими бесчувственными словами к человеку, только что находившемуся при смерти. Но я был слаб и не мог разобраться в происходившем. Весь мой жизненный путь казался мне сном. Иногда я сомневался, было ли все это на самом деле, ибо события моей жизни ни разу не предстали мне с яркостью реальной действительности.

Когда проплывавшие передо мной образы стали более отчетливыми, у меня сделался жар; и все вокруг потемнело. Возле меня не было никого, кто утешил бы меня и приласкал; ни одна дружеская рука не поддерживала меня. Пришел врач и прописал лекарства; старуха приготовила их, но на лице первого было написано полное безразличие, а на лице второй — жестокость. Кто мог интересоваться судьбой убийцы, кроме палача, ждущего платы за свое дело?

Таковы были мои первые мысли; однако я вскоре убедился, что мистер Кирвин проявил ко мне чрезвычайную доброту. Он приказал отвести для меня лучшее помещение в тюрьме (эта жалкая камера в самом деле была там лучшей); и именно он позаботился о враче и сиделке. Правда, навещая он меня редко; хотя он всячески стремился облегчить страдания каждого человека, ему не хотелось присутствовать при муках убийцы и слушать его бред. Он иногда приходил убедиться, что по отношению ко мне проявляется забота; однако его посещения были краткими и весьма нечастыми.

Однажды во время моего выздоровления я сидел на стуле; глаза мои были полузакрыты, а щеки мертвенно бледны, как у покойника. Подавленный горем, я часто думал, не лучше ли искать смерти, чем оставаться в мире, где мне суждено было так

страдать. Одно время я подумывал, не признать ли себя виновным и подвергнуться казни, — ведь я был более виновным, чем бедная Жюстина. Именно эта мысль владела мною, когда дверь камеры открылась и вошел мистер Кирвин. Лицо его выражало жалость и сочувствие; он придвинул ко мне стул и обратился ко мне на французском языке:

— Боюсь, что вам здесь плохо; не могу ли я чем-нибудь облегчить вашу участь?

— Спасибо, но все это мне безразлично; ничто на свете не может принести мне облегчения.

— Я знаю, что сочувствие чужестранца — слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжелой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место; не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинение.

— Об этом я менее всего забочусь. Силою необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом?

— Действительно, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на этот берег, известный своим гостеприимством, были немедленно схвачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам.

Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, несмотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал:

— Как только вы заболели, мне передали все бывшие при вас бумаги; я их просмотрел, желая найти какие-либо указания, которые помогли бы мне разыскать ваших родных и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву; после отправки моего письма прошло почти два месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно.

— Неизвестность в тысячу раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая разыгралась новая драма и чье убийство я должен теперь оплакивать?

— В вашей семье все благополучно, — сказал ласково мистер Кирвин, — и один из ваших близких приехал вас навестить.

Не знаю почему, но мне вдруг представилось, что это убийца явился насмехаться над моим горем, что он хочет воспользоваться моим несчастьем и вынудить у меня согласие на его адские требования. Я закрыл глаза руками и в ужасе закричал: «О! Уберите его! Я не могу его видеть; ради Бога, не выпускайте его!»

Мистер Кирвин в замешательстве смотрел на меня. Он невольно счел эти выкрики за подтверждение моей виновности и сурово сказал:

— Я полагал, молодой человек, что присутствие вашего отца будет вам приятно и не вызовет такого яростного протеста.

— Мой отец! — воскликнул я, и при этом все черты моего лица вместо ужаса выразили радость. — Неужели приехал мой отец? О, как он добр, как бесконечно добр! Но где он? Почему он не спешит ко мне?

Перемена во мне удивила и обрадовала судью; возможно, он приписал мое предыдущие восклицания новому припадку лихорадочного бреда; теперь к нему снова вернулась его прежняя благожелательность. Он поднялся и вместе с сиделкой покинул камеру, а через минуту ко мне вошел мой отец.

Ничто на свете не могло в ту минуту доставить мне большей радости. Я протянул к нему руки и воскликнул: «Так, значит, вы живы, и Элизабет и Эрнест?»

Отец успокоил меня, заверив, что у них все благополучно, и старался, распространяясь на столь интересующие меня темы, поднять мой дух. Однако он скоро почувствовал, что тюрьма неподходящее место для веселья. «Вот в каком жилище ты оказался, сын мой! — сказал он, печально оглядывая зарешеченные окна и всю жалкую комнату. — Ты отправился на поиски счастья, но тебя, как видно, преследует рок. А бедный Клерваль...»

Упоминание о моем несчастном убитом друге так меня взволновало, что при моей слабости я не смог сдержаться и заплакал.

— Увы! Это так, отец, — сказал я, — надо мной тяготеет рок; и я должен жить, чтобы свершить то, что мне предначертано, иначе мне надо было бы умереть у гроба Анри.

Нашу беседу прервали, ибо в моем тогдашнем состоянии меня оберегали от волнений. Вошел мистер Кирвин и решительно сказал, что чрезмерное напряжение может истощить мои силы. Но приезд отца был для меня подобен появлению моего ангела-хранителя, и здоровье мое постепенно стадо поправляться.

Когда я поборол болезнь, мною овладела мрачная меланхолия, которую ничто не могло рассеять. Образ убитого Клерваля как призрак вечно стоял предо мной. Много раз мое волнение, вызванное этими воспоминаниями, заставляло моих друзей бояться опасного возврата болезни. Увы! Зачем они берегли мою несчастную жизнь, ненавистную мне самому? Очевидно, для того, чтобы я все претерпел до конца, но теперь конец близок. Скоро, о! очень скоро смерть погасит мои волнения и освободит меня от безмерного гнета страданий; приговор будет приведен в исполнение, и я обрету покой. Тогда смерть лишь далеко маячила передо мною, хотя желание умереть владело моими думами, и я часто часами сидел неподвижно и безмолвно, призывая катастрофу, которая погребла бы под обломками и меня, и моего губителя.

Приближался срок суда. Я находился в тюрьме уже три месяца; и хотя я все еще был слаб и мне постоянно грозил возврат болезни, я вынужден был проделать путь почти в сто миль, до главного города графства, где был назначен суд. Мистер Кирвин позаботился о вызове свидетелей и о защитнике. Я был избавлен от позора публичного появления в качестве преступника, так как дело мое не было передано в тот суд, от решения которого зависит жизнь или смерть. Присяжные, решающие вопрос о предании этому суду, сняли с меня обвинение, ибо было доказано, что в тот час, когда был обнаружен труп моего друга, я находился на Оркнейских островах; через две недели после моего переезда в главный город я был освобожден из тюрьмы.

Отец был счастлив, узнав, что я свободен от тяжкого обвинения, что я снова могу дышать вольным воздухом и вернуться на родину. Я не разделял его чувств; стены темницы или дворца были бы мне одинаково ненавистны. Чаша жизни была отравлена навеки; и хотя солнце светило надо мной, как и над самыми счастливыми, я ощущал вокруг себя непроглядную, страшную тьму, куда не проникал ни единый луч света и где мерцала только пара глаз, устремленных на меня. Иногда это были выразительные глаза Анри, полные смертной тоской, — темные, полузакрытые глаза, окаймленные черными ресницами; иногда же это были водянистые, мутные глаза чудовища, впервые увиденные мной в моей ингольштадтской комнате.

Отец старался возродить во мне чувства любви к близким. Он говорил о Женеве, куда мне предстояло вернуться, об Элизабет и Эрнесте. Но его слова лишь исторгали глубокие вздохи из моей груди. Иногда, правда, во мне пробуждалась жажда счастья; я с грустью и нежностью думал о своей любимой кузине или с мучительной *Maladie du pays*⁶ хотел еще раз увидеть синее озеро и быструю Рону, которые были мне так дороги в детстве; но моим обычным состоянием была апатия; мне было все равно — находиться в тюрьме или среди прекраснейшей природы. Это настроение прерывалось лишь пароксизмами отчаяния. В такие минуты я часто пытался положить конец своему ненавистному существованию. Требовалось неустанное надо мною наблюдение, чтобы я не наложил на себя руки.

Однако на мне лежал долг, воспоминание о котором в конце концов взяло верх над эгоистическим отчаянием. Необходимо было немедленно вернуться в Женеву, чтобы охранять жизнь тех, кого я так глубоко любил; надо было выследить убийцу и, если случай откроет мне его убежище или он сам снова осмелится появиться передо мной, без промаха

⁶ 6. тоской по родине (франц.).

сразить чудовище, которое я наделил подобием души, еще более уродливым, чем его тело. Отец откладывал наш отъезд, опасаясь, что я не вынесу тягот путешествия; ведь я был сущей развалиной — тенью человека. Силы мои были истощены. От меня остался один скелет; днем и ночью мое изнуренное тело пожирала лихорадка.

Однако я с такой тревогой и нетерпением настаивал на отъезде из Ирландии, что отец счел за лучшее уступить. Мы взяли билеты на судно, отплывавшее в Гавр де Грае, и отчалили с попутным ветром от берегов Ирландии. Была полночь. Лежа на палубе, я глядел на звезды и прислушивался к плеску волн. Я радовался темноте, скрывшей от моих взоров ирландскую землю; сердце мое билось от радости при мысли, что я скоро увижу Женеву. Прошное казалось мне ужасным сновидением; однако судно, на котором я плыл, ветер, относивший меня от ненавистного ирландского берега, и окружавшее меня море слишком ясно говорили мне, что это не сон и что Клерваль, мой друг, мой дорогой товарищ, погиб из-за меня, из-за чудовища, которое я создал. В моей памяти пронеслась вся моя жизнь: тихое счастье в Женеве, в кругу семьи, смерть матери и отъезд в Ингольштадт. Я с содроганием вспомнил безумный энтузиазм, побуждавший меня быстрее сотворить моего гнусного врага; я вызвал в памяти ночь, когда он впервые ожил. Дальше я не мог вспоминать; множество чувств нахлынуло на меня, и я горько заплакал.

Со времени выздоровления от горячки у меня вошло в привычку принимать на ночь небольшую дозу опия; только с помощью этого лекарства мне удавалось обрести покой, необходимый для сохранения жизни. Подавленный воспоминаниями о своих бедствиях, я принял двойную дозу и вскоре крепко уснул. Но сон не принес мне забвения от мучительных дум; мне снились всевозможные ужасы. К утру мною совсем овладели кошмары; мне казалось, что дьявол сжимает мне горло, а я не могу вырваться; в ушах моих раздавались стоны и крики. Отец, сидевший надо мной, увидев, как я мечусь во сне, разбудил меня. Кругом шумели волны; надо мной было облачное небо, дьявола не было; чувство безопасности, ощущение того, что между этим часом и неизбежным страшным будущим наступила передышка, принесли мне некое забвение, к которому так склонен по своей природе человеческий разум.

Глава XXII

Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы и мне требуется отдых, прежде чем продолжать путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание; но он не знал причины моих мучений и предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекся в обществе. Мне же были противны человеческие лица. О нет, не противны! Эта были братья, мои ближние, и меня влекло даже к наиболее неприятным из них, точно это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляло радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как ненавидели бы они меня, все до одного, как стали бы гнать меня, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источником которых я был!

В конце концов отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость.

— Увы, отец мой, — говорил я, — как мало вы меня знаете! Люди, их чувства и страсти, действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться, Жюстина, бедная Жюстина, была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, и она погибла, а причина ее смерти — я; я убил ее. Уильям, Жюстина и Анри — все они

погибли от моей руки.

Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания; когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по-видимому, хотелось получить объяснение; иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления. Я уклонялся от объяснений и молчал о злодее, которого я создал. Я был убежден, что меня считают безумным; это само по себе могло навеки связать мой язык. Кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы моего собеседника в отчаяние и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал, а между тем я отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснение; но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби.

На этот раз отец сказал с беспредельным удивлением:

— Милый Виктор, что это за бред? Милый сын, умоляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного.

— Я не сумасшедший, — вскричал я решительно, — солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду. Я — убийца этих невинных жертв, они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь; но я не мог этого сделать, отец, я не мог пожертвовать всем человеческим родом.

Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен; он немедленно переменял тему разговора и попытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии; он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах.

Со временем я стал спокойнее; горе прочно угнездилося в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях; для меня было достаточно сознавать их. Я сделал над собой неимоверное усилие и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к ледовому морю.

За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет:

«Дорогой друг! Я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа; ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь две недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать! Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности. Все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным и что твое сердце хоть немного успокоилось.

И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь, и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, когда ты перенес столько несчастий; однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась еще до нашей встречи.

Объяснилась! Ты, вероятно, спросишь: что у Элизабет может быть такого, что требует объяснения? Если ты в самом деле так скажешь, этим самым будет получен ответ на мои вопросы, и все мои сомнения исчезнут. Но ты далеко от меня и, возможно, боишься и, вместе, желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь долее откладывать и пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но не доставало мужества.

Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными; нас научили смотреть на этот союз, как на нечто непеременимое. Мы были в детстве нежными друзьями и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг к другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям; не так ли и с нами?

Скажи мне, милый Виктор. Ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью: ты не любишь другую?

Ты путешествовал; ты провел несколько лет в Ингольштадте; и признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночества и избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке и считаешь себя связанным, считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям. Но это ложное рассуждение. Признаюсь, мой друг, что люблю тебя и в моих мечтах о будущем ты всегда был моим другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, и поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы, ради слова честь можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я десятикратно увеличила бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний. О Виктор, поверь, что твоя кузина и товарищ твоих детских игр слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, и, если ты исполнишь только это мое желание, будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой.

Пусть это письмо не расстраивает тебя; не отвечай завтра, или на следующий день, или даже до твоего приезда, если это тебе больно. Дядя пришлет мне известие о твоём здоровье; и если при встрече я увижу хотя бы улыбку на твоих устах, вызванную мною, мне не надо другого счастья. Женева, 18 мая 17..

Элизабет Лавенца».

Это письмо оживило в моей памяти то, что я успел забыть, — угрозу демона: «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Таков был вынесенный мне приговор; в эту ночь демон приложит все силы, чтобы убить меня и лишит счастья, которое обещало облегчить мои муки. В эту ночь он решил завершить свои преступления моей смертью. Пусть будет так: в эту ночь произойдет смертельная схватка, и, если он окажется победителем, я обрету покой, и его власти надо мною придет конец. Если же он будет побежден, я буду свободен. Увы! Что за свобода! Такая же свобода, как у крестьянина, на глазах которого вырезана вся семья, сгорел дом, земля лежит опустошенная, а сам он — бездомный, нищий изгнанник, одинокий, но свободный. Такой будет и моя свобода; правда, в лице моей Элизабет я обрету сокровище, но на другой чаше весов останутся муки совести и сознание вины, которые будут преследовать меня до самой смерти.

Милая, любимая Элизабет! Я читал и перечитывал ее письмо; нежность проникла в мое сердце и навевала райские грезы любви и радости; но яблоко уже было съедено, и десница ангела отрешала меня от всех надежд. А я готов был на смерть, чтобы сделать ее счастливой. Смерть неизбежна, если чудовище выполнит свою угрозу. Но я задавался вопросом, ускорит ли женитьба исполнение моей судьбы. Моя гибель может свершиться на несколько месяцев раньше; но если мой мучитель заподозрит, что я откладываю свадьбу из-за его угрозы, он безусловно найдет другие и, быть может, более страшные способы мести. Он поклялся быть со мной в брачную ночь; но он не считает, что эта угроза обязывает его соблюдать мир до наступления этой ночи. Чтобы показать мне, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу после своей угрозы. Я решил поэтому, что если мой немедленный союз с кузиной принесет счастье ей или моему отцу, то я не имею права отсрочить его ни на один час, каковы бы ни были умыслы моего врага против моей жизни.

В таком состоянии духа я написал Элизабет. Письмо мое было спокойно и нежно. «Боюсь, моя любимая девочка, — писал я, — что вам осталось мало счастья на свете; но все, чему я могу радоваться, сосредоточено в тебе. Отбрось же пустые страхи; тебе одной посвящаю я свою жизнь и свои стремления к счастью. У меня есть тайна, Элизабет, страшная тайна. Когда я ее открою тебе, твоя кровь застынет от ужаса, и тогда, уже не поражаясь моей мрачности, ты станешь удивляться тому, что я еще жив после всего, что выстрадал. Я поверю тебе эту страшную тайну на следующий день после нашей свадьбы, милая кузина,

ибо между нами должно существовать полное доверие. Но до этого дня умоляю тебя не напоминать о ней. Об этом я прошу со всей серьезностью и знаю, что ты согласишься».

Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской, но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо и лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде; но ее кротость и нежные, сочувственные взгляды делали ее более подходящей подругой для отверженного и несчастного человека, каким был я.

Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мною овладевало настоящее безумие; иногда меня охватывала ярость, и я пылал гневом; иногда погружался в глубокое уныние. Я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, оступев от множества свалившихся на меня несчастий.

Одна только Элизабет умела вывести меня из этого состояния; ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, и пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в оцепенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня и старалась внушить мне смирение перед судьбой. О! хорошо смиряться несчастливцу, но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горя.

Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал.

— Может быть, у тебя есть другая привязанность?

— Никакой в целом свете. Я люблю Элизабет и радостно жду нашей свадьбы. Пусть же будет назначен день. В этот день я посвящу себя, живой или мертвый, счастью моей кузины.

— Дорогой Виктор, не говори так. Мы пережили тяжелые несчастья; но надо крепче держаться за то, что нам осталось, и перенести нашу любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет узок, но крепко связан узами любви и общего горя. А когда время смягчит твоё отчаяние, родятся новые милые создания, предметы нашей любви и забот, взамен тех, кого нас так жестоко лишили.

Так поучал меня отец. А мне все вспоминалась угроза демона. Не следует удивляться, что, при его всемогуществе в кровавых делах я считал его почти непобедимым, и когда он произнес слова: «Я буду с тобой в твою брачную ночь», — я примирился с угрожавшей мне опасностью как неотвратимой. Однако смерть не страшила меня по сравнению с утратой Элизабет. Поэтому я с удовлетворением и даже радостью согласился с отцом и сказал, что, если моя кузина не возражает, можно праздновать свадьбу через десять дней; тогда-то и решится моя судьба, думал я.

Великий Боже! Если бы я на один миг подумал, какой адский умысел вынашивал мой злобный противник, я лучше навсегда исчез бы из родной страны и скитался по свету одиноким изгнанником, чем согласился на этот злополучный брак. Но словно каким-то колдовством чудовище сделало меня слепым к его настоящим замыслам; и я, считая, что смерть уготована только мне, ускорял гибель существа, более дорогого мне, чем я сам.

По мере приближения срока нашей свадьбы — то ли из трусости, то ли охваченный предчувствием — я все более падал духом. Однако я скрывал свои чувства под видом веселости, вызывавшим счастливые улыбки на лице моего отца, но едва ли обманувшим внимательный и более острый взор Элизабет. Она ожидала нашего союза с удовлетворением, к которому все же примешивался некоторый страх, внушенный нашими прошлыми несчастьями; то, что сейчас казалось реальным и осязаемым счастьем, могло скоро превратиться в сон, не оставляющий никаких следов, кроме глубокой и вечной горечи.

Были сделаны необходимые приготовления для торжества; мы принимали поздравительные визиты, и всюду сияли радостные улыбки. Я, как умел, затаил в сердце терзавшую меня тревогу и, казалось, с увлечением вникал в планы моего отца, хотя им, быть может, предстояло лишь украсить мою гибель. Благодаря стараниям отца часть наследства

Элизабет была закреплена за нею австрийским правительством. Ей принадлежало небольшое поместье на берегах Комо. Было решено, что тотчас после свадьбы мы поедем на виллу Лавевца и проведем наши первые счастливые дни у прекрасного озера, на котором она стоит.

Тем временем я принял все меры предосторожности, чтобы защищаться, если демон открыто нападет на меня. При мне всегда были пистолеты и кинжал; и я был постоянно начеку, чтобы предотвратить всякое коварство. Это в значительной степени успокаивало меня. По мере, приближения дня свадьбы угроза стала казаться мне пустою и не стоящей того, чтобы нарушился мой покой. В то же время счастье, которого я ожидал от вашего брака, представлялось все более верным с приближением торжественного дня, о котором постоянно говорили, как о чем-то решенном, чему никакие случайности не могут помешать.

Элизабет казалась счастливой; мое спокойствие значительно способствовало и ее успокоению. Но в день, назначенный для осуществления моих желаний и решения моей судьбы, она загрустила, и ею овладело какое-то предчувствие; а может быть, она думала о страшной тайне, которую я обещал открыть ей на следующий день: Отец не мог нарадоваться на нее и за суетой свадебных приготовлений усматривал в грусти своей племянницы лишь обычную застенчивость невесты.

После брачной церемонии у отца собралось много гостей; но было условлено, что Элизабет и я отправимся в свадебное путешествие по воде, переночуем в Эвиане и продолжим путь на следующий день. Погода стояла чудесная, дул попутный ветер, и все благоприятствовало нашей свадебной поездке.

То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед; солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом, любясь красотой пейзажей, — то на одном берегу озера, где мы видели Мон Салэв, прелестные берега Монталегра, а вдали возвышающийся над всем прекрасный Монблан и группу снежных вершин, которые тщетно с ними соперничают; то на противоположном берегу, где перед нами была могучая Юра, вздымавшая свою темную громаду перед честолубцем, который задумал бы покинуть родину, и преграждавшая путь захватчику, который захотел бы ее покорить.

Я взял руку Элизабет.

— Ты грустна, любимая. О, если бы ты знала, что я выстрадал и что мне, быть может, еще предстоит выстрадать, ты постаралась бы дать мне забыть отчаяние и изведать покой — все, что может подарить мне этот день.

— Будь счастлив, милый Виктор, — ответила Элизабет, — надеюсь, что тебе не грозит никакая беда; верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверялась нашему будущему. Но я не буду прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем, посмотри на облака, которые то закрывают, то открывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекраснее. Взгляни также на бесчисленных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день! Какой счастливой и безмятежной кажется вся природа!

Такими речами Элизабет старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныние. Однако настроение ее было неровным; на несколько мгновений в ее глазах загоралась радость, но она то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью.

Солнце опустилось ниже; мы проплыли мимо устья реки Дранс и проследили глазами ее путь по расселинам высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих его с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздящихся над ним вершин.

Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой, к закату утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение его лишь рябило воду и приятно шелестело листвою деревьев, когда мы приблизились к берегу, откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена. Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт; едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи, которым вскоре суждено

было завладеть мною уже навсегда.

Глава XXIII

Было восемь часов, когда мы вышли на берег; мы еще немного погуляли по берегу, ловя угасавший свет, а затем направились в гостиницу, любуясь красивыми видами вод, лесов и гор, скрытых сумерками, но еще выступавших темными очертаниями.

Южный ветер утих, но зато с новой силой подул ветер с запада. Луна достигла высшей точки в небе и начала опускаться; облака скользили по ней быстрее хищных птиц и скрывали ее лучи, а озеро отражало беспокойное небо, казавшееся там еще беспокойнее из-за поднявшихся волн. Внезапно обрушился сильный ливень.

Весь день я был спокоен; но как только формы предметов растворились во мраке, моей душой овладели бесчисленные страхи. Я был взволнован и насторожен; правой рукой я сжимал пистолет, спрятанный за пазухой; каждый звук пугал меня; но я решил дорого продать свою жизнь и не уклоняться от борьбы, пока не паду мертвым или не уничтожу своего противника.

Элизабет некоторое время наблюдала мое волнение, сохраняя робкое безмолвие; но, должно быть, в моем взгляде было нечто такое, что вызвало в ней ужас; дрожа всем телом, она спросила:

— Что тревожит тебя, милый Виктор? Чего ты боишься?

— О, спокойствие, спокойствие, любовь моя, — ответил я, — пройдет эта ночь, и все будет хорошо; но эта ночь страшна, очень страшна.

В таком состоянии духа я провел час, когда вдруг подумал о том, как ужасен будет для моей жены поединок, которого я ежеминутно ждал. Я стал умолять ее удалиться, решив не идти к ней, пока не выясню, где мой враг.

Она покинула меня, и я некоторое время ходил по коридорам дома, обыскивая каждый угол, который мог бы служить укрытием моему противнику. Но я не обнаружил никаких его следов и начал уже думать, что какая-нибудь счастливая случайность помешала ему привести свою угрозу в исполнение, когда вдруг услышал страшный, пронзительный вопль. Он раздался из комнаты, где уединилась Элизабет. Услышав этот крик, я все понял; руки мои опустились, все мускулы моего тела оцепенели; я ощутил тяжкие удары крова в каждой желе. Это состояние длилось всего лишь миг; вопль повторился, и я бросился в комнату...

Великий Боже! Отчего я не умер тогда! Зачем я здесь и рассказываю о гибели моих надежд и самого чистого на свете создания! Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная; голова ее свисала вниз, бледные и искаженные черты ее лица были наполовину скрыты волосами. Куда бы я ни посмотрел, я вижу перед собой бескровные руки и бессильное тело, брошенное убийцей на брачное ложе. Как мог я после этого остаться жить? Увы! Жизнь упряма и цепляется за нас тем сильнее, чем мы больше ее ненавидим. На минуту я потерял сознание и без чувств упал на пол.

Когда я пришел в себя, меня окружали обитатели гостиницы. На всех лицах был написан неподдельный ужас, но это было лишь слабым отражением чувств, раздиравших меня. Я вернулся в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любимой, моей жены, еще так недавно живой, и такой дорогой, такой достойной любви. Поза, в которой я застал ее, была изменена; теперь она лежала прямо, голова покоилась на руке, на лицо и шею был накинута платок, можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и заключил ее в свои объятия. Но прикосновение к безжизненному и холодному телу напомнило мне, что я держал в объятиях уже не Элизабет, которую так нежно любил. На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона, и дыхание уже не исходило из ее уст.

Склонясь над нею в безмерном отчаянии, я случайно посмотрел вокруг. Окна комнаты были раньше затемнены, а теперь я со страхом увидел, что комната освещена бледно-желтым

светом луны. Ставни были раскрыты; с неописуемым чувством ужаса и увидел в открытом окне ненавистную и страшную фигуру. Лицо чудовища было искажено усмешкой; казалось, он глумился надо мной, своим дьявольским пальцем указывая на труп моей жены. Я ринулся к окну и, выхватив из-за пазухи пистолет, выстрелил; но он успел уклониться, подпрыгнул и, устремившись вперед с быстротою молнии, бросился в озеро.

На звук выстрела в комнате собралась толпа. И показал направление, в котором он исчез, и мы отправились в погоню на шлюпках; мы бросали сети, но все было напрасно. После нескольких часов поисков мы вернулись, потеряв всякую надежду; многие из моих спутников полагали, что все это — плод моего воображения. Выйдя на берег, они продолжили поиски в окрестностях, разделившись на группы, которые в различных направлениях стали обшаривать леса и виноградники.

Я попытался сопровождать их и отошел на короткое расстояние от дома; но голова моя кружилась, я передвигался словно пьяный и наконец впал в крайнее изнеможение; глаза мои подернулись пеленой, кожу сушил лихорадочный жар. В этом состоянии меня унесли обратно в дом и положили на кровать. Я едва сознавал, что случилось; взор мой блуждал по комнате, словно ища то, что я потерял.

Прошло некоторое время; я поднялся и инстинктивно добрался до комнаты, где лежало тело моей любимой. Кругом стояли плачущие женщины; я прильнул к телу и присоединил к их слезам свои горестные слезы. Все это время мне не приходила ни одна ясная мысль; мысли перескакивали с предмета на предмет, смутно отражая мои несчастья и их причину. Я тонул в каком-то море ужасов. Смерть Уильяма, казнь Жюстины, убийство Клерваля и, наконец, моей жены; даже в этот момент я не был уверен, что моим последним оставшимся в живых близким не грозит опасность от злобного дьявола; возможно, отец мой в эту самую минуту корчится в его мертвой хватке, а Эрнест лежит мертвый у его ног. Эта мысль заставила меня задрожать и побудила к действию. Я вскочил на ноги и решил как можно скорее вернуться в Женеву.

Лошадей нельзя было достать, и я вынужден был возвращаться по озеру, но дул противный ветер и потоками лил дождь. Однако утро едва еще брезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял гребцов а сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя и крайнее волнение делали меня неспособным ни на какое усилие. Я отбросил весло; охватив голову руками, я дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглянуться кругом, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время; всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стала теперь только тенью и воспоминанием. Слезы лились из моих глаз. Дождь на некоторое время перестал, и я увидел рыб, которые резвились в воде, как и тогда, раньше; тогда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце, или сгущались тучи, ничто уже не могло предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье; никогда еще не было создания несчастнее меня; ни один человек не переживал события столь страшного.

Но зачем так подробно останавливаться на эпизодах, последовавших за последним моим несчастьем? Повесть моя и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знайте, что мои близкие были вырваны из жизни один за другим. Я остался одиноким. Но силы мои истощены; и я могу лишь вкратце досказать конец моей страшной повести.

Я прибыл в Женеву. Я застал отца и Эрнеста еще в живых, но первый поник под тяжестью вестей, которые я принес. Я вижу его как сейчас, доброго и почтенного старика! Невидящий взгляд его глаз блуждал в пространстве, ибо он потерял свою лучшую радость — свою Элизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, на какую способен человек на склоне лет, когда у него осталось мало привязанностей, но тем крепче он цепляется за оставшиеся. Пусть будет проклят и еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное,

тоскливое умирание! Он не мог жить после всех ужасов, которые на нас обрушились; жизненные силы иссякли в нем; он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках.

Что случилось тогда со мною? Не знаю; я потерял чувство реального и ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезилось, что я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но я пробуждался в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски, но постепенно я яснее осознал свое горе и свое положение, и тогда меня выпустили на свободу. Оказывается, меня сочли сумасшедшим, я, насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата.

Однако свобода была бы для меня бесполезным даром, если бы во мне, по мере того как возвращался рассудок, не заговорило и чувство мести. Когда ко мне вернулась память о прошлых несчастьях, я начал размышлять об их причине — о чудовище, которое я создал, о гнусном демоне, которого я выпустил на свет на свою же погибель. Мною овладевала безумная ярость, когда я думал о нем; я желал и пылко молил, чтобы он очутился в моих руках и я мог обрушить на его проклятую голову великую и справедливую месть.

Моя ненависть не могла долгое время ограничиваться бесплодными желаниями; я начал думать о наилучших способах ее осуществления. С этой целью, примерно через месяц после выхода из больницы, я обратился к городскому судье по уголовным делам и заявил ему, что намерен предъявить обвинение; что мне известен убийца моих близких и что я требую от него употребить всю его власть для поимки этого убийцы.

Судья выслушал меня со вниманием и доброжелательно.

— Будьте уверены, сэр, — сказал он, — я не пожалею сил и трудов, чтобы схватить преступника.

— Благодарю вас, — ответил я, — Выслушайте поэтому показания, которые я намерен дать. Это действительно такая странная история, что, я боюсь, вы не поверите мне; однако в истине, как бы ни была она удивительна, есть нечто, что заставляет верить. Мой рассказ будет слишком связным, чтобы вы приняли его за плод воображения, и у меня нет никаких побуждений для лжи.

Я сказал все это выразительно, но спокойно; в глубине души я принял решение преследовать моего губителя до самой его смерти. Эта цель, которую я поставил перед собой, облегчала мои страдания и на некоторое время примирила меня с жизнью. Теперь я изложил свою историю кратко, но твердо и ясно, называя точные даты и удерживаясь от проклятий или жалоб.

Вначале судья, казалось, отнесся к рассказу с полным недоверием, но постепенно проявлял все больше внимания и интереса. Я заметил, что он вздрагивал от ужаса, а иногда его лицо выражало живейшее удивление с примесью сомнения.

Закончив свою повесть, я сказал: «Вот существо, которое я обвиняю; и я призываю вас употребить всю вашу власть, чтобы схватить и покарать его. Это ваш долг судьи, и я верю и надеюсь, что и ваши человеческие чувства в данном случае не дадут вам уклониться от исполнения ваших обязанностей».

Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня с той полуверой, с какой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие. Однако он мягко ответил:

— Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника; но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, способное пересечь ледовое море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек? Кроме того, со дня совершения преступлений прошло несколько месяцев, и трудно угадать, куда он направился и где сейчас может обитать.

— Я не сомневаюсь, что он кружит где-то поблизости; а если он в самом деле нашел убежище в Альпах, то можно устроить на него охоту, как на серну, и уничтожить его; как

дикого зверя. Но я угадываю ваши мысли: вы не верите моему рассказу и не намерены преследовать моего врага и покарать его по заслугам.

При этом мои глаза сверкнули яростью; судья был смущен.

— Вы ошибаетесь, — сказал он, — я напрягу все усилия, и будьте уверены, что он понесет достойную кару. Но я опасаясь, судя по вашему собственному описанию его, что это будет практически невыполнимо, — таким образом, несмотря на все меры, вас может ждать разочарование.

— Этого не может быть, но убеждать вас бесполезно. Моя месть ничего для вас не значит. Я согласен, что это дурное чувство, но сознаюсь, что оно — всепожирающая и единственная страсть моей души. Ярость моя невыразима, когда я думаю, что убийца, которого я создал, все еще жив. Вы отказываетесь удовлетворить мое справедливое требование: мне остается лишь одно средство; и я посвящаю себя, свою жизнь и смерть делу его уничтожения.

Произнося эти слова, я весь дрожал; в моих речах, сквозило безумие и, вероятно, нечто от надменной суровости, которой отличались, как говорят, мученики былых времен. Но для женевского судьи, чья голова была занята совсем иными мыслями, чем идеи жертвенности и героизма, такое возбуждение очень походило на сумасшествие. Он постарался успокоить меня, словно няня — ребенка, и отнесся к моему повествованию, как к бреду.

— О люди, — вскричал я, — сколь вы невежественны, а еще кичитесь своей мудростью! Довольно! Вы сами не знаете, что говорите.

Я выбежал из его дома раздраженный и взволнованный и удалился, чтобы измыслить иные способы действия.

Глава XXIV

Я был в том состоянии, когда мы не можем разумно мыслить. Я был одержим яростью. Но жажда мести придала мне силу и спокойствие; она заставила меня овладеть собой и помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие или смерть.

Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву; родина, дорогая для меня, когда я был счастлив и любим, теперь стала мне ненавистна. Я запасся деньгами, захватил также несколько драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал.

С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал большую часть планеты и испытал все лишения, обычно достающиеся на долю путешественников в пустынях и диких краях. Не знаю, как я выжил; не раз я ложился, изможденный, на землю и молил Бога о смерти. Но жажда мести поддерживала во мне жизнь; я не смел умереть и оставить в живых своего врага.

После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона. Но у меня еще не было определенного плана; и я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался у ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилам. Все вокруг было тихо, и только шелестела листва, чуть колеблемая ветерком; ночь была темная; и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но ощутимую тень на того, кто пришел их оплакивать.

Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил; жил и их убийца; и я должен влачить постылую для меня жизнь ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колена в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами: «Клянусь священной землей, на которой стою, теньями, витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем; клянусь тобою, Ночь, и силами, которые тобой правят, что

буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий, пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить; ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце и ступать по зеленой траве, которые иначе навсегда исчезли бы для меня. Души мертвых! И вы, духи мести! Помогите мне и направьте меня. Пусть проклятое адское чудовище выпьет до дна чашу страданий; пусть узнает отчаяние, какое испытываю я».

Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня; но под конец мной завладели фурии мщения и мой голос пресекся от ярости.

В ответ из ночной тишины раздался громкий, дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах; горное эхо повторяло его, и казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обет; он был услышан, и мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих; и знакомый ненавистный голос, где-то над самым моим ухом, явственно произнес: «Я доволен; ты решил жить, несчастный! И я доволен».

Я бросился туда, откуда раздался голос; но демон ускользнул от меня. Показалась полная луна и осветила уродливую, зловещую фигуру, убегавшую со скоростью, недоступной простому смертному.

Я погнался за ним и преследовал его много месяцев. Напав на его след, я спустился по Рейну, но напрасно. Показалось синее Средиземное море; и мне случайно удалось увидеть, как демон спрятался ночью в трюме корабля, уходившего к берегам Черного моря. Я сел на тот же корабль; но ему какими-то неведомыми путями опять удалось исчезнуть.

Я прошел по его следу через бескрайние равнины России и Азии, хотя он все ускользал от меня. Бывало, что крестьяне, напуганные видом страшилища, говорили мне, куда он шел; бывало, что и он сам, боясь, чтобы я не умер от отчаяния, если совсем потеряю его след, оставлял какую-нибудь отметину, служившую мне указанием.

Падал свет, и я видел на белой равнине отпечатки его огромных ног. Вам, только еще вступающему в жизнь и незнакомому с тяготами и страданиями, не понять, что я пережил и переживаю поныне. Холод, голод и усталость были лишь малой частью того, что мне пришлось вынести. На мне лежало проклятие, и я носил в себе вечный ад; однако был у меня и некий хранительный дух, направлявший мои шаги; когда я более всего роптал, он вызволял меня из трудностей, казавшихся неодолимыми. Случалось, что мое тело, истощенное голодом, отказывалось служить; и тогда я находил в пустыне трапезу, подкреплявшую мои силы. То была грубая пища, какую ели местные жители, но я уверен, что ее предлагали мне духи, которых я призывал на помощь. Часто, когда все вокруг сохло, небо было безоблачно и я томился от жажды, набегало легкое облачко, роняло на меня освежающие капли и исчезало.

Там, где было возможно, я шел по берегу рек; но демон держался вдали от этих путей, ибо они были наиболее населенными. В других местах люди почти не встречались; и я питался мясом попадавшихся мне зверей. Я имел при себе деньги и, раздавая их поселянам, заручался их помощью; или приносил убитую мною дичь и, взяв себе лишь небольшую часть, оставлял ее тем, кто давал мне огонь и все нужное для приготовления пищи.

Эта жизнь была мне ненавистна, и я вкушал радость только во сне. Благословенный сон! Часто, когда я бывал особенно несчастен, я засыпал, и сновидения приносили мне блаженство. Эти часы счастья были даром охранявших меня духов, чтобы мне хватило сил на мое паломничество. Если бы не эти передышки, я не смог бы вынести всех лишений. В течение дня надежда на ночной отдых поддерживала мои силы; во сне я видел друзей, жену и любимую родину; я вновь глядел в доброе лицо отца, слышал серебристый голос Элизабет, видел Клерваля в расцвете юности и сил. Часто, измученный трудным переходом, я убеждал себя, что мой день — это сон, а пробуждение наступит ночью в объятиях моих близких. Какую мучительную нежность я чувствовал к ним! Как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз даже и наяву; как я убеждал себя, что они еще живы! В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести, и преследование демона представлялось мне

скорее велением небес, действием какой-то силы, которой я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желанием.

Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев или высекал их на камнях; они указывали мне путь и разжигали мою ярость. «Моему царствию еще не конец, — так гласила одна из них, — ты живешь, и ты — в моей власти. Следуй за мною; я держу путь к вечным льдам Севера; ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен. А здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, заячью тушку; ешь, подкрепляйся. Следуй за мной, о мой враг; нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть; но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься».

Насмешливый дьявол! Я снова клянусь отомстить тебе; снова обрекаю тебя, проклятый, на муки и смерть. Я не отступлю, пока один из нас не погибнет; а тогда с какой радостью я поспешу к Элизабет и ко всем моим близким, которые уже готовят мне награду за все тяготы моего ужасного странствия!

По мере того как я продвигался на север, снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки были скованы льдом, добыть рыбу было невозможно, и я лишился главного источника питания.

Чем труднее мне было, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила: «Готовься! Твои испытания только начинаются; кутайся в меха, запасай пищу; мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть».

Эти издевательские слова только придали мне мужества и упорства; я решил не отступать от своего намерения и, призвав небо в помощники, с несокрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был непохож на синие моря юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев Средиземное море с холмов Азии, заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал; но сердце мое было переполнено; опустившись на колени, я возблагодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним.

За несколько недель до того я достал сани и упряжку собак и мчался по снежной равнине с невероятной скоростью; не знаю, какие средства передвижения были у демона; но если я прежде с каждым днем все больше отставал от него, то теперь я начал его нагонять; когда я впервые увидел океан, демон был лишь на один день пути впереди меня, и я надеялся догнать его, прежде чем он достигнет берега. Я рванулся вперед с удвоенной энергией и через два дня добрался до жалкой прибрежной деревушки. Я расспросил жителей о демоне и получил самые точные сведения. Они сказали, что уродливый великан побывал здесь накануне вечером, что он вооружен ружьем и несколькими пистолетами и его страшный вид обратил в бегство обитателей одной уединенной хижины. Он забрал там весь зимний запас пищи, погрузил его в сани, захватил упряжку собак и в ту же ночь, к великому облегчению перепуганных поселян, пустился дальше, по морю, туда, где не было никакой земли; они полагали, что он утонет, когда вскроется лед, или же замерзнет.

Услышав это известие, я сперва пришел в отчаяние. Он ускользнул от меня, и мне предстоял страшный и почти бесконечный путь по ледяным глыбам застывшего океана, при стуже, которую не могут долго выдерживать даже местные жители, а тем более не надеялся выдержать я, уроженец теплых краев. Но при мысли, что демон будет жить и торжествовать, во мне вспыхнули ярость и жажда мести, затопившие, точно мощный прилив, все другие чувства. После краткого отдыха, во время которого призраки мертвых витали вокруг меня, побуждая к мщению, я стал готовиться в путь.

Я сменил свои сани на другие, более пригодные для езды по ледяному океану, и, закупив большие запасы провизии, съехал с берега в море.

Не могу сказать, сколько дней прошло с тех пор; знаю только, что я перенес муки,

которых не выдержал бы, если б не горячая во мне неутолимая жажда праведного возмездия. Часто мой путь преграждался огромными массивными глыбами льда; нередко слышал я подо льдом грохот волн, грозивших мне гибелью. Но затем мороз крепчал, и путь по морю становился надежнее.

Судя по количеству провианта, которое я израсходовал, я считал, что провел в пути около трех недель. Я истерзался; постоянно обманутые надежды часто исторгали из моих глаз горькие слезы бессилия и тоски. Мной уже овладевало отчаяние, и я, конечно, скоро поддался бы ему и погиб. Но однажды, когда бедные животные, впряженные в сани, с невероятным трудом втащили их на вершину ледяной горы и одна из собак тут же околела от натуги, я тоскливо обозрел открывшуюся передо мной равнину и вдруг заметил на ней темную точку. Я напряг зрение, чтобы разглядеть ее, и издал торжествующий крик: это были сани, а на них хорошо знакомая мне уродливая фигура. Живительная струя надежды снова влилась в мое сердце. Глаза наполнились теплыми слезами, которые я поспешно отер, чтобы они не мешали мне видеть демона; но горячая влага все туманила мне глаза, и, не в силах бороться с волнением, я громко зарыдал.

Однако медлить было нельзя; я выпряг мертвую собаку и досыта накормил остальных; после часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были еще видны, и я лишь на мгновение терял их из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял их, и когда, после двух дней погони, оказался от них на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло.

И вот тут-то, когда я уже готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня; я потерял его след, потерял совсем, чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться: шум валов, катившихся подо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер; море ревело; все вдруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с оглушительным грохотом. Это свершилось очень быстро; через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель.

Так я провел много ужасных часов; несколько собак у меня издохло; и сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре и обещавший мне помощь и жизнь. Я не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подогнал к кораблю свой ледяной плот. Если б оказалось, что вы следуете на юг, я был готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения. Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать своего врага. Но вы держали путь на север. Вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен; обессиленный лишениями, я был близок к смерти, а я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи.

О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Уолтон, что не дадите ему ускользнуть; что вы найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь просить, чтобы другой продолжал мое паломничество и перенес все тяготы, которые достались мне? Нет, я не столь себялюбив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, клянитесь, что он не уйдет живым, — клянитесь, что он не восторжествует над моими бедами, не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать; некогда его слова имели власть даже надо мной. Но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности; он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его. Повторите про себя имена Уильяма, Жюстины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора — и разите его прямо в сердце. Мой дух будет с вами рядом и направит вашу шпагу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА УОЛТОНА

26 августа, 17..

Ты прочла эту странную и страшную повесть, Маргарет; и я уверен, что кровь стыла у тебя в жилах от ужаса, который ощущаю и я. Иногда внезапный приступ душевной муки прерывал его рассказ; порой он с трудом, прерывающимся голосом произносил свои полные отчаянием слова. Его прекрасные глаза то загорались негодованием, то туманились печалью и угасали в беспредельной тоске. Иногда он овладевал собой и своим голосом и рассказывал самые страшные вещи совершенно спокойным тоном; но порой что-то прорывалось, подобно лаве вулкана, и с лицом, искаженным яростью, он выкрикивая проклятия своему мучителю.

Его рассказ вполне связан и производит правдоподобное впечатление; и все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Сафии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, больше убедили меня в истинности его рассказа, чем самые серьезные его заверения. Итак, чудовище действительно существует! Я не могу в этом сомневаться, но не перестаю дивиться. Иногда я пытался вывести у Франкенштейна подробности создания его детища; но тут он становился непроницаем.

— Вы сошли с ума, мой друг, — говорил он. — Знаете, куда может привести вас ваше праздное любопытство? Неужели вы тоже хотите создать себе и всему миру дьявольски злобного врага? Молчите и слушайте повесть о моих бедствиях; не старайтесь накликать их на себя.

Франкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ; он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал поправки в добавления; более всего там, где пересказаны его разговоры с его врагом. «Раз уже вы записываете мою историю, — сказал он, — я не хотел бы, чтобы она дошла до потомков в искаженном виде».

Целую неделю слушал я его повесть, самую странную, какую могло создать человеческое воображение. Завороженный в рассказом моего гостя, и обаянием его личности, я жадно впивал каждое его слово. Мне хотелось бы утешить его; но как могу я обещать радости жизни тому, кто безмерно несчастен и лишился всех надежд? Нет! Единственную радость, какую он еще способен вкушать, он ощутит, когда его сломленный дух найдет покой в смерти. Правда, он и сейчас имеет одно утешение, порожденное одиночеством и болезненным бредом: когда он в забытии видит своих близких и в общении с ними находит облегчение своих страданий или новые силы для мести, ему кажется, что это не плод его воображения, но что они действительно являются к нему из иного мира. Эта вера придает его грезам серьезность и делает их для меня почти столь же значительными, как сама правда.

Впрочем, история его жизни и его несчастий не является единственной темой наших бесед. Он весьма начитан и во всех общих вопросах обнаруживает огромные познания и большую остроту суждений. Он умеет говорить убедительно и трогательно; нельзя слушать без слез, когда он рассказывает о волнующем событии или хочет вызвать ваше сочувствие. Как великолепен он, вероятно, был в дни своего расцвета, если даже сейчас, на пороге смерти, он так благороден и величав!.. По-видимому, он сознает свою прежнюю силу и глубину своего падения.

«В молодости, — сказал он однажды, — я чувствовал себя созданным для великих дел. Я умею глубоко чувствовать, но одновременно наделен трезвым умом, необходимым для больших свершений. Сознание того, как много мне дано, поддерживало меня, когда другой впал бы в уныние; ибо я считал преступным растрачивать на бесплодную печаль талант, который может служить людям. Размышляя над тем, что мне удалось свершить — как-никак создать разумное живое существо, — я не мог не сознавать своего превосходства над обычными людьми. Но эта мысль, окрылявшая меня в начале моего пути, теперь заставляет меня еще ниже опускать голову. Все мои стремления и надежды кончились крахом; подобно архангелу, возжаждавшему высшей власти, я прикован цепями в вечном аду. Я был наделен

одновременно и живым воображением, и острым, упорным аналитическим умом; сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как я мечтал, пока работал. Я мысленно ступал по облакам, ликовал в сознании своего могущества, весь горел при мысли о благотельных последствиях моего открытия. Я с детства любил мечтать о высоком и был полон благородного честолюбия — а теперь, какое страшное падение! О друг мой, если бы вы знали меня таким, каким я был когда-то, вы не узнали бы меня в моем нынешнем жалком состоянии. Уныние было мне почти неведомо; казалось, все вело меня к великой цели, пока я не пал, чтобы уже никогда более не подняться».

Неужели мне суждено потерять этого замечательного человека? Я жаждал иметь друга — такого, который полюбил бы меня и разделил мои стремления. И — о чудо! — я нашел его в здешних морях; но боюсь, что нашел лишь для того; чтобы оценить по достоинству и тут же вновь потерять. Я пытаюсь примирить его с жизнью, но он отвергает всякую мысль об этом.

— Спасибо вам, Уолтон, — говорит он, — за доброту к несчастному; но, обещая мне новые привязанности, неужели вы думаете, что они заменят мне мои утраты? Кто может стать для меня тем, чем был Клерваль? Какая женщина может стать второй Элизабет? Друзья детства, даже когда они не пленяют вас исключительными достоинствами, имеют над нашей душой власть, какая редко достается друзьям позднейших лет. Им известны лишь детские склонности, которые могут впоследствии изменяться, но никогда не исчезают совершенно; они могут верно судить о наших поступках, потому что лучше знают наши истинные побуждения. Брат или сестра неспособны заподозрить вас во лжи или измене, разве только вы рано обнаружили к ним склонность; тогда как друг, даже очень к вам привязанный, может иногда невольно возбудить подозрения. А у меня были друзья, любимые не только по привычке, но и за их достоинства; где бы я ни был, мне всюду слышались ласковые слова Элизабет и голос Клерваля. Их уже нет; и я оказался в таком одиночестве, что лишь одно чувство еще дает мне силу жить. Будь я занят важными открытиями, обещающими много пользы людям, я хотел бы жить ради их завершения. Но это мне не суждено; я должен выследить и уничтожить создание, которому я дал жизнь; тогда моя земная миссия будет выполнена и я могу умереть.

2 сентября

Любимая сестра, это письмо я пишу тебе, находясь среди опасностей и в полном неведении насчет того, суждено ли мне увидеть милую Англию и еще более милых сердцу людей, живущих там. Меня окружают непроходимые нагромождения льда, ежеминутно грозящие раздавить мое судно. Смельчаки, которых я выбрал себе в спутники, смотрят на меня с надеждой, но что я могу сделать? Положение наше ужасно, но мужество и надежда не покидают меня. Страшно, конечно, подумать, что я подверг опасности столько людей. Если мы погибнем, виною будет моя безрассудная затея.

А что будешь думать ты, Маргарет? Ты не узнаешь о моей гибели и будешь нетерпеливо ждать моего возвращения. Пройдут годы, и у тебя будут приступы отчаяния, но надежда все еще будет тебя дразнить. О милая сестра, мучительная гибель твоих надежд страшит меня более собственной смерти. И все же у тебя есть муж и прелестные дети; ты можешь быть счастлива; да пошлет тебе небо благословение и счастье!

Мой бедный гость смотрит на меня с глубоким сочувствием. Он пытается вселить в меня надежду и говорит так, словно считает жизнь ценным даром. Он напоминает мне, как часто мореплаватели встречают в здешних широтах подобные препятствия; и я помимо своей воли начинаю верить в счастливый исход. Даже матросы ощущают силу его красноречия; когда он говорит, они забывают об отчаянии; он подымает их дух; слыша его голос, они начинают верить, что огромные ледяные горы — не более чем холмики, насыпанные кротами, пустячные препятствия, которые исчезнут перед решимостью человека. Но этот подъем длится у них недолго; каждый день задержки наполняет их страхом, и я начинаю бояться, как бы отчаяние не довело их до мятежа.

5 сентября

Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе.

Мы все еще окружены льдами, и нам все еще грозит опасность быть раздавленными. Холод усиливается, и многие из моих несчастных спутников уже нашли смерть в здешних суровых краях. Франкенштейн слабеет день ото дня; в его глазах еще горит лихорадочный огонь; но он до крайности истощен, и когда ему приходится сделать какое-нибудь усилие, он тотчас же снова погружается в забытие, весьма похожее на смертный сон.

Как я писал в моем прошлом письме, я опасался мятежа. Нынче утром, когда я смотрел на изможденное лицо моего друга — глаза его были полузакрыты, и все тело расслаблено, — несколько матросов попросило дозволения войти в каюту. Они вошли, и их вожак обратился ко мне. Он заявил, что он и его спутники — депутация от всего экипажа с просьбой ко мне, в которой я, по справедливости, не могу отказать. Мы затерты во льдах и, быть может, вообще из них не выберемся; но они опасаются, что, если во льду и откроется проход, я буду настолько безрассуден, что пойду дальше и поведу их к новым опасностям, даже когда им удастся счастливо избежать нынешней. Поэтому они настаивают, чтобы я торжественно обязался идти к югу, как только судно освободится из льдов.

Это взволновало меня. Я еще не отчаялся достичь цели и не думал о возвращении, если б нам удалось высвободиться. Но мог ли я, по справедливости, отказать им в их просьбе? Я колебался; и тут Франкенштейн, сперва молчавший и казавшийся настолько слабым, что едва ли даже слушал нас, встрепенулся; глаза его сверкнули, а щеки зарумянились от кратковременного прилива сил. Обратись к матросам, он сказал: «Чего вы хотите? Чего вы требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвлечь от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? А почему славной? Не потому, что путь ее обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов; потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стойкость и проявлять мужество; потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, а вы должны глядеть им в лицо и побеждать их. Вот почему это — славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода, ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, ее убоявшихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы, при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества, отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу в опасности, — бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы, к чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? — проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин и даже больше того: стойкость и непоколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца, он тает; он не устоит перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили и не привыкли поворачиваться к врагу спиной».

Его голос выразительно подчеркивал все высказываемые им чувства; глаза сверкали мужеством и благородством; не удивительно, что мои люди были взволнованы. Они переглядывались и ничего не отвечали. Тогда заговорил я, я велел им разойтись и подумать над сказанным; я обещал, что не поведу их дальше на север, если они этому решительно воспротивятся; но выразил надежду, что вместе с размышлением к ним вернется мужество.

Они разошлись, а я обернулся к моему другу; но он крайне ослабел и казался почти безжизненным.

Чем все это кончится, не знаю; я бы, кажется, охотнее умер, чем вернулся так бесславно, не выполнив своей задачи. Боюсь, однако, что именно это мне суждено; не побуждаемые жадой славы и чести, люди ни за что не станут добровольно терпеть наши нынешние лишения.

7 сентября

Жребий брошен; я дал согласие вернуться, если мы не погибнем. Итак, мои надежды

погублены малодушием и нерешительностью; я возвращаюсь разочарованный, ничего не узнав. Чтобы терпеливо снести подобную несправедливость, надо больше философской мудрости, чем ее имеется у меня.

12 сентября

Все кончено; я возвращаюсь в Англию. Я потерял надежду прославиться и принести пользу людям, — потерял я и друга. Но постараюсь подробно рассказать тебе об этих горьких минутах, милая сестра; и раз волны несут меня к Англии и к тебе, я не буду отчаиваться.

Девятого сентября лед пришел в движение; ледяные острова начали раскалываться, и грохот, подобный грому, был слышен издалека. Нам грозила большая опасность; но так как мы могли лишь пассивно выжидать событий, мое внимание было обращено прежде всего на моего несчастного гостя, которому стало настолько хуже, что он уже не вставал с постели. Лед позади нас трещал; его с силой гнало к северу; подул западный ветер, и 11-го числа проход на юг полностью освободился ото льда. Когда матросы увидели это и узнали о предстоящем возвращении на родину, они испустили крик радости; они кричали громко и долго. Франкенштейн очнулся от забытья и спросил о причине шума. «Они радуются, — сказал я, — потому что скоро вернутся в Англию». — «Итак, вы действительно решили вернуться?» «Увы, да; я не могу противиться их требованиям. Не могу вести их, против их воли, в это опасное плавание и вынужден вернуться». — «Что ж, возвращайтесь; а я не вернусь. Вы можете отказаться от своей задачи. Моя поручена мне небесами; и я отказываться не смею. Я слаб, но духи, помогающие мне в моем отщении, придадут мне достаточно сил».

С этими словами он попытался подняться с постели, но это было ему не по силам; он опрокинулся навзничь и потерял сознание.

Прошло много времени, прежде чем он очнулся; и мне не раз казалось, что жизнь уже отлетела от него. Наконец он открыл глаза; он дышал с трудом и не мог говорить. Врач дал ему успокоительное питье и велел его не тревожить. Мне он при этом сообщил, что часы моего друга сочтены.

Итак, приговор был произнесен, и мне оставалось лишь горевать и ждать. Я сидел у его постели; глаза его были закрыты; казалось, что он спит; но скоро он слабым голосом окликнул меня и, попросив придвинуться ближе, сказал: «Увы! силы, на которые я надеялся, иссякли. Я чувствую, что умираю; а он, мой враг и преследователь, вероятно, жив. Не думайте, Уолтон, что в свои последние минуты я все еще ощущаю ту ненависть и жажду мести, которые однажды высказал; я лишь чувствую, что вправе желать смерти моего противника. В эти дни я много думал над своими прошлыми поступками — и не могу их осуждать.

Увлечшись своей идеей, я создал разумное существо и был обязан, насколько то было в моих силах, обеспечить его счастье в благополучие. Это был мой долг; но у меня был и другой долг, еще выше. Долг в отношении моих братьев-людей стоял на первом месте, ибо здесь шла речь о счастье или несчастье многих. Руководясь этим долгом, я отказался — и считаю, что правильно, — создать подругу для моего первого творения. Он проявил невиданную злобность и эгоизм; он убил моих близких; он уничтожил людей, тонко чувствующих, счастливых и мудрых. Я не знаю, где предел его мстительности. Он несчастен; но чтобы он не мог делать несчастными других, он должен умереть. Его уничтожение стало моей задачей, но я не сумел ее выполнить. Когда мной руководила злоба и личная месть, я просил вас завершить мое неоконченное дело; и я возобновляю эту просьбу сейчас, когда меня побуждают к этому разум и добродетель.

Но я не мог? просить вас ради этой задачи отречься от родины и друзей; сейчас, когда вы возвращаетесь в Англию, мало вероятно, чтобы вы с ним встретились. Я предоставляю вам самому решить, что вы сочтете своим долгом; мой ум и способность суждения уже отуманены близостью смерти. Я не смею просить вас делать то, что мне кажется правильным, ибо мною все еще, быть может, руководят страсти.

Меня тревожит, что он жив и будет творить зло; если б не это, то нынешний час, когда я жду успокоения, был бы единственным счастливым часом за последние годы моей жизни. Тени дорогих мертвых уже видятся мне, и я спешу к ним. Прощайте, Уолтон! Ищите счастья в покое и бойтесь честолюбия; бойтесь даже невинного, по видимости, стремления отличиться в научных открытиях. Впрочем, к чему я говорю это? Сам я потерпел неудачу, но другой, быть может, будет счастливее».

Голос его постепенно слабел; наконец, утомленный усилиями, он умолкнул. Спустя полчаса он снова попытался заговорить, но уже не смог; он слабо пожал мне руку, и глаза его навеки сомкнулись, а кроткая улыбка исчезла с его лица.

Маргарет, что мне сказать о безвременной гибели этого великого духа? Как передать тебе всю глубину моей скорби? Все, что я мог бы сказать, будет слабо и недостаточно. Я плачу; душа моя омрачена тяжелой потерей. Но наш путь лежит к берегу Англии, и там я надеюсь найти утешение.

Но меня прерывают. Что могут означать эти звуки? Сейчас полночь; дует свежий ветер, и вахтенных на палубе не слышно. Вот опять; мне слышится словно человеческий голос, но более хриплый; он доносится из каюты, где еще лежит тело Франкенштейна. Надо пойти и посмотреть, в чем дело. Спокойной ночи, милая сестра.

Великий Боже! Что за сцена сейчас разыгралась! Я все еще ошеломлен ею. Едва ли я сумею рассказать о ней во всех подробностях; однако моя повесть была бы неполной без этой последней, незабываемой сцены.

Я вошел в каюту, где лежали останки моего благородного и несчастного друга. Над ним склонилось какое-то существо, которое не опишешь словами: гигантского роста, но уродливо непропорциональное и неуклюжее. Его лицо, склоненное над гробом, было скрыто прядями длинных волос; видна была лишь огромная рука, цветом и видом напоминавшая тело мумии. Заслышав мои шаги, чудовище оборвало свои горестные причитания и метнулось к окну. Никогда я не видел ничего ужаснее этого лица, его отталкивающего уродства. Я невольно закрыл глаза и напомнил себе, что у меня есть долг в отношении убийцы. Я приказал ему остановиться.

Он остановился, глядя на меня с удивлением; но тут же, снова обернувшись к безжизненному телу своего создателя, казалось, позабыл обо мне, весь охваченный каким-то исступлением.

— Вот еще одна моя жертва! — воскликнул он. — Этим завершается цепь моих злодеяний. О Франкенштейн! Благородный подвижник! Тщетно было бы мне сейчас молить у тебя прощения! Мне, который привел тебя к гибели, погубив всех, кто был тебе дорог. Увы! Он мертв, он мне не ответит.

Тут его голос прервался; первым моим побуждением было выполнить предсмертное желание моего друга и уничтожить его противника; но я колебался, движимый смешанными чувствами любопытства и сострадания. Я приблизился к чудовищу, не смея, однако, еще раз поднять на него глаза, — такой ужас вызывала его нечеловеческая уродливость. Я попробовал заговорить, но слова замерли у меня на устах. А демон все твердил бессвязные и безумные укоры самому себе. Наконец, когда его страстные выкрики на мгновение смолкли, я решился заговорить.

— Твое раскаяние бесполезно, — сказал я. — Если бы ты слушался голоса совести и чувствовал ее укоры, прежде чем простирать свою адскую месть до этой последней черты, Франкенштейн был бы сейчас жив.

— А ты думаешь, — отозвался демон, — что я и тогда не чувствовал мук и раскаяния? Даже он, — продолжал он, указывая на тело, — не испытал, умирая, и одной десяти тысячной доли тех терзаний, какие ощущал я, пока вел его к гибели. Себялюбивый инстинкт толкал меня все дальше, а сердце было отравлено сознанием вины. Ты думаешь, что стоны Клерваля звучали для меня музыкой? Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку; а когда несчастья вынудили его к ненависти и злу, это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь даже вообразить.

После убийства Клерваля я возвратился в Швейцарию разбитый и подавленный. Я жалел, мучительно жалел Франкенштейна, а себя ненавидел. Но когда я узнал, что он, создавший и меня самого, и мои невыразимые муки, лелеет мечту о счастье; что, ввергнув меня в отчаяние, он ищет для себя радости именно в тех чувствах и страстях, которые мне навсегда недоступны, — когда я узнал это, бессильная зависть и горькое негодование наполнили меня ненасытной жадью мести. Я вспомнил свою угрозу и решил привести ее в исполнение. Я знал, что готовлю себе нестерпимые муки; я был всецело во власти побуждения, ненавистного мне самому, но неодолимого. И все же, когда она умерла!.. Нет, я не могу даже сказать, что я страдал. Я отбросил всякое чувство, подавил всякую боль и достиг предела холодного отчаяния. С той поры зло стало моим благом. Зайдя так далеко, я не имел уже выбора и вынужден был следовать по избранному мной пути. Завершение моих дьявольских замыслов сделалось для меня неутолимой страстью. Теперь круг замкнулся, и вот последняя из моих жертв!

Я был сперва взволнован этими полными отчаяния словами; но, вспомнив, что говорил Франкенштейн о его красноречии и умения убеждать, и взглянув еще раз на безжизненное тело моего друга, я снова загорелся негодованием.

— Негодяй! — сказал я. — Что же ты пришел хныкать над бедами, которые сам же принес? Ты бросал зажженный факел в здание, а когда оно сгорело, садишься на развалины и сокрушаешься о нем. Лицемерный дьявол! Если бы тот, о ком ты скорбишь, был жив, он снова стал бы предметом твоей адской мести и снова пал бы ее жертвой. В тебе говорит не жалость; ты жалеешь только о том, что жертва уже недосыгаема для твоей злобы.

— О нет, это не так, совсем не так, — прервал меня демон. — И, однако, таково, как видно, впечатление, которое производят мои поступки. Но я не ищу сострадания. Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия. Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувства любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему мне искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив; а когда умру, все будут клясть самую память обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, о славе и счастье. Когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, какие я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления низвели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список моих злодеяний, я не могу поверить, что я — то самое существо, которое так восторженно поклонялось Красоте и Добру. Однако это так; падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже враг Бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок.

Ты, называющий себя другом Франкенштейна, вероятно, знаешь о моих злодеяниях и моих несчастьях. Но как бы подробно он ни рассказал тебе о них, он не мог передать ужаса тех часов, — нет, не часов, а целых месяцев, когда меня сжигала неутоленная страсть. Я разрушал его жизнь, но не находил в этом удовлетворения. Желания по-прежнему томили меня; я по-прежнему жаждал любви и дружбы, а меня все так же отталкивали. Разве это справедливо? Почему меня считают единственным виновным, между тем как передо мною виновен весь род людской? Почему вы не осуждаете Феликса, с презрением прогнавшего друга от своих дверей? Почему не возмущаетесь крестьянином, который бросился убивать спасителя своего ребенка? О нет, их вы считаете добродетельными и безупречными! И только меня, одинокого и несчастного, называют чудовищем, гонят, бьют и топчут. Еще и сейчас кровь моя кипит при воспоминании о перенесенных мною обидах.

Но я негодяй — это правда! Я убил столько прелестных и беззащитных существ; я душил невинных во время сна; я душил тех, кто никогда не причинял вреда ни мне, ни кому-либо другому. Я обрек на страдания своего создателя — подлинный образец всего, что в человеке достойно любви и восхищения; я преследовал его, пока не довел до гибели. Вот он лежит, безжизненный и холодный. Ты ненавидишь меня; но твоя ненависть — ничто по

сравнению с той, которую я сам к себе чувствую. Я гляжу на руки, совершившие это злодеяние, думаю о сердце, где зародился подобный замысел, и жажду минуты, когда не буду больше видеть этих рук, не буду больше терзаться воспоминаниями и угрызениями совести.

Не опасайся, что я еще кому-либо причиню зло. Мое дело почти закончено. Для завершения всего, что мне суждено на земле, не нужна ни твоя, ни еще чья-либо смерть — а только моя собственная. Не думай, что я стану медлить с принесением этой жертвы. Я покину твой корабль на том же ледяном плоту, который доставил меня сюда, и отправлюсь дальше на север; там я воздвигну себе погребальный костер и превращу в пепел свое злополучное тело, чтобы мои останки не послужили для какого-нибудь любопытного ключом к запретной тайне и он не вздумал создать другого, подобного мне. Я умру. Я больше не буду ощущать тоски, которая сейчас снедает меня, не стану больше терзаться желаниями, которые не могу ни утолить, ни подавить. Тот, кто вдохнул в меня жизнь, уже мертв, а когда и меня не станет, исчезнет скоро самая память о нас обоих. Я уже не увижу солнца и звезд, не почувствую на своих щеках дыхания ветра. Для меня исчезнет и свет, и все ощущения и в этом небытии я должен найти свое счастье. Несколько лет тому назад, когда мне впервые предстали образы этого мира, когда я ощутил ласковое тепло лета, услышал шум листвы и пение птиц, мысль о смерти вызвала бы у меня слезы; а сейчас это моя единственная отрада. Оскверненный злодейством, терзаемый укорами совести, где я найду покой, если не в смерти?

Прощай! Покидая тебя, я расстаюсь с последним, которого увидят эти глаза. Прощай, Франкенштейн! Если б ты еще жил и желал мне отомстить, тебе лучше было бы обречь меня жить, чем предать уничтожению. Но все было иначе; ты стремился уничтожить меня, чтобы я не творил зла; и если, по каким-либо неведомым мне законам, мысль и чувства в тебе не угасли, ты не мог бы пожелать мне более жестоких мук, чем те, что я ощущаю. Как ни был ты несчастен, мои страдания были еще сильнее; ибо жало раскаяния не перестанет растравлять мои раны, пока их навек не закроет смерть.

Но скоро, скоро я умру и уже ничего не буду чувствовать. Жгучие муки скоро угаснут во мне. Я гордо взойду на свой погребальный костер и с ликованием отдамся жадному пламени. Потом костер погаснет; и ветер развеет мой пепел над водными просторами. Мой дух уснет спокойно; а если будет мыслить, то это, конечно, будут совсем иные мысли. Прощай!

С этими словами он выпрыгнул из окна каюты на ледяной плот, причаленный вплотную к нашему кораблю. Скоро волны унесли его, и он исчез в темной дали.

Джозеф Шеридан Ле Фаню Тайна гостиницы «Парящий дракон»

В тот достопамятный 1815 год, когда гений Веллингтона в битве при Ватерлоо развеял в прах последние воспоминания о «Ста днях», мне исполнилось двадцать три. Я унаследовал значительную сумму в консолидированной ренте и других ценных бумагах. В Европу, освобожденную от наполеоновского владычества, хлынул поток английских путешественников, стремящихся расширить свой кругозор. Не остался в стороне и я.

Я следовал на почтовых лошадях из Брюсселя в Париж, придерживаясь дороги, по которой считанные недели назад армия союзников гнала разбитые остатки наполеоновского войска. Движение на ней было чрезвычайно оживленным. Бросив взгляд вперед или обернувшись, вы непременно замечали вдалеке облачко пыли, отмечающее маршрут попутной кареты. Навстречу то и дело попадались почтовые лошади, пыльные и загнанные, возвращающиеся на постоянные дворы, где они были наняты. Для держателей придорожных таверн наступили жаркие деньки. Казалось, весь мир устремился в Париж.

К сожалению, не могу точно описать место, где начались мои необычайные

приключения. Мысли мои были целиком заняты предстоящими каникулами в Париже, и я уделял непростительно мало внимания пейзажу, проплывавшему за окнами кареты. Могу лишь весьма приблизительно сообщить, что место это находилось милях в четырех от окраины живописного городка, название которого я запомнил. Часа за два до заката мы поравнялись с экипажем, попавшим в беду.

Карета была цела, но две передние лошади лежали без движения. Форейторы в высоких сапогах распутывали постромки, на помощь им спешили двое растерянных слуг, явно впервые оказавшихся в такой переделке. В окне кареты виднелась прелестная головка в розовой шляпке. На мгновение обрисовалась изящная линия плеч. Я решил взять на себя роль доброго самаритянина: остановил коляску, соскочил на землю и в сопровождении слуги протянул несчастной руку помощи. Увы! Под шляпкой дама носила плотную черную вуаль. Я не разглядел ничего, кроме тонкого рисунка брюссельских кружев.

В тот же миг из окна выглянул худошавый пожилой джентльмен. Он производил впечатление тяжело больного человека, так как даже в этот жаркий день укутался до самого носа в толстый черный шарф, полностью скрывавший нижнюю часть лица. Джентльмен приподнял шляпу, опустил на мгновение плотный шарф и рассыпался в благодарностях. Говорил он на хорошем французском языке и оживленно жестикулировал.

Помимо успехов в боксе, которому в те годы обучался каждый англичанин, я могу похвастаться разве что хорошим знанием французского языка. Ответ мой, горячо надеюсь, не содержал грамматических ошибок. Раскланявшись, старый джентльмен скрылся в карете, и моим взорам снова предстал очаровательная головка.

Дама, должно быть, слышала, как я разговариваю со слугой, так как обратилась ко мне на прелестном ломаном английском. Голос ее звучал так нежно, что я снова и снова проклинал черную вуаль, подогревавшую мой романтический интерес.

Герб, нарисованный на дверце кареты, поразил меня своей необычностью. Особенно бросилась мне в глаза основная деталь: карминно-красный аист на желтом фоне, который называется «золотым полем». Птица стояла на одной ноге и в когтях другой держала камень. Если не ошибаюсь, в геральдической символике существо это олицетворяет бдительность. С боков щит поддерживали фигуры каких-то животных, но они мне не запомнились.

Изысканные манеры незнакомцев, богатые ливреи слуг, роскошная карета, герб на дверце — все убеждало меня в том, что попутчики мои — люди знатного происхождения.

Как вы понимаете, после такой догадки незнакомая дама отнюдь не потеряла в моих глазах привлекательности. Благородный титул дает богатую пищу для воображения. Я не имею в виду жалких снобов и лакейские душонки. Превосходство в рождении — мощная движущая сила любви. Знатность в нашем представлении неразрывно связана с утонченностью. Мимолетная реплика богатого сквайра дальше продвинет его на пути к сердцу хорошенькой молочницы, чем добропорядочный селянин сумеет пройти за долгие годы ухаживаний. Воистину, мир устроен несправедливо!

Но эта случайная встреча таила в себе нечто большее. Я был недурен собой и знал это. Даже если вы полагаете, что я хвастаюсь, нельзя отрицать, что росту во мне около шести футов. Почему незнакомая дама столь горячо благодарила меня? Разве недостаточно благодарностей, которые выразил мне ее муж — я пришел к выводу, что пожилой джентльмен был ее супругом. Я инстинктивно чувствовал, что дама окидывает меня не совсем равнодушным взглядом; власть его я ощущал даже через вуаль.

Карета отъехала, вздымая шлейф пыли, а некий легкомысленный юноша проводил ее горящим взором и глубоко вздохнул.

Я велел форейторам следовать за каретой, не выпуская ее из виду, и остановиться возле той же почтовой станции, что и незнакомцы. Вскоре мы въехали в небольшой городок. Карета остановилась возле уютной старинной гостиницы «Прекрасная звезда». Незнакомка под руку с пожилым джентльменом вошла в дом.

Мы неторопливо следовали за ними. Я спешил и с самым беспечным видом взойшел на крыльцо.

Самонадеянность сослужила мне дурную службу: мне и в голову не пришло поинтересоваться, в каком номере остановились мои попутчики. Я заглянул в комнату справа от моей, затем слева. Их нигде не было.

Я поднялся на этаж выше. Дверь гостиной была открыта. Напустив на себя самый беззаботный вид, я вошел. В просторной комнате, кроме меня, был всего один человек — очаровательная женщина в той самой шляпке, что в дороге свела меня с ума. Дама стояла ко мне спиной и читала письмо; я не сумел разглядеть, поднята вуаль или опущена.

Я остановился на пороге, не сводя с нее глаз в смутной надежде, что дама обернется, и я увижу ее лицо. Но незнакомка не замечала меня; дочитав письмо, она присела к изящному столику, на котором стояло зеркало в потускневшей раме.

В зеркале отразилась женщина необычайной красоты. Не зная я правды, я мог бы принять ее отражение за портрет, написанный рукой великого мастера.

Она сосредоточенно читала письмо, крепко сжатое в тонких пальцах. Овальное лицо было исполнено легкой грусти и в то же время светилось затаенной чувственностью. Никогда я не встречал таких тонких черт, таких нежных красок. Глаза ее были опущены, и я не видел, какого они цвета, лишь любовался длинными пушистыми ресницами и тонкой линией бровей. Должно быть, письмо было очень интересное — она сосредоточенно замерла, затаив дыхание, и походила на раскрашенную статуэтку.

Зрение мое в молодости отличалось завидной остротой. Я видел это прелестное лицо совершенно отчетливо, разглядел даже тонкие голубые жилки, сбегające вдоль стройной шеи.

Будь я немного благоразумнее, я бы тотчас исчез, постаравшись остаться незамеченным. Но я так залюбовался прелестной незнакомкой, что совсем потерял счет времени. Когда я очнулся, было уже поздно: она подняла глаза. Они оказались большими, того редкого оттенка, какой поэты называют «фиалковым».

Огромные печальные глаза надменно взирали на меня из зеркала. Незнакомка вздрогнула и быстро опустила вуаль.

Мне показалось, что она хочет остаться незамеченной. Я же ловил каждый ее взгляд с таким вниманием, словно от мановения ее руки зависел мой смертный приговор.

Я влюбился в незнакомку с первого взгляда. Да и как было не влюбиться в такую красавицу? Чувство это поразило меня, как удар грома; я по-прежнему жаждал узнать, кто она такая, но теперь мною руководило нечто большее, чем просто любопытство. Я растерял всю свою самонадеянность; мое непрощенное присутствие в одной с ней комнате казалось мне непростительной дерзостью. Но она тотчас развеяла мои сомнения, холодно заявив по-французски:

— Месье, вы, вероятно, не знаете, что эта зала не предназначена для широкой публики.

Однако голос ее звучал по-прежнему нежно и певуче. Я низко поклонился, произнес подобающие извинения и попятился к двери.

Должно быть, вид у меня был смущенный и виноватый, потому что она, словно пытаясь сгладить резкую отповедь, добавила:

— Тем не менее, я рада, что могу еще раз выразить вам благодарность за помощь, такую своевременную и необходимую.

Слова ее звучали холодно, однако смягчившийся тон придал мне храбрости. Она имела все основания забыть случайного встречного, но все-таки она узнала меня и даже сочла нужным тотчас же за кратким упреком еще раз выразить благодарность, в чем не было никакой формальной необходимости.

Эти соображения чрезвычайно льстили моему самолюбию.

Голос ее звучал тихо и робко, она на мгновение обернулась ко второму выходу из комнаты. Мне представилось, что в дверях вот-вот появится ревнивый муж в черном парике. Я не обманулся в своих опасениях: в коридоре послышался гнусавый пронзительный голос, тот самый, что час назад рассыпал мне благодарности из окна кареты. Старик сердито отдавал слугам какие-то распоряжения.

— Месье, настоятельно прошу вас удалиться, — с мольбой произнесла она и сделала знак рукой. Низко поклонившись, я вышел и закрыл дверь.

Ликуя, я сбежал по лестнице и внизу столкнулся с хозяином гостиницы.

Я описал ему комнату, из которой только что вышел, сказал, что она мне очень понравилась, и поинтересовался, не могу ли я снять ее.

— Очень жаль, — ответил хозяин, — но эта комната и две соседние уже заняты.

— Кем?

— Знатными особами.

— Но кто они такие? Должны же у них быть имена и титулы?

— Без сомнения, сударь, но сейчас в Париж стремится столько народу, что мы не успеваем спрашивать у постояльцев имена и титулы — просто запоминаем комнаты, которые они заняли.

— Надолго они остановились?

— Не могу ответить даже на этот вопрос. Мы не спрашиваем у постояльцев таких вещей. Пока гости живут у нас, мы не можем заставить их освободить номера.

— Но мне так понравились эти комнаты! Одна из них, наверное, спальня?

— Да, сэр; как вы знаете, гости обычно не занимают спальни, если не собираются остаться на ночь.

— Что ж, но другие свободные комнаты у вас есть? В любой части здания?

— Разумеется, у меня остались два незанятых номера. Можете, сударь, выбрать любой из них.

— Хорошо, я остаюсь.

Было ясно, что незнакомцы намерены остановиться здесь. По крайней мере, они не собираются уезжать до утра. Я с головой погрузился в неожиданный роман.

Я вошел в свою комнату и выглянул в окно. Оно выходило в гостиничный двор. В стойлах вдоль стен отдыхали взмыленные лошади, другие, свежие и отдохнувшие, готовились в путь. Мостовая была запружена экипажами — преобладали роскошные кареты, принадлежавшие богатым дворянам, но встречались и наемные, наподобие моей, предназначенные для среднего класса, у нас в Англии такие экипажи называют «почтовыми». От кареты к карете, меняя лошадей, суетливо бегали слуги; те, кто не был занят работой, смеясь, прохаживались по двору. Настроение царило оживленное и приподнятое.

Я заметил среди экипажей знакомую дорожную карету и узнал одного из слуг тех самых «знатных особ», что вызвали у меня столь глубокий интерес.

Я бегом спустился по лестнице, распахнул заднюю дверь и очутился на бугристой мостовой. Вокруг кипело деятельное оживление, переполнявшее в те бурные дни все постоянные дворы. Солнце клонилось к закату. Его лучи золотили кирпичные каминные трубы; бочки на шестах, служившие голубятням, пылали, будто охваченные пожаром. В ярких лучах солнца даже самые скучные предметы, на которые в серых рассветных сумерках мы не обратили бы внимания, начинают играть чудесными красками.

Побродив по двору, я подошел к заинтересовавшей меня карете. Слуга запирает дверцы на замок. Я помолчал, разглядывая дверной герб.

— Какой красивый символ — алый аист! — заметил я. — Знатное, должно быть, семейство?

Слуга положил ключ в карман, поднял глаза на меня и саркастически улыбнулся:

— Сами можете догадаться.

Нимало не обескураженный, я применил действенное средство, безотказно развязывающее язык — так называемые «чаевые».

Слуга взвесил в руке наполеондор, перевел взгляд на мое лицо. В глазах его светилось неподдельное изумление.

— Как вы щедры!

— Не стоит. В этой карете прибыли пожилой джентльмен с дамой. Скажи, кто они

такие. Как ты помнишь, я и мой слуга помогли вам сегодня в дороге, когда лошади упали.

— Нам велено называть этого господина графом, а молодую даму — графиней, но я не знаю, кто она ему — жена или дочь.

— Где они живут?

— Клянусь честью, господин, не знаю.

— Не знаешь, где живет хозяин? Да знаешь ли ты о нем хоть что-нибудь, кроме имени?

— Почти ничего, господин. Меня наняли в Брюсселе в день отъезда. Вот месье Пикар, лакей господина графа, состоит у него на службе много лет и знает об этой семье все, но он ни с кем не разговаривает, разве что отдает нам приказания. От него я ничего не выведал. Но мы, слава Богу, едем в Париж, а уж там-то я быстро все разузнаю. А пока что мне известно о господине графе не больше вашего.

— Где я могу найти месье Пикара?

— Ушел к точильщику выправить бритвы. Но не думаю, что он что-нибудь расскажет.

Моя золотая монета принесла скудный урожай. Похоже, слуга говорил правду; владей этот пройдоха хоть одной семейной тайной, он с удовольствием выдал бы ее. Я вежливо откланялся и снова поднялся в комнату.

Я вызвал слугу. Он приехал со мной из Англии, однако по рождению был француз — шустрый парень, он знал все ходы и выходы и мгновенно находил с соотечественниками общий язык.

— Сен-Клер, запри дверь и подойди сюда. Мне необходимо узнать кое-что б знатных господах, занимающих комнаты под моей. Вот тебе пятнадцать франков; разыщи слуг, которым мы помогали в пути, угости их ужином, а по возвращении расскажешь мне все, что знают они. Я уже беседовал с одним из них — он ничего не мог сказать. Другой — забыл, как его зовут — лакей нашего дворянина. Вот его можно попытать как следует. Меня интересует, разумеется, высокородный граф, а не его молодая спутница, понятно? Выспроси все до последней мелочи и передай мне слово в слово. Понял? Беги!

Такое поручение как нельзя лучше соответствовало характеру и наклонностям моего бесценного Сен-Клера. Я давно привык в обращении с ним придерживаться того фамильярного тона, какой в старинных французских комедиях допускается между господином и слугой. Не сомневаюсь, что втайне он посмеивался надо мной, однако держался вежливо и почтительно.

Многозначительно подмигнув и пожав плечами, он удалился. Я выглянул в окно и увидел, как он с невероятной быстротой пробирается по двору. Вскоре он исчез среди экипажей.

Когда день клонится к закату, а человеку печально и одиноко, когда его снедает лихорадочное нетерпение, когда минутная стрелка ползет медленно, как часовая, а часовая вообще застывает на месте, когда истомленный скукой бедолага зевает, барабанит пальцами по подоконнику, расплющивает нос о стекло, насвистывает ненавистные песенки, короче говоря, не знает, куда себя деть, остается лишь сожалеть, что строгие светские правила не позволяют устраивать роскошный обед из трех блюд более одного раза в день.

Однако в те дни, к которым относится мое повествование, ужин все еще считался весьма существенной трапезой. К счастью, его время приближалось. Однако надо было чем-то занять себя на оставшиеся три четверти часа.

Я взял с собой в дорогу двери непритязательные книжки, однако сейчас у меня не было настроения читать. Нераскрытый роман валялся на диване рядом с пледом и тростью; я бы и бровью не повел, если бы герой вместе с героиней утонули в огромной бочке с водой, что стояла под моим окном.

Я пару раз прошелся по комнате, вздохнул, посмотрел в зеркало, поправил пышный галстук, завязанный по последней моде, надел светло-коричневый жилет и синий фрак с позолоченными пуговицами, смочил носовой платок одеколоном (в те времена парфюмерия не баловала нас разнообразием ароматов), аккуратно уложил волосы, которыми втайне гордился. Ныне голова моя сверкает гладкой розовой лысиной, а от вьющейся темно-

каштановой шевелюры осталась лишь дюжина-другая седых волосков. Но не будем вспоминать о грустном. В те годы, как я уже сказал, у меня были густые темно-каштановые кудри, и я уделял туалету немало внимания. Я увенчал свою легкомысленную голову изысканной шляпой, чуть сдвинув ее набекрень под тем самым углом, какой ввел в обиход бессмертный император. «Завершили мое облачение», выражаясь языком сэра Вальтера Скотта, пара тонких французских перчаток и элегантная тросточка, только что вошедшая в моду.

Столь тщательные приготовления к обычной прогулке по Двору захолустной гостиницы могут показаться странными. Я предпринял их исключительно ради прекрасных глаз, которые видел единственный раз в жизни и не мог бы забыть до конца дней своих. Короче говоря, я питал смутную надежду на то, что эти глаза хоть на миг остановятся на изысканном наряде несчастного влюбленного и составят о нем мало-мальски приятное впечатление.

Тем временем начало темнеть; последний солнечный луч угас, в комнате воцарились сумерки. Я тяжело вздохнул и выглянул в окно. Окно этажом ниже также оказалось открыто; до меня донеслись приглушенные голоса. Граф и графиня увлеченно спорили о чем-то, однако я, как ни старался, не мог разобрать ни слова. Я сразу узнал голос мужчины, гнусавый и пронзительный. Такой голос трудно с чем-то спутать. Отвечал ему голос тихий и нежный, тот самый, что ранил мое сердце. Разговор продолжался недолго: мужчина захохотал с дьявольской язвительностью и отошел от окна. Теперь я почти не слышал его. Женщина, судя по голосу, чуть отступила вглубь комнаты, но по-прежнему оставалась недалеко от окна.

Беседа происходила отнюдь не на повышенных тонах. О, я готов был все отдать за то, чтобы это была ссора, жестокая ссора, и я смог бы выступить в роли защитника несправедно обиженной красавицы! Увы! Судя по тону разговора, пара эта была самой дружной и мирной. Через мгновение дама принялась напевать старинную песенку. Нет нужды напоминать, что пение, даже негромкое, разносится куда дальше, чем спокойно произнесенная речь. Я сумел разобрать слова песни. Голос у незнакомки был приятный и нежный; если не ошибаюсь, такой голос называется «полуконтральто». В интонациях было что-то жалобное и, как мне показалось, насмешливое. Я попытался перевести слова песни, пусть неуклюже, зато достаточно точно:

Любовь и Смерть всегда вдвоем
Ждут путника в засаде.
И ночью, и весенним днем
Сулят ему награду.
Жаркий шепот, нежный взгляд —
И закрылась клетка.
Смерть с Любовию разят
Из засады метко.

— Хватит, мадам! — прервал ее голос старика, внезапно сделавшийся злобным. — Не собираетесь же вы развлекать своим пением конюхов и слуг.

Женщина весело рассмеялась.

— Мадам, вам угодно ссориться? — старик с грохотом захлопнул окно, едва не разбив стекла.

Стеклянная перегородка, даже очень тонкая, практически полностью поглощает звук. Я не слышал больше ничего, даже приглушенного разговора.

Какой чудесный голос у графини! Нежный, мелодичный, трепетный! Он поразил меня в самое сердце. О, я готов был шею свернуть этому старому ворону, что осмеливается каркать на поющую Филомелу! «Увы! Так устроена жизнь! — глубокомысленно рассуждал я. — Прелестная графиня, существо, наделенное ангельским терпением, красотой Венеры и

достоинствами всех девяти муз, вынуждена покоряться грубияну-мужу! Она слышала, как я открываю окно, и прекрасно знает, кто занимает комнаты над ней. Нетрудно догадаться, для кого в действительности предназначено ее пение — а ты что заподозрил, глупый старик?»

Охваченный счастливым трепетом, я спустился по лестнице и прошел мимо комнат графини, надеясь, что на пороге появится моя прелестная певица. Я уронил тросточку возле дверей и отнюдь не торопился поднимать ее. Однако Фортуна мне не улыбнулась. Не мог же я целый вечер стоять возле двери, поднимая тросточку. Пришлось спуститься в вестибюль.

Я взглянул на часы — до ужина оставалась еще четверть часа. В те бурные дни все на свете перепуталось. Гостиные мало чем отличались от гостиниц. Люди ничтоже сумняшеся совершали то, о чем в обычных обстоятельствах не могли и помыслить. Почему бы не допустить, что граф и графиня за ужином займут места за общим столом?

Полный самых радужных надежд, я не торопясь спускался в парадную залу гостиницы. Наступила ночь, чарующий лунный свет серебрил окрестности. Мое романтическое приключение все больше занимало меня, и волшебное сияние луны было как нельзя более созвучно моим чувствам. Какой дивный роман ожидает меня, если прелестная незнакомка окажется дочерью графа и к тому же влюбленной в меня! И что за восхитительная трагедия, если графиня — его жена!

Погрузившись в сладкие мечтания, я едва не натолкнулся на незнакомого джентльмена. Был он высок, лет пятидесяти на вид. Он с изысканной вежливостью обратился ко мне. Элегантный костюм, благородные манеры — все выдавало в нем человека знатного, занимающего высокое положение.

Он стоял на верхней площадке лестницы, любясь, подобно мне, игрой лунных теней на булыжной мостовой. Тон его слов, дружелюбный и вместе с тем чуть высокомерный, выдавал французского дворянина старой закалки. Он спросил, не я ли тот самый мистер Беккет, что прибыл из Лондона? Я ответил утвердительно. Он назвался маркизом д'Армонвиллем (при этих словах он почему-то понизил голос) и выразил готовность представить мне письмо от лорда Р., который был знаком с моим отцом и когда-то сделал мне небольшое одолжение. Лорд Р., пэр Англии, занимал очень высокое положение в политической иерархии страны и считался наиболее вероятным кандидатом на пост английского посланника в Париже. Я с поклоном взял письмо и прочитал:

Разрешите представить Вам моего близкого друга, маркиза д'Армонвилля. Вы весьма обяжете меня, если сумеете помочь маркизу и мне в одном чрезвычайно серьезном деле, характер которого он Вам объяснит.

По утверждению лорда Р., богатство маркиза, его близкое родство с древнейшими фамилиями страны и положение при дворе обратили на себя внимание Его Величества: король дал маркизу важное поручение, тесно связанное с делами французского правительства. Я ничего не понимал; последующие строки письма лишь усилили мое замешательство.

Кстати, вчера ко мне заходил Уолтон. Он сообщил, что Ваше нынешнее положение находится под угрозой; в Домвелле, без сомнения, что-то затевается. Как Вы понимаете, мне крайне неудобно вмешиваться в Ваши дела даже таким незначительным образом. Но, не желая показаться навязчивым, все же советую Вам поручить Хэкстону как следует во всем разобраться и представить немедленный отчет. Боюсь, положение очень серьезно. Должен пояснить, что по причинам, о которых Вы вскоре узнаете, маркиз, с согласия наших общих друзей, будет некоторое время держать свой титул в тайне и называться просто месье Дроквилль.

В настоящий момент я отъезжаю в город и не могу больше ничего сообщить Вам.

Искренне Ваш, Р.

Я был в полном недоумении. Едва ли я мог назвать себя близким другом лорда Р. Я не знал ни одного человека по имени Хэкстон, а Уолтон был всего лишь торговцем, у которого я покупал шляпы. Однако письмо лорда было явно адресовано близкому другу! Я взглянул на обратную сторону письма, и загадка разрешилась. На конверте значилось имя адресата:

Джорджу Стенхоупу Беккету, сквайру, члену парламента.

Меня же звали просто Ричард Беккет.

Я в ужасе поднял глаза на маркиза.

— О, господин мар... то есть месье Дроквилль, приношу вам тысячу извинений. Моя фамилия действительно Беккет, и лорд Р. в самом деле немного знаком со мной. Но письмо предназначено не мне. Меня зовут Ричард Беккет, а оно адресовано мистеру Стенхоупу Беккету, государственному деятелю. Произошло прискорбное совпадение. Могу лишь поклясться честью джентльмена, что сохраню содержание письма в глубокой тайне.

Всем своим видом я выражал искреннюю досаду и самые добрые намерения. Маркиз, видимо, поверил в мою честность, так как лицо его, на миг потемневшее в замешательстве, озарилось добродушной улыбкой. Он протянул мне руку.

— Нимало не сомневаюсь, месье Беккет, что вы сохраните мою тайну. И, раз уж судьба решила сыграть со мной злую шутку, я благодарю свою счастливую звезду за то, что она послала мне вас, человека честного и добропорядочного. Надеюсь, месье Беккет, вы позволите называть вас моим другом?

Я искренне поблагодарил маркиза за добрые слова. Он продолжал:

— Сударь, разрешите пригласить вас в Клеролвилль, мое поместье в Нормандии. Пятнадцатого августа там соберутся мои друзья, и я буду раз познакомить вас с ними.

Я поблагодарил его за гостеприимство. Он добавил:

— По причинам, о которых вы догадываетесь, в настоящее время я не могу принимать друзей в своем парижском доме. Надеюсь, вам не составит труда сообщить мне, в каком отеле вы намерены остановиться по прибытии в Париж; вы убедитесь, что, хотя маркиз д'Армонвилль отсутствует в городе, месье Дроквилль не намерен терять вас из виду.

Я охотно сообщил ему название отеля.

— Я буду поддерживать с вами связь на случай, если месье Дроквилль сможет быть чем-нибудь вам полезен. Я сумею устроить так, что вы легко сможете при необходимости уведомить меня.

Я был польщен. Маркиз сразу пришелся мне по душе. Такие мгновенные симпатии нередко перерастают в крепкую дружбу. В то же время я вполне допускал, что маркиз из простого благоразумия стремится поддерживать добрые отношения с невольным обладателем политической тайны, даже такой незначительной.

Маркиз откланялся и поднялся к себе в номер, я же остался на лестнице и с минуту обдумывал неожиданное происшествие. Однако воспоминания о прелестных глазах, чарующем голосе и стройной фигурке прекрасной незнакомки быстро вытеснили странного маркиза из моих мыслей. Я рассеянно блуждал по тихой улице, залитой таинственным сиянием луны, преобразившим серые дома, такие будничные при свете дня, в волшебную декорацию для моего романтического приключения.

Побродив немного, я вернулся в гостиницу. Там воцарилось затишье. Во дворе, всего час назад кипевшем шумной суетой, не было никого, если не считать стоявших повсюду экипажей. Видимо, в это время накрывали ужин для слуг. При свете луны я без помех разыскал карету моей возлюбленной и задумчиво прошелся вокруг нее. Я понимал, что глуп и сентиментален, как всякий влюбленный юноша моих лет. Шторки на окнах были опущены, двери, наверно, заперты. Полная луна заливала двор ярким светом. Карета отбрасывала на мостовую резкую тень, на которой можно было различить силуэты колес, осей, рессор — все детали ее устройства. Я внимательно рассмотрел гербовый щит на двери. О, сколько раз ее глаза останавливались на нем! Я погрузился в упоительные мечтания. Из задумчивости меня

вывел хриплый голос за спиной:

— Красный аист — здорово! Аист — птица хищная, бдительная и жадная, ловит глупых пескарей. И красная — красная, как кровь! Ха-ха-ха! Подходящий символ.

Я обернулся — передо мной стоял высокий человек в форме французского офицера. Никогда в жизни я не видел такого бледного лица. Широкое и злобное, оно было обезображено глубоким шрамом, тянувшимся через нос и бровь.

Офицер вздернул подбородок, изогнул бровь в издевательской ухмылке и добавил:

— Как-то раз я подстрелил аиста из винтовки, когда он летал под облаками и думал, что ему ничто не грозит! Просто так, ради развлечения! — Он злобно захохотал. — Знаете, сударь, если за дело берется человек вроде меня — энергичный, в здравом уме, прошедший, *parbleu*, со штыком в руках всю Европу — если он ставит себе целью раскрыть тайну, схватить за руку воров, вывести преступников на чистую воду, он наверняка добьется своего. Ха-ха-ха! Прощайте, сударь!

Он повернулся на каблуках и размашисто зашагал к воротам.

В те дни французские военные пребывали далеко не в лучшем расположении духа. Любым иностранцам, а англичанам в особенности, трудно было ждать от них любезности. Тем не менее, было ясно, что бледный, как смерть, офицер относил свои угрозы явно не ко мне. Его душу жгло какое-то давнее воспоминание, под влиянием которого он обрушил на графский герб всю накопившуюся ярость.

И все-таки он не на шутку напугал меня. Мы всегда вздрагиваем, когда, полагая, что находимся одни, отдаемся на волю собственных мыслей и вдруг обнаруживаем, что за всеми нашими чудачествами исподтишка наблюдает нежданный зритель. Эффект неожиданности еще усилился отчасти из-за необычайного уродства незнакомца, отчасти оттого, что чудовищное лицо всплыло совсем рядом со мной, буквально нос к носу. В ушах у меня до сих пор звучала странная речь незнакомца, полная ненависти и затаенных угроз. Да, тут было над чем поработать пылкому воображению влюбленного.

Однако пора было идти к ужину. Кто знает, какие неожиданные сведения о предмете моих воздыханий удастся выудить из обрывков застольных разговоров?

Я вошел в комнату и внимательно оглядел собравшихся. За столом сидело человек тридцать. В те суматошные дни постояльцам стоило немалых усилий добиться от слуг, чтобы те, усталые и запыхавшиеся, приносили ужин в номера. Менее настойчивым, если они не собирались умирать с голоду, оставалось лишь ужинать в гостинной за общим столом. Среди собравшихся не было ни графа, ни его прелестной спутницы. Однако маркиз д'Армонвиль, которого я менее всего ожидал встретить в общественном месте, с понимающей улыбкой указал на стул рядом с собой. Я повиновался. Видимо удовлетворенный, он тотчас завел светский разговор.

— Вы, должно быть, впервые во Франции? — спросил он.

Я подтвердил.

— Не считите за дерзость мой дружеский совет. Париж — одно из самых опасных мест для пылкого богатого юноши. На вашем месте я бы не рискнул ехать туда в одиночку. Если у вас нет опытного друга, который сопровождал бы вас во время путешествия... — Он помолчал.

Я сказал, что спутника у меня нет, однако я в состоянии сам позаботиться о себе. В Англии я достаточно повидал жизнь и, полагаю, человеческая натура одинакова во всех странах. Маркиз с улыбкой покачал головой.

— Вы непременно заметите различия, и весьма существенные, — возразил он. — Каждой нации свойственны определенные черты характера и особенности умственного склада. В преступной среде эти особенности преломляются в характерный почерк, отличающий мошенников разных стран. Класс людей, добывающих пропитание собственной изворотливостью, в Париже в три-четыре раза многочисленнее, чем в Лондоне, и живут они гораздо богаче; кое-кто даже утопает в роскоши. Изысканностью манер и образом жизни эти жулики не уступают высшему свету. И они куда изворотливее лондонских бандитов,

действуют изобретательно, с вдохновением, проявляют недюжинные актерские способности, которых вашим соотечественникам явно недостает. Мошеннические уловки их нередко сродни искусству; живут же они в основном игрой.

— В Лондоне тоже немало карточных мошенников.

— Да, но здесь это происходит совсем по-другому. Шулеры постоянно обитают возле карточных столов, они *HaViTuees* в бильярдных, на скачках, везде, где идет игра по-крупному. Действуют они тонко, так, что комар носа не подточит. Они превосходно вычисляют шансы, прибегают к помощи сообщников, к подкупу и другим ухищрениям. Для каждого зеленого новичка у них находятся новые жульнические приемы. Да, это происходит везде; однако только в Париже мошенничество совершается столь утонченно, с таким *finesse*. Вы не раз встретите модно одетых людей с великолепными манерами, изысканной речью. Живут они на широкую ногу; богатству их завидуют даже парижские буржуа, искренне полагающие, что люди эти занимают очень высокое положение в обществе. Они обитают в роскошных дворцах, обставленных с утонченным вкусом; дворцы эти часто посещаются знатными иностранцами и, как ни прискорбно, молодыми глупыми французами. Во всех этих дворцах идет большая игра. Сами хозяева редко участвуют в ней, предпочитая держаться в тени; это фигуры подставные. Они предоставляют полную свободу действий своим сообщникам, те заманивают наивных гостей в сети и обирают до нитки.

— Но я слышал, как один молодой англичанин, сын лорда Руксбери, не далее как в прошлом году дочиста разорил два парижских игорных стола.

— Видно, — засмеялся маркиз, — вы намерены повторить его подвиг. Я в вашем возрасте тоже предпринял нечто подобное. Начал я ни больше, ни меньше с пятисот тысяч франков и вознамерился выйти в победители, просто удваивая ставки. Я не раз слышал о таком приеме и наивно полагал, что шулеры, истинные хозяева стола, ничего о нем не подозревают. Однако вскоре я обнаружил, что они не только превосходно знакомы с этой тактикой, но и обладают действенным оружием против нее. Они применили правило, запрещающее удваивать ставки более четырех раз подряд, и, не успев начать, я остался без гроша в кармане.

— А это правило все еще в силе? — обескуражено спросил я.

— Разумеется, в силе, мой юный друг, — рассмеялся он и пожал плечами. — Люди, живущие игрой, понимают в ней куда больше новичков. Я вижу, вы выработали тот же самый план и прибыли сюда хорошо подготовленным.

Я поведал маркизу, что замыслы мои простираются гораздо дальше. Я привез для игры тридцать тысяч фунтов стерлингов.

— Вы знакомы с моим добрым другом, лордом Р.; помимо уважения к нему, я питаю симпатию к вам лично, поэтому не сочтите мой совет излишне навязчивым.

Я искренне поблагодарил его за участие и пообещал, что непременно прислушаюсь к любому его совету.

— В таком случае послушайте меня, — сказал он. — Оставьте деньги в том банке, где они сейчас лежат, и не прикасайтесь к ним. Не ставьте в игорном доме ни единого наполеондора. В ту ночь, когда я вознамерился сорвать банк, я потерял семь или восемь тысяч фунтов стерлингов в пересчете на английские деньги. В следующий раз я получил приглашение в один из тех великосветских игорных домов, что скрываются под видом частных особняков; там меня спас от разорения некий господин. С тех пор мое уважение к нему возрастает год от года. По счастливому совпадению, он находится сейчас в этой гостинице. Я узнал его слугу и нанес краткий визит. Он не изменился; все так же добр, отважен и в высшей степени достоин уважения. Человек, о котором я говорю, — граф де Сен-Алир. Он происходит из чрезвычайно древнего рода. Ныне он совершенно удалился от светской жизни; я объясню, почему. Пятнадцать лет назад не было человека отзывчивее его. Он и сейчас честнейший и разумнейший человек на свете, если не считать одной странности.

— Какой? — я сгорал от нетерпения.

— Недавно он женился на очаровательной девушке, лет на сорок пять его моложе, и,

разумеется, ужасно ревнует, хотя и совершенно беспочвенно.

— А что графиня?

— Графиня во всех отношениях достойна такого замечательного мужа, — сухо ответил он.

— Нынче вечером я слышал пение; полагаю, это была она.

— Возможно; графиня очень утонченная натура. — Помолчав немного, он продолжил: — Мне нельзя упускать вас из виду. Я сгорю со стыда, если при встрече с моим другом лордом Р. вы будете вынуждены сообщить ему, что в Париже вас обчистили. Богатый англичанин с крупной суммой во французском банке, молодой, беспутный — на такую добычу тотчас слетятся вурдалаки и гарпии со всего Парижа.

В этот миг мой сосед справа толкнул меня локтем в бок. Он не намеревался меня задеть, просто слишком резко повернулся на стуле.

— Клянусь честью солдата, нет на свете шкуры, на которой дырки заживали бы быстрее, чем у меня.

Голос был хриплым и зычным; я подскочил на месте. Это был тот самый офицер, чье мертвенно-бледное лицо нагнало на меня страху в гостиничном дворе. Он яростно вытер рот и, отхлебнув вина, продолжал:

— Верно говорю, в жилах у меня не простая кровь, а ихор — кровь богов! Я уж не говорю о росте, мускулах, крепких костях и даже о храбрости; отнимите у меня все это, и, клянусь честью, я голыми руками разорву на куски голодного льва, вобью ему зубы впасть и задушусь его же собственным хвостом! Отнимите у меня все, чем наделила природа, и все равно я в битве буду стоять шестерых, потому что на мне любая рана заживает, как на собаке. Разорвите меня в клочья — я срastусь заново быстрее, чем ваш портной пришьет пуговицу. Черт возьми, господа, видели бы вы меня голым! Вам бы стало не до смеха. Взгляните на мою руку — я заслонил голову, и сабля разрубила мне ладонь до кости. Три стежка — и через пять дней я играл в мяч с английским генералом! Дело было в Мадриде, возле монастыря Санта-Мария-де-ла-Кастита, а в плен мы его взяли при Арколе. Вот была заварушка, клянусь дьяволом! Дыма было столько, что вы, господа, задохнулись бы в пять минут; Я получил две мушкетные пули в бедро, заряд дробы в лодыжку, удар пикой в левое плечо, порцию шрапнели в левую лопатку, штыковую рану в хрящи правых ребер, да в придачу мне саблей снесли кусок мяса с груди и заехали ядром прямо в лоб. И что же, господа? Да вы не успели бы и глазом моргнуть — через восемь с половиной дней мы шли форсированным маршем, босиком, и я был душой нашего взвода, здоров, как бык!

— Bravo! Bravissimo! per Vacco! Un gallant uoto! — в воинственном запале восклицал маленький толстый итальянец, производивший зубочистки и плетеные корзины на острове Нотр-Дам. — Слава о ваших подвигах прокатится по всей Европе! Вашей кровью можно написать историю этих войн!

— Пустяки, не стоит! — заявил бравый солдат. — На завтра в Линьи мы стерли пруссаков в порошок. Осколок ядра задел меня по ноге и вскрыл артерию. Фонтан был высотой с печную трубу, в полминуты я потерял целый котел крови. Тут бы мне и конец, но я с быстротой молнии обмотал ногу кушаком, вырвал у мертвого пруссака штык и соорудил турникет. Кровь перестала течь, и я спасся. Но, *sacre Bleu*, господа, сколько крови я потерял! С тех пор я и хожу бледный, как тарелка. Ну да ничего. Не страшно. Эта кровь пролита за правое дело, господа. — Он снова приложился к бутылке *vin ordinaire*.

В продолжение этой речи маркиз отрешенно закрыл глаза, словно собеседник вызывал у него неодолимое отвращение.

— Гарсон, — бросил через плечо офицер, — кто прибыл в дорожной карете, что стоит посреди двора? Темно-желтой с черным, на дверце герб в виде красного аиста?

Официант не знал. Офицер помрачнел и, казалось, отрешился от общей беседы. Внезапно его потухший взгляд загорелся, остановившись на мне.

— Прошу прощения, сударь, — сказал он. — Не вы ли нынче вечером вместе со мной разглядывали эту карету? Не знаете ли, кто в ней приехал?

— Полагаю, граф и графиня де Сен-Алир.
— Они остановились здесь, в «Прекрасной Звезде»?
— Их номер наверху, — ответил я.

Он вскочил, едва не опрокинув стул, но тотчас сел, вполголоса выругавшись.
Я не мог понять, испугался он или разозлился.

Я обернулся к маркизу, но он исчез. Постояльцы один за другим вставали из-за стола; вскоре ужин закончился.

Ночь выдалась прохладная, в очаге тлела пара крупных поленьев. Возле камина стояло большое резное кресло с высокой спинкой; по всей видимости, оно знавало времена Генриха IV. Я опустил в него.

— Гарсон, — позвал я. — Вы, случаем, не знаете, кто этот офицер?
— Полковник Гайяр.
— Он часто бывает здесь?
— Заезжал как-то на недельку, год назад.
— В жизни не видал такого бледного лица.
— Да уж точно. Его иногда принимают за привидение.
— У вас есть бутылка хорошего бургундского? — Лучшее во Франции, сударь.
— Подайте ее сюда. И стакан. Могу я посидеть полчасика?
— Разумеется.

Я удобно устроился у очага. Вино было отличное, и мысли мои приняли романтический оборот. «О, прелестная графиня! Прелестная графиня! Суждено ли мне узнать вас ближе?»

Если человек скакал без передышки целый день, обозревая с каждого холма все новые виды, если он доволен собой и его ничто не тревожит, если он плотно поужинал и удобно устроился в кресле у камина, никто не упрекнет его за то, что он на минуту вздремнул.

В четвертый раз наполнив стакан, я внезапно заснул. Голова моя свесилась на грудь, шея затекла; и верно говорят, что французская кухня не способствует приятным сновидениям.

Мне снилось, что я нахожусь в огромном темном соборе. Свет падал лишь от четырех тонких свечек, стоявших по углам высокого помоста, занавешенного черным. На нем под черным покрывалом лежало мертвое тело графини де Сен-Алир. В соборе было пусто и холодно, тусклое пламя свечей едва разгоняло темноту. Собор был по-готически унылым. Моя фантазия наполняла сумрачную мглу ужасными видениями. На каменных плитах прохода мне слышались шаги двух человек. Им вторило гулкое эхо, подчеркивавшее громадные размеры храма. На меня навалилось предчувствие чего-то ужасного; вдруг тело, неподвижно лежавшее на катафалке, произнесло леденящим шепотом: «Спасите! Меня хоронят заживо». Я хотел пошевелиться, но не смог. Меня сковал страх.

Из темноты появились двое, те самые, чьи шаги я слышал. Один из вошедших, граф де Сен-Алир, подложил под голову графини длинные тощие руки. Другой, мертвенно-бледный полковник со шрамом, светился адским торжеством. Он обхватил графиню за ноги, и они приподняли тело. Нечеловеческим усилием я разбил сковавшие меня чары и с криком вскочил на ноги.

Я проснулся; на меня смотрело бледное, как смерть, злобное лицо полковника.

— Где она? — выпалил я.
— Это смотря о ком вы говорите, сударь, — ответил полковник.
— О небо! — Озираясь, я хватал ртом воздух.

Полковник, смерив меня саркастическим взглядом, вернулся к недопитой чашке *café noir*, распространявшей приятный аромат бренди.

Я задремал и видел сон, а проснувшись, не сразу понял, где я нахожусь, пояснил я, с трудом сдержав более крепкие выражения, просившиеся на язык.

— Вы тот самый господин, что занимает комнату над номером графа и графини де Сен-

Алир? — Он задумчиво прикрыл один глаз.

— Полагаю, да, — ответил я.

— Что ж, юноша, как бы однажды ночью вам не приснился куда более страшный сон, — загадочно бросил полковник и захохотал. — Куда страшнее, — повторил он.

— Что вы имеете в виду?

— А вот это я сам хотел бы знать, — ответил полковник. — И я добьюсь правды. Если уж я ухватился за кончик нити, то, как она ни вейся, туда-сюда, туда-сюда, я ее, мало-помалу распутаю, дознаюсь, что тут кроется. Таков уж я — хитер, как пять лисиц, всегда начеку, как ласка! Черт возьми, вздумай я заделаться шпионом, мог бы состояние сколотить. Хорошее тут вино? — Он с подозрением взглянул на мою бутылку.

— Отличное, — ответил я. — Не выпьете ли стаканчик?

Он выбрал самый большой стакан, церемонно поклонился и медленно осушил его.

— Тьфу! Совсем не то, что надо, — заявил он, наполняя его снова. — Попросили бы меня, я бы знал, что заказать; они бы не осмелились принести вам это пойло!

Я поспешил поскорее, насколько позволяла вежливость, отделаться от этого человека и, надев шляпу, вышел на улицу, не имея при себе другого спутника, кроме крепкой трости. Я завернул во двор и поднял мечтательный взгляд на окна графини — они были закрыты. На мою долю не выпало даже слабого утешения — полюбоваться светом в ее окнах, представить, что в этот самый миг моя прекрасная незнакомка пишет письмо, или читает, или просто сидит и думает... о ком?

Я мужественно снес это испытание и решил немного прогуляться по городу. Не стану утомлять читателя описаниями лунного света и прочих красот; вам и так ясно, о чем раздумывает юноша, с первого взгляда влюбившийся в прелестное лицо. Скажу только, что через полчаса, возвращаясь с прогулки окольным путем, я очутился на небольшой площади, обрамленной высокими домами. Посреди нее на пьедестале возвышалась древняя статуя из грубого камня, иссеченная ветрами многих столетий. Этой статуей любовался высокий стройный мужчина. Я тотчас узнал его — это был маркиз д'Армонвилль. Он тоже заметил меня, подошел и со смехом пожал плечами:

— Удивляетесь, что месье Дроквилль среди ночи любит старинными камнями? Чем не займешься, лишь бы убить время. Вы, вижу, тоже страдаете от скуки. Ох уж эти заштатные городки! До чего же тоскливо в них жить! Я даже готов пожалеть, что когда-то свел дружбу с одним человеком, поскольку теперь эта дружба обрекла меня на прозябание в захолустном городишке. Вы отправляетесь в Париж утром?

— Я уже заказал лошадей.

— Что до меня, я вынужден ждать либо письма, либо прибытия одного моего знакомого. Трудно сказать, когда это случится.

— Могу ли быть вам полезен? — начал я.

— Нет, сударь, тысяча благодарностей. Роли давно распределены. Я всего лишь актер-любитель, и только дружеские чувства заставили меня принять участие в этом спектакле.

Мы медленно шли в сторону «Прекрасной Звезды». Он рассыпался в благодарностях еще некоторое время, затем наступило молчание. Я спросил, знает ли он полковника Гайяра.

— О да, разумеется. Он немного не в своем уме — давняя рана в голову. Страдает галлюцинациями — мерещится черт знает что. Довел все военное министерство до белого каления. Ему подыскивали какое-то занятие, естественно, не в действующей армии, но в эту войну Наполеон, у которого каждый солдат был на счету, поставил его командовать полком. Дерется он отчаянно, а такие люди нужны императору.

В городке была еще одна гостиница — «Французское Экю». Возле ее дверей маркиз остановился, пожелал мне доброй ночи и исчез.

Я медленно побрел к гостинице. Под сенью тополей я встретил официанта, подававшего мне в гостинице бутылку бургундского, и решил расспросить его о полковнике.

— Вы сказали, что полковник Гайяр однажды прожил у вас неделю.

— Да, господин.

— Как, по-вашему, он в своем уме?

Юноша выпучил глаза.

— Вполне.

— А за ним когда-нибудь замечались странные выходки?

— Ни разу, господин. Иногда, правда, бывает немного шумноват, но в целом это очень здравомыслящий человек.

— И что я должен думать? — пробормотал я, направляясь дальше. Вскоре вдали показались огни «Прекрасной Звезды». Возле дверей, в полосе лунного света, стояла карета, запряженная четверкой лошадей. В вестибюле шла яростная перебранка, в которой громче других раздавался голос полковника Гайяра.

Молодежь нередко с удовольствием наблюдает чужие ссоры. Однако чутье подсказало мне, что на этот раз мне не удастся остаться в стороне. Я ворвался в вестибюль. Главным героем в этом спектакле был, несомненно, полковник. Лицом к лицу с ним стоял старый граф де Сен-Алир в дорожном костюме; лицо его, как обычно, скрывал черный шелковый шарф. Полковник преграждал ему путь к экипажу. Чуть позади графиня в дорожном платье и черной вуали держала в руках белую розу. Полковник воплощал собой дьявольскую злобу и ненависть: на лбу его вздулись жилы, глаза выкатывались из орбит. Он выкрикивал страшные проклятия, скрипел зубами, на губах выступила пена. Вдруг он выхватил шпагу.

Хозяин гостиницы безуспешно пытался успокоить разъяренного постояльца. Два официанта, бледные от страха, беспомощно дрожали в стороне. Полковник визжал, топал ногами и размахивал обнаженной шпагой.

— Ах вы, кровавые хищные птицы! Как я вас сразу не узнал! Вот не думал, что у вас хватит наглости ездить по людным дорогами жить в гостиницах, под одной крышей с честными людьми! Вы... вы оба... вампиры, волки, упыри! Зовите жандармов, говорю вам! Попробуйте только шаг сделать к двери! Клянусь святым Петром я всеми дьяволами, отрублю вам головы!

На миг я застыл от изумления. Вот это да! Я подошел к даме — она в отчаянии оперлась на мою руку.

— О! Месье! — прошептала она. — Что это за безумец? Что нам делать? Он нас не пускает; он убьет моего мужа!

— Не бойтесь, мадам, — с романтической горячностью ответил я и встал между графом и Гайяром. Тот извергал ругательства. — Придержи язык и убирайся с дороги, грубиян, трус, невежа! — крикнул я.

Леди тихо ахнула, вознаградив меня за храбрость. Обезумевший вояка на миг изумленно замер.

Однако я оказался проворнее. Когда полковник, не видя ничего перед собой, замахнулся шпагой, я схватил трость и ударил его в висок тяжелым набалдашником. Он пошатнулся; я нанес еще один удар — он замертво рухнул на пол.

Меня захлестнула целая буря чувств, одновременно воинственных и радостных. В этот миг я не дал бы за жизнь полковника и ломаного гроша. Я переломил шпагу полковника пополам и выбросил обломки на улицу. Старый граф де Сен-Алир опустил глаза и, никого не поблагодарив, проворно ускользнул — бочком, бочком, в дверь, по лестнице, в карету. Я тотчас же оказался возле графини, брошенной на произвол судьбы, предложил ей руку и проводил к карете. Она вошла; я захлопнул дверцу. Никто не произнес ни слова. Я хотел спросить, не угодно ли графине дать мне какое-либо поручение. Рука моя легла на нижний край открытого окна.

Графиня робко накрыла мою руку ладонью. Едва не касаясь губами моей щеки, она торопливо шепнула:

— Может быть, я больше не увижу вас, но никогда, никогда не забуду. Прощайте. Бога ради, прощайте!

Я на мгновение сжал ее руку. Дрожащими пальцами она вложила мне в ладонь белую розу, которую прижимала к груди в продолжение трагической сцены.

Граф ничего не заметил — яростно чертыхаясь, он отдавал приказания слугам. Те еле двигались, будто оглушенные — дикое происшествие в вестибюле и мой ловкий выпад выбили их из колеи. Теперь, когда опасность миновала, они проворно вскочили на лошадей. Форейторы взмахнули кнутами, лошади рысью рванулись с места, и карета покатилась по тихой улочке в сторону Парижа, унося с собой мое самое драгоценное сокровище.

Я глядел вслед, пока экипаж не скрылся из виду.

С глубоким вздохом я спрятал на груди белую розу — прощальный залог любви, драгоценный тайный дар. Ничей нескромный взор не заметил, как она передала его мне.

Стараниями владельца гостиницы и его помощников раненый герой сотни боев был поднят с пола и водружен около стены. Для устойчивости его с двух сторон подперли чемоданами, влили в горло стакан бренди, не забыв включить его в счет. Впервые в жизни эта могучая глотка не сумела проглотить божественный напиток.

Послали за доктором. В этом городке практиковал бывший военный хирург, проворный лысый человечек в очках, после битвы при Эйлау отрезавший, по собственным подсчетам, восемьдесят семь ног и рук. Не так давно он ушел в отставку и, имея при себе лишь шпагу, пилу, пластырь да воспоминания о былой славе, поселился в родном городе. Осмотрев проломленный череп храброго полковника, сей эскулап пришел к выводу, что герой потерпел сильное сотрясение мозга и теперь будет вынужден продемонстрировать все свои хваленые способности к самозаживлению, причем менее чем двумя неделями в постели он не отделается.

У меня мурашки поползли по коже. Мне отнюдь не улыбалось, чтобы увеселительная поездка, в которой я намеревался срывать банки, разбивать сердца, но пришлось, как видите, разбивать головы, окончилась на виселице или на гильотине — я не знал, какое именно устройство узаконено теперь для смертной казни, слишком уж часто менялась политическая обстановка.

Апоплексически хрипящего полковника перенесли в комнату.

В дверях столовой меня ждал хозяин. Я хорошо знал важное правило: если вам довелось применить силу, то, сколь бы вескими ни были ваши оправдания, забудьте об экономии. Лучше превысить черту благоразумия в сто раз, чем оказаться хоть на йоту ниже нее. Поэтому я заказал бутылку самого лучшего вина, усадил хозяина за стол и щедро наливал ему в пропорции два стакана к одному своему. Затем выразил надежду, что он не откажется принять небольшой сувенир от гостя, восхищенного пребыванием в сей славной гостинице, и вложил ему в руку тридцать пять наполеондоров. При виде кошелька настроение хозяина, до той поры отнюдь не благосклонное, мгновенно переменилось к лучшему. Он проворно опустил монеты в карман, рассыпался в благодарностях, и я понял, что теперь между нами установились самые добрые отношения.

Я тотчас же завел разговор о разбитой голове полковника. Мы сошлись во мнении, что, если бы я не пристукнул его слегка своей тросточкой, он бы обезглавил половину постояльцев «Прекрасной Звезды». И каждый слуга в заведении готов был клятвенно подтвердить то же самое.

Читатель легко догадается, что в моем стремлении поскорее отбыть в Париж мною руководила отнюдь не только боязнь судебного преследования. Судите сами, в какое отчаяние я пришел, когда выяснилось, что нынче вечером в городке ни за какие деньги нельзя раздобыть лошадей. Последнюю пару в гостинице «Французское Экю» нанял некий господин, столовавший в «Прекрасной Звезде». Ему необходимо отбыть в Париж немедленно.

Кто же этот господин? Уехал ли он уже? И нельзя ли уговорить его обождать до утра?

Господин этот находится у себя в номере, собирает вещи, был ответ. Зовут его месье Дроквилль.

Я взбежал по лестнице. В комнате ждал Сен-Клер, мой слуга. При виде него мысли мои приняли другое направление.

— Ну, Сен-Клер, ты выяснил, кто такая эта леди? — спросил я.

— То ли жена, то ли дочь старого графа де Сен-Алира; нынче ночью его едва не

изрубил в капусту тот самый генерал, кого вы, сударь, хвала Создателю, уложили в постель метким ударом.

— Придержи язык, болван! Тот человек просто напился вдрызг и зол на весь мир. При желании он бы рассказал... ну да ладно. Упакуй мои вещи. Ты знаешь, где комната месье Дроквилля?

Еще бы ему не знать; он всегда знал все на свете.

Полчаса спустя мы с месье Дроквиллем следовали в Париж в моей карете, запряженной его лошадьми. Я набрался храбрости и спросил маркиза д'Армонвилля о даме, сопровождавшей графа.

— Это и есть графиня? Или она его дочь?

— Не уверен. У графа в самом деле есть дочь от первого брака. Трудно сказать, кто эта очаровательная юная леди — может быть, дочь, а может, и жена. Сегодня я видел только самого графа.

Маркиз зевнул и вскоре крепко уснул. Я клевал носом, маркиз же спал как убитый. Он проснулся лишь на минуту-другую на следующей почтовой станции, куда, к счастью, заранее послал слугу заказать лошадей.

— Прошу простить, но собеседник из меня никудышный, — заметил он. — За последние шестьдесят часов я проспал всего часа два. Пожалуй, закажу здесь чашечку кофе. Рекомендую и вам, кофе здесь отменный. — Он заказал две чашки черного кофе. — Чашки мы оставим себе, — заявил он официанту, — и поднос тоже. Благодарю.

Он расплатился за все, взял небольшой поднос и протянул мне чашку кофе. Поднос он поставил на колени, соорудив что-то вроде небольшого столика.

— Терпеть не могу, когда у меня стоят над душой и поторапливают, — сказал он. — Кофе нужно пить не торопясь.

Я согласился. Кофе и вправду был хорош.

— Подобно вам, господин маркиз, я за последние две или три ночи спал очень мало и едва держусь на ногах. Этот кофе творит чудеса: я чувствую себя хорошо отдохнувшим.

Не успели мы выпить по половине чашки, как карета тронулась в путь. Крепкий кофе взбудрил нас, и мы разговорились.

Маркиз оказался человеком умным и чрезвычайно добродушным. Он подробно рассказал мне о парижской жизни, нравах горожан, предупредил об опасностях, грозящих новичку, и дал несколько весьма ценных практических советов.

Однако как ни развлекало меня красочное и остроумное повествование маркиза, я почувствовал, что меня снова одолевает дремота. Видя, что я засыпаю, маркиз понимающе замолчал. Допив кофе, он выбросил чашку в открытое окно и проделал то же самое с моей. Вскоре за ними последовал и поднос; я услышал, как они клацнули о дорогу — удачная находка для какого-нибудь раннего путника в деревянных башмаках.

Я откинулся на сиденье. Бесценный дар — белая роза — хранился у самого сердца, завернутый в бумагу. Я надеялся, что он навеет мне романтические сновидения. Меня все больше клонило в дремоту, однако настоящий сон никак не приходил. Из своего угла я, полузакрыв глаза, хорошо видел всю внутреннюю часть кареты. Мне хотелось спать, однако барьер между бодрствованием и сном казался совершенно непреодолимым. Я погрузился в какое-то неизвестное доселе состояние — неопишемую расслабленность.

Маркиз раскрыл дорожный ящик для бумаг, достал из него лампу и повесил ее за крюк к противоположному окну. Затем надел очки, достал связку писем и принялся сосредоточенно их просматривать.

Мы ехали очень медленно. До сих пор на каждой станции я нанимал четверку лошадей, теперь же мы были рады, если удавалось раздобыть двух. Черепашья скорость нашего продвижения бесила меня. Мне надоело смотреть, как маркиз в очках размеренно читает письма, складывает, убирает, читает, складывает, убирает. Хотелось закрыть глаза, но какая-то сила не давала мне опустить веки. Я попытался еще раз — ничего не вышло.

Я хотел протереть глаза, но не сумел приподнять руку. Тело не повиновалось мне. Я не

мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Как ни напрягал я волю — результат был таким, словно я пытался усилием мысли развернуть карету.

Меня охватил ужас. Такое состояние нельзя было объяснить просто дурным сном. Что за неведомая болезнь овладела мною?

Трудно было смотреть, как мой невозмутимый спутник продолжает как ни в чем ни бывало читать письма, тогда как ему ничего не стоило бы разогнать мои страхи, просто встряхнув меня за плечо. Я напряг все силы, чтобы окликнуть его; ничего не вышло. Маркиз перевязал письма ленточкой и выглянул из окна, насвистывая мелодию из какой-то оперы. Затем обернулся ко мне:

— Огни уже видны; через две-три минуты будем на месте.

Он внимательнее всмотрелся в мое лицо и улыбнулся:

— Бедный мальчик, как крепко он спит! Должно быть, очень устал. Что ж, пусть поспит; когда карета остановится, он проснется.

Затем сложил письма в сумку, убрал очки в карман и снова выглянул, из окна.

Мы въехали в небольшой городок. Было, должно быть, часа два пополудни. Карета остановилась. Я видел, как отворилась дверь гостиницы; внутри горел свет.

— Вот и прибыли! — весело воскликнул мой спутник.

Но я не проснулся.

— Как он устал! — произнес маркиз, не дождавшись ответа.

Мой слуга распахнул дверцу кареты.

— Ваш хозяин крепко спит. Он так устал! Не стоит будить его. Пока меняют лошадей, мы с вами зайдем в таверну, подкрепимся и закажем что-нибудь месье Беккету. Когда он проснется, наверняка захочет есть.

Он поправил фитиль лампы, подлил масла и, стараясь не побеспокоить меня, вышел. Я слышал, как они с Сен-Клером входят в таверну, а сам в том же самом непонятном состоянии остался сидеть в углу кареты.

Мне доводилось испытывать сильную физическую боль, но ни разу в жизни я, слава Богу, не попадал в столь унижительное положение. Искренне надеюсь, что состояние это ни в коей мере не напоминает смерть, ожидающую всех нас в конце пути. Я превратился в дух, заключенный в темницу, мучения мои были безмолвны и неподвижны. Странное оцепенение не затронуло моих мыслей. В мозгу колотился слепой ужас: чем все это кончится? Может быть, я умер? Я прекрасно воспринимал все окружающее. Я видел и слышал отчетливее, чем когда-либо в жизни. Просто тело мне не повиновалось.

Я уже сказал, что маркиз д'Армонвилль, удаляясь в сельскую таверну, не погасил лампы в карете. Я внимательно прислушивался, ожидая его возвращения — может быть, по счастливой случайности, он пробудит меня от каталепсии.

Ни звук шагов, ни даже малейший шорох не предупредили меня о приближении незнакомца. Дверь кареты внезапно распахнулась, в карету вошел совершенно неизвестный мне человек. Лампа горела ярко, как восковая свеча, и я хорошо разглядел вошедшего. Он был молод, одет в темно-серый свободный плащ с капюшоном. На мгновение мне показалось, что под капюшоном блеснул золотой окольш офицерской фуражки; и, без сомнения, я разглядел на манжетах, выглядывавших из рукавов широкого плаща, армейские галуны и пуговицы. У юноши были густые усы и борода-эспаньолка; щеку и губу пересекал широкий красный шрам.

Он тихо прикрыл дверь и сел рядом со мной. Все произошло в мгновение ока: он склонился ко мне и, прикрыв глаза от света, внимательно всмотрелся в мое лицо.

Незнакомец двигался бесшумно, как привидение. Жесты его были исполнены решительности, говорившей, что действует он не наобум, а по тщательно продуманному плану. Я не сомневался, что он замыслил недоброе. Ограбить меня, а может быть, и убить. А я был беспомощен и неподвижен, как покойник. Он запустил руку в мой нагрудный карман, извлек драгоценную белую розу и пакет с письмами, среди которых было одно, весьма важное для меня.

Негодяй едва взглянул на мои письма — он искал явно не их. Белая роза тоже не вызвала у него интереса. Его заботила та самая бумага — развернув ее, он достал карандаш и принялся быстро переписывать ее содержание в блокнот. Действовал он бесшумно, с невозмутимой поспешностью, какая вырабатывается, подумал я, за долгие годы службы в полиции.

Он уложил мои бумаги в том же порядке, в каком их нашел, сунул обратно в боковой карман и исчез.

Все заняло не более трех минут. Вскоре после исчезновения незнакомца послышался голос маркиза. Он вошел, взглянул на меня и улыбнулся. Мне подумалось, что он даже немного завидует моему крепкому сну. О, если бы он знал, что со мной приключилось! Он снова принялся просматривать письма при свете лампы, той самой, что минуту назад помогала незнакомцу в его шпионском деле.

Мы выбрались из города, двигаясь по-прежнему довольно медленно. Когда место происшествия осталось в двух лигах позади, я почувствовал странную пульсацию в ухе, словно воздух проходил через него в горло. Мне казалось, что где-то глубоко в голове набухает и лопается воздушный пузырь. Напряжение в мозгу внезапно спало; в голове гудело, по телу распространялось странное покалывание, какое бывает в ноге, когда она затекает. Я вскрикнул, приподнялся на сиденье и рухнул обратно. Тело дрожало от чудовищной слабости.

Маркиз внимательно посмотрел на меня, взял за руку и спросил, не болен ли я. В ответ я лишь застонал.

Постепенно я пришел в себя и сумел еле слышным голосом рассказать маркизу о припадке страшной болезни. Затем я описал, что случилось со мной и моими письмами во время его отсутствия.

— Боже милостивый, — воскликнул маркиз. — Этот злодей не заглядывал в мой ящик с бумагами?

Я заверил его, что нет. Он поставил ящик на сиденье и тщательно проверил содержимое.

— Слава Богу, все на месте, — пробормотал он. — Здесь есть с полдюжины писем, которые нельзя читать никому.

Успокоившись относительно писем, маркиз с участием расспросил меня о странной болезни. Выслушав мой рассказ, он заметил:

— У моего друга был однажды примерно такой же приступ. Это случилось на борту корабля; перед тем мой друг перенес сильное смятение. Он был храбрец, вроде вас; события потребовали от него напряжения всей силы и смелости. Час или два спустя он почувствовал глубокую усталость; окружающим казалось, что он крепко уснул. На самом же деле он погрузился в некое странное состояние, которое по пробуждении описывал теми же словами, что и вы.

— Рад слышать, что моя болезнь не единична. У вашего друга бывали повторные приступы?

— Я был знаком с ним много лет и ни разу не слышал о повторении. Что меня удивляет, так это совпадение условий, предшествовавших приступу. Неожиданная рукопашная схватка не на жизнь, а на смерть с таким опытным противником, как обезумевший драгунский полковник, последующая глубокая усталость. Затем вы, как и мой друг, попытались уснуть.

— Хотел бы я знать, — продолжил маркиз, немного помолчав, — кто был тот негодяй, Что читал ваши письма. Возвращаться нет смысла — мы ничего не выясним. У таких пройдох всегда все шито-крыто. Полагаю, во всяком случае, что это был агент полиции. Будь это простой разбойник, он обязательно ограбил бы вас.

Я чувствовал ужасную слабость и почти не принимал участия в беседе, но маркиз был сама разговорчивость.

— Мы так подружились, — сказал он наконец. — Должен напомнить, что в настоящее

время я не маркиз д'Армонвиаль, а просто месье Дроквилль. По прибытии в Париж нам не придется встречаться часто, однако я смогу быть вам полезен. Пожалуйста, назовите отель, в котором вы намерены остановиться. Маркиз, как вам известно, находится в отъезде, поэтому в Отеле д'Армонвилль обитают только двое-трое старых слуг, которым нельзя встречаться с месье Дроквиллем. Однако месье Дроквилль сумеет устроить так, что ложа господина маркиза в Опере будет открыта для вас, равно как и менее доступные места. Как только дипломатическая миссия маркиза д'Армонвиля будет закончена и он сможет открыто появляться на людях, друзья его будут обязаны сдержать данное ими обещание и осенью навестить маркиза в его замке Шато-д'Армонвилль.

Я горячо поблагодарил маркиза. Чем ближе мы подъезжали к Парижу, тем ценнее казалось мне его покровительство. Этот человек проявил ко мне, фактически случайному встречному, глубокий доброжелательный интерес; доброе слово, сказанное им, может выручить меня в трудную минуту. Будущие каникулы рисовались мне в самых радужных тонах.

Маркиз являл собой воплощенную любезность. Пока я рассыпался в благодарностях, карета внезапно остановилась у ворот, за которыми нас ожидала свежая упряжка лошадей. Здесь, как выяснилось, наши пути должны были разойтись.

Мое бурное путешествие наконец завершилось. Я сидел возле раскрытого окна в роскошном номере отеля и любовался беспокойным кипением парижской жизни, быстро вернувшейся после недавних потрясений к привычной веселой суете. Все вы читали о треволнениях, сопровождавших крах Наполеона и вторую реставрацию Бурбонов. Поэтому не стану повторяться и описывать собственные парижские впечатления, тем более что сейчас, по прошествии многих лет, я почти все забыл. То была моя первая поездка в Париж. И, хоть с тех пор я бывал там много раз, никогда эта взбалмошная столица не представляла передо мной в таком блеске, кипении и красе.

Я пробыл в Париже два дня, любовался красотой его улиц и площадей и ни разу не столкнулся с высокомерной грубостью обозленных офицеров разбитой французской армии, о которой меня не раз предупреждали.

Должен добавить, что я бродил по городу и осматривал многочисленные достопримечательности не без задней мысли. Романтическое увлечение полностью овладело мной, и я втайне лелеял надежду встретить где-нибудь на улицах, в парках или галереях предмет моего тайного обожания.

Однако, как я ни искал, нигде мне не встретилось ни единого упоминания о графе или графине де Сен-Алир; маркиз д'Армонвилль также не подавал весточки. Я полностью оправился от странного ночного недомогания; подобные приступы больше не повторялись.

Наступил вечер. Я начал опасаться, что мой высокородный знакомый совсем забыл обо мне, когда слуга принес визитную карточку месье Дроквилля. Я велел поскорее пригласить этого господина ко мне.

Вскоре маркиз д'Армонвилль, любезный, как всегда, постучал в мою дверь. Мы обменялись положенными приветствиями.

— Я теперь ночная пташка, — заявил маркиз. — Днем стараюсь держаться в тени и едва отваживаюсь выезжать в закрытом экипаже. Так распорядились друзья, возложившие на меня тайное поручение. Они считают, что, если меня узнает кто-либо в Париже, все погребло. Для начала разрешите вручить вам билеты в мою ложу. Я нахожусь в столь затруднительных обстоятельствах, что не смогу воспользоваться ею ранее, чем через две недели. На время отсутствия я велел секретарю каждый вечер предоставлять мою ложу в распоряжение того из друзей, кто раньше обратится с просьбой, и, как видите, на мою долю осталось не так уж много вечеров.

Я горячо поблагодарил его.

— А теперь разрешите дать еще одно наставление. Вы, должно быть, прибыли сюда без рекомендательных писем?

Я достал с полдюжины конвертов. Маркиз внимательно просмотрел адреса.

— Уберите эти бумаги подальше, — заявил он. — Я сам отведу вас в нужные дома и представлю хозяевам. Один надежный друг стоит дюжины рекомендательных писем. А до тех пор не заводите никаких знакомств, особенно сердечных. Вы, молодежь, предпочитаете сначала отведать всех общедоступных развлечений большого города, а лишь затем утруждать себя налаживанием светских контактов. Вот и поразвлекайтесь для начала. Это займет вас по меньшей мере на три недели. А затем я освобожусь от своих обязательств и смогу ввести вас в повседневную светскую жизнь, блестящую, но сравнительно тихую. Положитесь на меня и запомните: попав однажды в высшее общество Парижа, вы останетесь в нем навсегда.

Я поблагодарил маркиза и сказал, что буду в точности следовать его указаниям.

— А теперь, — добавил он, — я расскажу, где вам необходимо побывать. Достаньте карту и помечайте цифрами места, которые я назову. Мы составим небольшой список. Там действительно есть что посмотреть.

Пересыпая свою речь забавными и пикантными анекдотами, маркиз д'Армонвилль методично перечислял наиболее достойные внимания достопримечательности Парижа. Вскоре я стал обладателем подробного путеводителя, весьма ценного для такого искателя развлечений, как я.

— Через две недели, а может быть, и раньше, — сказал маркиз, — я освобожусь от службы и тогда смогу быть вам по-настоящему полезен. А до тех пор позаботьтесь о себе сами. Ни в коем случае не играйте: вас непременно обчистят. Не забывайте, вас окружают мошенники и негодяи; они на редкость ловко умеют втираться в доверие, а деньги доверчивых иностранцев — единственный источник их существования. Не доверяйте никому, кроме самого себя.

Я еще раз поблагодарил маркиза и пообещал прислушаться к его советам. Но сердце мое было переполнено мыслями о прекрасной графине; мог ли я распрощаться с маркизом, не попытавшись узнать что-нибудь о ней? Я спросил нового друга о графе и графине де Сен-Алир, которых мне посчастливилось вызволить из весьма неприятного происшествия в придорожной гостинице.

Увы! С тех пор маркиз не видел их и не знал, где они остановились. Граф и графиня владели старинным особняком неподалеку от Парижа, однако маркиз полагал, что они на несколько дней задержатся в городе, поскольку после длительного отсутствия хозяев дом должен быть подготовлен к встрече.

— И как долго они отсутствовали?

— Около восьми месяцев.

— Вы говорили, они небогаты?

— У вас они считались бы небогатыми. Однако, сударь, в этой стране все дешевле, чем в Англии; граф и графиня ведут спокойную жизнь вдали от большого света, и скромный годовой доход позволяет им жить весьма комфортабельно и даже роскошно.

— Значит, они счастливы?

— Я бы сказал, могут быть счастливы.

— Но что же им мешает?

— Граф ревнив.

— А что жена — дает ему повод?

— Боюсь, что да.

— Каким же образом?

— Мне всегда казалось, что она слишком... очень даже слишком...

— Слишком что, сударь?

— Слишком красива. Но, несмотря на изумительные глаза, тонкие черты лица и точеную фигурку, я никогда не сомневался, что она женщина глубоко порядочная. Вам не доводилось встречаться с ней?

— Той ночью, когда я проломил голову грубияну в «Прекрасной Звезде», в вестибюле стояла дама в широком плаще и черной вуали, такой плотной, что я не смог разглядеть ее

лица. — Как видите, я ответил дипломатично. — Может быть, то была дочь графа. Они часто ссорятся?

— Кто, граф с женой?

— Да.

— Бывает.

— А из-за чего?

— Это долгая история; поводом для ссор служат бриллианты графини. Очень дорогие — Ла Переллез оценивает их в миллион франков. Граф хочет продать их и перевести в ренту, которую она могла бы тратить по своему усмотрению. А графиня, их владелица, не желает их продавать, и причину этого нежелания она вряд ли когда-нибудь откроет графу.

— Но какая же тут причина? — я сгорал от любопытства.

— Мне кажется, она представляет, как хорошо будет смотреться в этих бриллиантах под руку со вторым мужем.

— Что? Ах, да. А граф де Сен-Алир — он хороший человек?

— Достойный восхищения и очень разумный.

— Я бы очень хотел быть представленным графу. Вы говорили, он так...

— Так удачно женат. Но они живут вдалеке от большого света. Время от времени он вывозит ее в Оперу или на публичные празднества, вот и все.

— Граф, должно быть, знает очень много о прежнем царствовании, помнит события революции?

— Да, он прекрасный собеседник для такого философа, как вы! К тому же после обеда граф ложится спать, а графиня любит прогуляться. Но, если говорить серьезно, граф давно удалился от шумного света и стал ко всему безразличен. Жена ему под стать — ничто, кажется, ее не интересует, даже... даже собственный муж!

Маркиз встал и собрался уходить.

— Не ставьте деньги на кон, — предупредил он на прощание еще раз. — Вскоре вам представится возможность очень выгодно вложить их. Через неделю-другую с молотка пойдут коллекции по-настоящему хороших картин. Они реквизированы у лиц, запятнавших себя участием в бонапартистской Реставрации. Вот тогда-то вы и покажете себя. На редкость выгодные торги! Поберегите средства для них. Я дам вам знать. Кстати, — он остановился в дверях. — Чуть не забыл. Наследующей неделе состоится развлечение, каких вы в Англии почти не знаете, — грандиозный бал-маскарад в Версале. Там будет весь свет — уже сейчас билеты идут нарасхват. Но, надеюсь, я смогу достать вам приглашение. Доброй ночи! До свидания!

Я свободно говорил по-французски и мог не ограничивать себя в расходах — таким образом, ничто не мешало мне вкушать все развлечения, какие может предоставить Париж. Два дня пролетели, как одно мгновение. На третий день, приблизительно в тот же час, ко мне снова зашел месье Дроквилль.

Любезный и добродушный, как обычно, маркиз сообщил мне, что костюмированный бал назначен на следующую среду и что он заказал мне приглашение.

— Какая досада. Боюсь, что не смогу прийти, — ответил я.

Он нахмурился и впился в меня угрожающим взглядом. Я не мог понять, что его так разозлило. Помолчав, он сердито спросил:

— Не сообразовали ли, месье Беккет, объяснить причину вашего отказа?

Я немного удивился, но ответил чистую правду: в этот вечер у меня назначена встреча с двумя-тремя приятелями из Англии, мне трудно им отказать.

— И только-то! Вы, англичане, странный народ: где ни окажетесь, везде ищите встречи с грубиянами-соотечественниками, пьете английское пиво и жуete бифштексы. Попав в незнакомую страну, вы только делаете вид, что пытаетесь изучать ее народ и обычаи, наделе же пьянствуете, курите и чертыхаетесь друг с другом и возвращаетесь на родину такими же неотесанными, какими уехали, словно и не путешествовали по миру, а ошивались на ярмарке где-нибудь близ Гринвича.

Он саркастически рассмеялся и испепелил меня взглядом.

— Вот оно, — он бросил приглашение на стол. — Примите или выбросьте, как вам заблагорассудится. Вижу, я старался напрасно. Но имейте в виду, что человек моего положения редко дает себе труд выхлопотать некоторые привилегии для случайного знакомого, вы же отвечаете на мою заботу черной неблагодарностью.

Я не мог стерпеть такую дерзость? Я почувствовал себя оскорбленным, но тотчас раскаялся. Я допустил оплошность, невольно нарушил правила хорошего тона, принятые во Франции, — согласно этим правилам, жестокие и недостойные упреки маркиза находят, видимо, вполне основательное оправдание.

Обуреваемый самыми противоречивыми чувствами, я поспешил принести маркизу извинений: В конце концов мне удалось умиротворить его, случайного друга, который был столь бескорыстно любезен. Я заверил его, что постараюсь, чего бы мне это ни стоило, отказаться от договоренности, которой столь неудачно связал себя; клялся, что не хотел его обидеть, а всего лишь сказал, не подумав, и сожалел, что никогда не сумею достойно отблагодарить маркиза за несказанную доброту.

— Молю вас, ни слова больше. Не скрою, я рассердился на вас, однако выразил свою обиду в чересчур сильных выражениях, которые вы, надеюсь, по доброте душевной простите. Друзья мои хорошо знают, что нередко я говорю куда больше, чем следует, а потом раскаиваюсь. Надеюсь, месье Беккет, вы забудете, что однажды месье Дроквилль на мгновение вышел из себя, и мы останемся столь же добрыми друзьями, как прежде.

Он улыбнулся и протянул руку. Я сердечно, с уважением пожал ее. Теперь он был прежним радушным месье Дроквиллем, с каким я познакомился в «Прекрасной Звезде».

Мимолетная ссора лишь крепче сдружила нас. Маркиз порекомендовал мне заранее снять комнату в одной из версальских гостиниц, так как впоследствии сделать это будет нелегко, и посоветовал съездить для этого в город завтра же, не откладывая.

Я заказал лошадей на одиннадцать часов утра. Побеседовав еще немного, маркиз д'Армонвилль пожелал мне доброй ночи и торопливо спустился по лестнице, прижимая к лицу носовой платок. Я выглянул из окна — он вскочил в закрытую карету и скрылся из виду.

Назавтра я был в Версале. Не успев даже постучать в дверь «Отель де Франс», я понял, что прибыл чересчур поздно.

Площадь перед входом была запружена экипажами, и я не мог даже подъехать к воротам. Оставалось только выйти из коляски и проталкиваться между лошадьми. В фойе толпились господа и слуги. И те, и другие во весь голос орали на владельца гостиницы, а тот, вращая обезумевшими глазами, уверял всех вместе и каждого в отдельности, что во всем отеле нет не только ни единой свободной комнаты, но даже чулана.

Я выскользнул на улицу, оставив охрипшую толпу тщетно звать к хозяину в напрасной надежде, что тот, если захочет, сможет им помочь, а сам сел в коляску и что есть мочи помчался в «Отель дю Резервуар». Подходы к двери были забиты столь же плотно, как ив предыдущей гостинице. Внутри творилось то же самое. Это было очень досадно, но что оставалось делать?

Пока я в фойе беседовал с хозяином гостиницы, мой не в меру услужливый фореитор мало-помалу подгонял лошадей на место отъезжавших экипажей, так что в конце концов коляска оказалась прямо у гостиничного крыльца.

При таком расположении мне было очень удобно сесть в нее, однако отъехать оказалось весьма затруднительно. Экипажи стояли впереди, позади, и от проезжей части улицы нас отделяло не меньше четырех плотных рядов.

В те годы я отличался довольно острым зрением. Если до той минуты меня снедало лишь нетерпение, то представьте себе мои чувства, когда я заметил в открытом ландо, проезжавшем по узкой свободной полосе на противоположной стороне улицы, графиню в черной вуали и ее мужа. Лошади их едва плелись шагом, потому что впереди неторопливо катилась тяжелая телега, занимавшая почти всю ширину улицы.

Разумнее всего было бы спрыгнуть на тротуар и бегом обогнуть плотную череду колясок, отделявших меня от ландо. Но, к сожалению, в душе я скорее Мюрат, нежели Мольтке, и предпочитаю действовать напрямик, а не полагаться на хитроумную тактику. Невероятным прыжком я вскочил на заднее сиденье коляски, стоявшей рядом с моей, кувырком преодолел кабриолет, ухитрившись не разбудить дремавшего в нем старика с собакой, перешагнул, рассыпаясь в бессвязных извинениях, через боковую стенку открытой кареты, потревожив жаркий спор четырех джентльменов, и, наконец, свалился ничком на спины пары лошадей, которые тотчас же рванулись вперед и сбросили меня лицом вниз в дорожную пыль.

Вероятно, зрители, не знавшие цели моих невообразимых акробатических упражнений, решили, что я сошел с ума. Шляпа моя сбилась набекрень, я был покрыт пылью с головы до ног. К счастью, ландо с семейством де Сен-Алир только что скрылось за поворотом, и мне не довелось предстать перед очами возлюбленной в столь непрезентабельном виде.

В бесплодных попытках счистить грязь с одежды носовым платком я мужественно выдержал обрушившуюся на меня бурю проклятий, перемежавшихся издевательским смехом, как вдруг знакомый голос окликнул:

— Месье Беккет!

Я оглянулся — из окна закрытого экипажа мне дружески махал маркиз. Я тотчас же подскочил к его карете.

— Похоже, в Версале вам делать нечего, — сказал он. — Вы, несомненно, сами поняли, что во всех гостиницах не найдется ни единой свободной койки, а я добавлю, что и во всем городе невозможно снять комнату. Но я нашел для вас кое-что подходящее. Велите слуге следовать за нами, а сами садитесь ко мне.

На наше счастье, в плотной чередке экипажей открылся свободный проход, и моя коляска тотчас же воспользовалась им.

Я велел слуге следовать за каретой маркиза; мой друг отдал приказание кучеру, и мы тронулись в путь.

— Я отвезу вас в роскошное место, о существовании которого знает мало кто из парижан. Предвидя сегодняшний ажиотаж, я заранее заказал там комнату для вас. Эта гостиница, старинная и очень уютная, называется «Парящий Дракон». Вам повезло, что дела мои привели меня сюда в столь ранний час.

Миля через полторы мы добрались до дальней ограды дворца и выехали на старинную узкую дорогу. С одной стороны ее окаймлял версальский лес, с другой возвышались коренастые дубы такого могучего обхвата, какой редко встретишь во Франции.

Мы остановились возле старинного здания, выстроенного из крепкого темно-серого камня. Изысканная архитектура и богатая отделка фасада, какие нечасто употребляются при строительстве простых гостиниц, говорили о том, что первоначально здание это служило загородным особняком некой богатой особы. Знатное происхождение прежних владельцев подтверждали и многочисленные гербы на стене. Над дверями гостеприимно выдавался широкий портик, украшенный пышной лепниной; он был явно пристроен к дому позднее. Над ним сияла яркими красками барельефная вывеска гостиницы — летящий дракон, широко раскинувший багрово-красные с золотом крылья. Длинный хвост, бледно-зеленый с позолотой, свивался многочисленными кольцами, на конце его грозно сверкала остроконечная смертоносная стрела.

— Я не могу сопровождать вас; войдите, и, уверен, вам здесь понравится. Во всяком случае, это лучше, чем ничего. Я бы зашел вместе с вами, но мне необходимо сохранять инкогнито. Надеюсь, вам доставит удовольствие узнать, что в гостинице этой встречаются привидения. Я в вашем возрасте был бы рад услышать такое. Но не советую упоминать о призраках в присутствии хозяина — для него это больной вопрос. Прощайте. Если все же надумаете повеселиться на балу, рекомендую надеть домино. Я, пожалуй, загляну ненадолго; на мне будет такой же костюм. Но как нам узнать друг друга? Можно держать в руках условленные предметы, но это редко помогает — слишком многие приедут на бал с цветами.

Положим, вы пришьете на костюм крест размером в пару дюймов — пусть он будет красным, как у святого Георгия, покровителя вашей страны — а я пришью белый крест. Отличная мысль! И вот что: входя в любую из зал, старайтесь держаться поближе к дверям. Проходя по комнатам, я буду высматривать вас возле дверей; и вы ищите меня там же. Таким образом мы вскоре найдем друг друга. Значит, договорились. Мне скучно ходить на балы, если меня не сопровождает юный спутник, от души радующийся всему, что он видит. Человек моих лет заражается весельем от молодых. Прощайте; встретимся вечером.

Я попрощался с маркизом, захлопнул дверцу, и карета тронулась.

Я огляделся. Место было на редкость живописное. В ушах у меня до сих пор звенело от бурной парижской суеты, и величественная тишина густой дубравы, окружавшей старинное здание гостиницы, радовала мне душу.

С минуту-другую я изучал красочную вывеску, затем внимательно рассмотрел гостиничный фасад. Суровый и основательный, в моем представлении он ассоциировался скорее со старинным английским постоялым двором, в каком могли бы остановиться кентерберийские паломники Чосера, чем с галльским приютом развлечений. Единственной уступкой континентальной моде была круглая башенка под остроконечной крышей, венчающая левое крыло здания — такие можно встретить в любом французском шато.

Я вошел в фойе, назвал себя месье Беккетом и спросил, готова ли заказанная для меня комната.

Хозяин рассыпался в любезностях: еще бы, в его гостиницу пожаловал английский милорд, человек высокородный да к тому же с бездонным кошельком.

Меня проводили в номер. Комната оказалась просторная, правда, чуть мрачноватая, обставленная старинной тяжеловесной мебелью, со стенами, обшитыми темным деревом. У дальней стены чернел широкий камин с мраморной доской, украшенной гербами, в которых, питаю я страсть к геральдике, можно было бы разглядеть родственные связи с гербовыми щитами на внешней стене. Обстановка комнаты, грустная, даже чуть тоскливая, составляла изысканный контраст с моим настроением. Я подошел к окну, обрамленному каменными колоннами. Внизу расстился небольшой парк, переходящий в густую лесную чащу, над которой возвышался изящный замок, весь как: бы составленный из круглых башенок, подобных той, какую я только что описал. И лес, и замок являли собой печальное зрелище. На них лежала печать упадка и заброшенности; весь вид дышал воспоминаниями о былом величии.

Я спросил хозяина, как называется замок.

— Это, сударь, Шато-де-ла-Карк, — был ответ.

— Жаль, что он содержится в таком небрежении, — заметил я. — Что, его владелец внезапно обеднел?

— Может, и так, сударь.

— Может? — переспросил я. — Стало быть, хозяев здесь не очень-то жалуют?

— Ни то, ни другое, сударь, — ответил он. — Богатства у него хватает, да какой в нем толк? Вот чего мы тут никак понять не можем.

— А кому принадлежит замок? — поинтересовался я.

— Графу де Сен-Алиру.

— Да? Самому графу? Вы уверены? — оживился я.

Настал черед трактирщика окинуть меня озадаченным взглядом.

— Разумеется, сударь, это замок графа де Сен-Алира.

— И часто он здесь появляется?

— Не очень, сударь, подолгу бывает в отлучках.

— Значит, он беден? — спросил я.

— Я снимаю у него этот дом. Арендная плата невелика, но он не терпит задержек с выплатой; похоже, ему трудно перебиться от срока до срока, — лукаво усмехнулся трактирщик.

— Однако, как я слышал, граф не впал в нищету? — продолжал я.

— Говорят, сударь, он играет. Не знаю. Во всяком случае, богатым его назвать нельзя. Месяцев семь назад где-то на краю земли скончался его дальний родственник. Тело его, согласно последней воле покойного, перевезли сюда и похоронили на кладбище Пер-Лашез. Граф сильно горевал, хотя, говорят, получил неплохое наследство. Но, похоже, деньги никогда не доводили его до добра.

— Он, наверно, немолод?

— Немолод? Слабо сказано! Мы зовем его Вечным Жидом, хотя тот был богат, а у этого в кармане не всегда найдется и пять су. Однако, сударь, душой он не стареет. Недавно женился на молодой красавице.

— А что она? — поинтересовался я.

— Она? Стала графиней де Сен-Алир.

— Да, конечно, но вы ведь можете рассказать о ней и побольше. Чем она знаменита?

— У нее масса достоинств, по крайней мере, три.

— Какие же?

— Красота, молодость и бриллианты.

Я рассмеялся. Старый пройдоха умело подогревал мое любопытство.

— Видно, дружище, — произнес я, — вы не хотите...

— ...ссориться с графом, — закончил он. — Видите ли, сударь, у него есть немало возможностей досадить мне, как, впрочем, и я могу пощекотать ему нервы. Однако пусть лучше каждый занимается своим делом. Худой мир лучше доброй ссоры. Верно?

Я понял, что не стоит и пытаться вытянуть из него хоть словечко. Впрочем, он, возможно, и вправду ничего не знал. Однако не мешало бы испробовать, как действуют на хитреца несколько наполеондоров. Может быть, он затеял эти увертки именно для того, чтобы вытянуть из меня монету-другую.

Владелец «Пярящего Дракона», пожилой худощавый человек с умным загорелым лицом, держался решительно, с военной выправкой. Позже я узнал, что он под началом Наполеона участвовал в ранних итальянских кампаниях.

— Полагаю, вы ответите на один вопрос без риска навлечь на себя неприятности, — произнес я. — Где сейчас граф — дома?

— Я бы сказал, у него много домов, — уклончиво ответил хозяин. — Но, думаю, сударь, не ошибусь, если предположу, что в настоящее время он остановился в Шато-де-ла-Карк.

Я выглянул в окно. Лесистые окрестности замка внезапно вызвали во мне жгучий интерес.

— Сегодня я видел графа в Версале, он ехал в своем экипаже, — добавил я.

— Ничего удивительного.

— Значит, экипаж, лошади и слуги находятся в замке?

— Экипаж он оставляет здесь, сударь, а слуг нанимает от случая к случаю. В замке постоянно живет всего лишь один дворецкий. Как, должно быть, надоела госпоже графине такая жизнь, — заметил трактирщик.

«Ах, гнусный мошенник! — подумал я. — Надеется этими издевательствами вытянуть у бедняжки ее бриллианты. Несчастная графиня! Как тяжело ей живется со старым ревнивцем и вымогателем». Произнес я про себя эту рыцарскую речь, я бросил взгляд на замок дамы моего сердца и тяжело вздохнул. Каким я был глупцом! И все же, если быть честными перед самими собой, становимся ли мы с годами умнее? По моему убеждению, с возрастом меняются лишь владеющие нами иллюзии, мы же остаемся прежними безумцами.

— Ну что, Сен-Клер, — спросил я вошедшего слугу, — нашел себе постель?

— Да, сударь, на чердаке, среди пауков и — *par Ma foi* — кошек и сов. Но мы неплохо договорились. *Vive la BadaTelle!*

— Вот не думал, что гостиница так переполнена.

— Тут поселились в основном слуги, чьим хозяевам посчастливилось найти себе пристанище в Версале.

— А что ты сам думаешь о «Парящем Драконе»?

— Парящий дракон, сударь? Мерзкое огнедышащее чудовище! Если правду говорят в народе, то это сам дьявол! Клянусь верой Христовой, сударь, в этом доме творятся бесовские штучки!

— Ты о чем говоришь? О призраках?

— Нет, сударь, кое о чем похуже. Призраки — это пустяки. Говорят, люди тут исчезают и никогда не возвращаются — проваливаются под землю прямо на глазах у полудюжины свидетелей.

— Что ты говоришь, Сен-Клер? Расскажи же подробнее об этих чудесах.

— Рассказывают, сударь, что в этой гостинице жил шталмейстер покойного короля — если помните, сударь, ему отрубили голову во время революции. Так вот, император позволил этому шталмейстеру вернуться во Францию, он поселился здесь и прожил с месяц, а потом исчез из виду, как я говорил, прямо на глазах у полудюжины надежнейших свидетелей. А еще здесь жил. Русский дворянин, шести футов росту. Однажды он стоял посреди комнаты, внизу, и описывал друзьям последние минуты жизни Петра Великого. В одной руке он держал стакан *eau de vie*, в другой — *Tasse de cafe*, почти допитую, и точно так же исчез. Это видели семеро господ, на слово которых можно положиться. На полу, где он стоял, остались лишь сапоги. Господин, сидевший справа, вдруг заметил, что держит в руках ту самую чашку кофе, а господин, что сидел слева, — стакан *eau de vie*...

— И в смятении выпил его, — закончил я.

— Этот стакан хранили три года среди самых памятных вещей в доме, пока однажды кюре, беседовавший с мадемуазель Фидон в комнате экономки, случайно не разбил его. А о русском дворянине никогда больше не слыхивали. *parBleu!* Надеюсь, когда настанет наш черед выезжать из «Парящего Дракона», мы покинем его, как положено, через дверь. Мне, сударь, рассказал все это фореитор, что привез нас сюда.

— Ну, тогда это чистая правда! — рассмеялся я.

Однако суровый вид из окна и мрачная обстановка комнаты мало-помалу начали вселять в меня тревогу; в душу закрадывалось предчувствие чего-то недоброго. Шутка моя прозвучала невесело.

Трудно вообразить зрелище более яркое, чем костюмированный бал. Среди салонов и галерей, предоставленных в распоряжение веселящейся публики, выделялась своим великолепием Большая Зеркальная галерея, освещенная в честь праздника четырьмя тысячами восковых свечей, чьи отражения многократно повторялись в десятках зеркал. Длинные анфилады салонов были заполнены гостями в самых разнообразных костюмах. Ни одна комната не пустовала. Повсюду звучала музыка, звенел смех, мелькали яркие костюмы, вспыхивали бриллианты. Маскарад был организован так тщательно, что напоминал непринужденное уличное веселье.

Никогда в жизни не бывал я на столь великолепном празднестве. Укрывшись за домино и маской, я беспечно бродил по залам, то присоединяясь к остроумной беседе, то подхватывая веселую песню, но в то же время внимательно смотрел по сторонам, дабы не пропустить моего друга в черном домино с белым крестом на груди.

Входя в двери, я, как и уговорился с маркизом, всякий раз останавливался, но его нигде не было.

Вдруг в одной из зал я заметил позолоченные носилки, или, точнее, китайский паланкин, украшенный с фантастическим великолепием. Его внесли на позолоченных шестах четыре китайца в вычурных нарядах. Еще один китаец со скипетром в руках маршировал впереди, его собрат замыкал шествие. Сбоку торжественно вышагивал тощий старик с длинной черной бородой, в высокой феске, какие носят дервиши. Старик был одет в длинный шелковый халат, расшитый причудливыми иероглифами. Черно-золотая вышивка резко выделялась на ярком многоцветье наряда. Халат был подпоясан широким золотым кушаком с красно-черными каббалистическими знаками. Завершали наряд старика красные чулки и шитые золотом туфли с загнутыми на восточный манер носами. Под мышкой он нес

старинную книгу, в руке — полированный жезл из черного дерева. Смуглое лицо старика было сурово, широкие черные брови сошлись на переносице. Опустив голову, он сосредоточенно вглядывался в землю.

Китаец, шагавший впереди, повел рукой, и толпа расступилась, освобождая дорогу странному паланкину с опущенными занавесками. Таинственное шествие тотчас же заинтересовало меня.

К моей радости, носильщики опустили паланкин в нескольких ярдах от двери, возле которой стоял я. Глашатаи с золочеными жезлами хлопнули в ладоши и в полной тишине закружились вокруг паланкина в диковинном танце, рисунок которого был явно исполнен некоего глубокого смысла. Носильщики принялись аккомпанировать танцорам хлопками в ладоши и ритмичными выкриками. Я увлеченно созерцал танец, но тут моего локтя коснулась чья-то рука. Я обернулся — передо мной стоял человек в черном домино с белым крестом.

— Я так рад, что наконец нашел вас, — проговорил маркиз. — И как раз вовремя. Здесь происходит самое интересное событие бала. Вам непременно нужно поговорить с этим колдуном. Час назад я встретил их в другом салоне и беседовал с прорицателем. В жизни не встречал ничего более удивительного. Ответы его немного загадочны, но тем не менее ясно, что ему известны такие подробности моего дела, о которых не знает никто, кроме меня да еще двоих-троих друзей, самых надежных людей во Франции. Можете представить себе мое потрясение. Я видел и других — все, кто общался с оракулом, были изумлены и напуганы не меньше меня. Попробуйте и вы. Кстати, со мной пришли граф и графиня де Сен-Алир. — Он кивком указал на худощавого человека в домино. Это был граф. — Пойдемте, — сказал маркиз. — Я вас представлю.

Я не заставил себя ждать.

Маркиз представил меня, как бы мимоходом сославшись на происшествие в «Прекрасной Звезде», где я так удачно выступил в защиту графа. Последний рассыпался в выражениях признательности и, к моей вящей радости, добавил:

— Графиня находится неподалеку от нас, в соседнем салоне, беседует с подругой, герцогиней д'Аржансак. Я приведу ее и познакомлю с вами. Еще раз благодарю за помощь, столь мужественную и своевременную.

— Вы непременно должны поговорить с прорицателем, — сказал маркиз графу де Сен-Алиру. — Вам понравится. Я уже общался с ним; смею вас уверить, я и представить себе не мог, что получу такие достоверные ответы! Не знаю, что и думать.

— В самом деле? Ну что ж, давайте попытаем счастья, — откликнулся граф.

Мы втроем приблизились к чернобородому магу, стоявшему возле паланкина. Мимо нас прошел юноша в испанском платье, только что побеседовавший с оракулом. Он удивленно говорил другу:

— Чрезвычайно остроумная мистификация! Интересно, кто сидит в паланкине? Похоже, он знает все обо всех!

Граф в домино и маске с видимой неохотой подошел к паланкину вместе с нами. Служители-китайцы окружили паланкин широким кольцом, и любопытствующая толпа наблюдала за происходящим с почтительного расстояния. Один из помощников, тот самый, что с золоченым жезлом в руке вышагивал впереди процессии, приблизился и протянул ладонь.

— Деньги? — спросил граф.

— Золото, — был ответ.

Граф опустил в ладонь несколько золотых монет, мы с маркизом последовали его примеру и были допущены в круг.

Заклинатель духов стоял возле паланкина, придерживая рукой шелковую занавеску и опираясь на черный посох. Он по-прежнему хмуро смотрел в землю, угольно-черная борода свисала почти до пояса. В лице не было ни кровинки. Никогда я не видел столь неподвижного лица, разве что у покойников.

Граф задал первый вопрос:

— Женат я или нет?

Чародей быстро откинул занавеску и склонился к китайцу в пышном платье, сидевшему в паланкине, затем выпрямился и снова задернул занавеску.

— Да.

Та же самая процедура повторялась после каждого вопроса, так что колдун с черным посохом оказался скорее медиумом, нежели прорицателем. Отвечал он словами некоего высшего существа.

Граф задал еще два или три вопроса. Ответы на них привели маркиза в восторг, которого я не разделял, так как почти ничего не знал о жизни и привычках графа.

— Любит ли меня жена? — игриво спросил граф.

— Насколько вы заслуживаете.

— А кого я люблю больше всех на свете?

— Себя.

— Ба! То же самое можно сказать о любом из живущих. Но, если не считать меня самого, есть ли на свете человек, которого я любил бы больше жены?

— Ее бриллианты.

— Ох! — только и смог вымолвить граф.

Маркиз тихо рассмеялся.

— Верно ли, — поинтересовался граф, поспешно меняя тему разговора, — что возле Неаполя была тяжелая битва?

— Нет, во Франции.

— Разумеется, — саркастически заметил граф, оглянувшись по сторонам. — А могу ли я узнать, кем были враждующие стороны и по какому поводу разгорелся бой?

— Между графом и графиней де Сен-Алир, по поводу документа, подписанного 25 июля 1811 года.

Впоследствии маркиз сообщил мне, что в этот день было подписано брачное соглашение графа и графини. Граф оторопело застыл; казалось, краска залила не только его лицо, но даже и маску. Ни один человек, кроме нас двоих, не знал, что вопросы задавал не кто иной, как граф де Сен-Алир.

Граф изо всех сил пытался придумать тему для следующего вопроса; похоже, он раскаивался, что дал втянуть себя в такое сомнительное предприятие. К его облегчению, маркиз тронул его за рукав и прошептал:

— Взгляните направо, посмотрите, кто идет.

Я обернулся — к нам приближалась высокая изможденная фигура. Этот человек не носил маскарадного костюма. Широкое, бледное, как смерть, лицо пересекалось багровым шрамом. Короче, это был полковник Гайяр собственной персоной, в мундире капрала императорской гвардии. Левую руку он согнул так, чтобы она напоминала обрубок, и приколот пустой рукав к груди. В том месте, куда пришелся удар моей трости, бровь и висок пересекали вполне настоящие полоски пластыря. Стало быть, к почетным военным шрамам полковника добавились и отметины, оставленные моей рукой.

На миг я даже забыл, что домино и маска надежно защищают меня от тяжелого взгляда старого вояки, и приготовился к ссоре. Граф де Сен-Алир благоразумно отступил на шаг. Наш друг в синем капральском мундире, белом жилете и белых гамашах, войдя в роль, держался не менее буйно и заносчиво, чем в реальной жизни. Его уже дважды собирались выставить за дверь за чересчур громкое восхваление подвигов великого Наполеона, сопровождавшееся грозными ужимками, после чего он едва не вступил в рукопашную схватку с прусским гусаром. Полковник с удовольствием затеял бы пару-другую драк с кровопролитием, не останавливая его мысль об истинной цели его прихода сюда: назначить свидание некой богатой вдовушке, которая, как он считал, поглядывала на него весьма благосклонно. Поэтому наш герой не мог допустить, чтобы какие-то глупые жандармы вывели его под руки с праздничной сцены, украшением коей он, несомненно, являлся.

— Деньги! Золото! Тьфу! — бушевал полковник. — Какие могут быть деньги у израненного солдата? Сами видите, у вашего покорного слуга осталась лишь правая рука, чтобы держать саблю, так что в пылу боя мне нечем было грабить имущество поверженного врага!

— Не брать с него денег, — приказал волшебник. — Он заплатил пролитой кровью.

— Браво, господин прорицатель! Брависсимо! Моту ли я, уважаемый оракул, не теряя времени даром, приступить к вопросам?

Не дожидаясь ответа, полковник зычным голосом начал допрос. Получив с полдюжины верных ответов, он спросил:

— Кого я сейчас преследую?

— Двух человек.

— Ха! Верно, двоих! И кто же они?

— Англичанин; если вы его нагоните, он вас убьет. И вдова-француженка; если вы ее найдете, она плюнет вам в лицо.

— Господин волшебник знает, кто находится под защитой маскарадного костюма, и не боится называть вещи своими именами. Ну да неважно. Почему я их преследую?

— Вдова нанесла рану вам в сердце, а англичанин — в голову. Они и порознь слишком сильны для вас; берегитесь, как бы ваша погоня не помогла им объединиться.

— Вот еще! Каким это образом?

— Англичанин защищает дам. Именно это он и пытался вбить вам в голову. Если вдова увидит его, она выйдет за него замуж. По ее расчетам, на то, чтобы выйти в полковники, требуется время, а англичанин еще очень молод, у него все впереди.

— Ну ничего, я ему подрежу крылышки, — злобно чертыхнувшись, пригрозил Гайяр, затем продолжил более спокойным тоном: — Где она?

— Достаточно близко, чтобы обидеться на вашу неудачу.

— Так ей и надо, черт бы ее побрал. Господин прорицатель, вы правы. Тысяча благодарностей! Прощайте!

Полковник вытянул тощую шею, огляделся по сторонам и гордо удалился, покачивая медвежьим кивером.

Я попытался разглядеть таинственного оракула, сидящего в паланкине. Лишь один раз мне предоставилась возможность на мгновение заглянуть за занавески. Зрелище поразило меня. Как я уже говорил, оракул был одет очень богато, в китайское платье.

Он был явно выше переводчика, стоявшего снаружи. Оракул низко склонил голову. Глаза его были закрыты, подбородок упирался в грудь, украшенную вышитой манишкой. Лицо с крупными тяжелыми чертами застыло в оцепенелом безразличии. Вся фигура оракула казалась преувеличенным повторением неподвижного медиума, поддерживавшего связь с бурным внешним миром. Лицо казалось красным, как кровь, однако я решил, что причиной этому был свет, пробивавшийся через алые шелковые занавески. Все эти подробности я ухватил одним-единственным взглядом: чародей быстро задернул занавеску, скрыв таинственного оракула от моих глаз. Круг возле паланкина освободился, и маркиз подтолкнул меня:

— Смелее, мой друг.

Я шагнул вперед. Поравнявшись с чародеем, как мы прозвали человека с черным посохом, я обернулся, чтобы проверить, слышит ли меня граф.

Нет, он стоял в десятке шагов позади, погружившись в увлеченную беседу с маркизом. Последний, утолив, видимо, свое любопытство, завел разговор о чем-то не имеющем отношения к прорицателю.

Я облегченно вздохнул. Мудрец, похоже, без стеснения выдавал самые сокровенные тайны, а некоторые из моих секретов вряд ли пришлись бы по вкусу графу.

Я задумался. Мне хотелось проверить оракула. Человек англиканского вероисповедания был в Париже *gaга avis*.

— Какова моя религия? — спросил я.

— Прекрасная ересь, — тотчас же ответил оракул.
— Ересь? И как же она называется?
— Любовь.
— О! Тогда, полагаю, я политеист и влюблен во многих богинь?
— В одну.
— Но, если говорить серьезно, — я попытался направить беседу в менее рискованное русло, — доводилось ли мне слышать сердечные признания?

— Да.
— Можете их повторить?
— Подойдите ближе.

Я склонился к паланкину. Чернобородый мудрец задернул занавески и внятно прошептал слова, которые, как вы понимаете, я тотчас же узнал: *«Может быть, я больше не увижу вас, но никогда, никогда не забуду. Прощайте. Бога ради, прощайте!»*

Я подскочил на месте. Если вы помните, это были те самые слова, что прошептала мне при расставании графиня.

Боже милосердный! Ну и чудо! Я готов был поклясться, что этих слов не слышал никто, кроме меня и дамы моего сердца!

Я вгляделся в бесстрастное лицо медиума. Казалось, он не осознавал, что слова, произнесенные им, могут заинтересовать меня; он даже как будто не понимал их смысла.

— Чего я хочу сильнее всего? — спросил я, едва шевеля губами.
— Увидеть рай.
— Что мне мешает?
— Черная вуаль.

Чем дальше, тем больше! Таинственный оракул был знаком с мельчайшими подробностями моего романа, о котором не догадывался даже маркиз. Да и сам я в маскарадном костюме и маске изменился так, что меня родной брат не узнал бы!

— Вы сказали, что я влюблен в единственную богиню. Отвечают ли мне взаимностью?
— Попытайте счастья.

Я заговорил тише и склонился к чернобородому мудрецу, чтобы тот не отвечал слишком громко.

— Любим ли я? — спросил я еще раз.
— Втайне, — был ответ.
— Сильно или не очень?
— Слишком сильно.
— Долго ли продлится эта любовь?
— Пока роза не сбросит листья. Роза — еще один намек!
— Дальше — темнота! — вздохнул я. — Но до тех пор я буду жить со светом в душе.
— Светом фиалковых глаз.

Да, любовь — удивительная штука. Если это и не религия, как утверждает оракул, то уж, по крайней мере, что-то сверхъестественное в ней есть. Она распаляет воображение, будоражит рассудок и делает нас такими легковверными!

Случись это не со мной, я бы только посмеялся; но любовь овладела мною до глубины души. Она разожгла во мне кровь, затуманила разум, я был сам не свой!

Организатор ловкого трюка — если это и вправду был трюк — сделал мне жезлом знак удалиться. Я отошел, не спуская глаз со странного паланкина, окруженного в моем воображении завесой тайны. Вдруг чародей повелительно поднял руку, давая команду глашатаю с золоченым посохом.

Глашатай ударил посохом оземь и пронзительно возгласил:
— Великий Конфуций будет молчать один час!

В тот же миг носильщики потянули за легкие бамбуковые жалюзи; те закрылись с тихим треском.

Чернобородый дервиш в высокой феске принялся топтаться на месте в причудливом

танце. К нему присоединились сначала глашатаи с золочеными посохами, затем стоявшие кольцом носильщики. Танцоры кружились вокруг паланкина, постепенно ускоряя шаг, движения их делались все быстрее, лихорадочнее.

Подстегиваемые аплодисментами зрителей и всеобщим восторгом, они помчались по кругу, завертелись, словно подхваченные вихрем, и вдруг растворились в толпе. Необычайное представление окончилось, если не насовсем, то, по крайней мере, на время.

Маркиз д'Армонвилль стоял неподалеку, задумчиво опустив глаза. Я приблизился.

— Граф отошел поискать жену, — сказал маркиз. — Жаль, что ее не оказалось поблизости и она не поговорила с оракулом. Интересно было бы посмотреть, как отнесется к этому граф. Давайте пройдем к нему. Я просил его представить вас графине.

С бешено колотящимся сердцем я последовал за маркизом.

Мы с маркизом переходили из салона в салон. Нелегко было найти друзей в столь пестрой толпе.

— Оставайтесь здесь, — сказал наконец маркиз. — Я подумаю, как лучше разыскать их. Кроме того, этот ревнивец мог подумать, что было бы не слишком благоразумно знакомить жену с вами. Да вы и сами чересчур горите желанием быть представленным. Пойду вперед и постараюсь разубедить его.

Разговор этот происходил в зале, называемой «Салон Аполлона». Картины на стенах до сих пор свежи в моей памяти; эта комната самой судьбой была предназначена для романтического приключения.

Я присел на широкий диван с позолотой и осмотрелся. Кроме меня, на просторном сиденье умещалось еще трое или четверо гостей. Все они были увлечены веселым разговором, за исключением моей соседки. Нас разделяло не более двух футов. Дама, казалось, не замечала меня, погрузившись в мечтательную задумчивость. Трудно представить себе более изящное создание. Костюм ее был в точности скопирован с портрета мадемуазель де Ла Вальер кисти Коллиньяна. Если вы помните, наряд фаворитки на этой картине отличается не только роскошью, но и редкой изысканностью. Волосы ее белели от пудры, однако природный их цвет, как я догадался, был темно-каштановым. Из-под платья выглянула крохотная ножка, изящные руки сверкали лилейной белизной.

Гости на маскараде имели обыкновение держать маску в руке, поднося время от времени к лицу. Незнакомка же, в отличие от них, носила на лице непроницаемую для глаз маску. Мне до безумия захотелось увидеть ее лицо.

Я готов был дать голову на отсечение, что она хороша собой. Маскарад — это микрокосм, в котором отличить друга от врага можно лишь по голосу да по тонким намекам. Пользуясь неузнаваемостью, я заговорил с незнакомкой:

— Меня не так легко провести, мадемуазель.

— Тем лучше для вас, сударь, — тихо ответила маска.

Я решил идти напрямик.

— Я имею в виду, мадемуазель, что красоту не так легко скрыть, как вы полагаете.

— Однако вам, сударь, это очень хорошо удается, — откликнулась она прежним беззаботным тоном.

— Костюм красавицы давних лет, мадемуазель де Ла Вальер, украшает собой особу более прелестную, чем прототип; глаза мои наткнулись на маску, однако я все же догадался, что под ней скрывается прекрасная леди. Красота — как драгоценный камень из сказок «Тысячи и одной ночи»: как его ни прячь, свет, испускаемый им, виден издалека.

— Мне знакома эта сказка, — ответила юная леди. — Свет действительно выдает его, но не на солнце, а в темноте. В этой комнате, сударь, так темно, что даже жалкий светлячок сияет, как яркий факел. Полагаю, если бы здесь появилась некая графиня, вы бы подумали, что взошло солнце?

Незнакомка поставила меня в трудное положение. Что мне ответить ей? Может быть, она, подобно многим дамам, любительница сомнительных розыгрышей, а возможно, близкая подруга графини де Сен-Алир. Я осторожно спросил:

— Какая графиня?

— Если вы узнали меня, то должны знать и мою лучшую подругу. Правда, она красавица?

— Откуда мне знать, на свете так много графинь.

— Но те, кто знаком со мной, знают и мою дорогую подругу. Разве вы меня не знаете?

— Жестокая. Трудно поверить, что я обознался.

— С кем вы только что прогуливались? — спросила она.

— С другом, — ответил я.

— Разумеется, с другом; мне кажется, я его знаю. Хотелось бы убедиться, что я не ошиблась. Это некий маркиз? Еще один неловкий вопрос!

— Здесь так много гостей; можно прогуливаться сначала с одним, затем с другим, так что...

— Так что человек не слишком щепетильный может легко уклониться от ответа на самый простой вопрос. Запомните же раз и навсегда, что ничто не вызывает в одухотворенном человеке такого отвращения, как подозрительность. Вы, сударь, человек рассудительный. Решайте сами, стоит ли мне уважать вас.

— Мадемуазель, вы сочтете меня достойным презрения, если я не оправдаю оказанного мне доверия.

— Не нужно меня обманывать. Вы подражаете дипломатическим уверткам вашего друга. Ненавижу дипломатию. Под ней скрываются обман и трусость. Думаете, я не узнала вашего друга? Человека с белым крестом на груди? Я хорошо знакома с маркизом д'Армонвиллем. Как видите, ваша изобретательность пропала впустую.

— Не могу ответить ни да, ни нет.

— Вам и не нужно отвечать. Но почему вы так долго мучили несчастную даму?

— У меня и в мыслях такого не было.

— Сначала вы притворились, что узнали меня, на самом же деле вы меня не знаете; то ли из любопытства, то ли по некоему странному капризу вам вздумалось беседовать не с дамой, а с костюмом. Вы говорили мне комплименты, потом сделали вид, что спутали меня с кем-то. Но кто эта особа, что вызывает у вас такое восхищение? Или на свете больше не доискаться правды?

— Мадемуазель, у вас сложилось превратное представление обо мне.

— А у вас — обо мне; вы с удивлением обнаруживаете, что я не так глупа, как вам казалось. Я хорошо знаю, кого вы искали и чье сердце намеревались растрогать нежными признаниями и печальными вздохами.

— Откройте же, о ком вы говорите, — взмолился я.

— При одном условии.

— Каком?

— Если я назову имя этой дамы, вы во всем признаетесь.

— Вы неверно толкуете мои намерения, — воспротивился я. — Я никогда не осмелился бы разговаривать с дамой в таком тоне, какой вы мне приписываете.

— Ну что ж, не буду настаивать. Условие изменяется: если я назову имя этой особы, вы признаете, что я права.

— Я должен пообещать вам это?

— Ни в коем случае, никакого принуждения. Но без вашего обещания я больше не буду с вами разговаривать.

Я заколебался; но откуда ей знать имя моей возлюбленной? Сама графиня вряд ли придавала значение пылким взглядам случайного встречного; а дама в костюме Ла Вальер наверняка не знала моего имени — для нее я был всего лишь незнакомцем в домино и маске.

— Согласен, — произнес я. — Обещаю.

— Поклянитесь честью джентльмена.

— Что ж, клянусь честью джентльмена.

— Эта дама — графиня де Сен-Алир.

От удивления я лишился дара речи. Я смутился, но, памятуя свое обещание, подтвердил:

— Да, я действительно надеялся сегодня вечером быть представленным графине де Сен-Алир; но, клянусь опять же честью джентльмена, вы не должны питать ни малейших подозрений о том, что я намеревался завоевать ее сердце или даже что она знает о моем существовании. Мне посчастливилось оказать ей и графу небольшую любезность, столь незначительную; что, право, не стоит о ней вспоминать.

— Уверяю вас, мир не настолько исполнен черной неблагодарности, как вы полагаете. На свете немало людей, умеющих платить добром за добро. Надеюсь, графиня де Сен-Алир простит, если я отвечу за нее: она не из тех, что забывают об услуге. Графиня не выражает своих чувств, однако я-то знаю, что она глубоко несчастна.

— Несчастна! Этого-то я и боялся. Однако что касается остальных ваших предположений, это всего лишь мечты, льстящие моему тщеславию.

— Как я уже говорила, я подруга графини и поэтому хорошо знаю ее характер. Отношения между нами самые доверительные, и не исключено, что мне известно о той незначительной услуге куда больше, чем вы полагаете.

Незнакомка заинтриговывала меня все сильнее и сильнее. Испорченный, как и все молодые люди, я не замечал всей гнусности таких расспросов. Во мне разыграло себялюбие и прочие страсти, сопутствующие Любви.

Образ прекрасной графини заслонил собой всю красоту моей прелестной собеседницы в костюме Ла Вальер. Я готов был жизнь отдать за то, чтобы услышать, что графиня не забыла безвестного юношу, вставшего на ее защиту с одной лишь тросточкой в руке против разъяренного драгуна с саблей и вышедшего победителем.

— Вы сказали, что графиня несчастна, — напомнил я. — Что ее тревожит?

— Многое. Муж ее — старый тиран, он груб и ревнив. Разве этого недостаточно? Даже когда он не обременяет ее своим присутствием, она одинока.

— Но ведь у нее есть подруга — это вы.

— А по-вашему, одной подруги достаточно? — ответила она. — Только мне бедняжка может открыть свое сердце.

— Могу ли я тоже стать ей другом?

— Попробуйте.

— Каким образом?

— Она поможет вам.

— Как?

Она ответила вопросом на вопрос:

— Вам удалось снять комнату в каком-либо из версальских отелей?

— Нет. Я остановился в «Парящем Драконе», на границе владений, прилегающих к замку Шато-де-ла-Карк.

— Это еще лучше. Я не сомневаюсь, что у вас хватит мужества для опасного предприятия. Не сомневаюсь и в том, что вы человек чести. Любая дама может без опаски довериться вам. Такие люди встречаются нечасто. Я устрою вам свидание с графиней. Вы увидите с ней в два часа пополудни в парке замка Шато-де-ла-Карк. Какую комнату в гостинице «Парящий Дракон» вы занимаете?

Отвага и решительность незнакомки удивили меня. Что, если она, как говорится, водит меня за нос?

— Я могу точно описать ее, — ответил я. — Моя комната находится в тыльной половине здания. Если смотреть из окон, она угловая, крайняя справа, один лестничный пролет вверх.

— Отлично; если вы дали себе труд выглянуть в парк, то наверняка заметили две-три куртины лип и каштанов, сливающихся в небольшую рощу. Вернитесь в гостиницу и переоденьтесь, затем выйдите из комнаты и незаметно перелезьте через стену парка. Соблюдайте строжайшую тайну, не говорите никому, куда и зачем вы направляетесь.

Оказавшись в парке, вы сразу заметите ту самую рощицу. Там вы и встретитесь с графиней; она уделит вам несколько минут и вкратце объяснит очень серьезное дело, о котором я не могу распространяться. Помните, графиня рассчитывает на вашу скромность!

Не могу описать, какая буря чувств нахлынула на меня при этих словах.

Я был поражен, но затем меня охватило сомнение. Не шутит ли надо мной прелестная незнакомка?

— Мадемуазель, я не осмеливаюсь поверить, что графиня в самом деле удостоивает меня такого счастья. Будь это истиной, благодарность моя не знала бы границ. Но, мадемуазель, разрешите предположить, что вами движут скорее доброта и сочувствие к несчастному влюбленному, чем искренняя уверенность в том, что графиня готова оказать мне такую честь.

— Сударь, вы, видимо, полагаете, что я лишь делаю вид, будто посвящена в тайну, о которой не знает никто, кроме графини и вас, или же вам кажется, что я бессовестно вас разыгрываю. Клянусь всем, что вам дорого, что графиня полностью мне доверяет. Клянусь увядшим собратом этого цветка! — Она извлекла из букета белую розу. — Клянусь моей путеводной звездой, клянусь ее... может быть, лучше сказать — Нашей «Прекрасной Звездой»? Разве мало доказательств я вам представила?

— Мало? — переспросил я. — Более чем достаточно! Тысячу раз благодарю!

— Видите, раз графиня так доверяет мне, значит, я в самом деле ее подруга; а разве по-дружески было бы затевать от ее имени такие жестокие игры? И для чего — чтобы подшутить над вами, несчастным чужестранцем?

— Простите меня, мадемуазель. Не забывайте, сколь много для меня значит надежда увидеть графиню и поговорить с ней. Что же удивительного в том, что я не сразу поверил вам? Однако вы меня убедили и, надеюсь, простите мои сомнения.

— Значит, вы придете на указанное мною место в два часа пополудни?

— Без сомнения, — ответил я.

— Надеюсь, сударь, страх не остановит вас. Нет, не стоит меня разуверять; вы уже доказали свое мужество.

— Я преодолею любые преграды!

— А теперь, сударь, вам, по-видимому, пора идти, пока друзья не хватились вас.

— Я обещал дожидаться друзей здесь. Граф де Сен-Алир собирался представить меня графине.

— А у вас, сударь, хватило наивности поверить ему?

— Почему бы и нет?

— Потому что он хитер и ревнив. Скоро вы сами убедитесь в этом. Он никогда не познакомит вас с женой. Он вернется и скажет, что не сумел ее найти, пообещает представить вас в другой раз.

— Мне кажется, граф с моим другом направляются сюда. Вы правы — с ними нет дамы.

— Что я вам говорила? Если вы рассчитываете, что он действительно познакомит вас с графиней, то вам придется долго дожидаться такой чести. Однако поспешите; будет лучше, если он не увидит нас вместе. Старик заподозрит, что мы говорили о его жене, и тогда его злоба и ревность разыграют с удвоенной силой.

Я поблагодарил неизвестную доброжелательницу в маске, отступил на несколько шагов и, описав широкую дугу, приблизился к графу сзади, словно только что нагнал его.

Граф принялся заверять меня, что герцогиня де ла Рокем куда-то ушла и взяла графиню с собой, однако он надеется, что вскоре; сумеет сдержать свое обещание и познакомить меня с женой. Я улыбнулся под маской.

Я старался держаться подальше от маркиза д'Армонвилля, шедшего об руку с графом. Я боялся, что он предложит проводить меня домой; мне хотелось избежать ненужных объяснений.

Поэтому я поскорее затерялся в толпе и поспешил к Зеркальной галерее, лежавшей в

противоположном крыле от того места, куда направлялись граф и мой друг маркиз.

Во Франции тех дней празднества заканчивались раньше, чем наши современные лондонские балы. Я взглянул на часы. Стрелка чуть перевалила за двенадцать.

Ночь выдалась тихая и знойная. В огромном роскошном дворце, переполненном гостями, царила удушающая жара. Кое-где толпа сгущалась так, что танцующие задевали друг друга локтями, и жар свечей делал духоту еще невыносимее. Под маской было просто нечем дышать; я заметил, что кое-кто из гостей, не слишком заботясь о сохранении инкогнито, снял маски, и последовал их примеру. Едва я вздохнул полной грудью, как меня окликнул по-английски дружеский голос. Это был Том Уистлвик, офицер Н-ского драгунского полка. Он тоже снял маску, лицо его пылало. Уистлвик был из тех новоиспеченных героев Ватерлоо, которых почитал весь мир, за исключением Франции; единственной дурной чертой, которую я в нем знал, была привычка изобильно утолять жажду шампанским; он неизменно следовал ей на балах, музыкальных вечерах и всех праздниках, какие ему доводилось посещать. Когда Том представил мне своего друга, господина Карманьяка, я заметил, что язык его уже слегка заплетается. Господин Карманьяк, невысокий худощавый человек, держался неестественно прямо. Он был лыс, нюхал табак и носил очки; вскоре я узнал, что он занимает высокий государственный пост.

Том отпускал веселые шуточки, однако вследствие чрезмерно приподнятого настроения понять его было трудновато. Он шевелил бровями, выпячивал губы и рассеянно обмахивался маской. Проведя некоторое время в приятной беседе, я с облегчением убедился, что наш драгун предпочитает молчать и удовлетворяется ролью слушателя, тогда как мы с господином Карманьяком оживленно переговаривались. Вскоре Том с величайшими предосторожностями утвердил свое могучее тело, на широкой скамье неподалеку от нас; как я заметил, ему нелегко было держать глаза открытыми.

— Вы говорили, — напомнил мой собеседник, — что сняли комнату в гостинице «Парящий Дракон», примерно в полулиге отсюда. Года четыре назад я служил в полицейском отделении и помню два странных происшествия, связанных с этим домом. Одно из них произошло с богатым эмигрантом, которому имп... то есть Наполеон разрешил вернуться во Францию. Он исчез бесследно. Другое, не менее странное, случилось с богатым русским дворянином. Он исчез при столь же таинственных обстоятельствах.

— Мой слуга, — добавил я, — тоже рассказывал мне о каких-то исчезновениях. Насколько мне помнится, в его рассказе фигурировали те же люди — французский аристократ, вернувшийся на родину, и русский дворянин. Но в его устах эта история так изобиловала сверхъестественными подробностями, что, признаюсь, я не поверил ни единому слову.

— Ничего сверхъестественного тут нет, однако многое не поддается объяснению, — возразил француз. — Разумеется, было высказано множество гипотез, однако, насколько я знаю, никому еще не удалось пролить свет на эти загадочные исчезновения.

— Прошу вас, расскажите мне эту историю, — взмолился я. — Она касается моего нынешнего обиталища, поэтому, думаю, я вправе просить вас об этом. Уж не подозреваете ли вы хозяев дома?

— С тех пор гостиница сменила хозяев. Но, похоже, роковые происшествия связаны с одной-единственной комнатой.

— Какой именно?

— Сейчас опишу. Это просторная спальня, обшитая деревянными панелями, расположена в тыльной части здания, крайняя справа, если смотреть из окон.

— О! Неужели? Как ни странно, я живу в этой самой комнате! — воскликнул я. Мною овладел неподдельный интерес, к которому примешивалась едва ощутимая толика дурных предчувствий. — А что эти люди — они умерли или просто исчезли как призраки?

— Они не умерли — исчезли совершенно непонятным образом. Я расскажу вам эти события во всех подробностях. Они хорошо известны мне, так как в первом случае я в качестве официального лица посещал этот дом для сбора свидетельских показаний; и, хотя

во втором случае мне не довелось побывать на месте происшествия, все следственные документы проходили через меня. Я диктовал официальные извещения родственникам исчезнувших — они обратились в правительство с просьбой о расследовании. Через два года мы получили от этих родственников письма, из которых выяснилось, что пропавшие нигде и никогда больше не объявились.

Он взял щепотку табаку и внимательно посмотрел на меня.

— Нигде и никогда! Я расскажу все, что нам удалось установить. Французский дворянин, аристократ по имени граф Шато-Блассемар, в отличие от большинства эмигрантов, вовремя уловил, куда ветер дует, и успел продать большую часть имущества прежде, чем революция перекрыла для этого все возможности. Он уехал за границу, имея на руках значительную сумму — около полумиллиона франков, в основном вложенных в различные французские ценные бумаги. Кроме того, его состояние в австрийской недвижимости казначейских обязательствах выражалось еще более крупной цифрой. Как видите, этот человек был богат, и нет оснований утверждать, что он потерял свои деньги или же оказался в стесненных обстоятельствах.

Я признал справедливость его слов.

— Привычки этого господина были довольно скромны в сравнении с его средствами. Он владел удобными апартаментами в Париже, время от времени посещал светские развлечения, театры и балы. Он не играл. Красавец средних лет, он любил выглядеть молодо и отличался щегольством, обычным в людях его круга; в остальном же это был человек доброжелательный и учтивый, никому не причинял вреда — трудно представить, чтобы кто-то питал к нему враждебные чувства.

— Разумеется, — согласился я.

— В начале лета 1811 года он выправил ордер, позволяющий ему снять копию с одной из картин в дворцовых салонах, и с этой целью прибыл в Версаль. Работа продвигалась медленным темпе.

Через некоторое время он съехал из городского отеля и поселился в «Парящем Драконе». Из всех имевшихся номеров он выбрал именно тот, который по случайности достался вам. После переезда он почему-то стал уделять рисованию значительно меньше времени и реже посещал свою парижскую квартиру. Однажды ночью он сказал хозяину «Парящего Дракона», что уезжает в Париж по важному делу и останется там на день или два. Слуга его поедет с ним. Дворянин просил сохранить за ним комнату. Он оставил в номере кое-какую одежду, однако уложил чемодан, взял несессер, сел в экипаж и со слугой на запятках укатил в Париж. Вы следите за моим рассказом, сударь?

— Очень внимательно, — откликнулся я.

— Дальше дело обстояло так: немного не доехав до своего дома, граф внезапно остановил карету и заявил слуге, что планы его изменились; ему-де нужно ехать по чрезвычайно важному делу на север Франции, в Руан. Он заночует где-нибудь по дороге, рано утром отправится в путь и вернется недели через две. Граф нанял фиакр; из багажа он взял с собой лишь кожаный портфель — судя по размерам, в нем мог бы уместиться разве что сюртук да пара рубашек, однако слуга клянется, что портфель этот был необычайно тяжел: он держал его в руках, пока хозяин отсчитывал ему причитающиеся тридцать шесть наполеондоров. Итак, граф с вышеописанным портфелем сел в фиакр. Как видите, до сих пор все предельно ясно.

— Вполне, — согласился я.

— Далее и начинается тайна, — продолжил господин Карманьяк. — После этого никто из друзей или знакомых не видел графа Шато-Блассемара. Нам удалось выяснить, что накануне поверенный графа, по указанию последнего, продал все его ценные бумаги и вручил графу всю вырученную сумму наличными. Поверенный назвал нам причину, которой граф объяснил столь странное распоряжение; она полностью совпадает с показаниями слуги. По словам поверенного, граф отправился на север Франции, чтобы уладить некоторые претензии, и не мог точно указать, сколько времени отнимут у него дела. Портфель,

озадачивший слугу своей тяжестью, содержал, несомненно, крупную сумму золотом. Не хотите ли понюхать моего табаку?

Господин Карманьяк протянул мне табакерку. Я осторожно взял щепотку желтоватого порошка.

— Было начато расследование, — продолжал мой собеседник. — Мы назначили награду за любые сведения, которые могли бы пролить свет на таинственное исчезновение графа, и предложили, как было указано в официальном объявлении, *«кучеру фиакра, нанятого такого-то числа, около половины одиннадцатого вечера, господином, имевшим при себе кожаный портфель. Господин этот вышел из личной кареты и вручил слуге некоторую сумму денег; предварительно дважды пересчитав ее»*. На наше объявление откликнулось более ста пятидесяти кучеров, но нужного нам среди них не оказалось. Однако нам удалось получить весьма ценные сведения там, где мы меньше всего ожидали. Нет, вы только посмотрите, что вытворяет этот арлекин со своей шпагой!

— Ну и ну! — подивился я искусству шпагоглотателя.

Вскоре арлекин ушел, и господин Карманьяк продолжил свой рассказ.

— Сведения эти сообщил нам мальчик, хорошо знавший графа Шато-Блассемара в лицо — тот часто посылал его с различными поручениями. По его словам, в ту ночь, около половины первого, а надо вам сказать, луна светила очень ярко — мать его внезапно заболела и послала его за саде феМме, жившей в двух шагах от «Парящего Дракона». Мальчуган жил приблизительно в миле от таверны, и путь его пролегал через парк, примыкающий к замку Шато-де-ла-Карк, мимо кладбища Сен-Обэн, отделенного от дороги невысокой изгородью да двумя-тремя старыми деревьями. Приближаясь к древнему захоронению, мальчик дрожал от страха. Вдруг среди могил он заметил человека — это был граф, мальчик клянется, что узнал его; в округе граф известен под прозвищем, дословно означающим «улыбчивый». Однако в ту ночь улыбчивому графу было не до веселья — он сидел на могильном камне, заряжая пистолет и положив возле себя острую шпагу.

Мальчик на цыпочках приблизился к графу Шато-Блассемару или же к человеку, которого принял за графа. Тот был одет в непривычный темный костюм, лицо его было сурово и печально, однако мальчик клянется, что не мог обознаться — это был граф. Если это правда, то мальчик был последним свидетелем, видевшим графа живым. Больше о нем никто не слышал. Не появлялся он и в окрестностях Руана. Свидетельств о его смерти также не поступало; никто не может сказать наверняка, жив сейчас граф или мертв.

— Да, случай весьма необычный, — заметил я и приготовился задать собеседнику несколько вопросов. Но тут меня прервал Том Уистлвик: пока я слушал рассказ Карманьяка, он, будучи незамеченным мною, проснулся, прогулялся по залам и вернулся в куда более бодром настроении.

— Слышите, Карманьяк, уже поздно, мне пора уходить. Вам известно, куда я тороплюсь. А с вами, Беккет, нам непременно нужно увидаться еще раз, и как можно скорее.

— Очень жаль, что я не смог рассказать вам историю другого постояльца из той же самой комнаты, — сказал мне Карманьяк. — Случай этот, гораздо более таинственный и зловещий, произошло сенью того же года.

— Не соблаговолите ли, господа, отобедать со мной завтра в «Парящем Драконе»? — пригласил я, провожая их вдоль Большой Зеркальной галереи. Мои новые знакомые охотно дали согласие.

— Господи помилуй! — воскликнул Уистлвик, дойдя до конца галереи. — Смотрите, эта пагода, или паланкин, или что еще такое, так и стоит там, где ее поставили, и никого нет поблизости! Ума не приложу, как им удастся так здорово предсказывать судьбу. Джек Наффлз, он сегодня тоже был здесь, говорит, что это цыгане. Но хотел бы я знать, куда они запропастились? Пойду-ка взгляну на оракула.

Он приподнял занавески, изготовленные по принципу венецианских подъемных жалюзи. Внутри оказались красные шторы. Они не поддавались, и Тому удалось лишь заглянуть под одну из них, неплотно опущенную.

Он рассказал об увиденном так:

— Темно, как в погребу, я едва разглядел оракула. Весь завернут в красные и золотые одежды, на голове расшитая шляпа, как у мандарина. Крепко спит, а воняет, черт побери, как хорек! Не хотите ли сами убедиться? Будет о чем порассказать друзьям! Тьфу! Ну и запашок. Фу!

Не удостоив вниманием его любезное приглашение, мы неторопливо направились к дверям. Я пожелал новым друзьям доброй ночи, напомним об обещании отобедать со мной, добрался наконец до своей кареты и вскоре под сенью раскидистых деревьев медленно катил в сторону «Парящего Дракона».

В голове моей теснились самые причудливые картины. Сколько необычайных происшествий случилось со мной за каких-нибудь два часа! Какие удивительные приключения ждут меня впереди! Перед глазами у меня до сих пор вертелся бурный водоворот музыки и танцев, огней, бриллиантов, ярких красок, и тихая дорога, озаряемая мягким лунным светом, казалась моему распыленному воображению еще пустынее.

Безмолвное очарование ночной природы мгновенно охладило мои чувства. Только сейчас я с ужасом понял, до чего безумна моя преступная затея с ночным свиданием. Я почти жалел, что вступил в лабиринт, который может привести меня неизвестно куда. Я понимал, что раскаиваться уже поздно, однако к праздничным восторгам начинала примешиваться горечь; сердце мое сжалось от дурных предчувствий. Еще немного, и я готов был рассказать о своих сомнениях не только моему жизнерадостному другу Альфреду Оглу, но и заядлому насмешнику, любезнейшему Тому Уистливику.

Не стоило опасаться, что двери в «Парящем Драконе» запрут ранее трех или четырех часов утра. В таверне квартировало много слуг, чьи знатные господа будут веселиться на балу вплоть до самого его окончания; они вернутся в таверну лишь после того, как доставят хозяев в отели и благополучно уложат спать.

Следовательно, у меня достаточно времени для тайной ночной прогулки, и мне не придется стучаться в запертую дверь, возбуждая ненужное любопытство владельца гостиницы.

Карета остановилась возле гостиничной вывески. Сучья деревьев, нависавшие над дорогой, тесно переплетались, образуя плотный шатер, из приоткрытых дверей падал яркий свет.

Я отпустил экипаж, с маской в руке взбежал по широкой лестнице и вошел в просторную спальню. Тяжелая старинная мебель и темные панели на стенах делали ночную тьму еще непрогляднее, складках черного балдахина над высокой кроватью таились зловещие тени.

На полу загадочно мерцал тусклый отблеск лунного света. Я поспешил к окну. Темный лес, залитый серебристым сиянием луны, погрузился в зачарованный сон. На бледно-сером небе сурово чернели причудливые очертания замка Шато-де-ла-Карк, его многочисленных башенок, печных труб, островерхих крыш. На полпути между таверной и замком, чуть влево, виднелась роща, где таинственная леди в маске назначила мне встречу с прелестной графиней. Верхушки деревьев, колеблемые легким ветерком, призрачно трепетали в лунном сиянии. Я прикинул как можно точнее, в каком направлении нужно идти, чтобы попасть в сумрачную рощу. Сердце мое бешено колотилось. Я всматривался в незнакомый лес, которому суждено было стать декорацией к моему необычайному приключению, и по спине моей ползали мурашки.

Время летело неумолимо; приближался назначенный час. Я скинул халат и бросил его на диван; сменил легкие туфли без каблучков, называемые в те годы «бальными», так как без них мужчина не мог появиться в обществе, на крепкие сапоги, надел шляпу, сунул за пояс пару заряженных пистолетов — постоянных спутников каждого путешественника по Франции тех дней: леса кишели солдатами из расформированных полков, среди которых попадались горячие головы. Снарядившись таким образом, я, каюсь, взял зеркало и подошел к окну, чтобы взглянуть, хорошо ли я выгляжу в лунном свете. Оставшись доволен своим

обликом, я бегом спустился по лестнице.

В вестибюле я окликнул слугу: Шато-де-ла-Карк — Сен-Клер, — сказал я, — я хочу немного прогуляться под луной, минут десять или около того. Не ложись спать, пока я не вернусь. Если погода будет хорошая, я, возможно, задержусь.

Я с беспечным видом вышел за дверь, огляделся по сторонам, словно выбирая, куда бы мне направить свои стопы, и зашагал по дороге, поглядывая то на луну, то на легкие белые облачка и насвистывая веселую мелодию, подхваченную в каком-то из театров.

Однако стоило мне отойти от «Парящего Дракона» на сотню ярдов, как от напускной беззаботности не осталось и следа. Я обернулся. Дорога белела, словно покрытая инеем; на фоне темного неба смутно вырисовывался силуэт старой таверны, сквозь густую листву пробивался свет одинокого окна.

Вокруг не было ни души. Я взглянул на часы — луна светила так ярко, что я, хоть и с трудом, сумел различить стрелки. До назначенного часа оставалось восемь минут.

Каменную ограду до самого верха скрывал густой ковер плюща. Толстые плети помогли мне вскарабкаться на стену и укрыли от случайного нескромного взгляда. Я перебрался через стену и, как гнусный браконьер, проникший во владения ничего не подозревающего землевладельца, очутился в парке замка Шато-де-ла-Карк.

Прямо передо мной, черная, как плюмаж на катафалке, темнела роща, описанная незнакомкой. Чем ближе я подходил, тем суровее вздымались надо мной мрачные колонны деревьев, тем неотвратимее подползала к моим ногам широкая черная тень. Наконец я вступил под своды древесных крон, и тьма поглотила меня. Я брел среди величественных лип и каштанов, сердце мое замирало от тревожных предчувствий.

Посреди рощи деревья расступались; на поляне стоял небольшой греческий храм. С четырех сторон к нему вели широкие порталы. В окружении коринфских колонн виднелась высокая статуя. Беломраморное строение, некогда величественное, ныне почти разрушилось. Сквозь трещины в мраморных плитах пробивалась трава, пьедестал и карниз поросли мхом. У подножия лестницы в мраморной чаше журчал и плескался чахлый фонтан, питаемый из прудов, расположенных по другую сторону замка. В лучах луны водяная струя рассыпалась пригоршнями алмазных игл. Картина дышала упадком и запустением, однако печать заброшенности придавала руинам некое грустное очарование. Помимо воли они наполняли мою Душу романтической печалью. В воображении возникал уютный грот над лесным источником; казалось, из храма вот-вот появится мудрая нимфа Эгерия.

В ожидании возлюбленной я слишком внимательно всматривался в ночную мглу, чтобы любоваться живописными развалинами. Из задумчивости меня вывел тихий нежный голос. Я обернулся, едва не подскочив от неожиданности: у меня за спиной стояла давешняя незнакомка в маске и костюме мадемуазель де Ла Вальер.

— Графиня вскоре придет сюда, — сказала незнакомка. Лунный свет озарял ее прелестную фигурку, изящную и грациозную. — Тем временем я подробнее расскажу вам о том, какую жизнь она ведет. Бедняжка глубоко несчастна; судите сами, неравный брак, муж — ревнивый тиран, терзает супругу, чтобы вынудить ее продать бриллианты, которые...

— Стоят тридцать тысяч фунтов стерлингов. Мне рассказывал об этом друг. Могу ли я помочь графине? Только намекните; нет такой жертвы, на которую я не пошел бы ради нее. Все, что в моих силах...

— Если вы сумеете презреть опасность; впрочем, нет, тут дело не в риске. Если вы сумеете презреть незыблемые каноны светской морали, если, как истинный рыцарь, отдадите всего себя служению прекрасной даме, не ожидая иной награды, кроме слов благодарности, если у вас хватит на это мужества и сил, то тогда вы спасете графиню и завоюете не только ее признательность, но и сердечную дружбу.

При этих словах незнакомка в маске отвернулась и заплакала. Я с радостью дал обет стать почтительным и верным рабом графини.

— Однако, — напомнил я, — вы сказали, что графиня вскоре придет сюда.

— Да, если ничто не помешает. Граф де Сен-Алир строго следит за домом и садом;

бедняжке трудно выбраться незамеченной.

— А она в самом деле желает видеть меня? — с трепетом спросил я.

— Сначала скажите, часто ли вы вспоминали ее после происшествия в «Прекрасной Звезде».

— Ни на минуту не переставал я думать о графине. Денно и ночью преследует меня взгляд ее чудных глаз, звучит в ушах дивный голос.

— Говорят, мой голос очень похож на ее, — заметила маска.

— Это так, — сказал я, — однако ее голос я не спутаю ни с чем.

— Да? Значит, мой лучше?

— Простите, мадемуазель, я этого не говорил. Ваш голос очень мелодичен, но звучит, по-моему, чуть выше.

— Вы хотели сказать, чуть пронзительнее, — откликнулась де ла Вальер, как мне показалось, с досадой.

— Отнюдь; ваш голос совсем не пронзителен, он нежен и мелодичен, однако ее голос все же сильнее волнует мою душу.

— Это не так, сударь; вами владеет предубеждение.

Мне нечем было возразить прелестной даме, и я поклонился.

— Вижу, сударь, вы надо мной смеетесь, считаете, что я из пустого тщеславия пытаюсь выказать себя равной графине де Сен-Алир. Однако признайте же, по крайней мере, что рука моя ничем не хуже, чем у нее. — Она сняла перчатку и протянула белоснежную кисть. Незнакомка, казалось, уязвлена не на шутку. Это недостойное состязание выводило меня из терпения: в пустой болтовне уходили драгоценные минуты, а свидание мое пока что не принесло никаких плодов. — Вы не можете не признать, что рука моя столь же изящна, как у графини.

— Не могу согласиться с вами, мадемуазель, — возразил я, теряя самообладание. — Не хочу вдаваться в сравнения, однако графиня де Сен-Алир — самая прекрасная женщина, какую я встречал в жизни.

Незнакомка холодно рассмеялась, но затем, смягчившись, со вздохом произнесла:

— Я докажу, что я права.

При этих словах она сняла маску: на меня с улыбкой, прекрасная, как никогда, смущенно смотрела графиня де Сен-Алир!

— О небо! — воскликнул я. — До чего же я был глуп! И сейчас, и в салоне я, сам того не подозревая, долго беседовал с самой госпожой графиней! — Я лишился дара речи. Красавица сердечно рассмеялась и протянула мне руку. Я пылко поднес ее к губам.

— Нет, не надо, — тихо произнесла она. — Мы еще недостаточно близкие друзья. Вижу, вы, хоть и ошиблись во мне, все еще не забыли свою графиню из «Прекрасной Звезды» и готовы истово и бесстрашно защищать меня. Если бы вы уступили притязаниям моей соперницы и признали, что мадемуазель де ла Вальер красивее меня, графиня де Сен-Алир никогда не доверилась бы вам. Однако теперь я уверена в вашей верности, равно как и в храбрости. Как видите, я вас не забыла; и, раз вы готовы рисковать жизнью ради меня, я тоже сумею без содрогания взглянуть в лицо опасности. Мне совсем не хочется потерять друга навсегда. У меня осталось всего несколько минут. Не сообразовали ли вы прийти сюда завтра ночью, в четверть двенадцатого? Я буду ждать вас на этом же месте. Молю вас, сударь, будьте как можно осторожнее, чтобы никто не заподозрил, что вы приходили сюда. Поклонитесь мне в этом, — с горячей мольбой произнесла она.

Я поклялся, что скорее умру, чем допущу, чтобы случайная оплошность разрушила тайну, составлявшую счастье и смысл моей жизни. С каждой минутой графиня казалась мне красивее и красивее. Меня сжигало желание помочь ей.

— Завтра вы должны пойти другой дорогой, — предупредила графиня. — По другую сторону замка лежит древнее кладбище с разрушенной часовней. Мимо проходит дорога, но она пустынна: местные жители боятся показываться там ночью. В ограде есть калитка; шагах в пятидесяти за ней вы найдете заросли густого кустарника.

Я пообещал в точности следовать ее указаниям.

— Более года я терзаюсь нерешительностью. Наконец я отважилась порвать с прошлым. Жизнь моя исполнена печали; даже монахини в монастыре не так удалены от мира, как я в замке графа. Мне некому довериться, не у кого спросить совета, не на кого положиться. В вашем лице я наконец обрела храброго и преданного друга. Смогу ли я забыть, как героически бросились вы на мою защиту в «Прекрасной Звезде»? Вы в самом деле сохранили розу, которую я дала вам на прощание? Да, конечно, вы же поклялись. Не стоило; я и без клятв верю вам. О Ричард, как часто я в затворничестве повторяла ваше имя — я узнала его у слуги! Ричард! Мой герой! Король моего сердца! Я люблю вас.

Я готов был броситься к ногам графини, прижать ее к сердцу, однако моя прелестная и, надо сказать, непоследовательная возлюбленная остановила меня.

— Нет, нельзя тратить драгоценные минуты нашего свидания на безумства. Поймите, что творится у меня на душе. В замужестве нет такого понятия, как безразличие. Если я не люблю своего мужа, — продолжала она, — значит, я его ненавижу. Граф жалок и смешон; однако в ревности он грозен. Поэтому, прошу вас, хотя бы из сострадания ко мне, соблюдайте осторожность. И в любых разговорах подчеркивайте, что вы не знакомы ни с кем из обитателей Шато-де-ла-Карк; если в вашем присутствии кто-либо упомянет имена графа или графини де Сен-Алир, утверждайте, что вы никогда с ними не встречались. На нашем завтрашнем свидании я смогу поведать вам больше. Все, что я делаю и о чем умалчиваю, есть веская причина, которую я пока что не могу вам открыть. Прощайте. Идите же!

Повелительным жестом она велела мне удалиться.

— Прощайте! — откликнулся я.

Весь разговор продолжался, по-моему, не более десяти минут. Я снова перебрался через каменную ограду и вернулся в «Парящий Дракон» прежде, чем там закрыли двери.

Я долго лежал без сна, дрожа от лихорадочного возбуждения. До самой зари у меня перед глазами стояло лицо прелестной графини, окруженное мглой.

На следующий день ко мне заглянул маркиз. На столе у меня стоял поздний завтрак.

Маркиз сказал, что зашел попросить об одолжении. По окончании бала его карета в суতোлке попала в канаву и повредила колесо, так что он умоляет, если я еду в Париж, взять его с собой. Я действительно собирался в город и был очень рад составить ему компанию.

Мы поднялись в мою комнату. Я с удивлением увидел, что на стуле, спиной к нам, с газетой в руках сидит какой-то человек. Гость поднялся — это был граф де Сен-Алир. На носу его поблескивали золотые очки, маслянистые букли черного парика прикрывали морщинистую, словно вырезанную из самшита, тощую шею. Неизменный черный шарф свободно болтался на груди, правая рука висела на перевязи. Трудно сказать, действительно ли граф в этот день выглядел как-то необычно или надо мной довлело предубеждение, вызванное рассказом графини на тайном свидании в парке, однако сегодня он показался мне куда более отталкивающим, чем накануне.

Я не настолько погряз в грехе, чтобы не испытать мимолетного содрогания при внезапной встрече с человеком, которому намеревался оказать столь дурную услугу.

Граф улыбнулся.

— Я зашел в надежде застать вас дома, месье Беккет, — скрипучим голосом произнес он. — Осмелюсь смиренно попросить моего друга маркиза д'Армонвилля о небольшой услуге и надеюсь, он не откажет мне в помощи.

— С превеликим удовольствием, — ответил маркиз, — я в вашем распоряжении, но только чуть позже. Сейчас у меня назначена неотложная встреча с четырьмя друзьями; я не могу ее отменить. Я освобожусь не ранее шести часов вечера.

— Но как же мне быть? — воскликнул граф. — Дело мое не терпит отлагательства. Оно займет всего час, не более. Какое досадное *conTgeTetps*!

— С удовольствием уделю вам час своего времени, — предложил я.

— Очень любезно с вашей стороны, сударь, я даже не смел надеяться на вашу помощь.

Такому веселому и очаровательному юноше, как вы, месье Беккет, дело мое покажется немного *funesTe*. Пожалуйста, прочитайте письмо, которое я получил сегодня утром.

Да, известие, полученное графом, было печальным. В письме сообщалось, что кузен графа, господин де Сен-Аман, скончался в своем доме, замке Шато-Клери, и в соответствии с письменной волей покойного его останки должны быть захоронены на кладбище Пер-Лашез. Катафалк с телом покойного, с дозволения графа де Сен-Алир, прибудет в его замок, Шато-де-ла-Карк, сегодня около десяти часов вечера, дабы члены семьи могли проститься с усопшим родственником и присутствовать на его похоронах.

— Я едва ли виделся с несчастным пару раз в жизни, — сказал граф, — однако, поскольку у него нет другой родни, печальная обязанность воздать ему последние почести ложится на мои плечи, поэтому мне необходимо сегодня же прибыть в похоронное бюро и выправить все долженствующие бумаги. Но тут есть и другая сложность. К несчастью, я растянул большой палец и в течение ближайшей недели не смогу поставить свою подпись. Однако на похоронных бланках может стоять любое имя, как мое, так и ваше. Не будете ли вы любезны поехать со мной и помочь мне в оформлении необходимых бумаг?

Мы отправились в Париж. По дороге граф сообщил мне фамилию и имя покойного, возраст, причину смерти и прочие сведения, а также подробно описал требуемые размеры и положение могилы — ее следовало выкопать между двумя фамильными склепами семейства Сен-Аман. Похороны были назначены на половину второго ночи — не ближайшей, а следующей за ней; граф вручил мне предназначенный похоронному бюро гонорар, включая дополнительную плату за ночные похороны. Сумма была немалая; я спросил, на чье имя следует выписать квитанцию.

— Только не на мое, любезный друг. Поверенный кузена намеревался назначить меня душеприказчиком, однако вчера я ответил отказом. Мне известно, что, если квитанция о похоронах будет оформлена на мое имя, то в глазах закона я стану официальным душеприказчиком покойного и уже не смогу отказаться от сей обременительной обязанности. Умоляю, если вы не возражаете, выпишите счет на свое имя.

Я, разумеется, согласился.

— Вскоре вы поймете, почему мне приходится вдаваться во все эти подробности.

Мы приблизились к похоронному бюро; я в точности выполнил указания графа. Пока я отсутствовал, граф натянул до самого носа черный шелковый шарф, прикрыл шляпой глаза и откинулся на спинку сиденья. Так он дремал вплоть до моего возвращения.

Париж потерял в моих глазах все свое очарование. Я поспешил как можно скорее покончить с делами, стремясь вернуться в «Парящий Дракон», в мою тихую обитель, и там, среди сумрачных лесов Шато-де-ла-Карк, в трепетной близости от моей возлюбленной, предаться мечтам о ней, героине моего бурного, отчаянного, полного опасностей романа.

Я ненадолго задержался у банковского поверенного. Как я уже говорил, у меня находилась в банке довольно крупная сумма, не вложенная ни в какие ценные бумаги. Меня мало тревожило, что я не получаю с этих денег проценты — финансовые дела казались мне жалкой мелочью в сравнении с прелестным образом, что занимал мои мысли, протягивал белоснежные руки, манил меня в темноту, под сень лип и каштанов графского замка. Но встреча с банкиром была заранее назначена на этот день, и я, к своему облегчению, услышал, что наиболее благоразумным будет оставить эти деньги в банке еще на несколько дней, так как вскоре государственные бумаги непременно начнут падать в цене. Как оказалось впоследствии, этот разговор с банкиром имел самое непосредственное отношение к моим дальнейшим приключениям.

Добравшись до «Парящего Дракона», я, к немалому огорчению, обнаружил в гостиной своего номера двоих гостей, о которых совершенно забыл. Я втайне обругал себя за то, что имел глупость навязать себе на шею их приятное общество. Однако делать было нечего; я велел слуге подать обед.

Том Уистлвик был в ударе; ему не терпелось поведать мне некую необычайную историю. По его словам, не только Версаль, но и весь Париж бурлит от возмущения: все

только и говорят об отвратительной, кошунственной шутке, разыгранной накануне ночью неизвестными святотатцами. Тот самый паланкин, в котором сидел китайский оракул — Том упорно называл его пагодой — до утра простоял на том же месте, где его бросили. Прорицатель, глашатай и носильщики исчезли без следа. Когда бал закончился и гости разъехались, слуги, пришедшие погасить свет и запереть двери, обнаружили паланкин на том же месте. Было решено оставить его там до утра в расчете на то, что к этому времени хозяева пришлют за ним гонцов.

Однако за паланкином никто не прибыл. Слугам приказали убрать его. Паланкин оказался необычайно тяжел, и только тогда вспомнили о его неведомом обитателе. Дверцу паланкина взломали — к ужасу собравшихся, внутри оказался не живой человек, а полурасложившийся труп! Толстяк в китайском халате и расписной шляпе скончался не менее трех-четырех дней назад. Кое-кто подумал, что шутка эта имела целью нанести оскорбление союзникам, в честь которых и был устроен бал. Другие полагали, что это всего лишь дерзкая циничная выходка не в меру распаясничавшейся молодежи. Третьи, мистически настроенные, пребывавшие в явном меньшинстве, утверждали, что труп был Вопа fide участником представления, что откровения и прозрачные намеки, озадачившие гостей, в самом деле объясняются некроманией.

— Сейчас этим делом занимается полиция, — заметил господин Карманьяк. — А полиция у нас уже не та, что была два-три месяца назад, так что нарушители общественного спокойствия будут вскоре выслежены и отданы под суд. Обычно устроители таких шуток оказываются на поверку жалкими глупцами.

Я вспомнил о необъяснимых откровениях, прозвучавших в моем разговоре с прорицателем, которого господин Карманьяк столь непочтительно поименовал «глупцом». Чем больше я размышлял, тем загадочнее представлялась мне эта история.

— Да, шутка оригинальная, хоть и не очень порядочная, — подытожил Уистлвик.

— Даже не оригинальная, — возразил Карманьяк. — Примерно то же самое произошло на городском балу в Париже лет сто назад. Дерзкие мошенники так и не были найдены.

Как выяснилось позже, господин Карманьяк был совершенно прав: в одном из старинных французских мемуаров я обнаружил описание этого случая и собственноручно пометил его.

Вошедший слуга объявил, что обед накрыт. Мы спустились в столовую. В продолжение обеда я по большей части молчал, однако с лихвой возместили мою неразговорчивость.

Обед и вино в нашей захолустной гостинице оказались не хуже? чем в самых претенциозных отелях Парижа. Добрая сытная еда обыкновенно приводит человека в самое чудесное расположение духа. Покой и безмятежность, снисходящие на нас после хорошего обеда, не идут ни в какое сравнение с сомнительными милостями Бахуса.

Друзья мои, умиротворенные пиршеством, принялись весело болтать, что избавило меня от необходимости принимать участие в беседе. Они без передышки развлекали меня веселыми историями, которые я по большей части, каюсь, пропускал мимо ушей. Мысли мои блуждали где-то далеко, пока внезапно разговор не зашел предмете, весьма интересовавшем меня.

— Да, — сказал Карманьяк, отвечая на вопрос, которого я не расслышал. — Помимо того русского дворянина, был и еще один случай, куда более странный. Как раз сегодня утром я пытался выяснить имя того господина, но так и не сумел. Он жил в той же самой комнате. Кстати, сударь, — он полушутя-полусерьезно обратился ко мне, — если вы собираетесь остаться здесь надолго, не лучше ли вам переселиться в другой номер? Сейчас в гостинице много свободных мест.

— Нет, премного благодарю. Я подумываю о том, чтобы переселиться в другой отель, и вечером, возможно, уеду в город. Даже если мне придется остаться здесь на ночь, я, уверяю вас, не собираюсь исчезать, подобно прочим. Вы хотели рассказать о необычном происшествии, связанном с комнатой. Прошу вас, продолжайте, но сначала выпейте еще

немного вина.

— Господин Карманьяк рассказал нам чрезвычайно любопытную историю.

— Если мне не изменяет память, — начал Карманьяк, — случилось раньше тех двух таинственных исчезновений. Однажды «Парящий Дракон» прибыл некий француз, сын торговца — к сожалению, не могу вспомнить его имя. Хозяин поселил его в той самой комнате, где сейчас остановились вы, сударь. Господин этот был далеко не молод, лет сорока, и отнюдь не красив. Те, кто знали его, говорили, что это уродливейший и добрейший человек на свете. Он играл на скрипке, пел и писал стихи. Образ жизни его был весьма беспорядочен. Иногда он целый день сидел в комнате, музицируя и сочиняя стихи, и лишь ночью выходил прогуляться. Эксцентричная натура, верно? Его нельзя было назвать миллионером, однако он имел *ModicuM BonuM* — чуть больше полумиллиона франков. Как-то раз он посоветовался с банковским поверенным относительно вложения денег в ценные бумаги иностранных государств, а потом забрал у банкира всю сумму наличными. Вот как обстояли его дела накануне катастрофы.

— Прошу вас, налейте себе вина, — сказал я.

— В общем, очертя голову ринулся в лапы к дьяволу! — заметил Уистлвик, наполняя собственный бокал.

— Никто не знает, что произошло с деньгами этого господина. Они исчезли бесследно, — продолжил свой рассказ Карманьяк. — А вот что случилось с ним самим. После этой финансовой операции он снова впал в поэтическую лихорадку: заявил хозяину гостиницы, что давно обдумывает героическую поэму и намерен сегодня ночью приступить к ее сочинению, поэтому просит не беспокоить его до девяти часов утра ни при каких обстоятельствах. Он взял с собой две пары восковых свечей, заказал легкий ужин, кипу писчей бумаги, на которой уместилось бы жизнеописание Генриха V, и соответствующий запас перьев и чернил.

В девять часов утра слуга принес ему чашку кофе — наш поэт сидел за письменным столом и, по словам слуги, строчил так, что из-под пера шел дым. Он был так занят поэмой, что даже не обернулся. Однако через полчаса, когда слуга заглянул еще раз, дверь была заперта. «Я же просил не мешать мне!» — крикнул поэт изнутри.

Слуга ушел; на следующее утро, в девять часов, он постучал в дверь и, не получив ответа, заглянул в замочную скважину: свечи все еще горели, ставни на окнах были по-прежнему закрыты. Слуга постучал еще раз, погромче — ответа не было. Он доложил о случившемся хозяину гостиницы; тот, обнаружив, что постоялец не оставил ключа в замочной скважине, отыскал другой ключ и отпер дверь. Свечи только что потухли, испустив легкий дымок, однако в комнате было достаточно светло, чтобы разглядеть: постояльца нигде нет! Постель была нетронута, оконные ставни закрыты. Должно быть, жилец вышел из комнаты, запер дверь снаружи и, положив ключ в Карман, покинул гостиницу. Однако оставалась еще одна неувязка: двери в «Парящем Драконе» запираются в двенадцать часов ночи. После этого часа никто не может выйти из гостиницы иначе, как попросив ключ у хозяина и после ухода поневоле оставив дверь незапертой; без помощи кого-то из находящихся в доме незаметно уйти из гостиницы нельзя.

Как выяснилось, в ту ночь, около половины первого, вскоре после того, как двери были заперты, один из слуг, не знавший о приказе постояльца не беспокоить его до утра, увидел свет, выбивавшийся из замочной скважины, и постучал в дверь, чтобы узнать, не нужно ли гостю что-нибудь. Гость весьма невежливо прогнал слугу, приказав еще раз, чтобы до утра его не беспокоили. Этот случай подтверждал, что после того, как двери заперты, гость находился в доме. Ключи хранились у хозяина гостиницы; тот клялся, что утром они висели у него над изголовьем постели, на обычном месте, и взять их оттуда, не разбудив его, невозможно. Вот все, что нам удалось установить. Граф де Сен-Алир, владелец этого здания, очень опечалился; он деятельно помогал нам в поисках исчезнувшего постояльца. Но мы ничего не нашли.

— И с тех пор о сочинителе героических поэм ничего не известно? — поинтересовался

я.

— Ни малейших следов. Никто больше не видел его. Полагаю, он мертв; если же нет, то, видимо, попал в какой-то дьявольский переплет и вынужден всеми силами скрываться от властей. Мы знаем наверняка лишь то, что, снимая ту комнату, где остановились вы, он исчез совершенно непостижимым образом.

— Вы рассказали о трех таинственных исчезновениях, — сказал я, — и все они связаны с одной и той же комнатой?

— Да, все три. В равной степени непостижимые. Когда человека убивают, перед преступниками стоит чрезвычайно сложная задача: как избавиться от трупа. Трудно поверить, что в этой комнате одного за другим убили трех человек и спрятали тела так удачно, что никто не сумел найти никаких следов.

Разговор перешел на другие темы. Суровый господин Карманьяк развлекал нас скандальными анекдотами, коих за годы работы в полиции накопил великое множество.

К счастью, у моих гостей нашлись дела в Париже, и около десяти часов они уехали.

Я поднялся в комнату и окинул мечтательным взглядом окрестности замка Шато-де-ла-Карк. Луна скрылась за облаками, и в ее неверном свете сумрачный парк приобрел фантастические, зловещие очертания.

В памяти у меня один за другим всплывали загадочные случаи, связанные с моей комнатой; меня охватили тягостные предчувствия, в которых быстро потонули воспоминания о прочих, куда более фривольных историях, рассказанных господином Карманьяком. Я огляделся: комната тонула в зловещем мраке. По спине у меня пробежали мурашки. Я взял пистолеты, будучи почти уверенным, что сегодня ночью они мне пригодятся. Однако следует заметить, что дурные предчувствия ни в коей мере не охладили мой любовный пыл. Меня по-прежнему сжигало стремление помочь возлюбленной графине, однако теперь к нему примешивалась необъяснимая смутная тревога.

Я немного подождал. Днем я успел в точности установить, где находится указанное графиней небольшое кладбище. До него было около мили; мне совсем не хотелось прибыть на условленное место раньше времени.

Я крадучись выбрался из гостиницы. Влево от дороги отходила узкая тропинка; я свернул на нее. Тропинка, едва различимая в тени высоких деревьев, огибала парковую ограду и извилистым путем выходила к старинному кладбищу. Заросший липами погост занимал около полуакра земли между дорогой и стеной, ограждавшей замок Шато-де-ла-Карк.

Я остановился и прислушался. Над заброшенным кладбищем стояла полная тишина. Луна скрылась за густыми тучами, и я едва различал собственные руки. В непроглядном черном тумане призрачно белели смутные очертания надгробных памятников.

На фоне серого, как сталь, горизонта я разглядел заросли кустарника. Я не помню его названия; высотой футов шесть, он похож на наш можжевельник, однако формой кроны напоминает тополь, а листва у него темная, как у тиса. Эти кусты часто высаживают на здешних кладбищах.

Я знал, что пришел немного раньше назначенного времени, и не думал, что прелестная графиня станет рассчитывать на мое появление возле замка прежде, чем было мне велено, поэтому присел на край могильного камня и приготовился терпеливо ждать. Не зная, чем занять себя, я принялся внимательно рассматривать едва различимый черный силуэт того самого то ли дерева, то ли кустарника, который я описал выше. Он возвышался прямо передо мной, всего в полдюжине шагов.

Луна потихоньку выплывала из-за облака, долго скрывавшего ее лик. Свет становился все ярче, и смутный силуэт вдруг начал изменять очертания. Я понял, что это совсем не дерево — передо мной неподвижно стоял человек. В лучах луны силуэт вырисовывался все отчетливее, и наконец я разглядел профиль таинственного незнакомца. Это был полковник Гайяр.

Я не мог ошибиться: седые усы, faoucНе лицо, тощая фигура ростом в шесть футов

принадлежали моему бравому знакомцу. По счастью, он стоял вполоборота и не смотрел в мою сторону. Полковник пристально всматривался в темноту прямо перед собой, ожидая то ли сигнала, то ли появления неведомого мне собеседника. Я понимал, что, если он случайно бросит взгляд в мою сторону, мне придется в тот же миг возобновить схватку, начатую не так давно в вестибюле «Прекрасной Звезды». Какая злая шутка судьбы — в этот час, на кладбище, где я ожидал свидания с прелестной графиней, поставить у меня на пути самого опасного в мире свидетеля! Как он был бы рад единым взглядом нанести смертельную рану мне и уничтожить графиню де Сен-Алир, которую он, по всей видимости, считает своим злейшим врагом.

Полковник поднял руку и тихо свистнул; я услышал ответный свист, едва различимый. К моему облегчению, полковник направился в ту сторону, откуда донесся звук, и с каждым шагом расстояние между нами все увеличивалось. До моих ушей донесся приглушенный разговор. Я различил гнусавый голос полковника Гайяра.

С величайшими предосторожностями я подкрался к тому месту, откуда слышались голоса. Над выщербленным краем полуразрушенной стены виднелась высокая шляпа, рядом с ней — другая. Голоса доносились оттуда. Собеседники сделали несколько шагов, но не к замку, а в сторону дороги. Я лег в траву и выглянул из-за могилы, как стрелок, высматривающий неприятеля. Теперь я видел непрошенных гостей в полный рост — один за другим они поднялись на лесенку, ведущую через придорожную изгородь. Полковник, шедший последним, на мгновение задержался на стене, осмотрелся, затем спрыгнул на дорогу. Голоса незнакомцев звучали все тише, и наконец они скрылись из виду в направлении, уводящем их все дальше от «Палящего Дракона».

Я подождал, пока их шаги не стихнут вдалеке, и лишь затем проник в парк. В точности следуя указаниям графини де Сен-Алир, я пробрался через заросли кустарника к разрушенной часовне и быстро перебежал через открытую прогалину.

Надо мной снова возвышались величественные кроны старых лип и каштанов. Едва сдерживая бешено колотящееся сердце, я подошел к греческому храму.

Луна светила очень ярко, мягкий свет ее пробивался сквозь густую листву и испещрял неверными бликами зеленый ковер у меня под ногами. Я поднялся по лестнице и остановился среди истертых мраморных колонн. Графини не было ни возле храма, ни во внутреннем святилище, сводчатые окна которого скрывались за густым переплетением плюща. Моя возлюбленная еще не пришла.

Я остановился на ступенях и прислушался. Через минуту до меня донесся хруст сучков под чьими-то легкими шагами; обернувшись, я заметил среди деревьев тонкую фигурку, завернутую в плащ.

Я поспешил ей навстречу. Это была графиня. Она не произнесла ни слова, лишь подала мне руку, и я проводил ее к ступеням, на которых состоялась наша прошлая встреча. Мягким, но решительным жестом она прервала мои страстные приветствия. Графиня откинула капюшон, встряхнула роскошными волосами и, устремив на меня печальный взгляд, глубоко вздохнула. Казалось, ее гнетут какие-то тяжкие мысли.

— Ричард, буду говорить начистоту. Близится роковой перелом в моей жизни. Не сомневаюсь, вы меня защитите. Мне кажется, вы испытываете жалость ко мне, может быть, даже любите.

При этих словах я разразился любовными признаниями. Однако графиня с той же печальной твердостью остановила бурный поток красноречия молодого влюбленного безумца.

— Выслушайте, мой друг, а потом; скажите, в силах ли вы помочь мне. Я понимаю, что поступаю неблагоразумно, доверяясь вам, однако сердце мое подсказывает, что я могу на вас положиться. Встречаться с вами здесь — какое безрассудство! Вы, должно быть, презираете меня! Но как только вы узнаете все, надеюсь, вы измените свое мнение обо мне. Без вашей помощи я не смогу совершить то, что задумала. А если я не совершу этого, мне останется только умереть. Я накрепко связана с человеком, которого презираю, ненавижу. Я решила

бежать. У меня есть драгоценности, большей частью бриллианты, за которые мне предлагали тридцать тысяч ваших английских фунтов стерлингов. Согласно брачному договору, они принадлежат единолично мне; я заберу их с собой. Не сомневаюсь, вы разбираетесь в драгоценностях. Я принесла их на свидание, чтобы показать вам. Вот они, взгляните.

В руках у нее замерцало лунными отблесками бриллиантовое кольцо. Мне подумалось, что даже в эту трагическую минуту ей с чисто женским восторгом хочется подольше полюбоваться драгоценностями.

— Они великолепны! — воскликнул я.

— Да, — ответила графиня, — но я решила расстаться с ними. Я обращаю их в деньги и порву злокозненные оковы священного обета, связывающего меня, вопреки природе, с тираном. Юноша вроде вас, красивый, щедрый, смелый, вряд ли может быть богат. Ричард, вы сказали, что любите меня; так разделите же со мной мою участь. Давайте вместе убежим в Швейцарию. Нам удастся уйти от погони, в этом нам помогут мои влиятельные друзья. Я обрету наконец счастье и сумею вознаградить моего спасителя.

Можете представить себе, в каких красочных выражениях выразил я свою благодарность графине. Я клялся посвятить ей всю свою жизнь, положить на алтарь служения богине все силы души, и отдал себя в полное ее распоряжение.

— Завтра ночью, — сказала графиня, — мой муж должен сопровождать останки почившего родственника, господина де Сен-Амана, на кладбище Пер-Лашез. Катафалк, по его словам, отправится из замка в половине десятого. Ровно в девять часов вы должны быть на этом самом месте!

Я обещал беспрекословно повиноваться.

— Я не встречу вас здесь. Видите окно на угловой башне замка? В нем горит красный свет.

— Вижу.

— Я зажгла его с тем, чтобы завтра вы смогли узнать его. Этот алый огонек будет для вас сигналом, означающим, что похоронная процессия покинула замок. Заметив его, вы можете смело направиться к замку. Подойдите к этому окну; я открою его и впущу вас. Через пять минут у рогге-соснеге будет стоять готовый к отправке дорожный экипаж, запряженный четверкой лошадей. Я передам бриллианты вам; мы сядем в экипаж и скроемся. Нас хватятся не раньше, чем через пять часов. Я не боюсь ничего; у нас достанет ловкости, сил и средств, чтобы уйти от погони. Вы готовы пойти на это ради меня?

Я снова поклялся верно служить возлюбленной.

— Единственная сложность заключается вот в чем, — сказала графиня. — Я не знаю, как поскорее обратить бриллианты в деньги. Я не решаюсь прикасаться к ним, когда муж в доме.

Вот тут-то у меня и появилась возможность проявить свою преданность. Я сообщил, что у моего банкира хранится сумма не меньше чем в тридцать тысяч фунтов стерлингов; я приду на свидание, имея при себе эти деньги золотом и банкнотами, так что нам не придется подвергать риску ее бриллианты, сбывая их в чрезммерной спешке.

— О небо! — воскликнула графиня с легким разочарованием. — Значит, вы богаты? И мне не суждено осчастливить моего преданного друга? Что ж, пусть будет так. Вложим в наше предприятие свои средства в равных долях. Приносите свои деньги, а я заберу бриллианты. Для меня будет радостью хотя бы разделить с вами все наши расходы.

Я рассыпался в романтических признаниях, исполненных страсти и поэзии; не стану даже пытаться воспроизвести их.

Графиня дала мне еще несколько важных указаний.

— Я дам вам ключ и объясню, для чего он предназначен. Это был двойной ключ — длинный стержень с бородками по обоим концам. Одна из них, побольше, могла бы отпирать обычную дверь в комнату, другая, маленькая, скорее подходила к стенному шкафу.

— Завтра ночью будьте как можно осторожнее. Малейшее препятствие разрушит все мои надежды. Мне известно, что вы занимаете в «Парящем Драконе» комнату,

пользующуюся самой дурной славой. Это очень хорошо; лучшего я и пожелать не могла. Вы удивлены? Я объясню вам. Здесь рассказывают историю о человеке, который однажды ночью заперся в этой комнате, а наутро исчез. На самом деле он, по-моему, хотел улизнуть от кредиторов, а тогдашний хозяин «Парящего Дракона», сам изрядный мошенник, помогал ему в этом. Мой муж расследовал это происшествие и обнаружил путь, которым ускользнул тот пройдоха. Ему помог этот самый ключ. Вот памятная записка и план, объясняющие, как им пользоваться. Я нашла их в секретере графа. Оставляю на ваше усмотрение предлог, которым вы введете в заблуждение хозяев и слуг в «Парящем Драконе». Но, перед тем как уйти, обязательно испытайте ключ: замок от времени мог заржаветь. Я приготовлю в дорогу бриллианты. Что бы нас ни ожидало, лучше все-таки захватите деньги с собой: может пройти не один месяц, прежде чем вам удастся вернуться в Париж или обнаружить свое местопребывание. Позаботьтесь о паспортах: выправите их на любое имя. А теперь, милый Ричард, — она нежно положила руку мне на плечо и с невыразимой страстью заглянула в глаза, — моя жизнь в ваших руках. Я полагаюсь на вашу преданность.

Едва вымолвив эти слова, графиня смертельно побледнела.

— О Боже! Кто там? — воскликнула она и проворно скользнула в узкую дверь, за которой находилась крохотная каморка без крыши, тесная, как усыпальница. Единственное окошко в ней было густо оплетено плющом, и плотные заросли не пропускали внутрь ни единого лучика света.

Я остановился на пороге и вгляделся в кусты, откуда послышались спугнувшие графиню шаги. Неудивительно, что бедняжка испугалась. К нам быстро приближались полковник Гайяр и его неизвестный спутник. До них оставалось не больше двадцати футов. Луна ярко освещала их, я же притаился в тени карниза. Не сознавая, что мраморная стена надежно укрывает меня от глаз полковника, я с трепетом ждал мгновения, когда он с воинственным кличем бросится на меня. Я отступил на шаг, достал из кармана пистолет и взвел курок. Стало ясно, что полковник меня не замечает.

Я стоял, держа палец на спусковом крючке. Если бы полковник приблизился к убежищу, где скрывалась графиня, я бы, не задумываясь, застрелил его на месте. Ради графини я был готов пойти даже на убийство. Так устроен человек: едва вступив тайком на несправедный путь, он готов совершить любые преступления, куда более тяжкие, чем сам готов признать.

— Вот эта статуя, — в своей обычной отрывистой манере бросил полковник. — Вон та.

— Это та самая скульптура, что упоминается в стансах? — спросил его спутник.

— Она самая. В следующий раз разглядим ее получше. Пойдемте, сударь, нам пора.

К моему облегчению, бравый полковник повернулся на каблуках и, приминая траву, зашагал прочь от замка, к парковой стене. По моим расчетам, они перебрались через ограду неподалеку от «Парящего Дракона».

Я вернулся к графине; она трепетала от непритворного ужаса, однако и слышать не хотела о том, чтобы я проводил ее до замка. Я заверил графиню, что ей нечего бояться: я не дам сумасшедшему полковнику вернуться в парк. Она немного успокоилась, нежным голосом пожелала мне доброй ночи и ушла, я же, с ключом в руке, долго смотрел ей вслед. Перед глазами у меня проносились картины одна другой фантастичнее; в состоянии, близком к безумию, я побрел в гостиницу.

О чем я только думал? Готовый идти наперекор всему свету, попать все соображения чести и совести, презреть все опасности, пойти даже на убийство, впутаться в невероятную историю с непредсказуемыми последствиями — и ради кого? Ради женщины, о которой не знал ничего, кроме того, что она красива и несчастна! Впоследствии я не раз благодарил судьбу за то, что она благополучно вывела меня из трясины, в которой я по глупости едва не утонул.

Я выбрался на дорогу в двух-трех сотнях ярдов от «Парящего Дракона». Ну и приключение выпало на мою долю! А теперь меня, возможно, ждет в гостинице еще одна стычка с отважным рубакой, и трудно сказать, в чью пользу она завершится на этот раз. Я

порадовался, что захватил с собой пистолеты. Ни в одном законе не написано, что я обязан без сопротивления отдать себя на растерзание разбойнику.

Полная луна заливала неширокую дорогу ярким серебристым светом. По одну сторону из-за парковой ограды свешивались ветви могучих деревьев, по другую высились стройные тополя.

Я медленно брел к незапертым еще дверям «Парящего Дракона». Мысли мои путались. События следовали друг за другом с такой быстротой, что я, невольный участник странного, неблагоприятного действия, едва осознавал, что со мной происходит.

Полковника нигде не было видно. Я вошел в вестибюль и справился о нем у слуги. «Нет, — ответил он, — за последние полчаса в гостиницу никто не входил». Я заглянул в гостиную. Там никого не было. Часы пробили двенадцать, и я услышал, как слуга задвигает засов на входной двери. Я взял свечу. В этот час огни в сельской гостинице обычно бывают погашены, и в доме стояла тишина, словно все его обитатели давно погрузились в крепкий сон. Я поднялся по широкой лестнице. В окна лился холодный лунный свет. Я на мгновение остановился и окинул взглядом лесистые окрестности древнего замка, столь дорогие моему сердцу. Но тут мне подумалось, что полночный свет в лестничном окне «Парящего Дракона» может привлечь чей-нибудь излишне любопытный взгляд; старый ревнивец граф мог принять нечаянный огонек за тайный сигнал злоумышленников.

Приоткрыв дверь своей комнаты, я с испугом отшатнулся. На пороге стояла старуха, древняя, как мумия, с невероятно длинным лицом. На голове у нее красовался старомодный высокий чепец; рядом с кокетливой белой каемочкой желтовато-бурое морщинистое лицо казалось еще уродливее. Старуха расправила сгорбленные плечи и взглянула мне в лицо. Глаза ее, неестественно черные, горели диким огнем.

— Я тут разожгла очаг, сударь, ночь больно холодная.

Я поблагодарил старуху, но она не ушла. Пламя свечи, зажатой в трясущихся пальцах, трепетало, отбрасывая скачущие тени.

— Простите меня, старую дуру, — проговорила она, — но вы, сударь, знатный милорд из Англии, у ваших ног лежит весь Париж. Какая нелегкая занесла вас в «Парящий Дракон»?

Будь я еще в годах, когда верят в чудесные сказки, я бы принял это иссохшее существо за *genius loci*, духа-хранителя этого зачарованного места, злобную колдунью, по мановению волшебной палочки которой исчезают один за другим злосчастные обитатели этой комнаты. Однако, хоть я и вышел из детского возраста, глаза старой ведьмы неотступно жгли меня, внушая ужас; в их черном пламени я прочел, что моя тайна хорошо ей известна. Я застыл в замешательстве; мне и в голову не приходило спросить старую каргу, какое ей до этого дело.

— Мои глаза хоть и старые, а видели вас в парке возле замка.

— Меня! — я постарался вложить в это слово побольше безразличного удивления.

— Ни к чему отпираться, сударь. Я знаю, что вас здесь держит, и потому говорю: убирайтесь поскорее! Уезжайте завтра же утром и больше не возвращайтесь! — она взглянула на меня с невыразимым ужасом и предостерегающе подняла руку.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — ответил я, — и почему так печетесь обо мне.

— Не о вас, сударь, — мне до вас дела нет. Я тревожусь за честь знатных господ из старинного рода; я служила им в те лучшие дни, когда знатность была неотделима от чести. Но вижу, сударь, я напрасно трачу слова; вы упорствуете в своей дерзости. Да будет так; я сохраню свою тайну, а вы, если угодно, храните свою. Храните, храните; вскоре вам станет трудновато разгласить ее, даже если захочется.

Не успел я придумать, что ей ответить, как старуха медленно вышла из комнаты и захлопнула дверь. Я простоял еще минут пять, не в силах шелохнуться. Пожалуй, старая карга считает, что нет на свете ничего страшнее ревности господина графа. Как ни презирал я в душе те опасности, на которые смутно намекала старая леди, мне, как вы понимаете, отнюдь не нравилось, что первая же незнакомка, да к тому же приспешница графа де Сен-Алира, с такой легкостью разгадала мою тайну.

Я не знал, стоит ли сообщать графине о том, что наша тайна стала известна злобной

старухе. Бедняжка так великодушно, или, по ее собственному выражению, так безрассудно доверилась мне; имею ли я право, как бы рискованно это ни было, скрыть от нее зловещую правду? Не опаснее ли во сто крат идти на свидание, несмотря ни на что? И что значат странные слова чокнутой старухи: «Храните свою тайну, а я сохранию свою»?

Вопросы тысячами роились передо мной, сводя с ума. Я словно блуждал по зачарованным садам Шпессарта, где из-под каждой кочки, из-за каждого дерева на вас готов броситься новый монстр или гоблин.

Я решительно выкинул из головы все страхи и сомнения, запер дверь, сел за стол, зажег свечи и положил перед собой лист пергамента с чертежами, содержащий подробные инструкции о том, как пользоваться ключом.

Изучив как следует все заметки на пергаменте, я отправился на разведку. Возле правой стороны окна угол комнаты был скрыт за косо расположенной панелью стеной обшивки. Я внимательно осмотрел его и обнаружил, что, если нажать на один из отрезков деревянной рамы, он сдвигается в сторону, открывая замочную скважину. Я убрал палец — скрытая пружина тотчас поставила дощечку на место. Значит, я правильно истолковал инструкцию. Я поискал вокруг — над полом, прямо под первой потайной дверцей, обнаружилась еще одна. К обеим замочным скважинам подходила меньшая бородка ключа. Два-три поворота — и дверца в дубовой панели отворилась. В каменной стене темнел сводчатый проем, за ним виднелась винтовая лестница.

Со свечой в руках я шагнул в дверь. Не знаю, вправду ли застоявшийся, годами не потревоженный воздух обладает некими особыми свойствами; мне всегда чудился в нем таинственный аромат. Из забытого коридора повеяло влажным дыханием старинной каменной кладки. В трепетном мерцании свечи я едва различал поросшие мхом стены; основание лестницы терялось во мраке. Пройдя несколько витков, я спустился на каменный пол: Здесь меня ждала еще одна дверь, старинная, дубовая, глубоко утопленная в стену. К замочной скважине подошел больший конец ключа. Замок оказался тугим; я поставил свечу на ступеньку и налег обеими руками. Ключ нехотя повернулся. Замок громко скрипнул; я застыл на месте, опасаясь, как бы предательский скрежет не выдал меня.

Некоторое время я стоял не шевелясь, но вскоре набрался смелости и приоткрыл дверь. В лицо мне пахнуло прохладным ночным воздухом; легкий ветерок задул свечу. Сразу за дверью начинались густые заросли падуба, непроходимые, как джунгли. Я очутился в полной темноте; лишь изредка то тут, то там сквозь листву пробивался тонкий лучик лунного света.

То и дело замирая на месте и прислушиваясь, не распахнул ли окно кто-нибудь из постояльцев, разбуженный скрежетом ржавого замка, я осторожно пробирался сквозь густой подлесок. Наконец я вышел на открытую поляну и обнаружил, что заросли кустарника тянутся до самого парка и смыкаются с высоким лесом, окружавшим греческий храм, возле которого я встречался с возлюбленной.

Самый талантливый полководец не нашел бы более надежно укрытого от посторонних глаз пути. Я без помех добрался от «Парящего Дракона» до места свидания, где совсем недавно ждала меня обожаемая графиня.

Оглянувшись на старую гостиницу, я обнаружил, что винтовая лестница скрывается в той самой стройной башенке, которая до сих пор казалась мне простым украшением. Она располагалась именно там, где дубовая обшивка моей комнаты образовывала, как и указано на плане, срезанный угол.

Удовлетворенный результатами разведки, я вернулся к двери, вскарабкался по винтовой лестнице обратно в комнату и запер потайную дверь. Поцеловав заветный ключ, который не далее как вчера сжимала боготворимая мною рука, я положил его под подушку, опустил на нее свою забубенную головушку и ненадолго погрузился в глубокий сон.

Наутро я проснулся очень рано, однако от волнения не мог больше уснуть. Стараясь не возбуждать излишних подозрений, поговорил с хозяином. Я сказал ему, что нынче вечером

уюду в Париж, а оттуда отправлюсь в город N..., где у меня состоится деловая встреча, и велел именно так докладывать о моем местопребывании всем знакомым, кто придет навестить меня. Я сообщил, что собираюсь вернуться через неделю; до тех пор ключ от комнаты останется у моего слуги, Сен-Клера, который и присмотрит за вещами.

Введя таким образом хозяина в заблуждение, я отправился в Париж и позаботился о финансовой стороне предприятия. Трудность заключалась в том, чтобы перевести все мои средства, около тридцати тысяч фунтов стерлингов, в такую форму, чтобы я мог не только легко унести их с собой, но и пустить в дело, не оформляя никаких бумаг и не раскрывая никоим образом своего местожительства. Однако все уладилось как нельзя лучше. Не стану утомлять вас рассказом о том, как мне удалось выправить паспорта. Достаточно сказать, что место для нашего побега я выбрал в самом романтическом духе: конечным Пунктом путешествия был указан один из красивейших и самых уединенных уголков Швейцарии.

Я решил обойтись без багажа. В первом же мало-мальски значительном городе, куда мы прибудем на рассвете, можно будет купить все необходимое. Стрелки приближались к двум часам пополудни. Всего только два! Как мне убить остаток дня?

В моих экскурсиях по Парижу мне еще не довелось осмотреть Нотр-Дам; туда я и отправился. Погуляв возле собора около часа, я поехал в Консьержери, затем во Дворец Правосудия, посетил живописную церковь Сен-Шапель. Однако до назначенного времени оставалось еще несколько часов. Не зная, куда себя деть, я принялся бродить по узким улочкам, примыкавшим к собору. На одной из них мне встретилось старинное здание; надпись на стене гласила, что когда-то в этом доме обитал каноник Фульбер, дядя знаменитой Элоизы, возлюбленной Абеяра. Не знаю, сохранились ли до нашего времени эти уютные переулочки, где-то тут, то там мне встречались готические церквушки, переделанные под склады. Меня заинтересовала неказистая лавчонка из тех, что торгуют всякой всячиной. Владелец ее предлагал посетителям самые разнообразные старинные украшения, оружие, фарфор, мебель. Я вошел в лавку; внутри было темно и пыльно, низко нависал закопченный потолок. Хозяин, чистивший в уголке средневековые инкрустированные доспехи, разрешил мне походить по лавочке и осмотреть самые любопытные вещицы. Постепенно я добрался до дальнего угла лавки, где тускло мерцало многостворчатое окно, невероятно грязное. Возле окна я обернулся: в нише, ребром к боковой стене, стояло большое зеркало в потертой старинной раме. В нем отражался отгороженный уголок, который в старинных домах, я слышал, называется «альковым». Стены его были увешаны насквозь пропыленными предметами старины; среди хлама, усыпавшего пол, стоял стол, за которым сидели три человека, увлеченно беседовавших. Я тотчас узнал двоих: это были полковник Гайяр и маркиз д'Армонвилль. Третьим был человек самой гнусной наружности: тощий, бледный, рябой от оспы, с жидкими черными волосами, он лениво поигрывал гусиным пером. Маркиз поднял глаза — товарищи тотчас же проследили за направлением его взгляда. Я застыл в замешательстве, не зная, как поступить, однако вскоре понял, что они меня не узнали. Неудивительно — в этом углу лавки было очень темно, а свет из окна падал из-за моей спины.

Мне хватило присутствия духа сделать вид, что я всецело погружен в рассмотрение какого-то необычайно интересного экспоната. Я неторопливо прошел обратно к дверям лавки, остановился и прислушался. Не услышав за спиной шагов преследователя, я облегченно вздохнул и, как вы догадываетесь, ни на секунду более не задержался в подозрительной лавке, где мне довелось сделать столь неожиданное открытие.

Мне не пришло в голову задаться вопросом, какая нужда свела полковника Гайяра с маркизом, да еще в столь неприглядном месте, или кем была гнусная личность, покусывавшая гусиное перо. Политические дела наподобие тех, в которых участвовал маркиз, иногда заставляют заводить знакомство с самыми неожиданными людьми.

Я был рад убраться подальше из лавки и, едва село солнце, подъехал к крыльцу «Парящего Дракона» и отпустил экипаж. В руке у меня был дорожный сейф, на удивление маленький, если принять во внимание его содержимое. Сверху сейф был обтянут кожей, что

придавало ему вид обычного чемоданчика.

Поднявшись в комнату, я позвал Сен-Клера и рассказал ему ту же самую легенду, что придумал для хозяина гостиницы. Я вручил слуге пятьдесят фунтов стерлингов, наказав истратить сколько потребуется на себя и платить за комнату вплоть до моего возвращения. Затем наспех поужинал, то и дело поднимая взгляд к старинным каминным часам, единственному сообщнику в задуманной мною чудовищной аванюре. Само небо благоприятствовало моим замыслам и затянулось густыми облаками, погрузив окрестности в непроглядную темноту.

В вестибюле меня встретил хозяин гостиницы. Он поинтересовался, не желаю ли я заказать экипаж до Парижа. Я был готов к такому вопросу и сказал, что собираюсь пешком пройти в Версаль и там нанять фиакр. Я подозвал Сен-Клера.

— Пойди, — сказал я, — и выпей с приятелями бутылку вина. Если мне что-нибудь понадобится, я позову тебя. А до тех пор возьми ключ от моей комнаты, вот он. Мне нужно написать кое-какие письма, поэтому не позволяй никому беспокоить меня по крайней мере полчаса. Если после этого меня не окажется в комнате, не удивляйся; значит, я пешком отправился в Версаль. Позаботься обо всем и запри дверь, понял?

Сен-Клер пожелал мне счастья и удалился, несомненно предвкушая, как повеселится на мои денежки. Я же со свечой в руке поспешил наверх. Мне вдруг захотелось, чтобы до условленного времени оставалось еще хотя бы минут пять. Не думаю, что у меня в характере есть хоть капля трусости, просто перед наступлением решающего часа мною овладела напряженная тревога, знакомая каждому солдату, идущему в бой. Но отказаться от задуманного? Ни за что на свете!

Я опустил засов на двери, надел пальто и положил в карманы по пистолету. Затем отпер потайные замки, чуть приоткрыл спрятанную в дубовой панели дверцу и взял под мышку дорожный сейф. Задул свечу, поднял засов на входной двери, прислушался, не идет ли кто-нибудь, быстро подбежал к потайной дверце, вышел и захлопнул ее за собой. Скрытая пружина тотчас же поставила панель на место. С ключом в руках я очутился, в полной темноте на винтовой лестнице. До сих пор у меня на пути не встретилось никаких осложнений.

Вокруг царила непроглядная тьма. Я спустился по винтовой лестнице на каменный пол, отыскал дверь и нащупал замочную скважину. Стараясь действовать осторожнее и поменьше шуметь, я отпер дверь и вышел. В зарослях кустарника было едва ли светлее, чем на лестнице.

Я запер дверь и принялся медленно пробираться через подлесок. Вскоре заросли стали не такими густыми. Идти стало легче. Надежно укрытый от посторонних глаз, я шел по лесу, держась неподалеку от опушки.

Вскоре я различил впереди, ярдах в пятидесяти, смутные очертания древнего храма. Мраморные колонны, словно призраки, белели меж высоких стволов. Все складывалось как нельзя лучше. Мне удалось ввести в заблуждение собственного слугу, хозяина «Парящего Дракона» и всех тамошних прислужников; ночь выдалась такая темная, что пусть хоть все постояльцы гостиницы выглянут из окон, заподозрив неладное, я сумею избежать их любопытных взглядов.

Пробираясь между деревьями, перешагивая через могучие корни, я приблизился к условленному наблюдательному пункту. Я поставил кожаный чемоданчик со своими сокровищами в стенной проем и, облокотившись на него, принялся внимательно всматриваться в замок. Очертания шато, едва различимые на фоне ночного неба, терялись во мраке. Ни в одном из окон не было света. Оставалось только ждать, долго ли?

И только сейчас, когда я стоял, облокотившись о чемодан с деньгами, и, окрыленный самыми пылкими и радужными мечтаниями, всматривался в сумрачный силуэт замка, меня вдруг посетила чудовищная мысль, которая, как вы догадываетесь, должна была прийти мне в голову давным-давно. Тотчас же ночь показалась мне гораздо темнее, по спине пробежал

неприятный холодок.

Что, если я бесследно исчезну, подобно героям слышанных мною историй? Ведь я сделал все возможное, чтобы замести следы, сохранить в тайне мои истинные устремления, увести всех, кто станет меня разыскивать, в ложном направлении!

Леденящая предательская мысль змеей проскользнула у меня в голове, но я постарался поскорее прогнать ее.

Разве не нахожусь я в расцвете молодости и сил, разве не бурлит во мне кровь, не манит страстная любовь и тяга к приключениям! Разве нет у меня пары дуэльных пистолетов — значит, у меня в руках четыре человеческих жизни! Что может случиться со мной? Старый граф — что из того, если он встанет у меня на пути, я ведь сам видел, как он трясся от страха, когда на него налетел разъяренный полковник. Однако ради спокойствия моей Дульсины я, пожалуй, не трону его. Ничего страшнее неожиданной встречи с графом не приходило мне в голову. Нет, графиня такая умная и храбрая, она сумеет устроить так, что никакие недоразумения не смогут помешать нам. Я посмеялся над собственными страхами.

Пока я беседовал сам с собой, в окне загорелся долгожданный свет.

couleur de rose — огонек цвета розы, цвета надежды, заря счастливого дня.

Фонарик в окне светил ярко, ровно. Каменные башни на крыше замка казались рядом с ним еще чернее. Со словами страстной любви на устах я зажал под мышкой дорожный сейф и, не сводя глаз с заветного огонька, быстрыми шагами направился к замку Шато-де-ла-Карк. Ничто не возвещало об опасности — не мелькал за деревьями свет, не слышались голоса, не звучали чужие шаги, не лаяли собаки. Подойдя к высокому окну, я обнаружил, что к нему ведет лестница из дюжины ступеней. Массивная железная решетка, служившая дверью, была раскрыта, шторы на окне опущены.

Изнутри на шторы упала чья-то тень; невидимая рука раздвинула занавеси. Поднявшись по ступеням, я услышал тихий шепот: «Ричард, дорогой Ричард, придите, придите же скорее! О, как давно я вас жду!»

Моя возлюбленная показалась мне даже прекраснее, чем раньше. Любовь моя переросла в страстный восторг. Я желал только одного — чтобы у меня на пути встала настоящая опасность; тогда я сумею доказать, что достоин быть рядом с таким восхитительным созданием. После бурных приветствий графиня усадила меня на диван возле себя. Мы поговорили минуту-другую. Она сообщила, что граф ушел; похоронная процессия направляется на кладбище Пер-Лашез и в эту минуту удалилась от замка, вероятно, не менее чем на милю. Бриллианты находятся у графини. Она торопливо раскрыла шкатулку — внутри искристой россыпью сверкали великолепные драгоценности.

— Что это? — спросила графиня, указывая на мой дорожный сейф.

— Здесь лежат тридцать тысяч фунтов стерлингов, — ответил я.

— Как! Все ваши деньги? — воскликнула она.

— До последнего су.

— Разве нужно было брать с собой так много, ведь у нас есть это, — она указала на бриллианты. — С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы позволили мне хоть какое-то время содержать нас обоих. Я была бы так счастлива!

— О, мой милый, щедрый ангел! — возгласил я. Как оказалось впоследствии, ничего опрометчивее я не мог произнести. — Не забывайте, что нам придется очень долго скрываться от людей, хранить в тайне наше местопребывание.

— У вас при себе такая большая сумма; вы пересчитали?

— Да, конечно; я получил их не далее как сегодня, — ответил я, не сумев скрыть удивления. — Разумеется, пересчитал, когда получал у банкира.

— Мне не по себе, когда приходится путешествовать с такой крупной суммой; но отправляться в дорогу с этими бриллиантами едва ли не опаснее. Давайте положим их вместе; когда мы сядем в карету, вы снимете пальто и накроете им наш багаж.

Мне бы не хотелось, чтобы кучера заподозрили, что у нас при себе такие сокровища. А

теперь будьте добры, задерните занавески и закройте ставни.

Едва я успел выполнить ее просьбу, как в дверь комнаты громко постучали.

— Я знаю, кто это может быть, — шепнула графиня.

Я заметил, что она не встревожилась. Графиня тихо подошла к двери и шепотом заговорила с кем-то.

— Это моя служанка, я ей вполне доверяю. Она поедет с нами. Говорит, что нам следует отправляться не ранее чем через десять минут. Она принесет нам кофе в соседнюю комнату.

Графиня приоткрыла дверь и выглянула.

— Пойду скажу ей, чтобы не брала слишком много чемоданов. Эдакая дуреха! Не ходите за мной, подождите здесь. Будет лучше, если она вас не увидит.

Жестом призвав меня к молчанию, графиня вышла из комнаты. В манерах этой очаровательной женщины произошла необъяснимая перемена. В считанные минуты ее словно накрыла сумрачная тень. Графиня казалась рассеянной; можно было подумать, что она чего-то боится. Почему она побледнела? Почему потемнел ее взгляд? Почему изменился голос? Что-нибудь идет не так, как было задумано? Нам грозит опасность?

Сомнения мои, однако, сразу утихли. Случись что-нибудь непредвиденное, графиня, разумеется, сказала бы мне об этом. Вполне естественно, что с приближением решающей минуты она все больше и больше тревожится. Я ждал графиню; она все не возвращалась. Вряд ли кто-нибудь на моем месте сумел бы сохранить спокойствие. Я взволнованно расхаживал взад и вперед. Комната была небольшая. В противоположной стене я заметил дверь и, не раздумывая, распахнул ее. Прислушался — из-за двери не доносилось ни шороха. Нервы мои были напряжены до предела, все умственные и физические силы сосредоточены на предстоящем побеге, поэтому я плохо понимал, что происходит вокруг. Только этим я могу объяснить, почему в ту ночь наделал столько глупостей — ведь в другие времена хитрости мне было не занимать. В следующий миг я сотворил самую большую глупость — вместо того, чтобы тотчас закрыть дверь, которую мне и открывать не следовало, я взял свечу и вышел из комнаты. Меня ждало совершенно неожиданное, ужасающее открытие.

В комнате не оказалось ни одного ковра. Пол был усыпан древесными стружками и битым кирпичом. Я не поверил своим глазам — в глубине, на узком столике, лежал предмет, который я меньше всего ожидал увидеть.

Я приблизился и стянул простыню, почти не скрывавшую очертаний странного предмета. Я не ошибся: это был гроб. Надпись на крышке гласила:

pIeRRe De La RoCHe ST. aMaND
адег de xxIII ans

Я отшатнулся; по спине у меня пробежала дрожь. Значит, похоронная процессия еще не отбыла! Тело покойного лежит здесь. Меня обманули. Так вот чем объясняется странное замешательство графини. Куда разумнее было бы объяснить мне истинное положение вещей. Я вышел из печальной комнаты и закрыл дверь. Недоверие графини не только обидело меня, оно могло сорвать все дело. Нет ничего опаснее, чем осторожность, направленная не по адресу. Ничего не подозревая, я вошел в комнату; а ведь я мог столкнуться там с людьми, которых мне пуще всего следует остерегаться.

Грустные размышления мои прервались так же внезапно, как и начались: на пороге появилась графиня де Сен-Алир. Она бросила быстрый взгляд на противоположную дверь, и я тотчас же понял, что у меня на лице написана вся правда о случившемся.

— Милый Ричард, вы видели что-то такое, что вас встревожило? Вы выходили из комнаты?

Я тотчас же ответил «Да» и честно рассказал обо всем, что произошло.

— Поверьте, я просто не хотела вселять в вас излишнее беспокойство. К тому же все

это так ужасно и неприятно. Тело действительно там; однако граф отбыл за четверть часа до того, как я зажгла на окне цветную лампу. Тело прибыло минут через десять после отъезда графа. Он боялся, что могильщики на кладбище Пер-Лашез решат, что похороны перенесены на другой день. Граф знал, что, несмотря на непредвиденную задержку, тело бедного Пьера непременно придет нынче ночью. У моего мужа есть причины желать, чтобы похороны состоялись до наступления завтрашнего дня. Катафалк с телом отбудет минут через десять. Тотчас же после этого мы обречем свободу и отправимся в наше безумное, радостное путешествие. Лошади запряжены, карета ждет нас у рогТе-сосНеге. Что же до этого ужаса (она изящно пожала плечиками), не стоит больше думать о нем.

Графиня опустила засов на пресловутой двери и обернулась. На ее очаровательном личике было написано такое раскаяние, что я готов был броситься к ее ногам.

— Клянусь, это в последний раз, — с нежной мольбой произнесла она. — Больше никогда я не буду обманывать моего прекрасного, храброго Ричарда, моего героя. Я прощена?

Я разразился новым потоком бурных излияний, пылких признаний и восторгов, однако произносил их шепотом, чтобы они не долетели до посторонних ушей.

Внезапно графиня подняла руку, словно призывая меня не двигаться, и застыла, прислушиваясь к звукам, доносившимся из соседней комнаты, где находился гроб. Затем слегка кивнула мне, на цыпочках подошла к двери и снова прислушалась, протянув руку назад, словно приказывая мне не приближаться. Через минуту графиня вернулась ко мне, по-прежнему на цыпочках, и прошептала:

— Выносят гроб. Пойдемте, со мной.

Вслед за ней я прошел в будуар, где графиня, по ее словам, несколько минут назад разговаривала со служанкой. На серебряном подносе нас ждал кофейник и старинные фарфоровые чашки — они показались мне очень красивыми. На другом подносе стояли рюмки и оплетенная бутылка с ликером, настоящим на персиковых косточках.

— Я поухаживаю за вами. Сегодня я ваша служанка. У меня свои понятия: если вы откажетесь потакать любым моим прихотям, я решу, что мой милый меня так и не простил.

Она наполнила мою чашку и протянула ее, нежно обняв за плечи правой рукой и ласково перебирая мои волосы.

— Выпейте. Я тоже налью себе, — шепнула графиня.

Кофе оказался превосходным. Едва я допил чашку, как графиня протянула мне рюмку с ликером. Я выпил.

— Милый, пойдем в соседнюю комнату, — сказала графиня. — Эти ужасные люди, должно быть, уже вынесли гроб, и там мы будем в большей безопасности, чем здесь.

— Командуйте, и я подчинюсь. Повелевайте мною не только сейчас, но и всегда, везде, во всем, о, моя прекрасная королева! — прошептал я. Сия напыщенная речь происходила из моих идеализированных представлений о традициях французских влюбленных. До сих пор мне стыдно вспоминать велеречивые эпитеты, которыми я осыпал графиню де Сен-Алир.

— Тогда, пожалуйста, выпейте еще один бокал ликера, совсем маленький, — весело сказала графиня. Моя возлюбленная снова была весела, как птичка; казалось, ее не тревожили ни мрачная атмосфера траурной залы, ни предчувствия неведомых испытаний, ожидавших нас в будущем. Она обегала в гостиную и возвратилась с крохотным бокалом, который я с приличествующими случаю восторженными речами поднес к губам и выпил.

Я заглядывал в прелестные глаза, целовал ей руки, губы. Она не сопротивлялась.

— Вы зовете меня Ричард, но каким же именем называть вас, о мое прекрасное божество? — спросил я.

— Зовите меня Эжени; это мое настоящее имя. Если вы любите меня так же всецело, как я люблю вас, то давайте же откроемся друг другу.

— О Эжени! — воскликнул я и снова и снова восторженно повторил ее имя.

В конце концов я признался, что мне не терпится поскорее отправиться в путь. Однако в этот миг меня захлестнуло странное ощущение. Нет, я отнюдь не собирался падать в

обморок. Не нахожу слов, чтобы описать свое состояние; похоже было на то, словно мозг внезапно отказал мне, или же оболочка, в которую он заключен, если такая имеется, вдруг стала жесткой и сжалась, как сухая кожа.

— Ричард, дорогой! Что случилось? — в ужасе воскликнула графиня. — О небо! Вы заболели! Сядьте, умоляю вас. Садитесь в кресло. — Она едва не силой усадила меня. Я не мог оказать ни малейшего сопротивления. С пугающей отчетливостью я узнал овладевшее мною бессилие. Я откинулся в кресле, не в силах произнести ни звука, не в силах опустить веки, шевельнуть хоть одним мускулом. В считанные секунды я впал в то же состояние, в котором провел не один час в ночной карете, едущей в Париж, рядом с маркизом д'Армонвиллем.

Моя подруга громко рыдала от ужаса. Казалось, она не сознавала опасности, не понимала, что нас могут услышать. Она звала меня по имени, трясла за плечо, приподнимала и роняла мою руку, в смятении пыталась отыскать хоть малейший признак жизни и, не найдя его, возопила, что, если я умру, то и она покончит с собой.

Однако через минуту-другую бурные излияния внезапно стихли. Графиня замолчала; теперь она казалась совершенно спокойной. Она деловито взяла свечу и подошла ко мне. Лицо ее оставалось очень бледным, но испытующий взгляд выражал лишь серьезное внимание с легким налетом ужаса. Графиня медленно поводила свечой у меня перед глазами, убеждаясь, что я не реагирую на свет. Затем отставила свечу и громко зазвонила в колокольчик. Положив на стол шкатулку с бриллиантами и мой дорожный сейф, графиня тщательно заперла дверь в будуар, где я только что пил свой злосчастный кофе.

Едва графиня успела опустить на стол мой дорожный сейф, явно слишком тяжелый для нее, как дверь в залу, где стоял гроб, распахнулась, и на пороге появился человек, которого я поначалу принял за чудовищное видение.

Передо мной стоял граф де Сен-Алир, который, по словам графини, должен был находиться где-то на полпути к кладбищу Пер-Лашез. На мгновение его тощая гнусная фигурка застыла в дверях наподобие портрета, где рамой служил дверной проем, а фоном — зловещая темнота сумрачной комнаты. Граф был одет в черный траурный костюм, в руке он держал пару черных перчаток, шляпу обвивала креповая лента.

Злобное лицо графа подергивалось от беспокойства, тощие губы непрерывно кривились. Этот уродец казался напуганным до смерти.

— Ну как, Эжени? Что, детка? Вижу, все идет удачно?

— Да, — тихо, но твердо ответила графиня. — Но вы с Планаром напрасно не заперли эту дверь. Он вошел и увидел то, что ему видеть совсем не полагалось. Хорошо еще, что он не успел сдвинуть крышку гроба, — сурово добавила она.

— За этим должен был присмотреть Планар, — резко ответил граф. — *Ma foi!* Не могу же я уследить за всем! — Он торопливо мелкими шажками подошел ко мне и надел очки. — Месье Беккет, — громко окликнул он пару раз. — Эй! Вы меня не узнаете! Он склонился надо мной и внимательно всмотрелся в мое лицо, приподнял и встряхнул мою руку, окликнул еще раз и удовлетворенно произнес: — Все удалось как нельзя лучше, моя милая *Mignonne*. Когда это началось?

Графиня подошла ближе и смерила меня оценивающим взглядом. Трудно представить, до чего тяжело выносить пристальный взгляд двух пар злобных глаз. Затем графиня перевела взгляд туда, где, по моим представлениям, должна была находиться каминная полка с часами; до меня доносилось их громкое тиканье.

— Четыре... пять... шесть с половиной минут, — холодно произнесла она.

— Bravo! Брависсимо! Моя прелестная королева! Моя Венера! Жанна д'Арк! Моя героиня! Образец совершенства!

Граф пялился на меня с чудовищной злорадной ухмылкой. Он пошарил у себя за спиной тонкими бурыми пальцами, пытаясь найти руку графини, но она, не желая (как мне хотелось бы думать) его ласки, чуть подалась назад.

— Пойди сюда, *Ma сНеге*, давай-ка посмотрим. Что это? Записная книжка? Или...

или...

— Вот оно! — воскликнула графиня, с отвращением указывая на мой дорожный сейф в кожаном футляре, лежавший на столе.

— О! Давай посмотрим... посчитаем... посмотрим... — бормотал граф, развязывая дрожащими пальцами ремни. — Надо посчитать... надо посмотреть. Вот тут у меня карандаш и записная книжка... но где же ключ? Проклятый замок! Черт бы его побрал! Где же ключ?

Шаркая ногами, он подошел к графине и протянул руки с трясущимися пальцами.

— У меня его нет; откуда ему взяться? Наверняка он у него в кармане, — ответила дама.

В следующий миг гнусные пальцы старого негодяя залезли ко мне в карман. Он выгреб оттуда все содержимое, в том числе и несколько ключей.

Я застыл в том же самом оцепенении, какое сковало меня в карете, когда я ехал с маркизом в Париж. Трагедия разыгрывалась не на шутку, а я никак не мог до конца понять, какую роль играет в ней графиня. Женщинам присуще куда больше присутствия духа и актерского мастерства, чем выпало на долю нашего неуклюжего пола; я не понимал, было ли возвращение графа неожиданностью для графини, не знал, для чего граф затеял обыск моего дорожного сейфа. Однако обстоятельства прояснялись с каждой минутой; очень скоро мне было суждено осознать всю бедственность моего положения.

Силы изменили мне, я не мог отвернуться от этого гнусного зрелища, не мог опустить глаза. Попробуйте, как я, сесть в самом конце комнаты; вы убедитесь, что взгляд ваш, не меняя направления, охватывает все обширное помещение и даже различает, вследствие особого преломления лучей в глазу, даже то, что находится очень близко от вас. От меня не ускользало ничто из происходившего в комнате.

Старик наконец нашел у меня в кармане нужный ключ, раскрыл кожаный футляр и отпер окованный железом сундучок. Резким движением он высыпал на стол все его содержимое.

— Монеты завернуты в столбики по сто наполеондоров в каждом. Один, два, три. Быстрее! Записывай: тысяча наполеондоров. Раз, два... да, верно. Еще тысяча. Пиши! — Они быстро пересчитали золотые монеты и дошли до банкнот.

— Десять тысяч франков. Пиши! Еще десять тысяч — записала? Еще десять тысяч; готова? Лучше бы он взял банкноты помельче. Меньше было бы хлопот. Запри лучше дверь. Если Планар узнает, сколько тут денег, он с ума сойдет. Почему ты не велела ему взять банкноты помельче? Впрочем, теперь уж все равно... давай дальше... ничего не подделаешь. Пиши: еще десять тысяч франков, еще, и еще. — Таким образом они прямо у меня перед носом не торопясь пересчитали мое состояние. Я видел и слышал все до последней мелочи, на редкость хорошо осознавал происходящее, но в остальном был все равно что мертв.

Пересчитав деньги, граф аккуратно сложил все банкноты и монеты в сундучок, запер его, упаковал в кожаный футляр, открыл стенной шкаф, скрытый за дубовой обшивкой, уложил туда шкатулку с бриллиантами графини и мой дорожный сейф и запер дверцу. Покончив с делами, он снова принялся сердито ворчать и чертыхаться, недовольный на сей раз тем, что Планар задерживается.

Он поднял засов на двери, выглянул в темную комнату и прислушался. Затем прикрыл дверь и нервно прошелся из угла в угол. Старик явно сгорал от нетерпения.

— Я отложил для Планара десять тысяч франков, — сказал граф, коснувшись жилетного кармана.

— Ему этого хватит? — спросила леди.

— Черт бы его побрал! — завизжал граф. — У него что, совести нет? Я скажу ему, что это половина всей суммы.

Злоумышленники снова подошли ко мне и с тревогой всмотрелись в мое лицо. Старый граф опять принялся на чем свет стоит ругать Планара, то и дело поглядывая на часы.

Графиня проявляла меньше нетерпения. Она села боком ко мне, так, чтобы не смотреть на меня. Профиль ее оказался прямо передо мной — странное дело; графиня была не похожа на себя, в лице ее появилось что-то темное, колдовское. Она походила на ведьму. При виде ее зловещего лица, с которого спала маска, последняя надежда покинула меня: Я был уверен, что эти грабители не остановятся перед убийством. Но почему они сразу не прикончили меня? Для чего тянут со злодеянием, которое в конечном счете позволит им уйти безнаказанными? До сих пор не могу воскресить в памяти неописуемые ужасы, через которые мне довелось пройти. Вообразите себе кошмар наяву — я имею в виду такой кошмар, в котором вам грозит настоящая опасность, а мучители, наслаждаясь вашими нечеловеческими терзаниями, оттягивают желанный миг телесной смерти. У меня не осталось сомнений относительно того, по чьей вине я впал в свое странное оцепенение.

Терзаемый страшными пытками, еще более мучительными оттого, что я не мог никак выразить своих страданий, я увидел, как дверь комнаты, где стоял гроб, медленно растворилась. На пороге стоял маркиз д'Армонвилль.

На миг во мне вспыхнула надежда, неистовая и трепещущая, почти столь же мучительная, как моя чудовищная беспомощность, но при первых же словах графа я снова впал в глубокое отчаяние.

— Слава Богу, Планар, наконец-то вы пришли. — Граф крепко вцепился в локоть вошедшего обеими руками и подвел ко мне. — Вот, взгляните. До сих пор все прошло гладко, гладко, лучше не бывает. Поддержать вам свечу?

Мой друг д'Армонвилль, он же Планар, подошел ко мне, стянул перчатки и запихнул их в карман.

— Свечу сюда, — велел он и, склонившись надо мной, внимательно всмотрелся в мое лицо. Потрогал лоб, провел по нему ладонью и заглянул в глаза.

— Ну как, доктор, что вы думаете? — прошептал граф.

— Сколько вы ему дали? — спросил маркиз, внезапно низведенный до простого врача.

— Семьдесят капель, — ответила графиня.

— В горячем кофе?

— Да, шестьдесят в чашке горячего кофе и десять в ликере.

Мне показалось, что голос ее, низкий и твердый, слегка дрогнул. Не так-то легко победить собственный характер; внешние признаки волнения часто оказываются более стойкими, они сохраняются на лице еще долго после того, как погибнут все хорошие качества, что заложены в нас природой. Доктор, однако, проявлял ко мне не больше жалости, чем к безымянному трупу, который вот-вот будет препарирован на потеху студентам. Он снова заглянул мне в глаза, взял меня за руку и нащупал пульс.

— Сердечная деятельность остановилась, — сказал он про себя. Потом он поднес к моим губам некий предмет, который я разглядел лишь мельком — он показался мне похожим на металлический щиток, каким ювелиры прокатывают золото в листки, — и отстранился, чтобы его собственное дыхание не замутило зеркальной поверхности. — Да, — очень тихо произнес он.

Затем он разорвал на мне рубашку и приложил к груди стетоскоп. Приложив ухо к его концу, он долго водил трубкой По моей груди, прислушиваясь к малейшим звукам, затем выпрямился и сказал, опять же словно про себя:

— Вся наблюдаемая деятельность легких прекратилась. Обернувшись, врач произнес:

— Семьдесят капель, десять из них — на всякий случай. Такая доза продержит его в неподвижности шесть с половиной часов. Тогда, в карете, я дал ему всего лишь тридцать капель — его мозг оказался хорошо восприимчивым к снадобью. Эта доза его не убьет. Вы уверены, что дали ему семьдесят капель, а не больше?

— Разумеется, — ответила графиня.

— Разве вы не понимаете? Если он умрет от снадобья, ядовитые испарения останутся в легких, и в животе можно будет найти посторонние вещества. Если вы сомневаетесь, лучше сделать промывание желудка.

— Эжени, милая, скажи, скажи откровенно, прошу тебя, скажи честно, — суетился граф.

— Чего мне сомневаться? Я вполне уверена, — отвечала она.

— А когда именно вы дали снадобье? Я велел вам заметить точное время.

— Я и заметила; минутная стрелка была вон там, возле ноги Купидона.

— Значит, действие будет продолжаться еще семь часов. Затем он очнется; выделение лекарства из легких прекратится, и в животе не останется ни одной капельки.

Я был рад слышать, что в их намерения не входит убить меня. Тот, кто не пережил этого, не может представить себе, как ужасно ждать ее приближения, когда разум совершенно ясен, все жизненные инстинкты сохраняются и ничто не может остановить этот неведомый доселе ужас. Однако я не подозревал, какова истинная цель неожиданной доброты моих мучителей.

— Полагаю, вы покинете Францию? — спросил мнимый маркиз.

— Конечно, завтра же, — ответил граф.

— И куда направитесь?

— Мы еще не решили, — поспешно ответил старик.

— Что, не хотите сказать другу?

— Пока что я сам не знаю. Уж больно неприбыльным оказалось дельце.

— Ну, это мы со временем уладим.

— Не пора ли укладывать? — граф указал пальцем на меня.

— Да, надо поторапливаться. Ночная рубашка и ночной колпак — сами понимаете, о чем я говорю — готовы?

— Все готово, — ответил граф.

— А теперь, мадам, — доктор обернулся к графине и, несмотря на серьезность положения, отвесил ей низкий поклон, — вам пора удалиться.

Графиня вышла в соседний будуар, где я не так давно выпил чашку отравленного кофе, и больше я ее не видел.

Граф взял свечу, вышел в противоположную дверь и вернулся с матерчатым свертком в руках. Затем он тщательно задвинул засовы на обеих дверях.

Они молча принялись раздевать меня. Это заняло немного времени. То, что доктор называл моей ночной рубашкой, оказалось длинным одеянием, укутавшим меня с головы до пят. На голову мне напялили шляпку, больше всего напоминавшую женский ночной колпак, и завязали под подбородком ленты.

Теперь, подумал я, меня, должно быть, уложат в постель, чтобы я поправился, а заговорщики тем временем ускользнут с добычей, и никакая погоня их не настигнет. Таковы были мои самые радужные надежды; однако вскоре выяснилось, что планы злоумышленников были куда ужаснее.

Граф с Планаром вышли в комнату, находившуюся прямо передо мной. До меня доносились их голоса, шарканье ног. Затем послышался тяжелый грохот. Он стих, зазвучал снова и опять стих. В дверях, спиной ко мне, бок о бок показались мои недруги. Они тащили по полу какой-то тяжелый предмет, гулко громыхавший при каждом их шаге. Однако они заслоняли его от меня, и я не мог разглядеть, что же это такое. Они подтащили странный предмет прямо ко мне... О небо! Это был тот самый гроб, что стоял на столе в соседней комнате. Теперь он лежал возле меня, касаясь ножки моего кресла. Планар снял крышку. Гроб был пуст.

— Лошади, видать, неплохие, к тому же по дороге мы их сменим, — сказал Планар. — Дайте слугам наполеондор или два. Нужно уложиться в три часа с четвертью. А теперь взяли; я подниму его справа, чтобы получше уложить ноги, а вы держите их вместе и как следует натяните на них рубашку.

В следующий миг меня, поддерживаемого Планаром, поставили в ногах гроба и медленно опустили, уложив в него во весь рост. Затем мнимый маркиз, которого граф называл Планаром, вытянул мои руки вдоль боков, аккуратно расправил оборки на манжетах

и складки на саване. После этого он встал в ногах гроба и придирчиво осмотрел дело своих рук; результат, по-видимому, удовлетворил его. Граф, мелочный по природе, торопливо свернул мою одежду и запер в одном из трех стенных шкафов, что скрывались за дверцами в деревянной обшивке.

Теперь, наконец, я разгадал их чудовищный план. Этот гроб был приготовлен для меня; похороны Сен-Амана были придуманы для отвода глаз. Я собственной рукой заполнил заказ на похороны на кладбище Пер-Лашез, подписал его и уплатил пошлину за погребение вымышленного Пьера де Сен-Амана. На деле же мне предназначено было занять его место, лечь в гроб, на который привинчена табличка с его именем. Сверху на меня насыплют многотонный слой глины. И вот, проведя много часов в могиле, я очнусь от каталепсии и погибну смертью столь ужасной, какую не может представить себе самое пылкое воображение. Если же впоследствии по чьей-либо прихоти, любопытству или подозрению гроб будет эксгумирован и тело подвергнуто вскрытию, самый лучший химик не обнаружит ни следа яда, самое тщательное обследование не найдет ни малейших признаков насилия. Если мое исчезновение и будет кем-то замечено, то никакое следствие не обнаружит ничего противозаконного: я сам, своими руками сделал все возможное, чтобы запутать следы, даже написал своим друзьям в Англии, чтобы они, по меньшей мере, три недели не ждали от меня известий.

Смерть подкараулила меня в тот самый миг, когда я безрассудно предавался греховным восторгам, и спасения не было. Обезумев от ужаса, я пытался возносить молитвы Господу, но в голову лезли лишь покаянные мысли о Страшном суде, справедливом возмездии и вечных муках.

Не стану вспоминать то, что не поддается описанию — чудовищные ужасы, переполнявшие мой разум. Лучше просто рассказать по порядку о том, что случилось — каждая подробность тех событий навечно врезалась мне в память.

— Служители из похоронного бюро уже собрались в вестибюле, — сказал граф.

— Не впускайте их, пока мы не закончим, — откликнулся Планар.

— Будьте добры, подержите нижний конец, а я возьмусь здесь. — Вскоре я понял смысл их слов: над лицом у меня, всего в считанных дюймах, отсекая меня от дневного света, скользнула темная тень. Звуки начали доноситься приглушенно, неразборчиво. Я отчетливо слышал лишь скрип отвертки да недовольный скрежет завинчиваемых винтов. Даже трубный глас, что прозвучит в день Страшного суда, вряд ли будет ужаснее, чем, эти зловещие шорохи.

Дальнейшие события я буду излагать не так, как они доносились до моих ушей, — слишком невнятно и бессвязно, — а так, как мне рассказали впоследствии добрые друзья.

Завинтив крышку гроба, злоумышленники прибрались в комнате и аккуратно установили гроб вдоль обеденного стола. Графа особенно заботило, чтобы в комнате не осталось следов беспорядка) или спешки, способных возбудить ненужные подозрения.

Когда все было готово, доктор Планар выразил готовность спуститься в вестибюль и вызвать слуг, которые вынесут гроб и положат его на катафалк. Граф натянул черные перчатки и сжал в руке белый носовой платочек, словно неутешный родственник, оплакивающий смерть любимого племянника. Стоя чуть позади изголовья гроба, он ждал прибытия Планара со слугами. Вскоре на лестнице послышались их торопливые шаги.

Первым появился Планар. Он вошел через комнату, где недавно стоял гроб. Манеры его изменились; в них появилось чванливое, развязное самодовольство.

— Господин граф, — бросил он, размашисто шагая по комнате в сопровождении полудюжины незнакомых людей. — С огорчением вынужден сообщить о прискорбной задержке. Разрешите представить вам господина Карманьяка, состоящего на службе в полицейском департаменте. По его словам, к нему поступили сведения о том, что в окрестностях замка обнаружена партия контрабандного английского и другого иностранного товара и что часть этого товара скрывается в вашем доме. Я пытался уверить господина Карманьяка, что, насколько мне известно, сведения эти абсолютно неверны и что вы охотно

откроете для осмотра все комнаты, шкафы и буфеты в вашем доме, дабы разубедить его.

— С превеликим удовольствием, — решительно провозгласил граф, однако лицо его стало блее бумаги. — Благодарю вас, дорогой друг, что предупредили меня. Я предоставлю в распоряжение нашего уважаемого гостя мой дом и все ключи, если только он будет любезен сообщить мне, о каком именно контрабандном товаре идет речь.

— Прошу простить меня, граф де Сен-Алир, — довольно сухо ответил Карманьяк. — Мои полномочия не позволяют мне разглашать сведения о характере товара. Я получил приказ провести общий обыск. Удовлетворит ли господина графа такое разъяснение?

— Могу ли я надеяться, господин Карманьяк, — перебил его Планар, — что вы позволите графу де Сен-Алиру отправиться на похороны почившего родственника, который, как видите, лежит здесь, — он указал на крышку гроба, — и сопровождать его на кладбище Пер-Лашез? Катафалк ждет внизу у дверей.

— К сожалению, не могу вам позволить. Мой приказ совершенно однозначен. Однако, надеюсь, задержка будет недолгой. Надеюсь, господин граф не полагает, что я в чем-то подозреваю его. Просто у меня есть обязанности, и я должен их выполнять. Если мне приказывают провести обыск, я обыскиваю дом. Иногда искомые вещи прячут в самых неожиданных местах. Например, я не знаю, что содержит в себе этот гроб.

— Тело моего родственника, господина Пьера де Сен-Амана, — высокомерно ответил граф.

— Да? А вы его видели?

— Видел ли я моего любимого кузена? Премного раз! — Граф был явно встревожен.

— Я имею в виду тело.

Граф бросил быстрый взгляд на Планара.

— Н-нет, господин... то есть, видел, только мельком. — Граф еще раз взглянул на Планара.

— Надеюсь, достаточно долго, чтобы узнать его? — настаивал полицейский.

— Да... конечно. Мельком, но разглядел хорошо. Что, я не узнаю Пьера де Сен-Амана с одного взгляда? Нет, нет. Бедняга, я очень хорошо его знал.

— Предметы, которые я разыскиваю, — сказал господин Карманьяк, — могут уместиться в очень узком объеме. Вы сами знаете, как бывают изобретательны слуги. Разрешите поднять крышку.

— Простите, сударь, — безапелляционно возразил граф, подходя ближе к гробу, — не могу позволить вам такого... такого святотатства.

— Но ведь там нет ничего противозаконного, не так ли? Мы просто поднимем крышку. Вы можете остаться в комнате. Если все окажется хорошо, как мы оба надеемся, вы, к вашему удовольствию, лишний раз, теперь уже последний, увидите дорогого почившего родственника.

— Но, я не могу...

— Но, я должен.

— Но, кроме того, эта штука... отвертка. Она сломалась, когда завернули последний винт. Клянусь честью, сударь, в этом гробу нет ничего, кроме тела.

— Разумеется, сударь, вы верите в то, что говорите; но я лучше вас знаю уловки, которые в ходу среди слуг, промышляющих контрабандой. Филипп, подойдите сюда и снимите крышку с гроба.

Граф запротестовал, но Филипп — лысый толстяк с чумазым лицом, грязный, как кузнец за работой, поставил на пол кожаный сундучок с инструментами, деловито осмотрел фоб, поковырял ногтем головки винтов, выбрал подходящую отвертку и ловко открутил винты. Полувывинченные головки торчали, как шляпки грибов, крышка приподнялась.

Я увидел свет, как мне подумалось, в последний раз. Но глаза мои смотрели только вперед, я не мог изменить направления взгляда. Застыв в каталепсии, я лежал так, как меня уложили, и теперь взгляд мой был устремлен в потолок. Надо мной склонилось нахмуренное лицо Карманьяка. Мне показалось, что он меня не узнает. О небо! Если бы я мог испустить

хоть слабый стон! С другой стороны на меня взидала гнусная физиономия коротышки-графа. Лицо мнимого маркиза тоже было передо мной, но чуть в стороне от линии взгляда. Видел я и другие лица.

— Так, так, — сказал Карманьяк и выпрямился. — Ничего похожего на контрабанду.

— Не будете ли вы любезны приказать вашему человеку установить крышку гроба на место и завернуть винты? — набравшись храбрости, бросил граф. — И... и... надо продолжать похороны. Нехорошо заставлять людей, получающих весьма скромные сверхурочные за ночную работу, ждать час за часом после назначенного времени.

— Граф де Сен-Алир, я отпущу вас через несколько минут. Не волнуйтесь, я отдам все необходимые распоряжения насчет гроба.

Граф посмотрел на дверь — там стоял жандарм. Еще двое или трое могучих представителей этой службы сурово расхаживали по комнате. Графу стало не по себе: дело принимало нежелательный оборот.

— Поскольку этот господин препятствует моему присутствию на похоронах родственника, я прошу вас, Планар, сопровождать погребальную процессию вместо меня.

— Еще минутку, — ответил неумолимый Карманьяк. — Сначала будьте добры предоставить нам ключи от этого стенового шкафа. — Он указал на дверцу, за которой была спрятана моя одежда:

— Я... я не возражаю, — пробормотал граф, — пожалуйста, если вам угодно. Но должен предупредить, что этим шкафом не пользовались уже много лет. Сейчас я пошлю кого-нибудь из слуг поискать ключ.

— Если у вас нет его при себе, не волнуйтесь. Филипп, подберите к замку отмычку. Мне нужно открыть его. Чья это одежда? — спросил Карманьяк, когда на свет Божий был извлечен костюм, который положили туда всего пару минут назад.

— Не знаю, — ответил граф. — Понятия не имею о том, что лежит в этом шкафу. Ключ был у одного слуги по имени Лабле, отпетого вора. Я уволил его год назад. Я уже лет десять не видел этот шкаф открытым. Должно быть, это костюм Лабле.

— Здесь визитные карточки, а вот и платок с меткой — «Р.Б». Надо думать, он его украл у человека по имени Беккет — Р. Беккет. На карточках написано: «*Мистер Беккет, Беркли-Стрит*». Вот это да! Здесь есть еще и часы, и связка печатей; на одной из них инициалы «Р.Б». Да, этот слуга, Лабле, и впрямь отпетый воришка!

— Вы правы, сэр, воистину так.

— Сдается мне, господин граф, — продолжал Карманьяк, — что он украл этот костюм у человека, который сейчас лежит в гробу. Стало быть, его и зовут господин Беккет, а не месье де Сен-Аман. Ведь, сударь, странно подумать, часы-то все еще идут! Человек в гробу, полагаю, отнюдь не мертв, его просто опоили каким-то снадобьем. Я арестовываю вас, Никола де ла Марк, граф де Сен-Алир, за ограбление и попытку убийства!

Мгновение спустя старый негодяй был взят под стражу. До меня доносился его надтреснутый голос, дрожащий от негодования. Хрипя и повизгивая, он сыпал протесты, угрозы, нечестиво взывал к Богу, которому-де «ведомы все тайны людские». Жандармы выпроводили неистовствующего графа из комнаты и усадили в ту же карету, где уже дожидалась его прелестная покинутая сообщница, также арестованная. В сопровождении двух жандармов злоумышленников быстро доставили в тюрьму Консьержери.

К общему хору, звучавшему вокруг меня в гостиной, присоединились еще два голоса, весьма непохожих друг на друга. Один из них принадлежал bravому полковнику Гайяру, которому нелегко было до поры до времени оставаться на заднем плане; другой — моему веселому другу Уистлвику, пришедшему опознать меня.

Я расскажу еще о том, как моим друзьям удалось сорвать гнусный чудовищный план моего ограбления и убийства. Но сначала несколько слов о себе. Меня, по указанию Планара, поместили в теплую ванну. Планар, такой же отпетый негодяй, как и все остальные члены этой банды, на сей раз, понимая, что судьба его зависит от того, останусь ли я в живых, ретиво помогал следствию. Затем меня уложили в теплую постель и широко распахнули

окна.

С помощью этих несложных мер через три часа я был в полном порядке; в противном случае я, возможно, пробыл бы в каталепсии часов семь.

Заговорщики обстряпывали свои гнусные дела с завидной изобретательностью и коварством. Жертвы их, наподобие меня, сами невольно становились пособниками обмана, подготавливая собственное неминуемое уничтожение.

Разумеется, было организовано расследование. На кладбище Пер-Лашез вскрыли несколько могил. Однако эксгумированные тела пролежали в земле слишком долго, и опознать их было невозможно. Удалось с достоверностью опознать лишь один труп. Вот как это случилось. Распоряжение о похоронах было подписано неким Габриэлем Гайяром, он же уплатил положенную сумму. Клерк, оформлявший документы, лично знал Габриэля. С несчастным произошло то же самое, что эти негодяи намеревались сотворить со мной. Человек, для которого предназначалась могила, был, разумеется, вымышленным. Габриэля Гайяра уложили в гроб, на крышке которого было выгравировано совсем другое имя, то же самое, что украшало могильный камень. Возможно, такая же честь, под псевдонимом Сен-Амана, была уготована и мне.

Опознание было проведено весьма занятным образом. Лет за пять до своего таинственного исчезновения Габриэль Гайяр неудачно упал с лошади и получил тяжелые ранения. Он лишился глаза и нескольких зубов, сломал правое бедро чуть выше колена, однако держал повреждения в строжайшей тайне. Поэтому, когда его хоронили, в глазнице остался стеклянный глаз. За время нахождения в могиле глаз, конечно, немного сместился, однако мастер, изготовивший его, легко опознал дело своих рук. Более точным свидетельством были вставные зубы чрезвычайно искусной работы. Лучший дантист Парижа, идеально подогнавший их к малейшим изгибам челюсти, по счастью, сохранил матрицу, в которой они отливались. Золотая пластинка, найденная во рту черепа, в точности подходила к этой матрице. Дополнительным подтверждением послужила метка на бедренной кости выше колена, там, где сломал ногу Габриэль Гайяр.

Узнав об исчезновении Габриэля, полковник, его младший брат, пришел в ярость, не столько из-за утраты любимого родственника, сколько из-за потери денег, которые он считал чуть ли не своей собственностью, находящейся на хранении у старшего брата вплоть до кончины последнего. У него были веские причины полагать, что Габриэля обчистили граф де Сен-Алир и красивая дама, его подруга, графиня или кто бы она ни была. К этим подозрениям подмешивались и другие, куда более мрачные. Но поначалу это были скорее смутные догадки, непомерно раздутые его яростью, чем конкретные умозаключения. Наконец счастливое совпадение натолкнуло полковника на верный след. Один из негодяев, Планар, случайно узнал, что заговорщикам, и ему в том числе, грозит опасность. Опасаясь за свою жизнь, он пошел на сговор с полицией, стал информатором. В самый роковой для злоумышленников момент, когда все было готово, чтобы выдвинуть против них неопровержимое обвинение, Планар по договоренности с полицией явился в замок Шато-дела-Карк.

Нет нужды описывать, с какой скрупулезностью и предусмотрительностью полицейские агенты собирали мельчайшие доказательства, на которых должно было строиться дело. На случай, если Планар в решающую минуту откажется помогать, они взяли с собой опытного врача, который должен был обеспечить медицинское освидетельствование.

Как видите, моя поездка в Париж обернулась отнюдь не таким приятным развлечением, как я рассчитывал. Я проходил главным свидетелем в слушаниях по этому *cause celebre*, со всеми адгетепTs, что сопутствуют этому завидному положению. «Со скрипом», как выразился милейший Уистлвик, избежав опасности для жизни, я наивно полагал, что теперь окажусь в центре внимания парижского общества. Однако, к своему горькому разочарованию, я обнаружил, что являюсь предметом добродушных, но довольно непочтительных насмешек. Я считался *Balourd*, *VeneT*, *un ape*, меня даже изображали на карикатурах. Я стал чем-то вроде героя народных сказок, удостоен величания, «с которым не

был я рожден» и от которого поспешил избавиться при первом же удобном случае, не нанеся даже визита моему другу маркизу д'Армонвиллю в его гостеприимном замке.

Маркизу удалось уйти безнаказанным. Его сообщник, граф, был казнен. Для очаровательной Эжени отыскались смягчающие обстоятельства — заключающиеся, как я полагаю, в ее прелестных глазках, — и она отделалась шестилетним тюремным заключением.

Полковник Гайяр частично вернул состояние брата, пополнившего в свое время не слишком богатую казну графа и soidisanT графини. Это обстоятельство, а также казнь графа привели его в весьма доброжелательное расположение духа. Поэтому он, не проявляя ни малейшей враждебности, благосклонно пожал мне руку и заявил, что рассматривает рану на голове, нанесенную набалдашником моей трости, как полученную на почетной дуэли, которая, хоть и велась не совсем по правилам, все же не дает ему повода жаловаться на несправедливость или нечестность.

Полагаю, я должен упомянуть еще о двух обстоятельствах. Кирпичи, найденные в комнате, где стоял гроб, были аккуратно уложены в него и упакованы в солому, чтобы гроб не казался носильщикам чересчур легким. Прибытие в замок пустого гроба могло вызвать ненужные подозрения и кривотолки. Во-вторых, знаменитые бриллианты графини были осмотрены опытным ювелиром, и тот объявил, что стоят они самое большее пять фунтов. За эту цену их и продали некой примадонне, которой как раз понадобились для спектакля украшения из поддельных драгоценных камней.

Сама же графиня несколько лет назад блистала на одной из небольших сцен Парижа, где ее и нашел граф. Он забрал ее из театра и сделал своей главной сообщницей. Это она, скрытая за мужским костюмом, копалась в моих бумагах в ту достопамятную ночную поездку в Париж. Она же представляла волшебника, толкователя предсказаний на балу в Версале. Хитроумная мистификация была задумана для того, чтобы подогреть мой интерес к прекрасной графине, который, как они опасались, мог за много дней отчасти рассеяться. Выдумка эта имела целью привлечение и других возможных жертв, но о них, полагаю, нет смысла распространяться. В паланкине сидел настоящий труп, предоставленный человеком, поставляющим материал в анатомические театры Парижа. Никакой серьезной опасности затея с трупом не представляла, она лишь придала делу мистический налет и дала дополнительную пищу ходившим в городе слухам о загадочном пророке. Впрочем, простофили, общавшиеся с оракулом, и без того долго не могли забыть странных предсказаний.

Остаток лета и осень я провел в путешествиях по Швейцарии и Италии. Горький опыт, что называется, умудрил меня. Самые тяжелые впечатления от случившегося были, разумеется, связаны с колоссальным нервным и умственным потрясением. Но остались и более серьезные, глубокие чувства. Пережитый ужас оказал влияние на всю мою последующую жизнь. Он заронил мне в душу ростки, из которых через много лет произросли чувства куда более счастливые, но оттого не потерявшие серьезности. Я имею все основания благодарить все милостивейшего Создателя за то, что еще в ранней юности Он преподавал мне урок благочестия, показав, к каким тягчайшим последствиям могут привести греховные дела.

Уильям Гаррисон Эйнсворт Невеста призрака

В конце 1655 года вся модная знать съезжалась на праздники в замок Хернсвульф. Барон, носивший это имя, самый влиятельный среди немецких вельмож, столь же славился отвагой своих сыновей, сколь и красотой своей единственной дочери. Поместье Хернсвульф, расположенное в центре Шварцвальда, было пожаловано одному из его предков в награду за службу государству и вместе с другими родовыми именами перешло по наследству к семье

нынешнего владельца. Жилище барона представляло собой готический замок, построенный, согласно вкусам того времени, в самом величественном из архитектурных стилей. Темные запутанные переходы вели к сводчатым комнатам, увешанным гобеленами. Это были помещения внушительного размера, но не слишком уютные и наводящие страх своей непомерной величиной. Темная роща сосен и рябин окружала замок со всех сторон и придавала мрачный оттенок пейзажу, который редко оживляли солнечные лучи с небес.

Колокола радостным перезвоном возвестили наступление зимних сумерек, привратник и его свита, разместившись на зубчатых стенах, готовились объявить о прибытии гостей, созванных, чтобы разделить царящее в замке веселье. Юная госпожа Клотильда, единственная дочь барона, только что достигла своего семнадцатилетия, и на ее день рождения было приглашено блестящее общество. Двери просторных сводчатых покоев распахнулись навстречу гостям. Вечернее празднество только началось, как вдруг с главной башни донесся бой часов, необычайно торжественный и важный, и тотчас в бальный зал вошел высокий незнакомец в черном.

Он учтиво поклонился собравшимся, но был принят весьма холодно. Никто не знал, кто он такой и откуда он прибыл. Но его внешность говорила о принадлежности к самой высшей знати, и хотя поначалу его встретили сдержанно, отказать ему в уважении не мог никто. Он беседовал главным образом с дочерью барона, и его замечания были настолько уместны, шутки так остроумны, а манеры так обворожительны, что он вскоре завладел вниманием своей слушательницы. После некоторых колебаний со стороны хозяина, который, как и прочее общество, не мог остаться к незнакомцу равнодушным, он был приглашен провести в замке несколько дней и с готовностью принял приглашение.

Близился самый поздний и глухой час ночи, и когда гости разошлись по спальням, они слышали, как тяжелый колокол с унылым звоном качается на башне, хотя слабое дуновение ветра лишь чуть колыхало ветви лесных деревьев. За утренним завтраком многие из гостей говорили, будто слышали ночью дивную музыку, но при этом все сходились в утверждении, что из комнаты незнакомца раздавались страшные, дикие звуки. Вскоре, однако, он присоединился к гостям, и когда речь зашла о событиях минувшей ночи, мрачная, загадочная улыбка промелькнула на его угрюмом лице, вновь сменившись выражением глубокой меланхолии. Он почти все время беседовал с Клотильдой, и когда он рассказывал ей о разных странах, в которых побывал, о солнечных краях Италии, где воздух напоен ароматом цветов и летний бриз легко вздыхает над благодатной землей, когда он говорил ей о чарующих местах, где сияние дня тонет в мягком сумраке ночи и небеса ни на миг не омрачаются, на глаза девушки навернулись слезы и впервые она пожалела, что никогда не покидала родительский дом.

Шло время, дни сменяли друг друга, и с каждым мигом росло то неизъяснимое чувство, которое внушал ей незнакомец. Он не признавался ей в любви, но эта любовь без труда угадывалась в его манерах, словах, доверительном тоне, мечтательной нежной улыбке. И когда он видел, что ему отвечают взаимностью, злобная усмешка появлялась и тут же исчезала на его мрачном лице. В присутствии ее родителей он сразу становился почтительным и сдержанным, и только наедине с нею, гуляя по тенистым тропинкам, принимал облик более страстного поклонника.

Однажды вечером он сидел вместе с бароном в обшитой деревянными панелями комнате, которая служила библиотекой. Речь зашла о сверхъестественных силах. Во время этой беседы незнакомец хранил загадочное молчание, но когда барон заметил, что не верит в существование духов, и стал дерзко высмеивать рассказы о них, глаза юноши сверкнули дьявольским огнем и сам он как будто вырос. Разговор прервался. В течение нескольких секунд царила пугающая тишина — и тут из темной лесной зазвучала музыка, полная неземной красоты и гармонии. Эти звуки очаровали всех, однако незнакомца они встревожили и смутили. Он смотрел на своего великодушного хозяина с состраданием, и что-то, похожее на слезы, блеснуло в его темных глазах.

Музыка постепенно смолкла вдали, и все затихло, как прежде. Минуту-другую спустя

барон покинул комнату. Незнакомец почти сразу же последовал за ним. Вскоре после ухода раздался отчаянный крик — крик человека в смертельной агонии, и барон был найден мертвым в одном из переходов замка. Черты его лица были искажены болью, на почерневшем горле проступал отпечаток человеческой руки. Поднялась тревога, замок тщательно обыскали, но незнакомец бесследно исчез.

Тем временем тело барона было предано земле, тихо и без пышных церемоний. О страшном убийстве если и вспоминали порой, то лишь как о давнем событии. Исчезновение незнакомца, завладевшего всеми ее чувствами, ранило нежную душу Клотильды. Ей нравилось рано утром и поздно вечером бродить по тропинкам, где они когда-то гуляли вдвоем, воскрешать в памяти его последние слова, его ласковую улыбку и навещать места, где однажды она беседовала с ним о любви. Она избегала всякого общества и казалась довольной лишь тогда, когда затворялась одна в своей комнате. Там она позволяла своему страданию излиться в слезах, и любовь, которую гордость и девическая скромность заставляли её скрывать от людей, открыто выражалась в часы уединения. Так прелестна и так смиренна в своем горе была прекрасная плакальщица, что казалась ангелом, уже свободным от земных уз и готовым воспарить в небеса.

Однажды летним вечером, когда она одиноко бродила по своим любимым тропинкам, кто-то неслышно приблизился к ней. Она обернулась и, к ее безграничному удивлению, увидела незнакомца. Он подошел к ней и заговорил с нею.

— Ты покинул меня, — воскликнула обрадованная девушка, — и я думала, вместе с тобой меня навсегда покинуло счастье. Но теперь, когда ты вернулся, разве мы не будем счастливы снова?

— Счастливы! — повторил незнакомец, разразившись злобным, язвительным смехом. — Могу ли я снова быть счастлив... могу ли я когда-нибудь... Но прости мне несдержанность, любовь моя, и припиши её той радости, которую доставила мне наша встреча. О! Я многое должен сказать тебе; да! и услышать в ответ много любезных слов, не так ли, дорогая? Но сперва скажи мне правду: была ли ты счастлива без меня? Нет! По этим запавшим глазам, этим бледным щекам я вижу, что сердце моей возлюбленной не осталось безучастным к бедному страннику. Я скитался по разным странам, я жил среди чужих народов и встречался с другими женщинами, прекрасными и утонченными, но я нашел только одного ангела, и этот ангел — здесь, передо мной.

— Прими этот скромный дар моей привязанности, дорогая, — продолжил незнакомец, срывая с куста дикую розу. — Она так же красива, как лесные цветы, что украшают твои волосы, и пленительна, как любовь, которую я питаю к тебе.

— Она в самом деле прелестна, — ответила Клотильда, — но ее прелесть поблекнет, прежде чем настанет вечер. Она красива, но ее красота так же недолговечна, как любовь, символом которой она служит. Пусть залогом твоей верности станет другой цветок. Принеси мне ветку вечнозеленого растения, что цветет и зимой и летом, и я скажу, вплетая его в мои волосы: «Фиалки раскрывались и увядали, розы отцвели и рассыпались прахом, но вечная зелень по-прежнему остается юной, как любовь в наших сердцах!» Ты не покинешь — ты не сможешь покинуть меня. Я живу одним тобой, с тобой связаны мои надежды, мои помыслы, мое существование, и, потеряв тебя, я потеряю всё. Я была одиноким диким цветком в пустыне до тех пор, пока ты не перенес меня в более благоприятную сферу, и теперь ты не сможешь разбить это преданное сердце, которое сам зажег страстью.

— Не говори так, — ответил незнакомец, — мне больно слышать это; оставь меня, забудь меня, покинь меня навсегда — со мною тебя ждет неизбежная гибель. Я отвержен Богом и людьми, и если бы только ты могла видеть полное страха сердце, что едва бьётся внутри этой движущейся массы уродства, ты в испуге бежала бы от меня, как бегут при виде ядовитой змеи.

Вот моё сердце, любимая; прикоснись к моей груди — ты почувствуешь холод. Ты не услышишь биения пульса, которое говорило бы о моих чувствах. Моя душа застыла и умерла, как и все друзья, которых я когда-то знал.

— Ты так несчастен, милый, и твоя бедная Клотильда должна остаться с тобой, чтобы помочь тебе. Не думай, что я могу покинуть тебя в твоих горестях. Нет! Я буду скитаться с тобой в этом огромном мире, буду твоей служанкой, твоей рабой, если хочешь. Я укрою тебя от ночного ветра, от бури, что яростно бушует окрест; и если холодный свет предаст твое имя позору, если друзья от тебя отвернутся и твои близкие угаснут в могиле, — все же одно преданное сердце будет еще сильнее любить тебя в твоём несчастье, неизменно лелеять и благословлять тебя.

Она умолкла, и ее синие глаза наполнились слезами, когда она с любовью взглянула на незнакомца. Под ее пристальным взглядом он отвернулся, и презрительная улыбка, полная мрачной, смертельной злобы промелькнула на его красивом лице. В следующий миг это выражение исчезло. Его ледяной неподвижный взгляд вновь обрел свою загадочную невозмутимость, и он снова повернулся к своей спутнице.

— Настал час заката, — воскликнул он, — тихий, прекрасный час, когда сердца влюбленных счастливы и природа радостно улыбается им. Но мне она больше не улыбнется. Еще до завтрашнего рассвета я буду вдаль от дома моей возлюбленной, от того места, где мое сердце покоится точно в склепе. Но неужто я должен покинуть тебя, мой любимый дикий цветок, чтобы ты стала игрушкой вихря, жертвой горного урагана?

— Нет, мы не разлучимся! — ответила пылкая девушка. — Куда ты пойдешь, туда и я пойду; твой дом будет моим домом, и твой Бог будет моим Богом.

— Так поклянись же, поклянись в этом, — начал снова незнакомец, неистово сжимая ее в своих объятиях, — поклянись страшной клятвой, которой я научу тебя.

Потом он приказал ей опуститься на колени, угрожающим жестом вознес правую руку к небу и, откинув назад свои черные, как вороново крыло кудри, с улыбкой, достойной воплощенного дьявола, выкрикнул слова ужасной клятвы.

— Пусть проклятия оскорбленного Бога, — восклицал он, — преследуют тебя, не оставляют тебя никогда: в тишине и в бурю, днем и ночью, в болезни и горести, в жизни и смерти, если ты нарушишь принесенную тобой клятву — быть моей. Пусть темные души зазывают в твоих ушах дьявольским хором — пусть воздух обжигает твою грудь языками адского пламени. Пусть твое сердце будет подобно дому скорби, где призрак погибшей радости заточен, словно в гробнице, где стоглавый червь никогда не умирает и огонь не угасает. Пусть злой дух воссядет на твоём челе и объявляет, когда ты проходишь: «ВОТ ОТВЕРЖЕННАЯ БОГОМ И ЛЮДЬМИ». Пусть вселяющие страх призраки часто навещают тебя в ночное время. Пусть твои милые друзья день за днём сходят в могилу и проклинают тебя с последним вздохом. Пусть все, самое ужасное для человека, более грозное, чем язык способен выразить или губы могут произнести, — пусть всё это и еще худшее, чем это, станет твоим вечным уделом, если ты нарушишь клятву.

Он умолк, едва сознавая, что делает, испуганная девушка вняла ужасным мольбам и поклялась в вечной верности тому, кто отныне должен был стать ее господином.

— Проклятые души, я благодарю вас за вашу помощь! — вскричал незнакомец. — Я отважно добился своей прекрасной невесты. Она моя — моя навеки. Да, моя телом и душой, моя в жизни и в смерти. Как? Ты в слезах, моя милая, прежде чем минул медовый месяц? У тебя была причина для слез, но когда мы встретимся снова, мы встретимся, чтобы скрепить брачные узы.

Потом он запечатлел холодный поцелуй на щеке своей молодой невесты и, несколько смягчив ужасное выражение своего лица, попросил ее встретиться с ним на следующий вечер в восемь часов в часовне неподалеку от замка. Она обернулась к нему с горячим вздохом, словно искала у своего друга защиты от него же самого, но незнакомец уже исчез.

Когда она вернулась в замок, все заметили, что она кажется печальной. Её домочадцы напрасно старались узнать причину ее тревоги. Ужасная клятва всецело парализовала её мысли и чувства, и она боялась выдать себя даже малейшей переменной в интонации голоса или выражении лица. Когда наступила ночь, семейство удалилось на отдых, только Клотильда, которой тревога не давала уснуть, попросила разрешения остаться одной в

библиотеке, примыкающей к её комнате.

Была глубокая ночь, все обитатели замка давно уже спали, и не было слышно ни единого звука, кроме унылого воя сторожевого пса, лающего на луну. Клотильда все еще сидела в библиотеке в позе глубокого раздумья. Светильник, горевший возле нее на столе, постепенно угасал, и дальний конец комнаты уже наполовину погрузился во тьму. Часы на северной башне пробили полночь, и этот звук отозвался зловещим эхом в торжественной тишине ночи. Вдруг дубовая дверь в конце комнаты медленно отворилась на своих петлях, и мертвенно-бледная фигура, одетая в саван, неслышно вступила в библиотеку. Ни единый звук не возвещал о её приближении, когда она бесшумно приближалась к столу, где сидела девушка. Она не замечала вошедшего, пока чья-то ледяная рука не стиснула её руку и мрачный голос не шепнул ей на ухо: «Клотильда!».

Она подняла глаза — рядом с ней стояла темная фигура. Она хотела закричать, но не могла издать ни звука. Как зачарованная, она глядела на вошедшего, который медленно распахнул погребальные покровы, скрывающее его лицо, и явил её взгляду тусклые глаза и бесплотные черты её отца. Казалось, он пристально глядел на неё с жалостью и печалью, и скорбно воскликнул:

— Клотильда, наряды и служанки готовы, церковные колокола прозвонили, и священник ждет у алтаря, но где же помолвленная невеста? Там, в могиле, есть место для неё, и завтра она будет вместе со мной.

Завтра? — с трудом выговорила растерянная девушка.

— Духи ада слышали твою клятву, и завтра она должна быть исполнена. Призрак умолк — стал медленно удаляться, и вскоре исчез во тьме.

Утро настало и прошло, день миновал, и, когда часы в столовой пробили восемь, Клотильда была уже на пути к церкви. Это был темный, мрачный вечер, плотная масса серовато-коричневых облаков плыла по небосводу, и завывание зимнего ветра отдавалось ужасным эхом в лесной чаще. Девушка достигла условленного места; кто-то уже стоял там, дожидаясь её. Он выступил ей навстречу, и Клотильда узнала черты незнакомца.

— Ты здесь? Это хорошо, моя невеста, — воскликнул он с насмешкой. — и хорошо я отплачу тебе за твою любовь. Следуй за мной.

Они молча шли по темным запутанным переходам часовни, пока не достигли расположенного рядом кладбища. Здесь они на минуту остановились, и незнакомец произнес более мягким тоном:

— Еще один час, и борьба будет окончена. И все же это сердце, полное зла, способно чувствовать раскаяние, когда обрекает столь юную, столь невинную душу на гибель.

— Но это должно случиться, — продолжил он, пока воспоминания о её прежней любви проносились в ее сознании, — ибо так пожелал дьявол, которому я служу. Бедная девушка, я в самом деле веду тебя венчаться, но священником будет смерть, гостями на свадьбе — разлагающиеся скелеты, нагроможденные повсюду, и свидетелями нашего брака — ленивые черви, которые пируют на костях мертвецов. Ступай же, моя молодая невеста, священник с нетерпением ожидает своей жертвы.

Они пошли дальше; тускло-голубой свет быстро двигался перед ними и привел их к вратам склепа на краю кладбища. Врата были отворены, и они вошли туда в тишине. Ветер с унылым воем проносился сквозь эту мрачную обитель смерти, и по обе стороны высились груды гниющих гробов, обломки которых падали один за другим в сырую грязь. Шаг за шагом влюбленные ступали по мертвым телам, и побелевшие кости мерзко трещали под их ногами.

В центре склепа возвышалась груда непогребенных скелетов, на которой восседала отвратительная фигура, ужаснее самых мрачных фантазий. Когда они подошли к ней, пустой склеп зазвенел от раскатов дьявольского смеха и каждый разлагающийся труп, казалось, был наделен бесовской жизнью. Незнакомец остановился, и когда он крепко стиснул свою жертву, один вздох вырвался из его груди — одна слеза сверкнула в его глазах. Но это

продолжалось лишь миг; отвратительное существо грозно нахмурилось, заметив его колебания, и подало знак своей костлявой рукой.

Незнакомец шагнул вперед, начертил в воздухе мистические круги, произнес загадочные слова и в ужасе умолк. Внезапно он возвысил голос и дико воскликнул:

— Супруга духа тьмы, у тебя есть несколько минут, чтобы ты могла узнать, кому доверилась. Я бессмертный дух злодея, который проклял своего Спасителя на кресте. Он смотрел на меня в последний час своей земной жизни, и этот взгляд все еще преследует меня. На земле нет проклятия страшнее моего. Я навечно приговорен к адским мукам и должен угождать моему господину, покуда мир не испепелится, как свиток, пока небо и земля не прейдут. Я тот, о ком ты, должно быть, читала и о чьих деяниях ты могла слышать. Мой господин приговорил меня соблазнить миллион душ. Лишь тогда мое покаяние будет завершено и я смогу познать покой могилы. Твоя душа — тысячная из тех, которые я погубил. Я увидел тебя в дни твоей непорочности и сразу же предназначил тебя для моего дома.

Твой отец, убитый мною за его дерзость, получил разрешение предостеречь тебя, и меня немало позабавила твоя доверчивость. Ха! Заклинания сделали свое дело, и скоро ты увидишь, любовь моя, с кем навеки связала свою судьбу. Ибо до тех пор, пока не прекратится течение времени, пока молнии будут сверкать и громы грохотать, твое наказание не кончится. Погляди вниз, и увидишь, на что ты обречена.

Девушка взглянула: по склепу пробежали тысячи трещин, земля разверзлась, и раздался шум, подобный гласу вод многих. Живой океан жидкого пламени сверкал в бездне; пронзительные вопли проклятых душ, смешиваясь с ликующими возгласами демонов, вызывали невыразимый ужас. Десять миллионов душ корчились в пылающих огнях. Когда кипящие волны швыряли их о черные скалы из адаманта, они с отчаянной дерзостью проклинали Бога, и каждое проклятие эхом разносилось над волнами.

Незнакомец устремился к своей жертве. Он держал ее в объятиях над пылающей пропастью, с любовью глядел в ее лицо и плакал, как ребенок. Это был лишь мгновенный порыв — он вновь крепко сжал ее в руках, с яростью отбросил прочь, и когда ее прощальный взгляд с нежностью коснулся его лица, он воскликнул:

— В твоей гибели виновен не я, но религия, которую ты исповедуешь. Разве она не провозгласила, что грешникам уготован вечный огонь? И разве ты не навлекла на себя этой кары?

Она, бедная девушка, не слышала, не замечала криков нечестивца. Ее хрупкое тело катилось по камням, ударяясь о скалы, над пенящимися валами. Волны вздымались и падали; океан словно торжествовал, получив ее душу, и пока она все глубже погружалась в пылающую пропасть, десять тысяч голосов, бесконечно повторяясь, звучали из бездонной пучины:

— Дух зла! Вот поистине вечность мучений, ожидающая тебя, ибо здесь червь никогда не умирает и огонь никогда не угасает

Чарлз Лэм

Ведьмы и другие ночные страхи

Мы поступаем чересчур опрометчиво, огулом зачисляя наших предков в дураки из-за чудовищной, на наш взгляд, не последовательности их представлений о ведовстве. Мы находим, что в делах и отношениях зримого мира они были столь же разумны, а в понимании исторических аномалий столь же проницательны, как и мы. Но раз допустив, что открыт мир незримый, а с ним и неукротимая деятельность злых духов, — какой мерой возможности, вероятности, уместности и сообразности — того, что отличает допустимое от явно нелепого, могли они руководствоваться, прежде чем отвергнуть или принять на веру те

или иные свидетельства? Если девы чахли, медленно угасая, в то время как истаявали перед огнем их восковые изображения, если хлеба лежали, скот увечился и вихри в дьявольском разгуле вырывали с корнем дубы в лесу, а вертелы и котлы пускались в устрашающе безобидный пляс вокруг какой-нибудь сельской кухни, когда не было ни малейшего ветра, — все это казалось одинаково вероятным, пока были непонятны законы, управляющие такого рода явлениями. Представление о том, что князь тьмы, минуя красу и гордость нашей земли, свирепо осаждают податливое воображение немощной старости, для нас а priori * так же правдоподобно, как и неправдоподобно, ибо мы не располагаем ни средством постигнуть его цели и виды, ни данными, чтобы установить, по какой цене эти старческие души пойдут па торжище дьявола. Или, раз воплощением всяческой нечисти почитался козел, вовсе незачем так уж удивляться, что дьявол якобы является иногда в его образе и подтверждает тем самым подобное олицетворение. Что между обоими мирами вообще установились связи, было, возможно, ошибкой, но поскольку такое допущение было однажды сделано, я не вижу, почему какому-нибудь подтвержденному свидетельствами рассказу этого рода следует доверять меньше, чем любому другому, только оттого, что он нелеп. Нет закона для суждения о незаконном, и нет правила, которое годилось бы для опровержения грез.

Я не раз думал о том, что не мог бы существовать во времена общепризнанной веры в ведовство, что не мог бы заснуть в деревне, где одна из жительниц слыла колдуньей. Наши предки были более смелыми или более толстокожими, нежели мы. При всеобщей вере, что эти ведьмы общаются с прародителем зла, при убеждении, что их бормотанье — дань аду, не находилось ни одного простоватого мирового судьи, который поколебался бы выдать приказ па арестование их, ни одного тупоголового полицейского чина, который постыдился бы привести его в исполнение, как если бы к суду притягивали самого сатану! Просперо (герой комедии Шекспира «Буря»), в своей ладье со своими книгами и волшебным жезлом позволяет врагам завлечь его на неведомый остров. А между тем ему ничего бы не стоило, мы полагаем, поднять по пути бурю, другую. Его покорность являет собою точное подобие непротivления ведьм власти предержащим. Что препятствует демону Спенсера разорвать в клочья Гийона (Гийон — один из героев поэмы Эдмунда Спенсера (Spenser, 1552–1599) «Королева фей» («The Faerie Queene», 1590–1596). Рыцарь Гийон воплощает само обуздание. Он уничтожает колдунью Акразию и ее «Дворец блаженства»), и кто поставил ему непременно условием, что Гийон должен пройти через испытание обольстительным искушением, — мы не в силах догадаться. Законов этой страны мы не знаем.

С раннего детства я отличался исключительным любопытством по части ведьм и рассказов о ведовстве. Моя няня, а еще больше — позабытая, почти легендарная тетушка снабдили меня добрым запасом их. Начну с указания на обстоятельства, впервые направившие мою любознательность в это русло. В комнате, где размещались книги моего отца, почетное место принадлежало «Истории Библии» Стэкхауза (Речь идет о книге богослова Томаса Стэкхауза (51, StackHouse, 1677–1752), вышедшей в 1737 г.)

Она изобилует картинками, из которых одна, изображающая ковчег, и другая — храм Соломонов, нарисованный с такими подробностями, словно художник видел его собственными глазами, особенно привлекли мое ребяческое внимание. Там была, кроме того, картинка, на которой волшебница вызывала из земли Самуила (По Библии (1-я книга Царств, 28), волшебница из деревни Эндор по просьбе древнеизраильского царя Саула вызвала из-под земли тень пророка Самуила, и тот предрек ему гибель.) — уж лучше бы я ее никогда не видал! Впрочем, к этому мы еще вернемся. Стэкхауз — это два громадных тома, и снимать, напрягаясь изо всех сил, фолианты такой огромной величины с занимаемого ими места на верхней полке мне доставляло немалое удовольствие. Я не держал в руках этого сочинения с той поры до нынешней, но я помню, что в нем содержались расположенные по порядку рассказы из Ветхого завета, причем к каждому рассказу присовокуплялось возражение и непременно следовавшее за ним опровержение возражения. Возражение представляло собой сводку всяческих доводов против достоверности Писания, выдвинутых придирчивостью как древнего, так и новейшего неверия, и было составлено с избыточной,

почти лестной откровенностью. Опровержение было кратким, скромным и исчерпывающим. Отрава и противоядие — оба были пред вами. Сомнениям, таким путем возбужденным и тут же преодоленным, казалось, был раз и навсегда положен конец. Дракон был повержен во прах, и самому крошечному малютке оставалось только растоптать его, по из чрева рассеянных заблуждений выползали драконята-детеныши — еще у Спенсера умерщвленное чудовище вызывало такие опасения, впрочем не оправдавшиеся, — против которых доблесть столь юного святого Георгия (Святой Георгии — мученик христианской церкви, считался покровителем Англии. Из древних мифов на него перенесена легенда о герое, который убивает дракона и спасает царскую дочь, предназначенную ему в жертву), как я, была бессильна. Привычка ожидать возражения по поводу любого отрывка повела к тому, что я стал измышлять все новые и новые возражения и, тут же их опровергая, гордился собой. Я впал в колебания и растерянность, стал скептиком в длинном ребячьем платьице. Чудесные библейские повествования, которые я прочел или слышал в церкви, утратили чистоту и непосредственность воздействия и превратились в собрание исторических и хронологических догматов, подлежащих защите от всевозможных опровергателей. Я не то чтобы перестал верить в правдивость этих повествований, но (ведь это почти то же самое) уверился в том, что есть такие, которые могут усомниться или уже усомнились в них. Дать ребенку возможность узнать, что на свете вообще есть неверующие, — почти то же самое, что сделать его неверующим. Легковерие — слабость в мужчине, но сила в ребенке. О, как безобразно сомнения в Писании звучат в устах младенца и вчерашнего сосунка! Я бы заблудился в этих лабиринтах и, надо думать, вконец бы зачах, не получая иной пищи, кроме пагубной шелухи, когда бы на мое счастье не обрушилось на меня несчастье. Переворачивая с излишнею торопливостью картинку с ковчегом, я на свою беду нанес ущерб этому хитроумному сооружению, угодив неосторожными пальцами прямо в двух крупнейших четвероногих — слона и верблюда, которые пялят глаза (и это неудивительно!) из двух последних окоп рядом с рулевой рубкой этого неповторимого произведения корабельного зодчества. С той поры Стэкхауз был заперт и стал для меня запретным сокровищем. Вместе с книгой из моей головы мало-помалу выветрились и возражения с опровержениями, и с тех пор они редко тревожили меня. Но от одного впечатления, оставленного чтением Стэкхауза, ни замки, ни запоры не могли меня оградить, и ему-то и суждено было терзать мои детские нервы гораздо серьезнее. Экая отвратительная картинка!

Я был ужасно подвержен нервным страхам. Ночь, одиночество и темнота были для меня сущим адом. Страдания, которые я выносил из-за них, оправдывают это выражение. Насколько можно полагаться на память о событиях столь отдаленных, я, кажется, ни разу с четвертого года отроду и вплоть до седьмого или восьмого не положил головы па подушку без уверенности, которая не находила бы подтверждения, что увижу не-кий устрашающий призрак. Не будем винить одного старика Стэкхауза; скажу вам, что его картинке, там, где волшебница вызывает из земли Самуила (ах, этот старик, укрытый плащом!), я обязан — нет, не полночными ужасами, адом моих детских лет, но особенностями и обликом посещавших меня видений. Именно он обрядил для меня страшную ведьму, восседавшую по ночам на моей подушке и неизменно разделявшую со мной ложе, когда тетушка или няня от меня отлучались. Пока книга была доступна мне, я день напролет грезил наяву над этим рисунком, а ночью во сне просыпался (если допустимо столь смелое выражение) и убеждался, что мое видение — сама истина. Я не решался даже при дневном свете входить в комнату, в которой я спал, не повернувшись лицом к окну, а спиной к постели, где лежала моя облюбованная ведьмой подушка. Родители не ведают, что творят, когда оставляют своих нежных малюток засыпать в темноте и одиночестве. Искать дружескую руку, надеяться услышать родной голос — и просыпаться с пронзительным воплем, не находя никого, кто мог бы утешить, — какое это ужасное потрясение для их бедных нервов! Позволить им бодрствовать до полуночи при свете свечи в часы, которые именуются нездоровыми, и то, я полагаю, с медицинской точки зрения было бы много разумнее. Эта отвратительная картинка, как я сказал, определила характер моих сновидений — если то были и впрямь

сновидения, — ибо местом их действия неизменно была комната, где я лежал. Если бы этот рисунок никогда не попадался мне в руки, воображаемые страхи все равно нахлынули б на меня в том или ином обликах и мне бы виделись

Медведь безглавый, негр или обезьяна, — но из-за него мои фантазии отлились именно в эту форму. Не книга, не картинка, не рассказы глупых слуг вселяют в детей эти безотчетные ужасы. Все они могут самое большее придать этим ужасам то или иное направление. Милый маленький Т. х., («Торнтои Хент — мое любимое дитя», как говорит о нем Лэм в стихотворении «К Т. П.-Х.». Отец этого ребенка — Ли Хент.) при воспитании которого самым тщательным образом исключались все оттенки суеверия, которому никогда не разрешалось слушать рассказы о домовых и привидениях, разговоры о дурных людях и даже читать или слушать печальные истории, находит весь этот мир страхов и ужасов, от которого он был с такой непреклонностью огражден *ab extra*,* в «преследующих его фантазиях» (выражение Шекспира из трагедии «Мак-бст» («*Thick-coMing fancies*», акт V, сц. 3), и на своей детской полуночной подушке этот выпестованный в оптимизме ребенок просыпается в холодном поту при виде образов, отнюдь не почерпнутых из преданий, по сравнению с коими думы приговоренного к казни — сама безмятежность.

Горгоны и гидры, и жуткие химеры, рассказы о Келено и гарпиях (Перечисляются чудовища древнегреческих мифов. У гидр много голов и змеиное туловище, у химер — голова льва, туловище козы, хвост дракона. Келенб в «Энеиде» Вергилия (111, 211–258) — «из гарпий величайшая», как она говорит о себе...) могут воспроизводиться в охваченном суевериями мозгу — но они и ранее в нем пребывали. Они всего лишь отпечатки, типы, тогда как архетипы внутри нас и вечны. Как бы иначе повествование о том, что в состоянии бодрствования воспринимается нами как лживая выдумка, могло бы во-обще нас волновать? Или как объяснить, что

*Слова без смысла, темный бред,
В нас порождают страх того,
Чего на самом деле нет?*

Разве все эти предметы внушают нам естественный страх потому, что мы считаем их способными причинить телесный ущерб? Совсем нет! Эти ужасы восходят к далекому прошлому. Они древней тела и, не будь его, были бы совершенно такими же. Все беспощадные, терзающие, подробно описанные Данте дьяволы, все рвущие на части, калечащие, истязующие, душащие, жгущие на огне демоны, неужто они хоть вполтину так страшат дух человеческий, как простая мысль о том, что бестелесный дух следует за ним по пятам -

*Как путник, что спешит в ночи
Со страхом и тоской
С дороги сбившийся, назад
Взгляд не бросает свой:
Он чует, что идет за ним
Какой-то призрак злой.*

Что рассматриваемый нами вид страха имеет духовную природу, что он тем сильнее, чем он беспредметен на земле, что он неодолим в дни безгрешного младенчества — все это нелегко понять, но без этого нельзя хотя бы отчасти представить себе условия бытия до сотворения мира или, по крайней мере, заглянуть в туманную страну нашего пред

существования.

Ночные фантазии давно перестали мучать меня. Признаюсь, у меня изредка бывают кошмары, но не целые полчища их, как в ранней юности.

Бесовские рожи, едва я задую свечу, и теперь появляются предомной и глядят на меня; но я знаю, что они всего лишь наваждение, даже если не в силах избавиться от их присутствия, и я борюсь и сражаюсь с ними. Оберегая честь своего воображения, я почти стыжусь сказать, до чего скучными и прозаическими стали мои сновидения. В них нет ничего романтического и мало сельской природы. В них — архитектура и здания, чужестранные города, которых я никогда не видел и вряд ли смею надеяться, что увижу. За один воображаемый день я посещал Рим, Амстердам, Париж, Лиссабон — их церкви, дворцы, площади, рынки, лавки, предместья, развалины, — испытывая неизъяснимый восторг и видя все отчетливо, как па плане и как при свете дня, словно все это было наяву. Я когда-то бродил среди Вестморлендских холмов⁹ — моих самых высоких Альп, по во сне моему сознанию не удастся воспроизвести их величие, и я просыпаюсь снова и снова в бесплодных попытках хоть как-нибудь воскресить перед своим внутренним зрением очертания Хелвеллина (самая высокая гора Вестморленда). Мне мнится, я опять в этом краю, но горы куда-то исчезли. Бедность моих сновидений унижает меня. Ведь вот Кольридж властен по одному своему желанию вызвать к жизни ледяные замки и праздничные чертоги Кублы-хана, дев Абиссинии, песни Абары и пещеры,

*Где Альф, священная река,
Течет...*

(... чертоги Кублы-хана, . Альф, священная река. . - образы из незаконченного стихотворения Кольриджа «Кубла-хан» (1816), где он описывает собственные бредовые видения в опиумном сне. Альф — созданная фантазией автора река, как бы объединившая Пил и Алфей (в Греции), которые, по представлениям древних, часть пути совершали под землей (Пил) и под морем (Алфей). «Абиссинская дева», гора Абора (тут у Лама описка) названы Кольриджем там же.)

И тем скрасить себе одинокие ночные часы, тогда как мое воображение не порождает даже свистульки. Перед Барри Корнуоллом 12 в ночных видениях резвятся тритоны и nereиды, возвещая о рождении сыновей Нептуновых, а я, сколь бы ни напрягал воображение, за целую ночь могу вызвать из небытия разве что тень рыбной торговли. Чтобы показать в истинном, несколько обидном свете мою незадачливость, я расскажу, что, как только я прочел возвышенные «Сновидения» названного поэта, моя фантазия устремилась вослед этим призрачным обитателям моря и мои скудные созидательные способности в меру своих возможностей принялись за работу, чтобы ночью усладить мое безрассудство подобием сновидения. Мне чудилось, что среди океанских валов празднуется какая-то свадьба и волны влекут меня и вздымают ввысь, что участники свадебного поезда по обычаю трубят передо мной в свои раковины (ибо я, будьте уверены, был главенствующим здесь божеством); так мы весело неслись по беспредельным океанским просторам до того самого места, где Ипо Левкотей (Инб Левкотей — дочь мифического основателя Фив Кадма. Она воспитала бога виноградарства Диониса, сына Зевса от смертной Семелы, Ревнивая Гера навлекла безумие на мужа Ино Атаманта, который убил их сына Леарха. Спасая от Атаманта второго сына — Меликерта, Инб бросилась с ним в море; они стали морскими божествами: Инб — Левкотеей, Меликерт — Палемопом.), (помнится, именно Ино) должна была встретить меня белоснежными объятиями своими, по когда морские валы мало-помалу затихли и море из бурного стало спокойным, а затем слилось с течением полноводной реки, эта река, как бывает во сне, когда вдруг появляется что-то знакомое, оказалась не чем иным, как милой Темзой, и две-три ласковые волны выплеснули

меня в целости и бесславии к подножию дворца в Ламбете (Подразумевается одно из наиболее старинных сооружений Лондона, резиденция главы англиканской церкви, архиепископа Кецтерберийского).

Степень творческой мощи нашей души во сне может оказаться далеко не шатким критерием меры поэтической одаренности, присущей той же душе наяву. Один пожилой джентльмен, мой приятель и большой шутник, так широко пользовался этим критерием, что при виде любого знакомого ему юноши, обуреваемого честолюбивым желанием стать поэтом, его первый вопрос к нему был: «А скажите, молодой человек, какие вы видите сны?». Я нас только верю теории моего старого приятеля, что всякий раз, когда ощущаю возвращение этой никчемной склонности, немедленно нисхожу в приличествующую мне стихию прозы, помня об этих ускользающих нереидах (нереиды — в греческой мифологии, морские нимфы, дочери морского божества Нерея), и о моей злосчастной высадке прямо посреди суши.

Уильям Бекфорд Ватек

Ватек, девятый халиф из рода Аббасидов⁷, был сыном Мутасима и внуком Гаруна аль-Рашида. Он взошел на престол в цвете лет. Великие способности, которыми он обладал, давали народу надежду на долгое и счастливое царствование. Лицо его было приятно и величественно; но в гневе взор халифа становился столь ужасным, что его нельзя было выдержать: несчастный, на кого он его устремлял, падал иногда, пораженный насмерть. Так что, боясь обезлюдить свое государство и обратить в пустыню дворец, Ватек предавался гневу весьма редко.

Он очень любил женщин и удовольствия хорошего стола. Его великодушие было безгранично и разврат безудержен. Он не думал, как Омар бен Абдалазиз⁸, что нужно сделать из этого мира ад, чтобы оказаться в раю за гробом.

Пышностью он превзошел всех своих предшественников. Дворец Алькорреми, построенный его отцом Мутасимом на холме Пегих Лошадей, господствовавшем над всем городом Самаррой⁹, показался ему тесным. Он прибавил к нему пять пристроек, или, вернее, пять новых дворцов, и предназначил каждый для служения какому-либо из своих чувств.

В первом столы всегда были уставлены отборными кушаньями. Их переменили днем и ночью, по мере того как они остывали. Самые тонкие вина и лучшие крепкие напитки изливались в изобилии сотнею фонтанов, никогда не иссякавших. Этот дворец назывался Вечным Праздником, или Ненасытимым.

⁷ Ватек, девятый халиф из рода Аббасидов... — Согласно д'Эрбело, исторический халиф Ватек наследовал своему отцу Мутасиму в 227 г. хиджры, умер в 232 г. в возрасте 32 лет (849–854 гг.). Он поддерживал рационалистическую секту мутазилитов, отрицавших несотворенность и вечность Корана, и жестоко преследовал ее противников, интересовался науками и увлекался астрологией. Он был большим обжорой и сластолюбцем и умер от водянки. Д'Эрбело передает легенду о его страшном взгляде, которым он мог убить на месте тех, кто вызывал его гнев (D'HerBelot, pp. 911–912). О Ватек и мутазилитах см.: И. П. Петрушевский. Ислам в Иране в VII–хV веках. Изд. Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, 1966, стр. 211.

⁸ ...как Омар бен Абдалазиз... — Омар бен Абдалазиз — Омар II, восьмой халиф из династии Омаядов, славившийся своим благочестием и аскетизмом (D'HerBelot, pp. 689–690).

⁹ ... над всем городом Самаррой... — Город Самарра в Вавилонии (Ираке) был построен халифом Мутасимом, отцом Ватека, в качестве резиденции вместо Багдада, где часто происходили народные волнения (D'HerBelot, p. 752).

Второй дворец был храмом Благозвучия, или Нектаром души. Там жили лучшие музыканты и поэты того времени. Усовершенствовав здесь свои таланты, они разбредались повсюду и наполняли окрестности своими песнями.

Дворец под названием Наслаждения Глаза, или Опора Памяти, представлял из себя сплошное волшебство. Он изобилдовал редкостями, собранными со всех концов света и размещенными в строгом порядке. Там находились галерея картин знаменитого Мани¹⁰ и статуи, наделенные, казалось, душой. В одном месте отличная перспектива очаровывала взгляд; в другом его приятно обманывала магия оптики; в третьем были собраны все сокровища природы. Одним словом, Ватек, любопытнейший из людей, не упустил в этом дворце ничего такого, что могло бы возбудить любопытство и у посетителя.

Дворец Благоуханий, который назывался также Поощрением Чувственности, состоял из нескольких зал. Даже днем там горели факелы и ароматические лампы. Чтобы развеять приятное опьянение этого места, сходили в обширный сад, где от множества всяких цветов воздух был сладок и крепителен.

В пятом дворце, называвшемся Убежищем Радости, или Опасным, жило несколько групп молодых девушек. Они были прекрасны и услужливы, как гурии, и никогда не принимали плохо тех, кого халиф желал допустить в их общество.

Несмотря на то что Ватек утопал в сладострастии, подданные любили его. Полагали, что властитель, предающийся наслаждениям, по крайней мере столь же способен к управлению, как и тот, кто объявляет себя врагом их. Но его пылкий и беспокойный нрав не позволил ему ограничиться этим. При жизни отца он столько учился ради развлечения, что знал многое; он пожелал, наконец, все узнать, даже науки, которых не существует. Он любил спорить с учеными; но они не могли слишком далеко заходить в возражениях. Одних он заставлял смолкать подарками; тех, чье упорство не поддавалось его щедрости, отправляли в тюрьму для успокоения — средство, часто помогавшее.

Ватек захотел также вмешаться в теологические распри и высказался против партии, обычно считавшейся правоверной. Этим он вооружил против себя всех ревностных к вере; тогда он стал их преследовать, ибо желал всегда быть правым, чего бы это ни стоило.

Великий пророк Магомет, наместниками которого на земле являются халифы, пребывая на седьмом небе, возмутился безбожным поведением одного из своих преемников. «Оставим его, — сказал он гениям, всегда готовым исполнять его приказания, — посмотрим, как далеко зайдет безумие и нечестие Ватека: если оно будет чрезмерно, мы сумеем должным образом наказать его. Помогайте ему строить башню, которую он воздвигает в подражание Немвроду¹¹, — не для того, чтоб спастись от нового потопа, как этот великий воин, но из-за дерзкого любопытства, желающего проникнуть в тайны Неба. Что бы он ни делал, ему никогда не угадать участи, ожидающей его!»

Гении повиновались; и в то время, как работники выводили за день один локоть башни, они прибавляли за ночь еще два. Быстрота, с какой была окончена эта башня, льстила тщеславию Ватека. Он думал, что даже бесчувственная материя применяется к его намерениям. Этот государь, несмотря на все свои знания, не принимал во внимание того, что успехи безрассудного и злого суть первые лозы, которыми наносятся ему же удары.

¹⁰ ... галерея картин знаменитого Мани... — Мани — основатель секты манихеев, почитался в мусульманских странах как величайший художник древности (D'Herbelot, pp. 548–549). См. упоминание о нем в поэме Алишера Навои «Фархад и Ширин», гл. III.

¹¹ ...в подражание Немвроду... — Нимрод в Библии — охотник («сильный зверолов»), строительство «вавилонской башни» ему не приписывается. В мусульманских легендах Немврод — первый богоборец, царь, ставивший себя выше бога и требовавший себе поклонения. Он построил «вавилонскую башню», чтобы подняться к небу и увидеть бога, однако когда он вззошел на ее вершину, он убедился, что небо так же далеко от него, как было прежде, — мотив, использованный в «Ватеке» (см. статью, стр. 283). Построенная Немвродом башня два раза чудесным образом низвергалась (D'Herbelot, pp. 668–669).

Его гордость достигла высшего предела, когда, взойдя в первый раз по одиннадцати тысячам ступеней своей башни, он взглянул вниз. Люди показались ему муравьями, горы — раковинами, а города — пчелиными ульями. Это восхождение необыкновенно подняло его в собственных глазах и окончательно вскружило ему голову. Он готов был поклониться себе, как богу, но когда взглянул вверх, увидел, что звезды так же далеки от него, как и от земли. Невольному ощущению своего ничтожества Ватек нашел утешение в мысли, что все считают его великим; к тому же он льстил себя надеждой, что свет его разума превзойдет силу его зрения и он заставит звезды дать отчет в приговорах о его судьбе.

Для этого он проводил большую часть ночей на вершине башни и, считая себя посвященным в тайны астрологии, вообразил, что планеты предсказывают ему удивительную будущность. Необыкновенный человек должен прийти из неизвестной страны; он и возвестит об этом. Тогда Ватек с удвоенным вниманием стал наблюдать за чужестранцами и приказал объявить при звуке труб на улицах Самарры, чтобы никто из его подданных не принимал и не давал приюта путешественникам; он желал, чтобы всех их приводили к нему во дворец.

Спустя некоторое время в городе появился человек, лицо которого было так ужасно, что стражи, которые схватили его, чтобы отвести во дворец, принуждены были зажмурить глаза. Сам халиф, казалось, был изумлен его видом; но скоро этот невольный страх сменился радостью. Неизвестный разложил перед ним редкости, подобных которым он никогда не видел и возможности существования которых даже не предполагал.

Действительно, товары этого чужестранца были необычайны. Большинство его драгоценностей были столь же роскошны, как и превосходно сработаны. Кроме того, они обладали особенными свойствами, указанными на свитках пергамента, привешенных к ним. Тут были туфли, помогавшие ходить; ножи, которые резали, едва их брали в руки; сабли, наносившие удары при малейшем движении, — все это было украшено никому не известными драгоценными камнями.

Среди этих диковин были ослепительно сиявшие сабли. Халиф пожелал приобрести их и решил на досуге разобрать вырезанные на них непонятные надписи. Не спрашивая продавца о цене, он велел принести все золото в монетах из казнохранилища и предложил ему взять сколько угодно. Тот взял немного, продолжая хранить глубокое молчание.

Ватек не сомневался, что молчание неизвестного внушено чувством почтения к нему. С благосклонным видом он велел ему приблизиться и приветливо спросил, кто он, откуда и где достал эти замечательные вещи. Человек, или, вернее, чудовище, вместо того чтобы отвечать, трижды потер себе черный, как из эбена¹², лоб, четырежды ударил себя по громадному животу, раскрыл огромные глаза, казавшиеся раскаленными углями, и шумно захохотал, обнажая большие янтарного цвета зубы, испещренные зеленью.

Халиф, слегка взволнованный, повторил вопрос; последовал тот же ответ. Тогда Ватек начал раздражаться и воскликнул: «Знаешь ли ты, несчастный, кто я? Понимаешь ли, над кем издеваешься?» И, обращаясь к стражам, спросил, слышали ли они его голос. Они ответили, что он говорил, но что-то незначительное. «Пусть же говорит снова, — повторил Ватек, — пусть говорит, как может, и пусть скажет, кто он, откуда пришел и откуда достал странные редкости, которые предлагает мне. Клянусь Валаамовой ослицей¹³, если он будет молчать, я заставлю его раскаться в его упорстве». При этих словах халиф не мог удержаться и метнул на неизвестного свой страшный взгляд; тот, однако, нисколько несмутился; грозный и смертоносный взор не оказал на него никакого действия.

Когда придворные увидели, что дерзкий торговец выдержал такое испытание,

¹² ... как из эбена... — Эбен — «черное дерево».

¹³ 7 Клянусь Валаамовой ослицей... — Ослица языческого пророка Валаама, получившая, согласно библейской легенде, дар речи, почиталась как священное животное (D'Herbelot, pp. 180–181).

удивлению их не было границ. Они пали на землю, склонив лица, и безмолвствовали, пока халиф не закричал в бешенстве: «Вставайте, трусы, схватите этого несчастного! В тюрьму его! И пусть лучшие мои воины не спускают с него глаз. Я позволяю ему взять с собой деньги, которые он только что получил; пусть оставит их при себе, лишь бы заговорил». При этих словах все кинулись на чужеземца; его заковали в крепкие цепи и отправили в темницу большой башни. Семь оград из железных брусьев, снабженных остриями длинными и отточенными, как вертела, окружали ее со всех сторон.

Между тем халиф находился в яростном возбуждении. Он молчал, почти позабыл о пище и съел только тридцать два блюда из трехсот, которые ему обычно подавали. Одна столь непривычная диета могла бы лишить его сна. Как же подействовала она в соединении с пожирающим беспокойством! На заре он отправился в темницу, чтобы узнать что-либо от упрямого незнакомца. Каково же было его бешенство, когда неизвестного в тюрьме не оказалось; железные решетки были сломаны, а стражи мертвы. Странное безумие тогда овладело им. Он принялся топтать ногами трупы, лежавшие вокруг, и предавался этому занятию целый день. Придворные и везиры прилагали все усилия, чтобы его успокоить; но видя, что это бесполезно, они воскликнули все вместе: «Халиф сошел с ума! Халиф сошел с ума!»

Слух о его сумасшествии тотчас разнесся по улицам Самарры, Он дошел, наконец, и до царицы Каратис, матери Ватека. Она явилась встревоженная, пытаясь испытать власть, которую имела над сыном.

Слезам и ласками она добилась того, что он перестал метаться и скоро, уступая ее настояниям, позволил отвести себя во дворец.

Каратис не имела желаний оставлять сына одного. Приказав уложить его в постель, она под села к нему и старалась утешить и успокоить своими речами. Она могла достичь этого скорее, чем кто-либо. Батек любил и уважал в ней мать, но, кроме того, женщину исключительных дарований. Она была гречанка, и через нее он усвоил все системы и науки этого народа, пользовавшегося уважением у добрых мусульман.

Одною из таких наук была астрология, и Каратис знала ее в совершенстве. Итак, первой ее заботой было заставить сына вспомнить, что предрекали ему светила; она предложила посоветоваться с ними снова. «Увы! — сказал халиф, как только к нему вернулась способность речи. — Я безумец, — не потому, что нанес сорок тысяч ударов ногами стражам, которые позволили так глупо себя убить; но я не сообразил, что этот необыкновенный человек — тот самый, о ком возвестили мне планеты. Вместо того, чтобы дурно с ним обращаться, я должен был попробовать подкупить его мягкостью и ласками». — «Прошлого не вернешь, — ответила Каратис, — надо подумать о будущем. Может быть, ты еще увидишь того, о ком сожалеешь; может быть, эти надписи на саблях дадут тебе сведения о нем. Ешь и спи, дорогой сын; завтра посмотрим, что предпринять».

Батек последовал этому мудрому совету, встал в лучшем расположении духа и тотчас велел принести удивительные сабли. Чтобы не ослепнуть от их блеска, он смотрел на них через цветное стекло и старался прочесть надписи, но тщетно: сколько ни ломал он себе голову, он не разобрал ни единой буквы. Это препятствие чуть не привело его в прежнюю ярость, но тут кстати вошла Каратис.

«Имей терпение, сын мой, — сказала она, — ты, разумеется, знаешь все науки. Знание языков — это пустяк, достойный педантов. Предложи достойную тебя награду тому, кто объяснит эти варварские слова, непонятные для тебя, и разбирать которые тебе не подобает, и ты будешь удовлетворен». «Может быть, — сказал халиф, — но тем временем меня измучит легион мнимых ученых, которые станут заниматься этим из-за удовольствия поболтать и чтобы получить обещанное». Минуту подумав, он прибавил: «Я желаю избежать этого затруднения. Я прикажу умерщвлять всех, кто не даст настоящего ответа; ибо, благодарение богу, у меня достаточно сообразительности, чтобы понять, переводят ли мне или сочиняют».

«О, я в этом не сомневаюсь, — ответила Каратис. — Но умерщвлять невежд — немного

строгое наказание, и оно может иметь опасные последствия. Ограничься тем, чтобы сжигать им бороды; бороды не так необходимы в государстве, как люди». Халиф согласился и в этом с матерью и приказал позвать своего первого везира. «Мораканабад, — сказал он ему, — вели глашатаям возвестить по Самарре и по всем городам моего государства, что тот, кто прочтет надписи, кажущиеся непонятными, убедится лично в моей щедрости, известной всему свету; но в случае неудачи ему выжгут бороду до последнего волоса. Пусть также сообщат, что я дам пятьдесят прекрасных рабынь и пятьдесят ящиков с абрикосами с острова Кирмита тому, кто доставит мне сведения об этом странном человеке, которого я хочу снова увидеть».

Подданные халифа, как и их властелин, очень любили женщин и абрикосы с острова Кирмита. Обещания разлакомили их, но им ничего не удалось отведать, ибо никто не знал, куда исчез чужеземец. Так же не исполнили и первой просьбы халифа. Ученые, полуученые и разные самонадеянные невежды явились смело, рискнули своими бородами и все лишились их. Евнухи только и делали, что жгли бороды; от них стало даже пахнуть паленым, что не нравилось женщинам сераля; пришлось поручить это дело другим.

Наконец, явился старец, борода которого превосходила на полтора локтя все прежние. Командующие дворцовой стражей, вводя его, говорили: «Как жаль! Очень жаль жечь такую отличную бороду!» Халиф был того же мнения; но ему нечего было огорчаться. Старик без труда прочел надписи и изложил их слово в слово следующим образом: «Нас сделали там, где все делают хорошо; мы — самое малое из чудес страны, где все чудесно и достойно величайшего государя земли».

«О, ты превосходно перевел, — вскричал халиф. — Я знаю, кто подразумевается под этими словами. Дайте старику столько роскошных одеяний и столько тысяч цехинов, сколько слов он произнес: он облегчил мое сердце». Затем Батек пригласил его отобедать и даже провести несколько дней в своем дворце.

На другой день халиф велел позвать старца и сказал ему: «Прочти мне еще раз то, что читал; я не могу, как следует, понять этих слов, как будто обещающих мне сокровище, которого я жажду». Старик тотчас надел свои зеленые очки. Но они свалились с его носа, когда он заметил, что вчерашние буквы заменились новыми. «Что с тобой? — спросил его халиф. — Что значит это удивление?» «Повелитель мира, надписи на саблях изменились!» — «Что такое? — спросил халиф. — Впрочем, это безразлично; если можешь, растолкуй мне их». — «Вот что они значат, государь, — сказал старик. — Горе дерзкому, кто хочет знать то, что выше его сил». — «Горе тебе самому! — вскричал халиф, совершенно вне себя. — Прочь с моих глаз! Тебе выжгут только половину бороды, ибо вчера ты разгадал хорошо. Что касается подарков, я никогда не беру назад своих даров». Старик, достаточно умный, чтобы понять, что недорого расплатился за глупость — говорить повелителю неприятную истину, — тотчас скрылся и не появлялся более.

Батек немедленно раскаялся в своей горячности. Все время рассматривая надписи, он заметил, что они меняются ежедневно; а объяснить их было некому. Это беспокойное занятие разгорячало его кровь, доводило до головокружений и такой слабости, что он едва держался на ногах; он только и делал, что заставлял относить себя на вершину башни, надеясь выведать у звезд что-либо приятное; но он обманулся в этой надежде. Глаза, ослепленные туманом в голове, плохо служили ему; он не видел ничего, кроме густого, темного облака: предзнаменование, казавшееся ему угрожающим.

Изнуренный такими заботами, халиф совершенно пал духом; он заболел лихорадкой, потерял аппетит, и подобно тому как прежде необычайно много ел, так теперь принялся безудержно пить. Неестественная жажда пожирала его; днем и ночью он вливал себе в рот, как в воронку, целые потоки жидкостей. Не будучи в состоянии пользоваться благами жизни, несчастный государь приказал запереть Дворцы Пяти Чувств, перестал показываться народу, выставлять напоказ свою пышность, отправлять правосудие и удалился в сераль. Он всегда был хорошим мужем; жены сокрушались о нем, неустанно молились о его здоровье и все время поили его.

Между тем царица Каратис испытывала живейшее горе. Каждый день она запиралась с везиром Мораканабадом, стараясь найти средства излечить или по крайней мере облегчить больного. Уверенные в том, что это наваждение, они вместе перерыли все магические книги и приказали искать повсюду страшного чужеземца, которого считали виновником колдовства.

В нескольких милях от Самарры подымалась высокая гора, покрытая тимьяном и богородицной травкой; она увенчивалась красивой поляной, которую можно было принять за рай для правоверных мусульман. Множество благоухающих кустарников и рощи апельсинов, кедров, лимонов, переплетаясь с пальмами, виноградниками и гранатами, доставляли радость вкусу и обонянию. Земля была вся усеяна фиалками; кусты гвоздики наполняли воздух ароматом. Казалось, что четыре светлых источника, столь изобиловавших водой, что ее хватило бы для десяти армий, изливались здесь для большего сходства с Эдемским садом¹⁴, орошаемым священными реками. На их зеленеющих берегах соловей пел о рождении розы, своей возлюбленной, оплакивая мимолетность ее очарования; горлянка тосковала о более жизненных наслаждениях, а жаворонок приветствовал своими песнями животворящий свет: здесь более, чем где-либо, щебетание птиц выражало различные страсти их; восхитительные плоды, которые они клевали вволю, казалось, удваивали их силу.

Иногда Ватека носили на эту гору, чтобы дать подышать свежим воздухом и вдоволь напоить из источников. Сопровождали его только мать, жены и несколько евнухов. Все они торопились наполнить водой большие чаши горного хрусталя и наперерыв подносили ему питье; но их усердия было недостаточно, чтобы насытить его жажду; часто он ложился на землю и лакал воду прямо из источников.

Однажды бедный Ватек долго пролежал в такой унижительной позе, как вдруг раздался хриплый, но громкий голос: «Зачем ты подражаешь псу? В, халиф, столь гордый своим саном и могуществом!» При этих словах Ватек подымает голову и видит чужеземца, виновника стольких бед. Его охватывает волнение, гнев воспламеняет сердце; он кричит: «А ты зачем здесь, проклятый Гяур? Разве тебе мало, что ты обратил бодрого и здорового государя в какое-то подобие меха? Разве ты не видишь, что я погибаю столько же от того, что слишком много пью, как и от жажды?»

«Так выпей еще глоток, — сказал чужеземец, подавая ему пузырек с красноватой жидкостью; — и чтобы утолить жажду твоей души, когда ты утолишь телесную, я скажу тебе, что я Индиец, но из страны, неведомой никому».

— Из страны, неведомой никому! — В этих словах блеснула для халифа искра света. Это было исполнение части его желаний. И, льстя себя надеждой, что скоро все они будут удовлетворены, он взял магическую жидкость и выпил не колеблясь. Тотчас же он почувствовал себя здоровым, жажда его утолилась, и тело стало подвижнее, чем когда-либо. Радость его была чрезвычайна; он бросился на шею страшному Индийцу и целовал его противный слюнявый рот с таким пылом, точно это были коралловые губки прекраснейшей из его жен.

Эти излияния восторга никогда бы не кончились, если красноречие Каратис не привело бы его в себя. Она предложила сыну возвратиться в Самарру, и он распорядился, чтобы впереди шел герольд, возглашавший громогласно, что чудесный чужеземец появился вновь, он исцелил халифа, он заговорил, заговорил!

Тотчас все жители этого большого города высыпали из домов. Взрослые и дети толпой бежали взглянуть на Ватека и Индийца. Они непрестанно повторяли: «Он исцелил нашего повелителя, он заговорил, заговорил!» Эти слова раздавались целый день, и их не забыли на народных празднествах, устроенных в тот же вечер в знак радости; для поэтов они служили припевом ко всем песням, которые они сложили на этот прекрасный случай.

¹⁴ ... для большего сходства с Эдемским садом... — Эдем — по библейской легенде, земной рай, в котором Адам жил до грехопадения.

Тогда халиф приказал вновь открыть Дворцы Чувств, и так как он спешил посетить прежде всего Дворец Вкуса, то велел приготовить там блистательное пиршество, куда пригласил своих любимцев и высших военачальников. Индиец, сидевший рядом с халифом, вел себя так, будто думал, что, удостоившись такой чести, он может есть, пить и говорить сколько угодно. Блюда исчезали со стола тотчас по появлении. Придворные удивленно переглядывались, а Индиец, точно не замечая этого, пил целыми стаканами за здоровье всех, пел во все горло, рассказывал истории, над которыми сам хохотал до упаду, и сочинял экспромты, которые заслужили бы одобрение, если бы он не сопровождал их ужасными гримасами; во время пира он болтал, как двадцать астрологов, ел не меньше сотни носильщиков и пил соответственно.

Несмотря на то что стол накрывали тридцать два раза, халиф страдал от прожорливости своего соседа. Его присутствие становилось для него невыносимым, и он с трудом мог скрыть свое дурное настроение и беспокойство; наконец, улучив минуту, он сказал на ухо начальнику своих евнухов: «Ты видишь, Бабабалук, какой размах у этого человека! Что, если он доберется до моих жен? Распорядись усилить за ними надзор, особенно за черкешенками, они больше всех придутся ему по вкусу».

Пропели третьи петухи, пробил час Дивана¹⁵. Ватек обещал лично присутствовать на нем. Он встает из-за стола и опирается на руку везира, более утомленный своим шумливым соседом, чем выпитым вином; бедный государь едва держался на ногах.

Везиры, высшие придворные, юристы выстроились полукругом перед своим повелителем в почтительном молчании, а Индиец развязно уселся на ступеньке трона, с таким хладнокровием, будто он еще ничего не ел, и посмеивался из-под капюшона плаща над негодованием, которое внушала зрителям его дерзость.

Между тем халиф плохо соображал от усталости, путался и ошибался в отправлении правосудия. Первый везир заметил это и нашел способ прервать судебное заседание, сохранив достоинство своего господина. Он сказал ему едва слышно: «Государь, царица Каратис провела ночь в наблюдении за планетами; она приказывает передать, что тебе грозит близкая опасность. Берегись, чтобы этот чужеземец, которому ты оказал столько почета за несколько магических драгоценностей, не посягнул на твою жизнь. Его жидкость как будто исцелила тебя; но, может быть, это просто яд, действие которого будет внезапно. Не отбрасывай этого подозрения; по крайней мере, спроси его, как он ее приготовил, где взял, и упомяни о саблях, о которых ты, кажется, забыл».

Выведенный из себя дерзостью Индийца, Ватек ответил везиру кивком головы и сказал, обращаясь к чудовищу: «Встань и расскажи пред всем Диваном, из каких снадобий состоит жидкость, которую ты мне дал; главное же, открой тайну проданных мне сабель и будь признателен за милости, которыми я тебя осыпал».

Халиф замолчал, произнеся эти слова насколько мог сдержанно. Но Индиец, не отвечая и не трогаясь с места, продолжал хохотать и корчить гримасы. Тогда Ватек потерял самообладание; ударом ноги он сбрасывает его с возвышения, бросается за ним и продолжает бить его с такою яростью, что увлекает за собой весь Диван. Только и видно было, как мелькали поднятые ноги; каждый хотел дать ему пинок с удвоенной силой.

Индиец как будто поддавался этой игре. Будучи малого роста, он свернулся в шар и катался под ударами нападавших, которые гнались за ним с неслыханным остервенением. Катясь таким образом из покоя в покой, из комнаты в комнату, шар увлекал за собой всех, кто попадался на пути. Во дворце поднялось смятение и страшный шум. Испуганные султанши выглядывали из-за занавесей; но как только появился шар, они не в силах были сдерживаться. Напрасно евнухи щипали их до крови, пытаясь удержать, — они вырывались из их рук, и сами эти верные стражи, полумертвые от страха, также не могли не броситься по

¹⁵ ... пробил час Дивана... — Диван — помещение, в котором заседают государственные служащие или сановники, в переносном смысле — название соответствующей коллегии (в данном случае — собрание советников халифа).

следам злополучного шара.

Пронесшись таким образом по залам, комнатам, кухням, садам и дворцовым конюшням, Индеец выкатился, наконец, во двор. Халиф разъярился больше всех и гнался за ним по пятам, что было сил, колотя его ногами; благодаря такому усердию он сам получил несколько пинков, предназначавшихся шару.

Каратис, Мораканабад и два-три мудрых везира, удерживавшихся доселе от общего увлечения, бросились перед халифом на колени, не желая допустить, чтобы он стал посмешищем для народа; но он перепрыгнул через их головы и побежал дальше. Тогда они приказали муэдзинам¹⁶ созывать народ на молитву, надеясь убрать его с дороги и отвратить бедствие молениями, но не помогло и это. Достаточно было взглянуть на дьявольский шар, как все кидались за ним. Сами муэдзины, хотя и видели его издали, спустились со своих минаретов и присоединились к толпе. Она росла так быстро, что скоро в домах Самарры остались только парализованные, калеки, умирающие и грудные дети; кормилицы бросали их, чтобы удобнее было бежать; наконец, и царица, и Мораканабад, и другие примкнули к ним. Крики женщин, вырвавшихся из сералей, и евнухов, старавшихся не упустить их из виду; брань мужей, грозивших друг другу во время бега; пинки ногами; общая свалка — все это делало Самарру похожей на город, взятый приступом и отданный на разграбление. Наконец, проклятый Индеец, принявший вид шара, пронесшись по улицам и площадям, вылетел из опустевшего города и направился долиной, пролежавшей у подножия горы четырех источников, к равнине Катула.

С одной стороны эта долина ограждалась высоким холмом, с другой — была страшная пропасть, вырытая водопадом. Халиф и следовавшая за ним толпа, боясь, что шар бросится туда, удвоили усилия, чтобы догнать его, но все было тщетно: шар скатился в бездну и исчез в ней подобно молнии.

Ватек, разумеется, кинулся бы за вероломным Гяуром, если бы его не удержала как бы невидимая рука. Бежавшие тоже остановились; все сразу успокоилось. Преследователи переглядывались с изумлением. И, несмотря на смешной характер этой сцены, никто не смеялся. Потупившись, в смущении и молчании все возвратились в Самарру и разбрелись по домам, не думая о той непреодолимой силе, которая одна могла быть причиной таких позорных безумств; люди, превознося себя за добро, когда являются всего лишь его орудиями, несомненно склонны приписывать себе и ошибки, которые совершили помимо своей воли.

Один халиф не захотел возвращаться. Он приказал разбить в долине палатки и, несмотря на уговоры Каратис и Мораканабада, обосновался на краю пропасти. Сколько ни убеждали его, что в этом месте земля может осыпаться и что, кроме того, он находится слишком близко к волшебнику, увещания не помогли. Приказав зажечь тысячи факелов, непрерывно заменявшихся новыми, он лег на грязном краю пропасти и с помощью этого искусственного освещения старался проникнуть взором во тьму, которую не мог бы рассеять весь небесный свет. По временам ему казалось, что из бездны слышатся голоса, среди которых он как будто различал голос Индийца; на самом же деле это ревели воды и шумели водопады, с клокотанием свергавшиеся с гор.

Ватек провел ночь в таком тягостном положении. На заре он возвратился в палатку и, ничего не поев, заснул, а проснулся лишь с наступлением сумерек. Тогда он вернулся на прежнее место и несколько ночей подряд не покидал его. Он ходил взад и вперед большими шагами и бросал свирепые взоры на звезды, как бы упрекая их в том, что они обманули его.

Вдруг по лазури неба, от долины до Самарры и далее, проступили кровавые полосы; казалось, что грозное явление захватывало вершину большой башни. Халиф пожелал взойти туда; но силы оставили его, и в ужасе он прикрыл голову полой одежды.

¹⁶ ... приказали муэдзинам... — Муэдзин — служитель религиозного культа у мусульман, в положенные часы призывающий верующих к молитве с минарета.

Все эти пугающие знамения только возбуждали его любопытство. Таким образом, вместо того чтобы возвратиться к обычной жизни, он упорствовал в намерении остаться там, где исчез Индеец.

Однажды ночью, когда он в одиночестве прогуливался по равнине, луна и звезды внезапно померкли; свет сменился глубоким мраком, и из заколебавшейся земли раздался голос Гяура, подобный грому: «Хочешь ли предаться мне, поклониться силам земли, отступить от Магомета? Тогда я открою тебе дворец подземного пламени. Там, под огромными сводами, ты увидишь сокровища, обещанные тебе звездами; оттуда и мои сабли; там почивает Сулейман бен Дауд¹⁷, окруженный талисманами, покоряющими мир».

Изумленный халиф ответил, вздохнув, но тоном человека, привыкшего к сверхъестественному: «Где ты? Покажись, рассей этот утомительный мрак! Сколько факелов сжег я, чтобы тебя увидеть, а ты все не показываешь своего ужасного лица!» — «Отрекись от Магомета, — произнес Индеец, — дай мне доказательства своей искренности, иначе ты никогда меня не увидишь».

Несчастный халиф обещал все. Тотчас небо прояснилось, и при свете планет, казавшихся огненными, Ватек увидел разверстую землю. В глубине находился эбеновый портал. Перед ним, растянувшись, лежал Индеец, держа в руке золотой ключ и постукивая им о замок.

«Ах! — воскликнул Ватек. — Как мне спуститься к тебе, не сломав шеи? Помоги мне и отопри поскорее дверь!» — «Тише! — ответил Индеец. — Знай, что меня пожирает жажда, и я не могу открыть тебе, пока не утолю ее. Мне нужна кровь пятидесяти детей, выбери их из семейств твоих везиров и главных придворных. Иначе ни моя жажда, ни твое любопытство не будут удовлетворены. Итак, возвратись в Самарру, доставь мне, чего я желаю, брось их собственноручно в эту пропасть — тогда увидишь».

С этими словами Индеец повернулся к нему спиной; а халиф, по внушению демонов, решился на ужасную жертву. Он сделал вид, что успокоился, и направился в Самарру при кликах народа, который еще любил его. Он так искусно сумел казаться спокойным, что даже Каратис и Мораканабад были обмануты. Теперь речи шли только о празднествах и развлечениях. Принялись даже говорить об истории с шаром, о которой доселе никто не смел заикнуться: повсюду над ней смеялись; однако некоторым было не до смеха. Многие еще не выздоровели от ран, полученных в этом памятном приключении.

Ватек был очень доволен этим отношением к нему, потому что понимал, что оно поможет осуществлению его гнусных замыслов. Он был приветлив со всеми, особенно с везирами и главными придворными. На другой день он пригласил их на пышное пиршество. Незаметно заведя разговор об их детях, он с видом благожелательности стал расспрашивать, у кого самые красивые мальчики. Отцы превозносили каждый своих. Спор разгорелся; дошло бы до рукопашной, если бы не присутствие халифа, который притворился, что хочет самолично быть судьей в этом деле.

Вскоре ему привели целую толпу этих несчастных детей. Любящие матери раздели их как только могли, чтобы лучше выставить их красоту. Но в то время, как их блистательная юность привлекала к себе все взоры и сердца, Ватек рассматривал их с вероломной жадностью и выбрал пятьдесят для жертвы Гяуру. Затем с видом благодушия он предложил устроить в долине праздник для этих маленьких избранников. Они должны, говорил он, более всех других порадоваться его выздоровлению. Доброта халифа очаровывает. Скоро о ней узнает вся Самарра. Приготавливают носилки, верблюдов, лошадей; женщины, дети,

¹⁷ ...там почивает Сулейман бен Дауд... — Сулейман — библейский царь Соломон, сын царя Давида. На Востоке были широко распространены легенды о мудрости царя Соломона, повелителя духов и стихий, о его волшебном кольце и др.; считали, что он был властителем всего мира. (Ср.: А. Н. Веселовский. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине. СПб., 1872; см.: Собрание сочинений, т. VIII, Пгр., 1921). В мусульманских легендах имя «Сулейманов» носят цари «преадамиты», правившие всей землей до сотворения Адама (D'Herbelot, pp. 818–821). См. прим. 36.

старики, юноши — все размещаются как хотят. Шествие трогается в путь в сопровождении всех кондитеров города и предместий; толпа народа движется пешком; все ликуют, и никто уже не вспоминает, во что обошлось многим последнее путешествие по этой дороге.

Вечер был прекрасен, воздух свеж, небо ясно, цветы благоухали. Мирная природа, казалось, радовалась лучам заходящего солнца. Их мягкий свет позлащал вершину горы четырех источников, озаряя и ее цветущий склон и резвящиеся на нем стада. Слышно было только журчание источников, звуки свирели и голоса пастухов, перекликавшихся на холмах.

Несчастные жертвы, которые шли на гибель, составляли часть этой идиллии. В чистоте душевной и сознании безопасности дети двигались по равнине, резвясь, гонялись за бабочками, рвали цветы, собирали блестящие камешки; многие легким шагом уходили вперед, радуясь, когда приближались остальные, и целовали их.

Вдали уже виднелась ужасная пропасть, в глубине которой находились эбеновые врата. Как бы черной полосой пересекала она середину равнины. Мораканабад и его товарищи приняли ее за одно из тех затейливых сооружений, которые любил халиф; несчастные не знали ее назначения. Ватек, вовсе не желая, чтобы злополучное место рассматривали вблизи, останавливает шествие и велит очертить широкий круг. Выступают евнухи, чтобы отмерить место для состязания в беге и приготовить кольца, куда должны пролетать стрелы. Пятьдесят мальчиков быстро раздеваются; стройность и приятность очертаний их нежных тел вызывают восторг. Глаза их светятся радостью, которая отражается и на лицах родителей. Каждый напутствует в сердце того из маленьких воинов, кто его больше всех интересуется; все внимательны к играм этих милых, невинных существ.

Халиф пользуется этой минутой, чтобы отделиться от толпы. Он подходит к краю пропасти и не без трепета слышит голос Индийца, скрежещущего зубами: «Где же они?» — «Безжалостный Гяур! — ответил Ватек в волнении. — Нельзя ли удовлетворить тебя иным способом? Ах, если б ты видел красоту, изящество, наивность этих детей, ты бы смягчился». — «Смягчился? Проклятие тебе, болтун! — вскричал Индиец. — Давай, давай их сюда, живо! Или мои двери никогда не отворятся». — «Не кричи так громко», — взмолился халиф, краснея. — «На это я согласен, — ответил Гяур с улыбкой людоеда, — ты не лишен разума, я потерплю еще минуту».

Пока они вели этот ужасный разговор, игры шли своим чередом. Они окончились, когда сумерки окутали горы. Тогда халиф, стоя на краю бездны, закричал как можно громче: «Пусть приблизятся ко мне пятьдесят моих маленьких любимцев, пусть подходят в порядке успеха на играх! Первому победителю я дам свой бриллиантовый браслет, второму — изумрудное ожерелье, третьему — пояс из топазов, а каждому из остальных — какую-нибудь часть моей одежды, кончая туфлями».

При этих словах радостные восклицания удвоились; превозносили до небес доброту государя, решившего остаться нагим для удовольствия подданных и поощрения молодежи. Между тем халиф, раздеваясь понемногу, поднимал каждый раз руку с блиставшей наградой как можно выше и, подавая ее торопящемуся взять ребенку, другой рукой сталкивал его в пропасть, откуда Гяур продолжал повторять ворчливым голосом: «Еще! еще!..»

Этот страшный обман происходил с такой быстротой, что подбегавшие не успевали догадаться об участии товарищей; а зрителям мешали видеть темнота и расстояние. Наконец, сбросив пятидесятую жертву, Ватек решил, что Гяур сейчас явится за ним и протянет ему золотой ключ. Он уже воображал, что равен Сулейману и не обязан никому давать отчета в содеянном, как вдруг, к его великому удивлению, края трещины сблизились, и под ногами он ощутил обыкновенную твердую землю. Его бешенство и отчаяние были неописуемы. Он проклинал вероломного Индийца, обзывал его самыми позорными именами и топал ногой, точно желая, чтобы тот услышал. Он так бесновался, — что измученный упал на землю как бы в беспамятстве. Везиры и главные придворные, будучи ближе других к нему, решили сначала, что он сел на траву и играет с детьми; но потом они стали беспокоиться, приблизились и увидели, что с халифом нет никого. «Что вам нужно?» — спросил он в смятении. — «Где же дети? Где наши дети?» — воскликнули они. — «Очень забавно, —

ответил Ватек, — что вы хотите сделать меня ответственным за всякую случайность. Играя, ваши дети свалились в пропасть, которая тут была, и куда я сам упал бы, если бы не отскочил вовремя».

Отцы погибших детей ответили на это раздирающими криками; им вторили матери, тоном выше; остальные же, не зная в чем дело, вопили громче других. Скоро повсюду стали говорить: «Халиф выкинул с нами эту штуку, чтобы угодить проклятому Гяуру! Накажем его за вероломство, отмстим! отмстим за кровь невинных! бросим жестокого властителя в водопад, и пусть исчезнет самая память о нем!»

Каратис, испуганная ропотом, приблизилась к Мораканабаду. «Везир, — сказала она ему, — ты потерял двоих славных детей, ты, наверно, — самый безутешный из отцов; но ты благороден — спаси своего повелителя!» — «Хорошо, госпожа, — ответил везир, — рискуя собственной жизнью, я попробую избавить его от опасности, а затем покину на произвол его печальной судьбы». — «Бабабалук, — продолжала Каратис, — стань во главе своих евнухов; оттесним толпу; отведем, если возможно, несчастного государя во дворец». В первый раз Бабабалук с товарищами порадовался, что у них не могло быть детей. Они повиновались, и везир, помогая им насколько мог, довел до конца свое великодушное дело. Потом он удалился, чтобы отжаться своим слезам.

Как только халиф возвратился, Каратис приказала запереть вход во дворец. Но, видя, что возмущение растет и со всех сторон слышатся проклятия, она сказала сыну: «Прав ты или нет — неважно! Надо спасти твою жизнь. Удалимся в твои покои; оттуда подземным ходом, известным лишь тебе и мне, пройдем в башню, где нас защитят немые, никогда не выходившие оттуда. Бабабалук будет думать, что мы еще во дворце, и в собственных интересах станет защищать его; тогда, не утруждая себя советами этой бабы Мораканабада, мы посмотрим, что предпринять».

Ватек ничего не ответил матери и позволил вести себя беспрекословно, но во время пути беспрестанно повторял: «Где ты, страшный Гяур? Сожрал ли ты уже детей? Где твои сабли, золотой ключ, талисманы?» По этим словам Каратис догадалась кое о чем. Когда в башне сын успокоился немного, она без труда выведала от него все. Далекая от тревог совести, она была зла, как только может быть женщина, а этим сказано многое, ибо слабый пол претендует на превосходство во всем пред сильным. Итак, рассказ халифа не удивил и не привел в ужас Каратис; она была только поражена обещаниями Гяура и сказала сыну: «Надо сознаться, что этот Гяур несколько кровожаден; однако подземные божества, вероятно, еще страшнее. Но обещания одного и дары других стоят некоторых усилий; за такие сокровища можно пойти на любое преступление. Итак, перестань жаловаться на Индийца; мне кажется, ты не выполнил всех его предписаний. Я нисколько не сомневаюсь, что нужно сделать приношения подземным духам, и об этом нам придется подумать, когда мятеж утихнет; я быстро восстановлю спокойствие и не побоюсь истратить на это твои богатства, ибо мы получим достаточно взамен их». И царица, обладавшая удивительным даром убеждать, вернулась подземным ходом во дворец и показалась из окна народу. Она обратилась к нему с речью, а Бабабалук бросал пригоршнями золото. Способ оказался действенным; мятеж утих, все разошлись по домам, а Каратис вернулась в башню.

Муэдзины созывали на утреннюю молитву, когда Каратис и Ватек взойшли по бесчисленным ступеням на вершину башни, и, хотя утро было печально и дождливо, они оставались там некоторое время. Этот мрачный полусвет нравился их злобным сердцам. Увидев, что солнце скоро пробьется сквозь облака, они приказали натянуть навес для защиты от его лучей. Усталый халиф думал только об отдыхе и, надеясь увидеть вещие сны, прилег. А деятельная Каратис спустилась вниз с частью своих немых, чтобы приготовить жертвоприношение на ближайшую ночь.

По небольшим ступеням, выложенным в толще стены, о которых знали лишь она и сын, Каратис спустилась сначала в таинственные подземелья, где находились мумии древних фараонов, извлеченные из могил; затем она направилась в галерею; там, под наблюдением пятидесяти немых и кривых на правый глаз негритянок, хранились масло ядовитейших змей,

рога единорогов и одурманивающие своим запахом древние стволы, нарубленные магами в отдаленных уголках Индии, не говоря о множестве других страшных редкостей; Каратис сама составила эту коллекцию в надежде вступить когда-либо в общение с адскими силами; она любила их страстно и знала их вкусы. Чтобы освоиться с предстоявшими ей ужасами, она провела некоторое время в обществе своих негритянок; эти женщины с наслаждением рассматривали сбоку мертвое головы и скелеты, соблазнительно скашивая свой единственный глаз; они корчились и извивались, когда мертвецов вытаскивали из шкафов, и, восхищаясь царицей, оглушали ее своим визгом. Наконец, задыхаясь в дурном воздухе, Каратис была вынуждена покинуть галерею, захватив с собою часть этих чудовищных сокровищ.

Между тем халиф не видел желанных снов; но, находясь в этом пустынном месте, он почувствовал гложущее чувство голода. Он потребовал у немых пищи и, совершенно забыв, что они ничего не слышат, стал бить, кусать и щипать их за то, что они не трогались с места. К счастью для этих бедняг, явилась Каратис и положила конец недостойной сцене. — «Что с тобой, сын мой? — сказала она, тяжело дыша. — Мне показалось, что визжат тысячи летучих мышей, выгоняемых из логова, а это ты мучишь моих бедных немых; право, ты не заслужил той отличной пищи, которую я тебе принесла!» — «Давай ее сюда! — вскричал халиф. — Я умираю от голоду». — «Ну, если ты можешь переварить все это, — сказала она, — у тебя хороший желудок». — «Скорее, — торопил халиф. — Но боже мой! Какие ужасы! Зачем это тебе? Меня тошнит!» — «Не будь таким неженкой, — отвечала ему Каратис, — помоги мне лучше привести все это в порядок; увидишь, что именно предметы, внушающие тебе отвращение, окажутся благотельными. Приготовим костер для жертвоприношения сегодняшней ночью, и не думай о еде, пока мы не сложим его. Разве ты не знаешь, что всякому торжественному обряду должен предшествовать суровый пост?»

Халиф не осмелился возражать и отдался скорби и голоду, терзавшему его; мать же продолжала свое дело. Скоро на балюстрадах башня разместили сосуды со змеиным маслом, мумии и кости. Костер рос и через три часа достиг высоты двадцати локтей. Наконец, — наступила тьма, и Каратис с радостью сняла с себя одежды; она хлопала в ладоши и размахивала факелом из человеческого жира; немые подражали ей; Ватек же не выдержал и, обессиленный голодом, потерял сознание.

Уже жгучие капли, падавшие с факелов, охватили огнем магические древесные стволы, по ядовитому маслу вспыхивали голубоватые огоньки, загорелись мумии в клубах темного, густого дыма; скоро огонь достиг рогов единорогов, и тогда распространился такой смрад, что халиф внезапно пришел в себя и окинул отуманенным взором пылавшие вокруг предметы. Горящее масло стекало волнами, а негритянки, поднося все новые его запасы, присоединяли свое завывание к крикам Каратис. Пламя так разбушевалось и гладкая сталь отражала его столь живо, что халиф, не будучи в состоянии выносить жара и блеска, укрылся под сень своего боевого знамени.

Пораженные светом, озарявшим весь город, жители Самарры второпях вставали, подымались на крыши и, видя, что вся башня в огне, полуодетые сбегались на площадь. В эту минуту в них пробудились остатки преданности повелителю, и, опасаясь, что он сгорит в своей башне, они бросились спасать его. Мораканабад вышел из своего убежища, отирая слезы; он призывал к борьбе с огнем, как и прочие. Бабабалук, более привычный к запахам магических снадобий, подозревал, что это дело рук Каратис, и советовал не беспокоиться. Его называли старым плутом и отменным предателем и выслали на помощь верблюдов и дромадеров, нагруженных сосудами с водой; но как проникнуть в башню?

Пока пытались взломать двери, с северо-запада поднялся яростный ветер и далеко отнес пламя. Толпа сначала подалась назад, затем нахлынула с удвоенным рвением. Адские запахи рогов и мумий заражали воздух, и многие, задыхаясь, падали на землю. Другие говорили соседям: «Отойдите, вы распространяете заразу». Мораканабад, страдавший более всех, внушал жалость. Люди зажимали носы, но нельзя было остановить тех, кто выламывал двери. Сто сорок сильнейших и решительнейших добились своего. Они добрались до

лестницы и за четверть часа проделали немалый путь по ее ступеням.

Каратис, встревоженная жестами немых и негритянок, приближается к лестнице, спускается на несколько ступеней и слышит крики: «Вот вода!» Для своего возраста она была достаточно проворна и, быстро взбежав на площадку, сказала сыну: «Прекрати жертвоприношение! Сейчас мы сможем устроить его гораздо лучше. Некоторые из этих людей, вообразив, что огонь охватил башню, имели дерзость взломать двери, доселе неприступные, и спешат сюда с водой. Надо сознаться, что они очень добры — они забыли все твои прегрешения; ну что же, все равно! Пусть взойдут, мы принесем их в жертву Гяуру; наши немые достаточно сильны и опытны; они живо разделяются с усталыми». — «Хорошо, — сказал халиф, — пусть только скорее кончают; я хочу есть».

Несчастные вскоре появились. Запыхавшись от подъема в одиннадцать тысяч ступеней, в отчаянии, что их ведра почти пусты, они были ослеплены пламенем, головы их закружились от запаха горящих мумий, и, к сожалению, они уже не в состоянии были заметить приятных улыбок, с которыми немые и негритянки накидывали им петли на шеи; впрочем, это ничуть не убавило радости их милых убийц. Удавливали с необыкновенной легкостью; жертвы падали, не оказывая сопротивления, и умирали, не испустив крика. Скоро Ватек оказался окруженным трупами своих самых верных подданных, которых также бросили в костер.

Тут предусмотрительная Каратис нашла, что пора кончать; она приказала натянуть цепи и запереть стальные двери, находившиеся у входа.

Едва исполнили эти приказания, как башня заколебалась; трупы исчезли, и пламя из мрачного, ярко-малинового обратилось в нежно-розовое. Поднялись душистые испарения; мраморные колонны издавали гармонические звуки; расплавленные рога испускали восхитительные благоухания. Каратис была в восторге и заранее наслаждалась успехом своих заклинаний, а немые и негритянки, у которых хорошие запахи вызывали отвращение, удалились ворча в свои логова.

Едва они ушли, зрелище изменилось. Вместо костра, рогов и мумий появился роскошно убранный стол. Среди массы тонких яств виднелись графины с вином и фагфурские вазы¹⁸, где превосходный шербет покоился на снегу. Халиф коршуном ринулся на все это и принялся за ягненка с фисташками, но Каратис, занятая совсем другим, вытащила из филигранной урны длиннейший свиток пергамента, который сын ее даже не заметил. «Перестань, обжора, — сказала она внушительно, — и выслушай, какие чудные обещания даются тебе», и она прочла вслух следующее: «Возлюбленный Ватек! Ты превзошел мои ожидания; я насладился запахом твоих мумий и превосходных рогов, а в особенности — кровью мусульман, которую ты пролил на костер. Когда настанет полнолуние, трогайся из дворца со всей возможной пышностью; пусть впереди идут музыканты, играя в рожки и ударяя в литавры. Прикажи следовать за собой избранным рабам, любимейшим женам, тысяче роскошно убранных верблюдов — и направляйся к Истахару¹⁹. Там я буду ждать тебя; там, увенчанный диадемой Джиана бен Джиана, ты будешь утопать в блаженстве; там тебе вручат талисманы Сулеймана и сокровища древнейших султанов. Но горе тебе, если в пути ты у кого-нибудь остановишься на ночлег».

Несмотря на роскошь, в которой он жил, халиф никогда не обедал так хорошо. Он дал волю радости, которую внушали эти добрые вести, и возобновил свои возлияния. Каратис не питала ненависти к вину и отвечала каждый раз, когда он в насмешку пил за здоровье

¹⁸ ... фагфурские вазы... — Фагфур — титул китайских императоров на Ближнем Востоке. Фагфури — название китайской посуды, откуда европейское слова фарфор (D'HerBelot, p. 335).

¹⁹ ... направляйся к Истахару... — Истахар — древняя столица персидских царей (по-гречески Персеполь), о красоте и великолепии которой существовали многочисленные легенды. Строителем Истахара считался Джемшид (см. прим. 31), по другим рассказам — один из царей-преадамитов Джиан бен Джиан, повелитель персидских, чудесным образом воздвигших его дворцы (D'HerBelot, pp. 327 и 396).

Магомета. Предательская влага вселила в них в конце концов безбожную самонадеянность. Они принялись богохульствовать; Валаамова ослица, собака Семи Спящих²⁰ и другие животные, находящиеся в раю Пророка, стали предметом их бесстыдных шуток. В этом прекрасном состоянии спустились они весело по одиннадцати тысячам ступеней, издеваясь над встревоженной толпой на площади, видневшейся сквозь скважины башни; затем сошли в подземелье и явились в царские покои. Там спокойно прогуливался Бабабалук, отдавая приказы евнухам, которые снимали со свечей нагар и подрисовывали прекрасные глаза черкешенок. Увидев халифа, он сказал: «А, теперь ясно, что ты не сгорел; я так и думал». — «Какое нам дело до того, что ты думал или что думаешь, — вскричала Каратис. — Беги к Мораканабаду, скажи, что мы ждем его, да не останавливайся по дороге со своими нелепыми рассуждениями».

Великий везир прибыл тотчас; мать и сын приняли его с большой важностью, сообщили жалобным тоном, что огонь на вершине башни удалось погасить, но что, к несчастью, это стоило жизни храбрецам, явившимся к ним на помощь.

«Опять несчастья! — вскричал Мораканабад со стоном. — О повелитель правоверных! святой Пророк, без сомнения, разгневался на нас, тебе надлежит умиловить его». — «Мы его отлично умиловим, — ответил халиф с улыбкой, не предвещавшей добра. — У тебя будет достаточно свободного времени для молитв; эта страна губит мое здоровье, мне необходима перемена климата; гора четырех источников надоела мне, я должен испытать из источника Рохнабада и освежиться в прекрасных долинах, которые он орошает. В мое отсутствие ты будешь править государством по указанию моей матери и примешь на себя заботы обо всем, что может понадобиться для ее опытов; ты знаешь, что наша башня полна драгоценными для знания предметами».

Башня совсем не нравилась Мораканабаду; на ее постройку были израсходованы несметные сокровища, и он знал лишь, что там негритянки, немые и какие-то отвратительные снадобья. Его весьма смущала также Каратис, менявшаяся, как хамелеон. Ее проклятое красноречие часто выводило из себя бедного мусульманина. Но если она не особенно ему нравилась, сын был еще хуже, и везир радовался, что избавится от него. Итак, он отправился успокоить народ и приготовить все к отъезду повелителя.

Надеясь этим еще более угодить духам подземного дворца, Ватек желал обставить путешествие с неслыханной роскошью. Для этого он конфисковывал направо и налево имущество своих подданных, а его достойная мать ходила по их гаремам, собирая попадавшиеся ей там драгоценности. Все портнихи и золотошвейки Самарры и других больших городов на пятьдесят миль вокруг без отдыха работали над паланкинами, софами, диванами и носилками, предназначавшимися для поезда монарха. Были взяты все чудесные ткани Масулипатана, и, чтобы приукрасить Бабабалука и других черных евнухов, потребовалось столько муслина, что во всем вавилонском Ираке не осталось его ни единого локтя.

Пока шли эти приготовления, Каратис устраивала небольшие ужины, чтобы снискать благосклонность темных сил. Она приглашала известнейших своей красотой женщин; особенно ценились белокурые, хрупкого сложения. Эти ужины отличались несравненным изяществом; но когда веселье становилось общим, евнухи пускали под стол гадюк и высыпали под ноги полные горшки скорпионов. Гады жалили превосходно. Каратис делала вид, что ничего не замечает, и никто не смел двинуться с места. Когда же у кого-нибудь из гостей начиналась агония, она забавлялась тем, что перевязывала раны отличным териакон²¹ собственного приготовления: добрая царица не выносила праздности.

²⁰ отказавшихся поклониться языческим богам, спрятались в пещере и волей аллаха были погружены в сон, продолжавшийся триста лет; у входа в пещеру лежал пес, охранявший их сон.

²¹ ... Териак (перс.) — лекарственное вещество, употреблявшееся как противоядие.

Ватек не был столь трудолюбив. Он проводил время в удовлетворении чувств, которым были посвящены его дворцы. Его не видели больше ни в Диване, ни в мечети; и в то время, как половина Самарры следовала его примеру, другая содрогалась при виде все усиливающейся разнузданности нравов.

Между тем из Мекки вернулось посольство, отправленное туда в более благочестивые времена. Оно состояло из наиболее почитаемых мулл. Они прекрасно выполнили свою миссию и привезли драгоценную метлу, одну из тех, которыми подметали священную Каабу, — подарок, поистине достойный величайшего государя земли.

В это время халиф находился в неподобающем для приема послов месте. Он слышал голос Бабабалука, воскликнувшего за занавеской: «Тут превосходный Эдрис аль-Шафеи и ангелоподобный Муатэддин привезли из Мекки метлу и со слезами радости жаждут преподнести ее вашему величеству». — «Пусть подадут ее сюда, — сказал Ватек, — она может кое на что пригодиться». — «Разве это возможно?» — ответил Бабабалук вне себя. — «Повинуйся, — возразил халиф, — ибо такова моя высшая воля: именно здесь, а не где-либо в другом месте я желаю принять этих добрых людей, которые приводят тебя в такой восторг».

Евнух ворча удалился и приказал почтенной свите следовать за собой. Священная радость охватила достойных старцев, и, хотя они устали от долгого пути, они все же шли за Бабабалуком с изумительной легкостью. Они проследовали величественными портиками и сочли очень для себя лестным, что халиф принимает их не в зале для аудиенций, как обыкновенных смертных. Скоро они попали в сераль, где по временам из-за богатых шелковых занавесей появлялись и исчезали, как молнии, прекрасные синие и черные глаза. Проникнутые почтением и удивлением и преисполненные своей божественной миссией, старцы шли вереницей по бесконечным маленьким коридорам, которые вели к той комнатке, где ждал их халиф.

«Не болен ли Повелитель правоверных?» — сказал шепотом Эдрис аль-Шафеи своему спутнику. — «Он, очевидно, в молельне», — ответил аль-Муатэддин. Ватек, слышавший этот диалог, крикнул: «Не все ли равно, где я? Входите». И, протянув руку из-за занавеси, он погребовал священную метлу. Все почтительно пали ниц, насколько позволял тесный коридор, так что даже получился правильный полукруг. Достопочтенный Эдрис аль-Шафеи вынул метлу из расшитых благовонных пелен, защищавших ее от взглядов непосвященных, отделился от товарищей и торжественно двинулся к комнатке, которую считал молельней. Каково же было его удивление, его ужас! Ватек со смехом выхватил из его дрожащей руки метлу и, нацелившись на паутинки, висевшие кое-где на лазоревом потолке, смел их все до одной.

Пораженные старцы, опустив бороды, не смели поднять головы. Но они видели все: Ватек небрежно отдернул занавес, отделявший его от них. Слезы их омочили мрамор. Аль-Муатэддин от огорчения и усталости потерял сознание, а халиф хохотал до упаду и безжалостно хлопал в ладоши. — «Мой дорогой черномазый, — сказал он, наконец, Бабабалуку, — попотчуй этих добрых людей моим пшразским вином. Так как они могут похвастаться, что знают лучше других мой дворец, то пусть им будет оказана величайшая честь». С этими словами он бросил им в лицо метлу и с хохотом ушел к Каратис. Бабабалук сделал все возможное, чтобы утешить старцев, но двое самых слабых умерли тут же на месте, остальные в отчаянии, не желая жить, велели отнести себя в постели, с которых уже не встали.

На следующую ночь Ватек с матерью взошли на вершину башни, чтобы спросить светила о путешествии. Так как созвездия были весьма благоприятны, халиф пожелал насладиться столь привлекательным зрелищем. Он весело поужинал на площадке, еще черной от ужасного жертвоприношения. Во время пира в воздухе раздавались раскаты громового хохота, что он счел за доброе знамение.

Весь дворец был в движении. Огней не тушили всю ночь; стук молотков по наковальням, голоса женщин, вышивавших с пением, и их стражей — все нарушало тишину

природы и чрезвычайно нравилось Ватеку; ему казалось уже, что он с триумфом восходит на трон Сулеймана.

Народ был доволен не менее его. Все принялись за дело, чтобы ускорить мгновение, которое должно было принести им освобождение от тирании столь странного властелина.

За день до отъезда этого безрассудного монарха Каратис сочла нужным возобновить свои советы. Она не переставала повторять таинственные повеления пергамента, которые выучила наизусть, и особенно настаивала на том, чтобы он ни к кому не заезжал в пути. «Я хорошо знаю, — говорила она, — что ты любитель вкусных блюд и молодых девушек, но довольствуйся своими старыми поварами, лучшими в мире, и помни, что в твоём походном гареме не менее трех дюжин красавиц, с которых Бабабалук еще не снимал фаты. Если бы мое присутствие здесь не было необходимым, я сама наблюдаюла бы за твоим поведением. У меня большое желание видеть этот подземный дворец, изобилующий разными вещами, интересными для таких людей, как мы с тобой; больше всего мне нравятся подземелья; я имею пристрастие к трупам и мумиям и бьюсь об заклад, что ты найдешь там много вещей в этом роде. Не забывай же меня и, когда завладеешь талисманами, которые должны дать тебе власть над царством совершенных металлов и открыть недра земли, отправь сюда какого-нибудь верного гения за мной и моими коллекциями. Масло змей, которых я защищала насмерть, будет прекрасным подарком для нашего Гяура: он, наверно, любит такого сорта лакомства».

Когда Каратис кончила свою превосходную речь, солнце село за горой четырех источников, уступив место луне. Было полнолуние; женщинам, евнухам и пажам, горевшим желанием тронуться, это светило казалось огромным и необычайно прекрасным. Город огласился радостными криками и звуками труб. Всюду на шатрах развевались перья, и в мягком свете луны блестели султаны. Большая площадь походила на цветник, разукрашенный лучшими тюльпанами Востока.

Халиф в парадном одеянии, опираясь на везира и Бабабалука, сошел по главной лестнице башни. Толпа простерлась ниц, и тяжело навьюченные верблюды стали перед ним на колени. Зрелище было великолепное, и сам халиф остановился, чтобы полюбоваться им. Царила благоговейная тишина, лишь слегка нарушаемая криками евнухов в арьергарде. Эти бдительные слуги заметили, что некоторые паланкины с женщинами слишком наклонились в одну сторону: туда успели ловко проскользнуть какие-то смельчаки; но их тотчас вышвырнули и отдали хирургам сераля с должными наставлениями.

Эти маленькие события не уменьшили величия торжественной сцены; Ватек дружески приветствовал луну; юристы же, везиры и придворные, собравшиеся, чтоб насладиться последним взглядом государя, были оскорблены таким идолопоклонством. Наконец, рожки и трубы с вершины башни дали сигнал к отъезду. Некоторым диссонансом в общей стройности была лишь Каратис, распевавшая гимны Гяуру; ей басом вторили негритянки и немые. Добрые мусульмане приняли это за жужжание ночных насекомых, что считалось дурным предзнаменованием, и умоляли Ватека заботиться о своей священной особе.

Вот поднимают большое знамя халифов; блещут двадцать тысяч копий свиты; халиф, величественно попирая расшитую золотом ткань, которую разостлали перед ним, садится в носилки под радостные клики подданных. Шествие тронулось в таком порядке и тишине, что слышно было стрекотание кузнечиков в кустарниках равнины Катула. До рассвета сделали добрых шесть миль, и утренняя звезда мерцала еще на небе, когда многолюдная процессия прибыла к берегу Тигра, где разбили шатры, чтобы отдохнуть до конца дня.

Так прошло трое суток. На четвертые небо яростно вспыхнуло тысячами огней; раздался оглушительный удар грома, и испуганные черкешенки в страхе принялись обнимать своих отвратительных стражей. Халиф уже начинал жалеть о своем Дворце Чувств; ему очень захотелось укрыться в городке Гульшиффаре, правитель которого явился к нему с запасами провианта. Но, взглянув на дощечки, он мужественно остался мокнуть под дождем, несмотря на настояния приближенных. Он слишком близко принимал к сердцу свою затею, и великие надежды поддерживали в нем мужество. Скоро караван заблудился;

позвали географов, чтобы определить, где находятся; но их подмокшие карты были в таком же плачевном виде, как и они сами, притом со времен Гаруна аль-Рашида не предпринимались столь далекие путешествия, так что никто не знал, какого направления держаться. Ватек, хорошо разбиравшийся в расположении небесных светил, плохо представлял себе, где он находится на земле. Он разразился бранью, более яростной, чем гром, и упоминал о виселице, что не было особенно приятно для слуха ученых. Наконец, желая непременно настоять на своем, он приказал направиться по крутым скалам, избрав дорогу, которая, как ему казалось, приведет их в четыре дня к Рохнабаду: сколько его ни предостерегали, он поступил по-своему.

Женщины и евнухи, никогда ничего подобного не видевшие, дрожали и испускали жалобные крики при виде ущелий и страшных пропастей, по краям которых вилась тропинка. Ночь наступила прежде, чем караван достиг перевала. Налетел ветер, разорвал в клочья занавески паланкинов и носилок, и несчастные женщины оказались во власти стихий. Тьма увеличивала ужас этой бедственной ночи; только и слышны были стенания пажей и плач женщин.

К довершению несчастья раздался грозный рев, и скоро в чаще леса замелькали сверкающие глаза — это могли быть лишь тигры или дьяволы. Работники, занятые исправлением дороги, и часть авангарда были растерзаны, не успев сообразить, в чем дело. Произошло крайнее замешательство: волки, тигры и другие хищники сбегались со всех сторон. Хрустели кости, в воздухе раздалось ужасающее хлопанье крыльев; коршуны принялись за дело.

Наконец, ужас охватил и свиту монарха и его сераль, которые находились в двух милях отсюда. Ватек, оберегаемый евнухами, не знал еще ничего, он лежал в своих просторных носилках на мягких шелковых подушках; два маленьких пажа, белее эмали Франгистана²², отгоняли от него мух, а он спал глубоким сном, и ему представлялись блистательные сокровища Сулеймана. Вопли женщин внезапно пробудили его, и вместо Гяура с золотым ключом он увидел Бабабалука, остолбеневшего от страха. «Государь! — воскликнул верный слуга могущественнейшего из монархов. — Несчастье! Лютые звери, для которых ты не лучше мертвого осла, напали на верблюдов и пожрали тридцать наиболее тяжело навьюченных вместе с их погонщиками; твоих пекарей, поваров и тех, кто вез провизию для твоего стола, постигла та же участь, и, если наш святой Пророк не защитит нас, нам нечего будет есть». При слове «есть» халиф совершенно растерялся; он завопил и принялся бить себя в грудь. Бабабалак, видя, что повелитель совсем потерял голову, заткнул себе уши, чтобы по крайней мере не слышать гама сераля. И так как мрак сгустился и тревога росла, он решился на героическое средство. «Женщины н вы, мои собратья! — крикнул он изо всех сил. — За дело! Добудем скорее огня! Чтобы не сказали, что Повелитель правоверных послужил пищей подлым зверям».

Хотя среди красавиц было немало капризных и несговорчивых, на этот раз все повиновались. Вмиг зажглись огни во всех паланкинах. Вспыхнуло десять тысяч факелов, все, не исключая халифа, вооружились толстыми восковыми свечами. Обмотав концы длинных шестов паклей, пропитанной маслом, зажгли их, и утесы осветились как днем. В воздухе понеслись тучи искр, ветер раздувал их, загорелись папоротники и кустарники. Пожар быстро разросся; страшно шипя, поползли со всех сторон змеи, в отчаянии покидая свои жилища. Лошади, вытянув головы, ржали, били копытами и беспощадно лягались.

Запылал кедровый лес, подле которого они ехали, и по склоненным к дороге веткам огонь перекинулся на паланкины, в которых сидели женщины; вспыхнули тонкий муслин и прекрасные ткани, и красавицам пришлось выскакивать с риском сломать себе шею. Ватек, изрыгая тысячи проклятий, вынужден был, по примеру других, сойти своей священной особой на землю.

²² ... эмали Франгистана... — Франгистан — страна франков, западная Европа.

Произошло нечто невообразимое: женщины, не зная как выпутаться из беды, падали в грязь, в досаде, стыде и бешенстве. «Чтобы я пошла!» — говорила одна; «Чтобы я промочила себе ноги!» — говорила другая; «Чтобы я запачкала себе платье!» — восклицала третья; «Гнусный Бабабалук, — кричали все они разом, — отброс ада! Зачем тебе понадобились факелы? Лучше бы нас сожрали тигры, чем показаться в таком виде при всех. Мы навсегда опозорены. Всякий носильщик в войске, всякий чистильщик верблюдов будет хвастаться, что видел часть нашего тела, а что еще хуже, наши лица». С этими словами самые скромные бросились лицом в дорожные колеи. Более смелые не прочь были бросить туда самого Бабабалука, но хитрец знал их и кинулся бежать изо всех сил со своими товарищами, потрясая факелами и ударяя в литавры.

От пожара стало светло и тепло, как в лучший солнечный летний день. О ужас, сам халиф увязал в грязи, как обыкновенный смертный! У него мутился рассудок, и он не мог двигаться дальше. Одна из его жен, эфиопка (у него был очень разнообразный гарем), сжалась над ним, схватила его, взвалила на плечи и, видя, что огонь надвигается со всех сторон, несмотря на тяжесть ноши, помчалась стрелой. Другие женщины, которым опасность вернула силы, последовали за ней, сколь могли быстро; затем поскакала стража, и конюхи, толкаясь, погнали верблюдов.

Наконец, достигли места, где недавно еще неистовствовали дикие звери; но животные были достаточно умны и удалились, заслышав этот ужасный гам; к тому же они успели уже отлично поужинать. Бабабалук все же бросился на двух-трех самых жирных, которые так наелись, что не могли двигаться, и стал тщательно сдирать с них шкуры. Так как пожар остался уже довольно далеко и жара сменилась приятным теплом, то решили остановиться здесь. Подобрали лоскутья раскрашенных палаток; предали земле остатки пиршества волков и тигров; выместили злобу на нескольких дюжинах коршунов, наевшихся до отвала, и, пересчитав верблюдов, невозмутимо удобрявших почву своими отправлениями, разместили кое-как женщин и разбили шатер халифа на возможно ровном месте.

Ватек растянулся на пуховой перине, понемногу оправляясь от скачки на эфиопке — она была тряским конем! Отдых вернул ему обычный аппетит; он попросил есть, но, увы, мягкие хлебы, которые пеклись в серебряных печах для его царственных уст, вкусные пирожные, душистые варенья, фиалы ширазского вина, фарфоры со снегом, превосходный виноград с берегов Тигра — все исчезло! Бабабалук мог предложить ему лишь жесткого жареного волка, тушеное мясо коршунов, горькие травы, ядовитые грибы, чертополох и корень мандрагоры, изъязвлявший горло и обжигавший язык. Из напитков у него оказалось несколько склянок плохой водки, которую повара спрятали в туфлях. Понятно, что такой отвратительный обед должен был привести Ватека в отчаяние; он затыкал себе нос и жевал с ужасными гримасами. Тем не менее поел недурно и лег спать, для лучшего пищеварения.

Между тем тучи скрылись за горизонтом. Палило солнце, и лучи его, отражаясь от скал, жгли халифа, несмотря на то что он укрывался за занавесями. Рои зловонных мушек цвета полыни кусали его до крови. Будучи не в силах терпеть, он внезапно проснулся и, не зная как быть, изо всех сил стал отбиваться от них; Бабабалук же по-прежнему храпел, весь в отвратительных насекомых, ухаживавших в особенности за его носом. Маленькие пажи побросали свои опахала. Полумертвые, они слабыми голосами горько упрекали халифа, в первый раз в жизни услышавшего правду.

Тогда он снова стал проклинать Гяура и выказал даже некоторую благосклонность к Магомету. «Где я? — воскликнул он. — Что это за ужасные скалы, за мрачные долины? Или мы пришли к страшному Кафу?»²³ Может быть, Симург выключает мне сейчас глаза²⁴ в

²³ 17... пришли к страшному Кафу... — Каф — горный хребет, окружающий землю, который в позднейшее время отождествляли с Кавказом. Страна дивов и пери (D'HerBelot, p. 231).

²⁴ ... Симург выключает мне сейчас глава... — Симург — гигантская птица, нередко упоминаемая в арабских сказках (D'HerBelot, p. 810). В фольклоре тюркских народов — Алп Кара Куш.

наказание за безбожное предприятие?» С этими словами он высунул голову в отверстие палатки. Но что за зрелище представилось ему! С одной стороны бесконечная равнина черного песка, с другой — отвесные скалы, поросшие мерзким чертополохом, жгучий вкус которого он ощущал до сих пор. Ему, правда, показалось, что среди терний и колючих растений он различает гигантские цветы, но он ошибался: это были лохмотья разноцветных тканей и остатки шатров его великолепного каравана. В утесах было много расщелин, и Ватек стал прислушиваться, надеясь услышать шум какого-нибудь потока; но до него доносился лишь глухой ропот спутников, проклинавших путешествие и требовавших воды. Некоторые даже рядом с ним кричали: «Зачем нас привели сюда?», «Разве нашему халифу, нужно построить еще башню?», «Или здесь живут безжалостные африты²⁵, которых так любит Каратис?»

При имени Каратис Ватек вспомнил о дощечках, которые она ему дала и к которым советовала прибегать в крайних случаях. Он начал, перебирать их и вдруг услышал радостные крики и хлопанье в ладоши; завеса его шатра раздвинулась, и он увидел Бабабалука с частью его приближенных. Они вели двух карликов, вышиной с локоть; малютки несли большую корзину с дынями, апельсинами и гранатами; серебристыми голосами они пропели следующее: «Мы живем на вершине этих, скал, в хижине, сплетенной из тростника и камыша; нашему жилищу завидуют орлы; маленький источник служит нам для абдеста²⁶, и не проходит дня, чтобы мы не читали положенных святым пророком молитв. Мы все любим тебя, Повелитель правоверных! Наш господин, добрый эмир Факреддин, любит тебя также. Он почитает в тебе наместника Магомета. Хотя мы и малы, он доверяет нам; он знает, что наши сердца, столь же добры, сколь ничтожны мы с виду; и он поселил нас здесь, чтобы, помогать заблудившимся в этих унылых горах. Прошлой ночью мы читали в своей маленькой келье Коран, как вдруг порывистый ветер, от которого задрожало наше жилище, задул огонь. Два часа мы провели в глубочайшей тьме; и вот в отдалении мы услышали звуки, которые приняли за колокольчики кафилы²⁷, пробирающегося среди скал. Вскоре крики, рев и звон литавр поразили наш слух. Оцепенев от ужаса, мы подумали, что это Деджиал²⁸ со своими ангелами-истребителями пришел поразить землю. В это время кровавого цвета пламя вспыхнуло над горизонтом, и спустя несколько мгновений мы были засыпаны искрами. Вне себя от ужасного зрелища, мы встали на колени, развернули книгу, вдохновенную блаженными духами, и при свете, разливавшемся вокруг, прочли стих, гласящий: «Должно уповать лишь на милосердие Неба; надейтесь только на святого Пророка; гора Каф может поколебаться, но могущество Аллаха незыблемо». Едва мы произнесли эти слова, неземное спокойствие овладело нашими душами; настала глубокая тишина, и мы ясно расслышали голос, произнесший: «Слуги моего верного слуги, наденьте свои, — сандалии и спуститесь в счастливую долину, где обитает Факреддин; скажите ему, что ему представляется блестящий случай утолить жажду гостеприимного своего сердца: сам Повелитель правоверных заблудился в этих горах; нужно ему помочь». С радостью выполнили мы повеление ангела, а наш господин, полный благочестивого рвения, собственноручно собрал эти дыни, апельсины и гранаты; он следует

²⁵ ... безжалостные африты... — Африты (или ифриты) — сказочные чудовища, жестокие и страшные, часто встречающиеся в арабских сказках. Принадлежат к породе джиннов, демонов мужского и женского пола, иногда злых, иногда добрых, сотворенных из огня и занимающих в мусульманской мифологии среднее место между людьми и ангелами.

²⁶ ... служит нам для абдеста... — Абдест — ритуальное омовение (D'HerBeloT, p. 10).

²⁷ ... колокольчики кафилы... — Кафила (араб.) — караван верблюдов.

²⁸ ... что это Деджиал... — Деджиал (Даджиал) — ложный мессия, антихрист, приход которого связан с представлениями о светопреставлении (D'HerBeloT, p. 282).

за нами с сотнею дромадеров, нагруженных мехами самой чистой воды из его фонтанов; он будет целовать бахрому твоей священной одежды и будет умолять тебя посетить его скромное жилище, среди этих безводных пустынь подобное изумруду, врезанному в свинец». Кончив, карлики продолжали стоять в глубоком молчании, со сложенными на груди руками.

Во время этой прекрасной речи Ватек взялся за корзину, и задолго до того, как ораторы кончили, фрукты растаяли у него во рту. По мере того, как он ел, к нему возвращалось благочестие; он повторял молитвы и требовал одновременно Алькоран и сахару.

В таком настроении Ватек случайно взглянул на дощечки, которые отложил при появлении карликов; он взял их снова — и точно свалился с неба на землю, увидев слова, выведенные красными буквами рукою Каратис; смысл их заставлял вздрогнуть: «Берегись старых книжников и их маленьких гонцов, в локоть ростом; остерегайся их благочестивых обманов; вместо того, чтобы есть их дыни, следует посадить их самих на вертел. Если ты поддашься слабости и пойдешь к ним, дверь подземного дворца захлопнется и раздавит тебя. Твое тело будет оплевано, и летучие мыши соведут гнезда в твоём брюхе».

«Что значит эта грозная галиматья? — вскричал халиф. — Неужели нужно погибать от жажды в этих песчаных пустынях, когда я могу отдохнуть в счастливой долине дынь и огурцов? Будь проклят Гяур со своим эбеновым входом! Достаточно я терял времени из-за него! Да и кто может предписывать мне законы? Я не должен ни к кому заходить, говорят мне. Да разве я могу прийти в такое место, которое мне уже не принадлежит?». Бабабалук, не проронивший ни слова из этого монолога, одобрил его от всего сердца, и с ним были согласны все женщины, чего до сих пор ни разу не случалось.

Карликов приняли гостеприимно, обласкали, посадили на маленькие атласные подушки; любовались пропорциональностью их маленьких тел, хотели разглядеть их во всех подробностях; предлагали брелоки и конфеты; но они отказались с удивительной важностью. Затем они вскарабкались на возвышение, где находился халиф, и, усевшись на его плечи, стали шептать ему на ухо молитвы. Их маленькие язычки шевелились, как листья осин, и терпение Ватека начало истощаться, когда радостные восклицания возвестили о прибытии Факреддина с сотнею длиннородых старцев, Алькоранами и дромадерами. Быстро принялись за омовение и за произнесение «бисмиллаха»²⁹. Ватек отделался от своих назойливых наставников и последовал примеру прибывших; его очень разбирало нетерпение.

Добрый эмир был до крайности религиозен и любил говорить приятное; он произнес речь в пять раз длиннее и в пять раз неинтереснее, чем его маленькие предшественники. Халиф, не выдержав, вскричал: «Дорогой Факреддин, ради самого Магомета, довольно! Пойдем в твою зеленую долину, я хочу подкрепиться чудными плодами, дарованными тебе небом». При слове «идем» все тронулись в путь. Старцы ехали довольно медленно, но Ватек тайком приказал маленьким пажам пришпорить их дромадеров. Прыжки животных и замешательство восьмидесятилетних всадников были до того забавны, что во всех паланкинах раздавались взрывы хохота.

Тем не менее они благополучно спустились в долину по огромным ступеням, которые эмир распорядился проложить в скалах; стало доноситься журчание ручьев и шорох листьев. Скоро караван вступил на тропинку, по краям которой росли цветущие кустарники; она привела к большому пальмовому лесу, осенявшему своими ветвями обширное здание из тесаного камня. Это строение увенчивалось девятью куполами и было украшено столькими же бронзовыми порталами с надписями эмалью: «Здесь — убежище богомольцев, приют путников и сокровищница тайн всего света».

У каждой двери стояло девять прекрасных, как солнце, пажей, в скромных длинных одеждах из египетского полотна. Они радушно и приветливо встретили прибывших, и

²⁹ ... принялись... за произнесение «бисмиллаха»... — «Бисмиллах» — «во имя Аллаха».

четверо самых красивых посадили халифа на роскошный техтраван³⁰; четверо других, несколько менее привлекательных, занялись Бабабалуком, затрепетавшим от радости при виде хорошего жилья; о свите позаботились остальные.

Когда мужчины ушли, дверь большой залы с правой стороны растворилась на певучих петлях, и оттуда вышла стройная молодая девушка с светло-пепельными волосами, которые слегка развевал вечерний ветерок. За ней, подобно плядам, следовали ее подруги, едва касаясь ногами земли. Все они направились к шатрам, где находились султанши; и девушка с грациозным поклоном сказала им: «Очаровательные дамы, все готово; мы устроили вам ложа для отдыха и набросали в ваши покои жасмину; ни одно насекомое не потревожит вашего сна: мы будем отгонять их сотнями опашал. Идите же, милые гости, освежите ваши нежные ноги и белоснежные тела в бассейнах розовой воды; и при мягком свете благовонных лампад наши прислужницы будут рассказывать вам сказки». Султанши с удовольствием приняли это учтливое приглашение и последовали за девушкой в гарем эмира. Но оставим их на минуту и возвратимся к халифу.

Его повели во дворец с огромным куполом, освещенный сотнями свечей из горного хрусталя. Множество ваз из того же вещества с отличным шербетом сверкали на большом столе, где в изобилии находились тонкие яства, среди прочего — рис в миндальном молоке, шафранный суп и ягненок со сливками — любимое кушанье халифа. Он съел его необычайно много, на радостях изъявлял дружбу эмиру и, несмотря на отказы карликов, заставил их плясать; набожные малютки не смели ослушаться Повелителя правоверных. Наконец, он растянулся на софе и заснул покойнее, чем когда-либо.

Под куполом царила глубокая тишина, нарушавшаяся лишь чавканьем Бабабалука, вознаграждавшего себя за вынужденный пост в горах. Так как евнух был в слишком хорошем настроении, чтобы заснуть, и не любил праздности, то решил отправиться в гарем, присмотреть за своими женщинами, взглянуть, натерлись ли они своевременно меккским бальзамом, в порядке ли их брови и все прочее, — одним словом, оказать им мелкие услуги, в которых они нуждались.

Долго и безуспешно искал он двери в гарем. Боясь разбудить халифа, евнух не смел закричать, а во дворце все безмолствовало. Он стал уже отчаиваться, как вдруг услышал тихое шушуканье: это карлики вернулись к своему обычному занятию — в девятьсот девятый раз в жизни перечитывали Алькоран. Они очень вежливо предложили Бабабалуку послушать их, но он был занят другим. Карлики, хотя и несколько обиженные, все же указали ему путь в покои, которые он искал. Для этого нужно было идти множеством очень темных коридоров. Он пробирался ощупью и, наконец, в конце длинного прохода, услышал милую болтовню женщин. Сердце его радостно забилося. «А, вы еще не спите! — воскликнул он, приближаясь большими шагами. — Не думайте, что я сложил с себя свои обязанности; я остался только доесть обеды со стола нашего повелителя». Два черных евнуха, услышав столь громкий голос, поспешно бросились ко входу, с саблями в руках; но со всех сторон раздались восклицания: «Да это Бабабалук, всего только Бабабалук!» Действительно, бдительный страж приблизился к завесе из алого шелка, сквозь которую проникал приятный свет, и увидел большой овальный бассейн из темного порфира. Его окаймляли занавеси в пышных складках; они были наполовину отдернуты, и за ними виднелись группы юных рабынь, среди которых Бабабалук узнал своих прежних питомиц, в неге простиравших руки, как бы стараясь охватить благоуханную воду и восстановить свои силы. Томные и нежные взгляды, шепот на ухо, очаровательные улыбки, сопровождавшие маленькие тайны, сладкий запах роз — все дышало сладострастием, заражавшим самого Бабабалука.

Однако он сохранил серьезность и повелительным тоном приказал красавицам выйти из воды и как следует причесаться. Пока он отдавал приказания, юная Нурониар, дочь эмира,

³⁰ ... на роскошный техтраван... — Техтраван — паланкин, носилки.

миловидная и шаловливая, как газель, сделала знак одной из своих рабынь тихонько спустить вниз большие качели, прикрепленные к потолку шелковыми шнурами. Сама же она жестами объяснялась с женщинами, сидевшими в бассейне; они были недовольны, что нужно покинуть это прибежище неги, путали себе волосы, чтобы подразнить Бабабалука, и затевали множество разных шалостей.

Увидев, что евнух готов рассердиться, Нурониар приблизилась к нему с видом крайнего почтения и сказала: «Господин, не подобает, чтобы начальник евнухов халифа, нашего Повелителя, все время стоял; соблаговоли, любезный гость, отдохнуть на софе, которая лопнет с досады, если не удостоится такой чести». Очарованный этой лестью, Бабабалук вежливо ответил: «Отрада моего взора, я принимаю предложение, исходящее из твоих сладчайших уст; признаюсь, от восторга пред твоими блистательными прелестями я ослабел». — «Отдохни же», — ответила красавица, сажая его на мнимую софу. Едва он сел, как она взвилась молнией. Увидев в чем дело, нагие женщины выскочили из купальни и принялись бешено раскачивать качели. Вскоре они стали пролетать все пространство высокого купола, так что у бедного Бабабалука захватило дыхание. Он то касался воды, то тут же стучался носом в стекло; тщетно кричал он хриплым, надтреснутым голосом: взрывы хохота заглушали его.

Нурониар была опьянена молодостью и весельем; она привыкла к евнухам обыкновенных гаремов, но никогда не видела столь отвратительного и высокопоставленного, поэтому она забавлялась больше всех. Затем она принялась петь, пародируя персидские стихи: «Нежный и белый голубь, несущийся в воздухе, взгляни паевою верную подругу! Певец — соловей, я — твоя роза; спой же мне славную песенку».

Султанши и рабыни, воодушевленные этими шутками, так раскачали качели, что шнуры оборвались, и бедный Бабабалук, как неуклюжая черепаха, грохнулся в бассейн. Раздался общий крик; запахнулись двенадцать потайных дверей, и женщины исчезли, забросав Бабабалука бельем и погасив огонь.

В темноте, по горло в воде, бедный урод не мог высвободиться из-под вороха наброшенных на него платьев и, к крайнему своему огорчению, слышал со всех сторон взрывы хохота. Напрасно пытался он выкарабкаться из бассейна: руки его скользили по краям, облитым маслом из разбитых ламп, и он вновь падал, с глухим шумом, отдававшимся под высокими сводами. И каждый раз предательский смех возобновлялся. Полагая, что это место населено скорее демонами, чем женщинами, он решил не предпринимать более никаких попыток, а смиренно ждать. Его досада изливалась в проклятиях, из которых лукавые соседки, небрежно лежавшие вместе, не проронили ни слова. Утро застало евнуха в этом милом положении; и только тогда его вытащили из-под груды белья, полузадохшегося и промокшего насквозь.

Халиф уже приказал искать его повсюду, и он предстал пред своим повелителем, хромая; от холода у него не попадал зуб на зуб. Увидев его в таком состоянии, Ватек вскричал: «Что с тобой? Кто тебя так отделал?» — «А тебя кто заставил заходить в это проклятое логово?» — спросил Бабабалук в свою очередь. — Разве подобает такому государю, как ты, укрываться со своим гаремом у старого бородача эмира, который ничего не смыслит в приличиях? Что за девушек держит он здесь! Представь себе, они вымочили меня, как корку хлеба, заставили, как скомороха, всю ночь плясать на проклятых качелях! Отличный пример твоим султаншам, которым я так усиленно внушал правила благопристойности!»

Ватек ничего не понял из его слов и приказал рассказать все по порядку. Но вместо того, чтобы пожалеть беднягу, он принялся громко хохотать, представляя себе его на качелях. Бабабалук был оскорблен и едва сдерживался в пределах почтительности. «Смейся, смейся, Повелитель! Хотел бы я, чтобы эта Нурониар выкинула и над тобой какую-нибудь шутку; она достаточно зла и не пощадит даже тебя». Эти слова ее произвели сначала на халифа особенного впечатления; но впоследствии он вспомнил о них.

Между тем явился Факреддин и пригласил Ватека на торжественные молитвы и

омовения, совершавшиеся на обширном лугу, орошаемом множеством ручьев. Халиф нашел, что вода прохладна, а молитвы смертельно скучны. Его развлекало лишь множество календеров³¹, аскетов и дервишей, бродивших взад и вперед по лугу. Особенно забавляли его браманы, факиры и разные святоши из Индии, которым эмир давал приют во время их путешествия. У каждого из этих людей были свои причуды: одни тащили длинные цепи; другие водили орангутангов; третьи были вооружены бичами, и все превосходно выполняли свои упражнения. Некоторые лазили по деревьям, стояли с неподвижно вытянутой ногой, качались над небольшим огнем, беспощадно щелкали себя по носу. Были между ними и любители паразитов; последние платили им взаимностью. Эти странствующие ханжи возбуждали отвращение в дервишах, календерах и аскетах. Их собрали в надежде, что присутствие халифа излечит их от безумия и обратит в мусульманскую веру; но, увы, это была жестокая ошибка! Вместо того, чтобы проповедовать им, Ватек обращался с ними, как с шутами, просил от его лица кланяться Вишне и Ихору и в особенности занялся одним толстым стариком с острова Серендиба³², самым смешным из всех. «Эй, — сказал он ему, — во имя твоих богов, сделай какой-нибудь забавный прыжок!» Обиженный старец заплакал, и так как скучно было на него смотреть, Ватек отвернулся. Бабабалук, сопровождавший халифа с зонтом, сказал ему: «Пусть твоя светлость остерегается этого сброда. Что за дурацкая мысль собрать их здесь! Возможно ли, чтобы великого государя потчевали подобным зрелищем, с шелудивыми монахами в виде дивертисмента! На твоём месте я приказал бы развести хороший огонь и очистил бы землю от эмира с его гаремом и от всего его зверинца». — «Замолчи, — ответил Ватек. — Меня все это крайне занимает, и я не уйду с луга, пока не пересмотрю всех скотов, что живут здесь».

По мере того как халиф подвигался вперед, ему показывали все новых и новых несчастных: слепых, полуслепых, безносых мужчин, безухих женщин — все это, чтобы выставить напоказ великое милосердие Факреддина, раздававшего со своими старцами припарки и пластыри. В полдень эмир устроил великолепное шествие калек, и скоро вся равнина покрылась группами убогих. Слепые шли ощупью за слепыми; хромые прихрамывали целым отрядом, а однорукие размахивали своей единственной рукой. На берегу большого водопада разместились глухие; у пришедших из Пегу³³ уши были самые красивые и самые большие, но их привилегия состояла в том, что слышали они меньше всех. Здесь встречались также уродства всех сортов — зобы, горбы и даже рога, у многих удивительно гладкие.

Эмир хотел придать этому празднику соответствующую торжественность и воздать всевозможные почести своему именитому гостю, поэтому он приказал расстелить на траве множество шкур и скатертей. Подали разные сорта плова и другие освященные религией яства добрых мусульман. Ватек, до бесстыдства веротерпимый, позаботился заказать кое-какие недозволенные блюда, оскорблявшие чувства правоверных. Скоро все благочестивое собрание принялось с большим аппетитом за еду. Халифу очень хотелось последовать их примеру, и, несмотря на все увещания главного евнуха, он пожелал отобедать тут же. Тотчас эмир приказал поставить стол в тени ив. В качестве первого блюда подали рыбу, пойманную

³¹ ... множество календеров... — Календеры — странствующие дервиши суфийского ордена, ходили часто босые, в власянице и в колпаке с металлическими побрякушками; некоторые вели себя как юродивые.

³² ... с острова Серендиба... — Серендиб (Цейлон) — остров в Индийском океане, о котором рассказывают арабские мореплаватели, богатый драгоценными камнями, чудесными животными и растениями (D'Herbelot, p. 806). Неоднократно упоминается в арабских сказках; во французской литературе XVIII в. ср.: «Voyages et aventures des Trois princes de SerendiBe». paris, 1719 (см. статью, стр. 272). См.: И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения, т. IV, М.-Л., 1957, стр. 69.

³³ ... у пришедших из Пегу... — Пегу — древнее государство на территории Бирмы, сохранявшее свою независимость до середины XVIII в. Пегуанцы исповедывали буддизм.

тут же в реке, протекавшей по золотому песку, у подножья очень высокого холма. Ее жарили, едва вытащив из воды, и приправляли изысканными травами с горы Синая: у эмира все делалось столь же превосходно, как и благочестиво.

Пиршество было в разгаре, когда внезапно послышались мелодичные звуки лютен, а эхо повторило их на холмах. Халиф с удивлением и радостью поднял голову, и ему в лицо попал букет жасмина. Вслед за этой маленькой шуткой раздался дружный смех, и в кустарниках мелькнуло несколько молодых девушек, легких, как дикие козочки. Благоухание их надушенных волос донеслось до Ватека; он прервал трапезу и, словно очарованный, сказал Бабабалуку: «Не пери ли это сошли со своих сфер? Видишь ту, с тонкой талией, что мчится так отважно по краю пропасти, не глядя перед собой, повернув голову так, как будто занята лишь красотой складок своей одежды? С каким прелестным нетерпением отцепляет она от кустарника свое покрывало! Не она ли бросила мне жасмин?» — «О, наверно, она, — ответил Бабабалук, — это такая девушка, что и тебя может сбросить со скалы; это моя приятельница Нурониар, так мило предложившая мне свои качели. Дорогой Господин и Повелитель, — продолжал он, отламывая ветку ивы, — позволь мне догнать ее и выпороть за непочтительное отношение к тебе. Эмир не будет в обиде, ибо хотя я и отдаю должное его благочестию, но он совершает большую ошибку, пуская в горы стадо этих девушек; свежий воздух рождает чересчур вольные мысли».

«Молчи, богохульник! — сказал халиф. — Не смей говорить так о той, кто увлекает мое сердце в эти горы. Устрой лучше так, чтобы я впивал свет ее очей и мог вдыхать ее сладкое дыхание. С какой легкостью и грацией бежит она, вся трепещущая среди этих простых сельских мест!» — С этими словами Ватек простер руки к холму и, воздев очи в необычайном волнении, стал следить взглядом за той, которая успела уже покорить его сердце. Но за ее бегом было так же трудно следить, как за полетом прекрасных лазоревых бабочек из Кашмира, таких редкостных и подвижных.

Ватеку мало было видеть Нурониар, ему хотелось слышать ее, и он жадно вслушивался, стараясь уловить звук ее голоса. Наконец, он услышал, что она прошептала одной из своих подруг за маленьким кустиком, откуда бросила букет: «Нужно признаться, что на халифа приятно поглядеть; но мой маленький Гюльхенруз гораздо милее; прядь его шелковистых волос лучше всякого шитья из Индии, а его зубы, шаловливо сжимающие мои пальцы, мне приятнее, чем прекраснейший перстень царской сокровищницы. Где он, Сютлемеме? Почему его нет с нами?»

Встревоженному халифу очень хотелось бы слышать больше, но она удалилась со всеми своими рабынями. Влюбленный государь следил за ней, пока не потерял из виду, и чувствовал себя подобно заблудившемуся ночью путнику, когда тучи закрывают от его глаз путеводное созвездие. Как будто темная завеса опустилась перед ним, все казалось ему бесцветным, все изменило свой вид. Шум ручья отзывался грустью в его сердце, и слезы капали на жасмин, который он прижимал к пылавшей груди. Он собрал даже несколько камешков в память о месте, где почувствовал первый прилив страсти, доселе незнакомой. Много раз делал он попытки удалиться, но напрасно. Сладостное томление охватило его душу. Распростершись на берегу ручья, он не отводил взора от синеватой вершины горы. «Что скрываешь ты от меня, безжалостный утес? — вскричал он. — Где она? Что происходит там, в твоём пустынном уединении? О, небо! Быть может, она бродит сейчас в твоих гротах со своим счастливым Гюльхенрузом!»

Между тем наступили сумерки. Эмир, обеспокоенный здоровьем халифа, приказал подать царские носилки; Ватек безучастно дал усадить себя и принести в великолепную залу, где его принимали накануне.

Оставим халифа предаваться новой страсти и последуем в горы за Нурониар, встретившей, наконец, своего драгоценного Гюльхенруза. Этот Гюльхенруз, нежнейшее и милое создание, был единственным сыном Али Гасана, брата эмира. Десять лет назад его отец отправился в плавание по неведомым морям и отдал его на попечение Факреддину. Гюльхенруз умел писать разными способами с удивительной легкостью и обладал

искусством выводить на тонком пергаменте красивейшие арабески. Голос у него был мягкий, трогательно звучащий под аккомпанемент лютни. Когда Гюльхенруз пел о любви Меджнуна и Лейли³⁴ или об иных несчастных влюбленных старого времени, слезы лились у его слушателей. Его стихи (он, как Меджнун, был тоже поэтом) заставляли томно вздыхать, что весьма опасно для женщин. Все они очень любили его; и, хотя ему минуло тринадцать лет, его нельзя еще было вытащить из гарема. Его танцы напоминали легкий полет пушинки на весеннем ветерке. Но руки его, так грациозно сплетавшиеся в танце с руками девушек, не умели метать дротиков на охоте или укрощать горячих коней, которые паслись на пастбищах дяди. Он, однако, прекрасно владел луком и превзошел бы всех юношей в беге, если бы решился порвать шелковые узы, привязывавшие его к Нурониар.

Братья нарекли своих детей друг другу, и Нурониар любила Гюльхенруза больше света очей своих, как бы прекрасны ни были эти очи. У них были те же вкусы и занятия, такие же взгляды, долгие и томные, одного цвета волосы, одинаковая белизна лица; и когда Гюльхенруз наряжался в платье Нурониар, он даже более походил на женщину, чем она. Выходя на минуту из гарема к Факреддину, он имел вид робкого молодого оленя, разлученного с подругой. При всем том он был шаловлив и смеялся над длиннобородыми старцами, а они порою сурово укоряли его. Тогда он в испуге забивался в самый отдаленный уголок гарема, задергивал за собой все занавеси и, рыдая, искал утешения в объятиях Нурониар. Она же любила его недостатки больше, чем обычно любят достоинства других людей.

Итак, оставив халифа на лугу, Нурониар побежала с Гюльхенрузом в поросшие травами горы, прикрывавшие долину, где находился дворец Факреддина. Солнце склонялось к закату, и молодым людям в их живом и восторженном воображении казалось, что среди дивных облаков заката они видят храмы Шадукиана и Амбреабада, где обитают пери. Нурониар села на склоне холма, положив на колени надушенную голову Гюльхенруза. Неожиданный приезд халифа и окружавший его блеск успели смутить ее пылкую душу. В своем тщеславии она не могла устоять перед желанием быть замеченной им. Она видела, как Ватек поднял жасмин, брошенный ею; это льстило ее самолюбию. И она смутилась, когда Гюльхенруз вздумал спросить, куда делся букет, который он собрал для нее. Вместо ответа она поцеловала его в лоб, поспешно встала и с неописуемым беспокойством и возбуждением стала быстро ходить взад и вперед.

Между тем наступала ночь; чистое золото заходящего солнца сменилось кровавым румянцем; словно отблески огня отразились на пылавших щеках Нурониар. Бедный маленький Гюльхенруз заметил это. Возбуждение его всегда приветливой двоюродной сестры смутило его до глубины души. «Вернемся, — сказал он робко, — что-то мрачное появилось в небе. Тамаринды трепещут сильнее обыкновенного, и этот ветер леденит мне сердце. Вернемся, вечер слишком уныл!» С этими словами он взял Нурониар за руку, изо всех сил стараясь увлечь ее. Она последовала за ним, не отдавая себе отчета в том, что делает. Множество странных мыслей бродило в ее голове. Она пробежала мимо большой куртины жимолости, которую так любила, не обратив на нее внимания; лишь Гюльхенруз не удержался и сорвал несколько веточек, хотя и неся с такой быстротой, будто за ним по пятам гнался дикий зверь.

Девушки, видя, что они возвращаются так быстро, решили, что по обыкновению будут танцы. Тотчас же они стали в кружок и взялись за руки, но Гюльхенруз, задыхаясь, повалился на мох. Всю шумную толпу охватило уныние; Нурониар, едва владея собой, более усталая от смятенности мыслей, чем от бега, бросилась на Гюльхенруза. Она взяла его

³⁴ ... о любви Меджнуна и Лейли... — Меджнун и Лейли — знаменитые арабские любовники, судьба которых неоднократно была темой романических повествований (поэмы Низами, Алишера Навои). Меджнун («безумец») — прозвище арабского поэта Кайса ибн-ал Муллаваха (умер ок. 700 г.), любовь которого к Лейли стала предметом поэтической легенды (см.: И. Ю. Крачковский. Ранняя история повести о Меджнуне и Лейли в арабской литературе. — Сб. «Алишер Навои», М., 1946, стр. 31–67).

маленькие, холодные руки, согревала у себя на груди и терла ему виски душистой помадой. Наконец, он очнулся и, прячась головой в платье Нурониар, умолял подождать возвращаться в гарем. Он боялся, что его будет бранить Шабан, его наставник, старый сморщенный евнух, не из очень снисходительных. Противный дядька, наверно, найдет предосудительным, что он расстроил обычную прогулку Нурониар. Все сели в круг на лужайке, и начались ребяческие игры. Евнухи поместились на некотором расстоянии и разговаривали между собой. Все веселились. Нурониар по-прежнему была задумчива и расстроена. Ее кормилица заметила это и принялась рассказывать забавные сказки, очень нравившиеся Гюльхенрузу, который забыл уже свои подозрения. Он смеялся, хлопал в ладоши и проказничал, даже хотел заставить бегать за собой евнухов, несмотря на их лета и дряхлость.

Между тем взошла луна; был чудный вечер. Все чувствовали себя так хорошо, что решили ужинать на воздухе. Один евнух побежал за дынями, другие стали трясти миндальные деревья, под сенью которых сидела веселая компания, и свежие плоды посыпались на них дождем. Сютлемеме, отлично приготавливавшая салат, наполнила большие фарфоровые чаши отборными травами, яйцами птичек, кислым молоком, лимонным соком и ломтиками огурцов и угощала всех поочередно с большой ложки Кокноса. Но Гюльхенруз, прикорнув по обыкновению на груди у Нурониар, закрывал свой маленький, румяный ротик, когда Сютлемеме предлагала ему что-нибудь. Он брал, что ему было нужно, только из рук двоюродной сестры и прильнул к ее рту, как пчела, опьяневшая от сока цветов.

Среди общего веселья внезапно на вершине самой высокой горы показался свет. Он лился мягким сиянием, и его можно было бы принять за лунный, если бы полной луны не было на горизонте. Это явление взволновало всех, заставляя теряться в догадках. Это не мог быть отблеск пожара, ибо свет был ясный и голубоватый. Для метеора он казался слишком ярким и необычайным по цвету. Он то бледнел, то вспыхивал. Сначала думали, что этот странный свет льется с вершины скалы; вдруг он передвинулся и заблестал в густой пальмовой роще; затем он мелькнул у потоков и остановился, наконец, у входа в узкое темное ущелье. Гюльхенруз, сердце которого всегда замирало от неожиданного и необычного, дрожал в страхе. Он тянул Нурониар за платье и умолял вернуться в гарем. Женщины убеждали ее в том же, но любопытство дочери эмира было слишком задето, оно взяло верх. Во что бы то ни стало она хотела узнать, что это такое.

Пока шли препирательства, из озаренного пространства вылетела такая ослепительная огненная стрела, что все с криками бросилось бежать. Нурониар тоже отступила на несколько шагов, но скоро она остановилась и двинулась вперед. Шар опустился в ущелье, продолжая пылать в величавой тишине. Нурониар скрестила на груди руки и несколько мгновений колебалась. Страх Гюльхенруза, полное одиночество, в котором она находилась в первый раз в жизни, величественное спокойствие ночи — все пугало ее. Тысячу раз хотела она вернуться, но сияющий шар каждый раз снова появлялся перед ней. Повинуясь непреодолимому влечению, она пошла к нему сквозь терновник, несмотря на все препятствия, возникавшие в пути.

Когда она вошла в долину, густой мрак внезапно окутал ее и она видела теперь лишь отдаленную слабую искру. Шум водопадов, шелест пальмовых ветвей, прерывистые, зловещие крики птиц, гнездившихся в деревьях, — все наполняло ужасом душу. Ежеминутно ей казалось, что под ногами ее ядовитые гады. Ей вспомнились все рассказы о лукавых дивах и мрачных гулах³⁵. Она остановилась вторично, но любопытство снова

³⁵ ...о лукавых дивах и мрачных гулах. — Гулы — в арабских сказках демоны, принадлежащие к породе злых джиннов (см. прим. 19). Они пожирают людей, часто нападая на заблудившихся путников. Дивы — в зороастрийской мифологии — злые духи, созданные Ахриманом (см. прим. 41) и составляющие его воинство. В фольклоре мусульманских народов обычно — чудовищные великаны, часто — людоеды, иногда — добродушные и глупые (тип сказок о «глупом черте»). Эпические богатыри вступают с ними в единоборство (богатырь Рустам как истребитель дивов в «Шах-Намэ» Фирдоуси). Дивы женского пола носят название пери (первонач.: парик). В фольклоре это прекрасные феи, привлекающие смертных и вступающие с ними в любовную связь. Дивы и пери, джинны, африты и гулы принадлежат к постоянному волшебному аппарату сказок «Тысячи

одержало верх, и она храбро двинулась по извилистой тропинке, которая вела по направлению к искре. До сих пор она знала, где находится, но стоило ей сделать несколько шагов по тропинке, как она заблудилась. «Увы! — воскликнула она. — Почему я не в ярко освещенных надежных покоях, где мои вечера протекали с Гюльхенрузом? Милое дитя, как ты дрожал бы, если бы очутился, как я, в этой безлюдной пустыне!» Говоря так, она продвигалась все дальше. Вдруг ее взор упал на ступени, проложенные в скале; свет усилился и появился над ее головой на вершине горы. Она смело стала подниматься. На некоторой высоте ей показалось, что свет исходит как бы из пещеры; оттуда слышались жалобные и мелодичные звуки — точно пение, напоминавшее заубойные гимны. В то же мгновение послышался шум, похожий на плеск воды, когда наполняют бассейн. Она увидела горящие восковые свечи, водруженные кое-где в трещинах скалы. Это привело ее в ужас, но она продолжала взбираться; тонкий и сильный запах свечей ободрял ее, и она подошла ко входу в грот.

В крайнем возбуждении Нурониар заглянула туда и увидела большой золотой чан, наполненный водой, сладкий пар которой стал осаждаться на ее лице каплями розового масла. Нежные мелодии раздавались в пещере; по краям чана висели царские одежды, диадемы и перья цапли, все усыпанные рубинами. Пока она восхищалась этой роскошью, музыка смолкла, и послышался голос, говоривший: «Для какого властелина зажгли эти свечи, приготовили купание и одежды, приличествующие лишь владыкам не только земли, но и талисманических сил?» — «Для очаровательной дочери эмира Факреддина», — ответил второй голос. — «Как! — возразил первый. — Для этой шалуньи, что проводит время с ветреным, утопающим в неге мальчиком, который недостоин быть ее мужем?» — «Что ты мне рассказываешь! — перебил другой. — Разве может она развлекаться такими глупостями, когда сам халиф, повелитель мира, которому надлежит овладеть сокровищами древних султанов, живших до времен Адама³⁶, государь шести локтей ростом, чей взгляд проникает в сердце девушек, сгорает от любви к ней? Нет, она не может отвергнуть страсть, которая поведет ее к славе, она бросит свою детскую забаву; тогда все сокровища, находящиеся здесь, вместе с рубинами Джамшида³⁷, будут принадлежать ей». — «Наверно, ты прав, — сказал первый, — и я отправлюсь в Истахар приготовить дворец подземного огня для встречи молодых».

Голоса смолкли, факелы потухли, лучезарный свет сменился густым мраком, и Нурониар очутилась на софе в гареме своего отца. Она хлопнула в ладоши, и тотчас явились Гюльхенруз и женщины, которые были в отчаянии, что потеряли ее, и уже отправили евнухов на поиски во все концы. Пришел и Шабан и принялся с важностью бранить ее. «Маленькая сумасбродка, — говорил он, — или у тебя подобраны ключи, или тебя любит какой-нибудь джинн³⁸, дающий тебе отмычки. Сейчас я посмотрю, насколько ты могущественна; живо иди в комнату с двумя слуховыми окошками и не рассчитывай, что

и одной ночи» и им подобных.

³⁶ ... сокровищами древних султанов, живших до времен Адама... — Султаны-преадамиты (preadamites). Согласно мусульманским легендам, сотворению Адама предшествовали многие поколения живых существ, которыми правили государи (султаны), называемые Солиманами (см. прим. 11 и 13). Последним из них был Джан бен Джан, царствовавший непосредственно перед сотворением Адама (D'Herbelot, p. 820).

³⁷ ... вместе с рубинами Джамшида... — Джамшид — четвертый из древних царей Персии, согласно легенде, подчинивший себе все страны Востока, строитель Истахара (см. прим. 13); был прославлен своей мудростью и богатством; царствовал семьсот лет и, считая себя бессмертным, потребовал божественных почестей, за что и был низвергнут с престола Аллахом (D'Herbelot, p. 394). Ср. также: Фирдоуси. Шахнамэ, т. I. Изд. АН СССР. 1957, стр. 35–48 (ст. 815–1244) и примеч. к стр. 609–610. Байрон в «Гяуре» сравнивает глаза Лейлы с «рубинами Джамшида».

³⁸ ...тебя любит какой-нибудь джинн... — см. прим. 25.

Гюльхенруз будет тебя сопровождать; ну, ступайте, сударыня, я запру вас двойным замком». В ответ на угрозы Нурониар гордо подняла голову и выразительно взглянула на Шабана своими черными глазами, которые стали еще больше после разговора в чудесном гроте. «Прочь, — сказала она ему, — можешь разговаривать так с рабынями, но относись с уважением к той, что родилась, чтобы повелевать и покорять всех своей властью».

Она продолжала бы в том же тоне, как вдруг раздались крики: «Халиф, халиф!» Тотчас все занавеси раздвинулись, рабы поверглись ниц в два ряда, а бедный маленький Гюльхенруз спрятался под возвышение. Сначала показалась процессия черных евнухов в одеждах из муслина, шитых золотом, со шлейфами; они несли в руках курильницы, распространявшие сладкий запах алоэ. Затем, покачивая головой, важно выступал Бабабалук, не особенно довольный этим визитом. Ватек, великолепно одетый, следовал за ним. Его поступь была благородна и легка; можно было восхищаться его наружностью и не зная, что он властитель мира. Он приблизился к Нурониар и, взглянув в ее лучистые глаза, которые видел лишь мельком, пришел в восторг. Нурониар заметила это и тотчас потупилась; но смущение сделало ее еще красивей и окончательно воспламенило сердце Ватека.

Бабабалук понимал толк в этих делах, видел, что надо покориться, и сделал знак, чтобы их оставили наедине. Он осмотрел все уголки зала, желая убедиться, что никого нет, и вдруг заметил ноги, выглядывавшие из-под возвышения. Бабабалук бесцеремонно потянул их к себе и, узнав Гюльхенруза, посадил его к себе на плечи и унес, осыпая гнусными ласками. Мальчик кричал и отбивался, его щеки покраснели, как гранаты, и влажные глаза сверкали обидой. В отчаянии он так выразительно взглянул на Нурониар, что халиф заметил это и сказал: «Это и есть твой Гюльхенруз?» — «Властелин мира, — ответила она, — пощади моего двоюродного брата, его невинность и кротость не заслуживают твоего гнева». — «Успокойся, — сказал Ватек, улыбаясь, — он в хороших руках; Бабабалук любит детей, и у него всегда есть для них варенье и конфеты».

Дочь Факреддина смутилась и не произнесла ни слова, пока уносили Гюльхенруза, но грудь ее вздымалась, выдавая волнение сердца. Ватек был очарован и иступленно отдался живейшей страсти, не встречая серьезного сопротивления, когда внезапно вошел эмир и бросился халифу в ноги. «Повелитель Правоверных, — сказал он ему, — не унижайся до своей рабы!» — «Нет, эмир, — возразил Ватек, — скорее я поднимаю ее до себя. Я беру ее в жены, и слава твоего рода передастся из поколения в поколение». — «Увы, Господин, — ответил Факреддин, вырывая клоч волос из бороды, — сократи лучше дни твоего верного слуги, но он не изменит своему слову. Нурониар клятвенно наречена Гюльхенрузу, сыну моего брата Али Гасана; их сердца соединены; они дали друг другу слово; нельзя нарушить столь священного обета». — «Как? — резко возразил халиф. — Ты хочешь отдать эту божественную красоту мужу, который женственнее, чем она сама? Ты думаешь, я позволю этому существу увянуть в таких робких и слабых руках? Нет, в моих объятиях должна пройти ее жизнь: такова моя воля. Уходи и не препятствуй мне посвятить эту ночь служению ее прелестям!» Тогда оскорбленный эмир вынул саблю, подал ее Ватеку и, подставляя голову, с твердостью сказал: «Господин, нанеси удар бедняку, давшему тебе пристанище; я слишком долго жил, если имею несчастье видеть, как наместник Пророка попирает священные законы гостеприимства». Смущенная Нурониар не могла долее выдержать борьбы противоположных чувств, потрясавших ее душу. Она упала в обморок, а Ватек, столь же испуганный за ее жизнь, как и взбешенный сопротивлением эмира, крикнул Факреддину: «Помоги же своей дочери!» — и вышел, бросив на него свой ужасный взгляд. Эмир замертво упал на землю, покрытый холодным потом.

Гюльхенруз же вырвался из рук Бабабалука и вбежал как раз в тот момент, когда Факреддин с дочерью уже лежали на полу. Изо всех сил стал он звать на помощь. Бедный мальчик старался оживить Нурониар своими ласками. Бледный, задыхаясь, целовал он уста своей возлюбленной. Наконец, нежная теплота его губ заставила ее очнуться, и скоро она совсем пришла в сознание.

Оправившись от взгляда халифа, Факреддин сел и, оглянувшись, чтобы убедиться, что

грозный государь ушел, послал за Шабаном и Сютлемеме, затем, отозвав их в сторону, он сказал: «Друзья мои, в великих испытаниях нужны решительные меры. Халиф вносит в мою семью ужас и отчаяние; я не могу противиться его власти; еще один его взгляд — и я погиб. Принесите мне усыпительного порошка, что подарил мне дервиш из Арракана. Я дам дочери и племяннику столько его, чтобы они спали три дня. Халиф подумает, что они умерли. Тогда, сделав вид, что хороним их, мы снесем их в пещеру почтенной Меймунэ, где начинается великая песчаная пустыня, недалеко от хижины моих карликов; а когда все уйдут, ты, Шабан, с четырьмя отборными евнухами отнесешь их к озеру, куда будет доставлена провизия на месяц. Один день халиф будет изумляться, пять дней плакать, недели две размышлять, а затем станет готовиться в путь; вот, по-моему, сколько времени понадобится Ватеку, и я избавлюсь от него».

«Мысль хорошая, — сказала Сютлемеме, — нужно извлечь из нее как можно больше пользы. Мне кажется, халиф нравится Нурониар. Будь уверен, что, пока она знает, что он здесь, мы не сможем удержать ее в горах, несмотря на привязанность ее к Гюльхенрузу. Убедим и ее и Гюльхенруза, что они действительно умерли и что их перенесли в эти скалы для искупления их маленьких любовных прегрешений. Скажем им, что и мы наложили на себя руки от отчаяния, а твои карлики, которых они никогда не видели, покажутся им удивительными существами. Их поучения произведут на них большое действие, и я бьюсь об заклад, что все сойдет прекрасно». — «Одобряю твою мысль, — сказал Факреддин, — примемся же за дело».

Тотчас отправились за порошком, подмешали его к шербету, и Нурониар с Гюльхенрузом, не подозревая ничего, проглотили ату смесь. Через час они почувствовали тоску и сердцебиение. Оцепенение овладело ими. Они с трудом взошли на возвышение и растянулись на софе. «Погрей меня, дорогая Нурониар, — сказал Гюльхенруз, крепко обнимая ее, — положи руку мне на сердце: оно как лед. Ах, ты такая же холодная, как я! Не поразил ли нас халиф своим ужасным взором?» — «Я умираю, — ответила Нурониар слабым голосом, — обними меня; пусть твои губы примут, по крайней мере, мой последний вздох!» Нежный Гюльхенруз глубоко вздохнул; их руки разомкнулись, и они не произнесли больше ни слова; казалось, они умерли.

Тогда в гареме поднялись раздирающие вопли. Шабан и Сютлемеме разыграли отчаяние с большим искусством. Эмир, огорченный, что пришлось прибегнуть к этим крайностям, и, делая в первый раз опыт с порошками, страдал на самом деле. Погасили огни. Две лампы бросали слабый свет на эти прекрасные цветы, увядшие, казалось, на заре жизни. Собравшиеся со всех сторон рабы недвижно смотрели на представшее зрелище. Принесли погребальные одежды; обмыли тела розовой водой; облачили их в ситарры, белее алебаstra; сплели вместе их прекрасные волосы и надушили лучшими духами.

Когда на головы им возлагали венки из жасмина, любимого их цветка, явился халиф, извещенный о трагическом происшествии. Он был бледен и угрюм, как гулы, что бродят ночью по могилам. В эту минуту он забыл и себя и весь мир. Он бросился в толпу рабов и упал к подножию возвышения; колотя себя в грудь, называл себя жестоким убийцей и тысячу раз проклинал себя. А приподняв дрожащей рукой покрывало над бледным лицом Нурониар, он вскрикнул и упал замертво. Бабабалук увел его, отвратительно гримасничая и приговаривая: «Я же знал, что Нурониар сыграет с ним какую-нибудь скверную штуку!»

Как только халиф удался, эмир занялся похоронами, приказав никого не пускать в гарем. Затворили все окна; сломали все музыкальные инструменты, и имамы начали читать молитвы. Вечером этого скорбного дня плач и вопли раздались с удвоенной силой. Ватек же стонал в одиночестве. Чтобы умерить припадки его бешенства и страданий, пришлось прибегнуть к успокоительным средствам.

На рассвете следующего дня растворили настежь огромные двери дворца, и погребальное шествие тронулось в горы. Печальные восклицания «Леилах-илеилах»³⁹

³⁹ 33 «Леилах-илеилах» — мусульманская молитва, содержащая исповедание веры: «Нет бога кроме бога

донесли до халифа. Он пытался наносить себе раны и хотел идти за процессией; его нельзя было бы отговорить, если бы силы позволили ему двигаться; но при первом же шаге он упал, и его пришлось уложить в постель, где он оставался несколько дней в полном бесчувствии, вызывая соболезнование даже у эмира.

Когда процессия подошла к гроту Меймунэ, Шабан и Сютлемеме отпустили всех. С ними остались четыре верных евнуха; отдохнув немного около гробов, которые приоткрыли, чтобы дать доступ воздуху, Сютлемеме и Шабан велели нести их к берегу небольшого озера, окаймленного сероватым мхом. Там обыкновенно собирались аисты и цапли и ловили голубых рыбок. Немедленно явились предупрежденные эмиром карлики и с помощью евнухов построили хижину из тростника и камыша; они умели делать это превосходно. Они поставили также кладовую для провизии, маленькую молельню для самих себя и деревянную пирамиду. Она была сделана из хорошо прилаженных поленьев и служила для поддержания огня, так как в горных долинах было холодно.

Под вечер на берегу озера зажгли два огромных костра, вынули милые тела из гробов и положили осторожно в хижине на постель из сухих листьев. Карлики принялись читать Коран своими чистыми и серебристыми голосами. Шабан и Сютлемеме стояли поодаль, с беспокойством ожидая, когда порошок прекратит свое действие. Наконец, Нурониар и Гюльхенруз чуть заметно шевельнули руками и, раскрыв глаза, с величайшим удивлением стали глядеть на окружающее. Они попробовали даже привстать; но силы изменили им, и они снова упали на свои постели из листьев. Тогда Сютлемеме дала им укрепляющего лекарства, которым снабдил ее эмир.

Гюльхенруз совсем проснулся, чихнул, и в том, как стремительно он привстал, выразилось все его удивление. Выйдя из хижины, он жадно вдохнул воздух и вскричал: «Я дышу, я слышу звуки, я вижу все небо в звездах! Я еще существую!» Узнав дорогой голос, Нурониар высвободилась из-под листьев и бросилась обнимать Гюльхенруза. Длинные симарры, облачавшие их, венки на головах и голые ноги прежде всего обратили на себя ее внимание. Она закрыла лицо руками, стараясь сосредоточиться. Волшебный чан, отчаяние отца и, в особенности, величественная фигура Ватека пронесли в ее мыслях. Она вспомнила, что была больна и умирала, как и Гюльхенруз; но все эти образы были смутны. Странное озеро, отражение пламени в тихой воде, бледный цвет земли, причудливые хижины, печально покачивающиеся камыши, заунывный крик аиста, сливающийся с голосами карликов, — все убеждало, что ангел смерти раскрыв им двери какого-то нового бытия.

В смертельном страхе Гюльхенруз прижался к двоюродной сестре. Он также думал, что находится в стране призраков, и боялся молчания, которое она хранила. «Нурониар, — сказал он ей наконец, — где мы? Видишь ты эти тени, что перебирают горящие угли? Быть может, это Монкир или Некир⁴⁰, которые сейчас кинут нас туда? Или вдруг роковой мост⁴¹ перебросится через озеро, и его спокойствие скрывает, быть может, бездну вод, куда мы будем падать в течение веков?»

«Нет, дети мои, — сказала Сютлемеме, подходя к ним, — успокойтесь. Ангел смерти, явившийся за нашими душами вслед за вашими, уверил нас, что наказание за вашу изнеженную и сладострастную жизнь ограничится тем, что вы будете прозябать долгие годы в этом печальном месте, где солнце чуть светит, где земля не рождает ни цветов, ни плодов.

(Аллаха)...

⁴⁰ ... это Монкир или Некир... — ангелы, вооруженные острыми мечами, которые, согласно представлениям мусульман, допрашивают душу умершего после смерти (D'HerBeloT, p. 58).

⁴¹ ... роковой мост... — мост Ал-Сират, узкий, как лезвие меча, перекинутый через пропасть над огненным потоком; по этому мосту души умерших переходят в рай или низвергаются в бездну ада. Упоминается Байроном в «Гяуре».

Вот наши стражи, — продолжала она, указывая на карликов. — Они будут доставлять нам все необходимое, ибо столь грубые души, как наши, еще слегка подвержены законам земной жизни. Вы будете питаться только рисом, и ваш хлеб будет увлажнен туманами, всегда окутывающими это озеро».

Услыхав о такой печальной будущности, бедные дети залились слезами. Они бросились к ногам карликов, а те, отлично исполняя свою роль, произнесли, по обычаю, прекрасную и длинную речь о священном верблюде⁴², который через несколько тысяч лет доставит их в царство блаженных.

По окончании проповеди они совершили омовения, воздали хвалу Аллаху и Пророку, скудно поужинали и снова улеглись на сухие листья. Нурониар и ее маленький двоюродный брат были очень довольны, что мертвые спят вместе. Они уже отдохнули и остаток ночи проговорили о случившемся, в страхе перед привидениями все время прижимаясь друг к другу.

Утро следующего дня было сумрачно и дождливо. Карлики взобрались на высокие жерди, воткнутые в землю и заменявшие минарет, и оттуда призывали к молитве. Собралась вся община: Сютлемеме, Шабан, четыре евнуха, несколько аистов, которым надоело ловить рыбу, и двое детей. Последние вяло выбрались из хижины, и так как были настроены меланхолически и умиленно, то молились с жаром. Затем Гюльхенруз спросил Сютлемеме и других, как случилось, что они умерли так кстати для него и Нурониар. «Мы убили себя в отчаянии при виде вашей смерти», — ответила Сютлемеме.

Несмотря на все происшедшее, Нурониар не забыла своего видения и воскликнула: «А халиф не умер с горя? Придет он сюда?» Тут слово взяли карлики и с важностью ответили: «Ватек осужден на вечную муку». — «Я уверен в этом, — вскричал Гюльхенруз, — и я в восторге, ибо, наверно, из-за его ужасного взгляда мы едим здесь рис и выслушиваем проповеди».

С неделю прожили они таким образом на берегу озера. Нурониар размышляла о том величии, которое отняла у нее досадная смерть, а Гюльхенруз плел с карликами камышовые корзинки; малышки чрезвычайно нравились ему.

В то время как в горах разыгрывались эти идиллические сцены, халиф развлекал эмира совсем другим зрелищем. Лишь только к нему вернулось сознание, он вскричал голосом, заставившим вздрогнуть Бабабалука: «Предатель Гяур! Это ты убил мою дорогую Нурониар; отрекаюсь от тебя и прошу прощения у Магомета; он не причинил бы мне таких бед, будь я благоразумней. Эй, дайте мне воды для омовения, и пусть добрый Факреддин придет сюда, я хочу примириться с ним, и мы вместе сотворим молитву. А потом пойдем на могилу несчастной Нурониар. Я хочу сделаться отшельником и буду проводить дни на той горе, замаливая свои грехи». — «А чем ты там будешь питаться?» — спросил Бабабалук. — «Ничего не знаю, — ответил Ватек, — я скажу тебе, когда мне захочется есть. Думаю, это произойдет не скоро».

Приход Факреддина прервал беседу. Едва завидев его, Ватек бросился ему на шею и залился слезами, говоря столь благочестивые слова, что эмир сам заплакал от радости и внутренне поздравил себя с удивительным обращением, которое он только что совершил. Конечно, он не посмел противиться паломничеству в горы. Итак, они сели каждый в свои носилки и отправились в путь.

Несмотря на все внимание, с каким наблюдали за халифом, ему все же не могли помешать нанести себе несколько царапин, когда пришли к месту, где якобы была похоронена Нурониар. С большим трудом оторвали его от могилы, и он торжественно поклялся, что будет ежедневно приходить сюда; это не очень понравилось Факреддину; но он надеялся, что халиф не отважится на большее и удовлетворится молитвами в пещере Меймунэ; к тому же озеро было так запрятано в скалах, что эмир считал невозможным,

⁴² ... о священном верблюде... — В Коране несколько раз упоминается священная верблюдица аллаха.

чтобы он его нашел. Эта уверенность эмира подтверждалась поведением Ватека. Он в точности осуществлял свое решение и возвращался с горы таким набожным и сокрушенным, что все бородатые старцы были в восторге.

Но и Нуруниар не была особенно довольна. Хотя она любила Гюльхенруза и ее свободно оставляли с ним, чтобы усилить ее чувство к нему, она смотрела на него как на забаву, и Гюльхенруз не мешал ей мечтать о рубинах Джамшида. Порой ее одолевали сомнения — она не могла понять, почему у мертвых те же потребности и фантазии, что и у живых. Однажды утром, надеясь разъяснить себе это, она, потихоньку от Гюльхенруза, встала с постели, когда все еще спали, и, поцеловав его, пошла по берегу озера; вскоре она увидела, что озеро вытекает из-под скалы, вершина которой не показалась ей неприступной. Она вскарабкалась на нее как могла быстрее и, увидя над собой открытое небо, помчалась, как серна, преследуемая охотником. Хотя она и прыгала с легкостью антилопы, все же ей пришлось присесть на тамариски, чтобы передохнуть. Она призадумалась, места показались ей знакомыми, как вдруг она увидела Ватека. Обеспокоенный и взволнованный халиф поднялся до зари. Увидев Нуруниар, он замер. Он не смел приблизиться к этому трепетному, бледному и оттого еще более желанному существу. Отчасти довольная, отчасти огорченная Нуруниар подняла, наконец, свои прекрасные глаза и сказала: «Господин, ты пришел есть со мною рис и слушать проповеди?» — «Дорогая тень, — вскричал Ватек, — ты говоришь! Ты все так же очаровательна, так же лучезарен твой взгляд! Может быть, ты действительно жива?» С этими словами он обнял ее, повторяя: «Но она жива, ее тело трепещет, оно дышит теплом. Что за чудо?»

Нуруниар скромно ответила: «Ты знаешь, Государь, что я умерла в ту ночь, когда ты почтил меня своим посещением. Мой двоюродный брат говорит, что это произошло от твоего ужасного взгляда, но я не верю ему; твой взгляд не показался мне таким страшным. Гюльхенруз умер вместе со мной, и мы оба были перенесены в печальную страну, где очень плохо кормят. Если ты тоже мертв и идешь к нам, я сожалею о тебе, так как карлики и аисты изведут тебя. Да и обидно для нас с тобой лишиться сокровищ подземного дворца, обещанных нам».

При словах «подземный дворец» халиф прервал ласки, зашедшие уже довольно далеко, и потребовал, чтобы Нуруниар объяснила ему, что это значит. Тогда она рассказала о видении, о том, что было затем, о своей мнимой смерти; она в таком виде описала ему страну искупления грехов, откуда убежала, что он засмеялся бы, если б не был очень серьезно занят другим. Когда она умолкла, Ватек обнял ее со словами: «Пойдем, свет моих очей, теперь все ясно: оба мы живы. Твой отец мошенник, он обманул нас, желая разлучить, а Гяур, как я понимаю, хочет, чтобы мы путешествовали вместе, и он не лучше твоего отца. По крайней мере, он не долго продержит нас в своем дворце огня. Твои прелести дороже для меня всех сокровищ древних султанов, живших до времен Адама, и я хочу обладать ими, когда пожелаю, на вольном воздухе, в течение многих лун, прежде чем зарыться под землю. Забудь маленького глупого Гюльхенруза, и...» — «Ах, Господин, не делай ему зла», — прервала Нуруниар. — «Нет, — возразил Ватек, — я уже сказал, что тебе нечего бояться за него; весь он состоит из сахара и молока, я не могу ревновать к таким; оставим его с карликами (они, между прочим, мои старинные знакомые); это общество ему более подходит, чем твое. К тому же я не вернусь к твоему отцу: я не желаю выслушивать, как он со своими бородачами будет причитать надо мной, что я нарушаю законы гостеприимства, как будто стать супругой повелителя мира для тебя меньшая честь, чем выйти за девчонку, одетую мальчиком».

Нуруниар не имела намерения осудить столь блестящую речь. Ей хотелось только, чтобы влюбленный монарх отнесся внимательнее к рубинам Джамшида, но она решила, что это еще придет, и соглашалась на все с самой привлекательной покорностью.

Наконец, халиф позвал Бабабалука, спавшего в пещере Меймунэ. Евнух видел во сне, что призрак Нуруниар снова посадил его на качели и так качает, что он то взлетает выше гор, то касается дна пропастей. Услыша голос своего повелителя, он внезапно проснулся, едва переводя дух, бросился бежать и чуть не упал в обморок, увидя тень той, которая ему только

что снилась. «О, Господин! — закричал он, отступая на десять шагов и закрывая глаза руками. — Ты откапываешь мертвых из могил? Ты занимаешься ремеслом гулов? Но не надейся съесть Нурониар; после того, что она со мной сделала, она так зла, что сама съест тебя».

«Перестань, глупец, — сказал Ватек. — Ты скоро убедишься, что я держу в своих объятиях Нурониар, вполне живую и здоровую. Вели разбить шатры в долине, здесь поблизости: я хочу поселиться тут с этим чудным тюльпаном, в которого я сумею вдохнуть жизнь и краски. Прими меры и приготовь все, что нужно для роскошной жизни, и жди новых приказаний».

Весть о прискорбном событии скоро донеслась до эмира. В отчаянии, что его военная хитрость не удалась, он предался скорби и надлежащим образом посыпал себе голову пеплом; верные старцы последовали его примеру, и весь дворец пришел в расстройство. Все было забыто; не принимали больше путешественников; не раздавали пластырей, и вместо того, чтобы заниматься благотворительностью, процветавшей здесь, обитатели ходили с вытянутыми физиономиями, охали и в горе покрывали лица грязью.

Между тем Гюльхенруз был потрясен, обнаружив отсутствие двоюродной сестры. Карлики были удивлены не менее его. Лишь Сютлемеме, более проницательная, чем они, сразу догадалась, в чем дело. Гюльхенруза убаюкивали сладкой надеждой, что они встретятся с Нурониар в тихом уголке гор, где на цветах апельсина и жасмина будет удобнее спать, чем в хижине, где они будут петь при звуках лютни и гоняться за бабочками.

Сютлемеме с жаром рассказывала об этом, когда один из четырех евнухов отозвал ее, объяснил исчезновение Нурониар и передал приказания эмира. Она тотчас же обратилась за советом к Шабану и карликам. Сложили пожитки, сели в большую лодку и спокойно поплыли. Гюльхенруз покорялся всему; но когда прибыли к месту, где озеро терялось под сводом скал, и когда въехали туда и все погрузилось в полный мрак, он страшно перепугался и пронзительно закричал, полагая, что его везут на вечную муку за слишком вольное обращение с двоюродной сестрой.

Халиф же в это время блаженствовал с царицей своего сердца. Бабабалук приказал разбить шатры и расставил у обоих входов в долину великолепные ширмы, обитые индийской тканью, под охраной вооруженных саблями эфиопских рабов. Чтобы в этом Эдеме всегда зеленела трава, белые евнухи беспрестанно поливали ее из серебряных позолоченных леек. Близ царской палатки все время веяли опахала; мягкий свет, проникавший сквозь муслин, освещал этот приют сладострастия, где халиф беспрепятственно вкушал прелести Нурониар. Упоенный наслаждением, он с восторгом слушал ее чудное пение под аккомпанемент лютни. А она восхищалась его описаниями Самарры и башни, полной чудес. Особенно нравилась ей история с шаром и с расщелиной, где жил Гяур у своего эбенового портала.

День протекал в этих разговорах, а ночью влюбленные купались вместе в большом бассейне черного мрамора, прекрасно оттенявшем белизну тела Нурониар. Бабабалук, чье расположение красавица успела завоевать, заботился, чтобы обеды были как можно утонченнее; каждый день подавали какие-нибудь новые блюда; он велел разыскать в Ширазе дивное пенистое вино, хранившееся в погребах со времен Магомета. В маленьких печках, устроенных в утесах, пекли на молоке хлебцы, которые Нурожиар замешивала своими нежными ручками; от этого они так нравились Ватеку, что он забыл все рагу, приготовлявшиеся некогда его другими женами, и теперь бедные покинутые женщины изнывали в тоске у эмира.

Султанша Дилара, до сих пор бывшая первой его любимицей, отнеслась к этому со страстностью, присущей ее характеру. За время, пока она была в милости у халифа, она успела проникнуться его сумасбродными идеями и горела желанием увидеть гробницы Истахара и дворец сорока колонн; к тому же, воспитанная магами, она радовалась, что халиф

готов предаться культу огня⁴³, и ее вдвойне удручало теперь, что он ведет сладострастную и праздную жизнь с ее соперницей. Мимолетное увлечение Ватека благочестием сильно встревожило ее; но это еще ухудшало дело. Итак, она решила написать царице Каратис, что дела плохи, что явно пренебрегают велениями пергамента, что ели, пользовались ночлегом и устроили переполох у старого эмира, святость которого весьма опасна, и что нет более вероятия добыть сокровища древних султанов. Это письмо она доверила двум дровосекам, работавшим в большом лесу на горе; идя кратчайшим путем, они явились в Самарру на десятый день.

Когда прибыли гонцы, царица Карагис играла в шахматы с Мораканабадом. Уже несколько недель не навещала она вершины башни: светила на вопросы о сыне давали ответы, казавшиеся ей неясными. Сколько ни совершала она воскурений, сколько ни лежала на крыше, ожидая таинственных видений, ей снились лишь куски парчи, букеты и тому подобные пустяки. Все это приводило ее в уныние, от которого не помогали никакие снадобья собственного изготовления, и последним ее прибежищем был Мораканабад, простой хороший человек, полный благородной доверчивости; но его жизнь при ней была не особенно сладка.

Так как о Ватке ничего не было известно, то на его счет распространяли тысячи смешных историй. Понятно, с какой живостью вскрыла Каратис письмо и в какое впала бешенство, когда прочла о малодушном поведении сына. «О, — сказала она, — или я погибну, или он проникнет во дворец пламени; пусть я сгорю в огне, лишь бы Ватек воссел на трон Сулеймана!» При этом она сделала такой ужасный прыжок, что Мораканабад в страхе отскочил; она приказала приготовить своего большого верблюда Альбуфаки, позвать отвратительную Неркес и безжалостную Кафур. «Я не хочу иной свиты, — сказала она везиру, — я еду по неотложным делам, значит, не нужно пышности; ты будешь заботиться о народе; обирай его хорошенько в моем отсутствии; у нас большие расходы, и неизвестно еще, что из этого выйдет».

Ночь была очень темная, с равнины Катула дул нездоровый ветер; он устроил бы любого путника, сколь важно ни было бы его дело, но Каратис нравилось все мрачное. Неркес была того же мнения, а Кафур имела особенное пристрастие к зараженному воздуху. Утром это милое общество в сопровождении двух дровосеков остановилось у берега большого болота, откуда подымался смертоносный туман, который оказался бы губительным для всякого животного, только не для Альбуфаки, легко и с удовольствием вдыхавшего эти вредные испарения. Крестьяне умоляли женщин не ложиться спать в этом месте. «Спать! — воскликнула Каратис. — Прекрасная мысль! Я сплю только для того, чтобы иметь во сне видения, а что касается моих служанок, у них слишком много дела, чтобы закрывать свой единственный глаз». Беднякам становилось не по себе в этом обществе; им оставалось только изумляться.

Каратис и негрityнки, сидевшие на крупе верблюда, слезли; раздевшись почти догола, они бросились под палящим зноем за ядовитыми травами, в изобилии росшими по краям болота. Эти припасы предназначались для семьи эмира и для всех, кто мог сколько-нибудь помешать путешествию в Истахар. Три страшных призрака, бегавших по берегу среди бела дня, навели ужас на дровосеков; им не очень нравилось также общество Альбуфаки. Но еще хуже было то, что Каратис приказала трогаться в путь в полдень, когда от жара чуть не лопались камни; можно было многое возразить, но пришлось повиноваться.

Альбуфаки очень любил пустыню и каждый раз фыркал, замечая признаки жилья, а Каратис, баловавшая его по-своему, тотчас сворачивала в сторону. Таким образом, крестьяне не могли поехать в продолжение всего пути. Козы и овцы, которых, казалось, посылало им

⁴³ ... воспитанная магами, она радовалась, что халиф готов предаться культу огня... — Культ огня характерен для зороастризма, господствовавшего в Иране до арабского завоевания и насильственной исламизации. Магами назывались жрецы этой религии. Арабы-мусульмане, искоренявшие зороастризм, рассматривали религию магов-огнепоклонников («парсизм») как величайшее нечестие.

Провидение и чье молоко могло бы освежить их, убегали при виде отвратительного животного и его странных седоков. Сама Каратис не нуждалась в обыкновенной пище, так как с давних пор она довольствовалась опиатом собственного изобретения, которым делилась и со своими немymi любимицами.

С наступлением ночи Альбуфаки вдруг остановился и топнул ногой. Каратис, зная его замашки, поняла, что, вероятно, по соседству кладбище. Действительно, в бледном свете луны виднелась длинная стена и в ней полуоткрытая дверь, настолько высокая, что Альбуфаки мог в нее пройти. Несчастные проводники, чувствуя, что подходит их смертный час, смиренно попросили Каратис похоронить их так, как ей будет угодно это сделать, и отдали богу душу. Неркес и Кафур по-своему насмеялись над глупостью этих людей, кладбище им очень понравилось, и они нашли, что гробницы имеют приятный вид; на склоне холма их было по крайней мере две тысячи. Каратис, слишком занятая своими грандиозными замыслами, чтобы останавливаться на таком зрелище, как бы ни было оно приятно для глаз, решила извлечь выгоду из своего положения. «Наверно, — говорила она себе, — такое прекрасное кладбище часто посещается гулами; эти гулы не лишены ума; так как я по оплошности дала умереть своим глупым проводникам, спрошу-ка я дорогу у гулов, а чтоб их привлечь, приглашу их отведать свежего мяса». Затем она объяснилась жестами с Неркес и Кафур и приказала им пойти постучать по могилам и посмотреть, что будет.

Негритянки, довольные этим приказом и рассчитывая на приятное общество гулов, удалились с победоносным видом и принялись постукивать по могилам. В ответ из-под земли послышался глухой шум, песок зашевелился, и гулы, привлеченные запахом свежих трупов, полезли отовсюду, обнюхивая воздух. Все они собрались к гробнице белого мрамора, где сидела Каратис и лежали тела ее несчастных проводников. Царица приняла гостей с отменной вежливостью; поужинав, стали говорить о делах. Она скоро узнала все, что ей было нужно, и, не теряя времени, решила отправиться в путь; негритянки, завязавшие любовные шашни с гулами, знаками умоляли Каратис подождать хоть до рассвета, но Каратис была сама добродетель и заклятый враг любви и нежностей; она не вняла их мольбе и, взобравшись на Альбуфаки, приказала как можно скорее садиться. Четыре дня и четыре ночи они были в пути, нигде не останавливаясь. На пятый переправились через горы и проехали наполовину сожженными лесами, а на шестой прибыли к роскошным ширмам, укрывавшим от нескромных взоров сластолюбивые заблуждения ее сына.

Всходило солнце; стражи беспечно храпели на постах; топот Альбуфаки внезапно пробудил их; им показалось, что это явились выходцы из царства тьмы, и в страхе они бесцеремонно удрали. Ватек с Нурониар сидел в бассейне; он слушал сказки и издевался над рассказывавшим их Бабабалуком. Встревоженный криками телохранителей, он выскочил из воды, но скоро вернулся, увидев, что это Каратис; все еще сидя на Альбуфаки, она приближалась со своими негритянками, рвала в клочья муслин и другие тонкие ткани занавесей. Нурониар, совесть которой была не совсем покойна, подумала, что наступил час небесного мщения, и страстно прижалась к халифу. Тогда Каратис, не слезая с верблюда и кипя от бешенства при виде представшего пред ее целомудренным взором зрелища, разразилась беспощадной бранью. «Чудовище о двух головах и четырех ногах, — воскликнула она, — что это за штуки? Не стыдно тебе променять на девчонку скипетр древних султанов? Так из-за этой-то нищенки ты безрассудно пренебрег повелениями Гяура? С ней-то ты тратишь драгоценные часы? Так вот какой плод ты извлекаешь из всех познаний, которыми я тебя снабдила! Разве это цель твоего путешествия? Прочь из объятий этой дурочки; утопи ее в бассейне и следуй за мной».

В первый момент гнева у Ватека было желание вспороть брюхо Альбуфаки, набить его негритянками вместе с самой Каратис, но мысль о Гяуре, о дворце Истахара, о саблях и талисманах молнией блеснула в его уме. Он сказал матери учтиво, но решительно: «Страшная женщина, я повинуюсь тебе; Нурониар же я не утоплю. Она слаще засахаренного мираболана; она очень любит рубины, особенно рубин Джамшида, который ей обещан; она отправится с нами, ибо я хочу, чтобы она спала на диванах Сулеймана; без нее я лишаюсь

сна». — «В добрый час!» — ответила Каратис, слезая с Альбуфаки, которого передала негритянкам.

Нурониар, не желавшая расставаться со своей добычей, успокоилась немного и нежно сказала халифу: «Дорогой повелитель моего сердца, я последую за тобой, если нужно, и до Кафа, в страну афритов; я не побоюсь для тебя залезть в гнездо Симурга, который после твоей матери — самое почтенное создание в мире». — «Вот, — сказала Каратис, — молодая женщина, не лишенная мужества и познаний». Это было верно, но, несмотря на всю свою твердость, Нурониар не могла иногда не вспоминать о славном маленьком Гюльхенрузе и о днях любви, проведенных с ним; несколько слезинок затуманили ее глаза, что не ускользнуло от халифа; по оплошности она даже сказала вслух: «Увы, мой милый брат, что будет с тобой?» При этих словах Ватек нахмурился, а Каратис воскликнула: «Что это за гримасы? Что она говорит?» Халиф ответил: «Она некстати вздыхает о маленьком мальчике с томным взглядом и мягкими волосами, который любил ее». — «Где он? — перебила Каратис. — Я хочу познакомиться с этим красавчиком; я намерена, — прибавила она совсем тихо, — перед отъездом помириться с Гяуром; сердце хрупкого ребенка, впервые отдающегося любви, будет для него самым лакомым блюдом».

Выйдя из бассейна, Ватек приказал Бабабалуку собрать людей, женщин и прочую подвижность своего сераля и приготовить все к отъезду через три дня. Каратис удалилась в одиночестве в палатку, где Гяур забавлял ее обнадеживающими видениями. Проснувшись, она увидела у своих ног Неркес и Кафур; знаками они объяснили ей, что водили Альбуфаки на берег маленького озера, чтобы он пощипал серого мху, довольно ядовитого, и видели там таких же голубоватых рыбок, как в резервуаре на Самаррской башне. «О, — сказала она, — я должна сию же минуту отправиться туда; посредством одного приема я заставлю этих рыб предсказать мне будущее; они мне многое сообщат, и от них я узнаю, где Гюльхенруз, которого я непременно хочу принести в жертву». И она тронулась в путь со своей черной свитой.

Дурные дела делаются быстро, и Каратис со своими негритянками скоро оказалась у озера. Они зажгли волшебные снадобья, имевшиеся всегда при них, разделись догола и вошли по горло в воду. Неркес и Кафур потрясали зажженными факелами, а Каратис произносила заклинания. Рыбы высунули из воды головы, усиленно волнуя ее плавниками, под влиянием колдовской силы жалобно разинули рты и сказали в один голос: «Мы преданы тебе от головы до хвоста, что тебе от нас нужно?» — «Рыбы, — сказала Каратис, — заклинаю вас вашей блестящей чешуей, скажите мне, где маленький Гюльхенруз?» — «По ту сторону этой скалы, госпожа, — ответили хором рыбы, — довольна ли ты? Нам трудно быть долго на воздухе с открытым ртом». — «Да, — ответила царица, — я сама вижу, что вы не привыкли к длинным речам; я оставляю вас в покое, хотя у меня есть к вам много других вопросов». На этом разговор кончился. Вода утихла, и рыбы скрылись.

Каратис, напитанная ядом своих замыслов, тотчас взобралась на скалу и увидела милого Гюльхенруза в тени дерев; рядом с ним сидели карлики и бормотали свои молитвы. Эти маленькие люди обладали даром чутко приближение недругов добрых мусульман; разумеется, они тотчас почувствовали Каратис; та внезапно остановилась, подумав про себя: «Как мягко склонил он свою маленькую головку! Именно такой ребенок нужен мне». Карлики прервали эти благородные размышления, бросились на нее и стали царапать изо всех сил. Неркес и Кафур тотчас кинулись на защиту своей госпожи и принялись так щипать карликов, что те отдали богу душу, прося Магомета отомстить этой злой женщине и всему ее роду.

От шума этой странной битвы Гюльхенруз проснулся, сделал отчаянный прыжок, взлез на смоковницу и, добравшись до вершины скалы, побежал что было сил; измученный, он упал замертво на руки доброго старого гения, нежно любившего детей и охранявшего их. Этот гений, обходя дозором воздушные просторы, ринулся на жестокого Гяура, когда тот рычал в своей страшной расселине, и отнял у него пятьдесят маленьких мальчиков, которых Ватек в своем нечестии принес ему в жертву. Он воспитывал своих питомцев в заоблачных

гнездах, а сам жил в самом большом гнезде, которое отвоевал у грифов.

Эти безопасные убежища охранялись от дивов и афритов развевающимися знаменами, на которых были написаны блестящими золотыми буквами имена Аллаха и Пророка. Гюльхенруз, не разубедившийся еще в своей мнимой смерти, решил, что он в убежище вечного мира. Он без боязни отдавался ласкам своих маленьких друзей; все они собрались в гнездо почтенного гения и наперерыв целовали гладкий лоб и прекрасные глаза нового товарища. Тут, вдали от земной суеты, от бесчинства гаремов, от грубости евнухов и от непостоянства женщин, он нашел себе истинное прибежище. Он был счастлив, как и его товарищи; дни, месяцы, годы протекали в их мирном обществе. Взамен бренного богатства и суетных знаний гений наделял своих питомцев даром вечного детства.

Каратис, не привыкшая выпускать из рук добычи, страшно разгневалась на негрityнок; вместо того, чтобы развлекаться с ненужными карликами, которых они защищали до смерти, они должны были сразу схватить ребенка. Ворча она вернулась в долину. Ватек спал еще со своей красавицей, и она излила на них свое дурное настроение; тем не менее она утешала себя мыслью, что завтра они тронутся в Истахар, и при посредстве Гяура она познакомится с самим Эблисом⁴⁴. Но судьба решила иначе.

Под вечер царица позвала к себе Дилару, очень нравившуюся ей, и долго с нею беседовала. Вдруг явился Бабабалук с известием, что небо со стороны Самарры объято пламенем и, по-видимому, случилось какое-то несчастье. Тотчас она взялась за астрольбии и за свои колдовские инструменты, смерила высоту планет, сделала вычисления и, к крайнему огорчению, узнала, что в Самарре грозный мятеж, что Мотавекель, воспользовавшись тем, что его брат возбуждал всеобщий ужас, возмутил народ, овладел дворцом и осадил башню, куда Мораканабад отступил с небольшим числом оставшихся верными сторонников. «Как! — воскликнула она. — Я лишусь своей башни, своих негрityнок, немых, мумий, а главное, лаборатории, которая стоила мне стольких трудов, а еще неизвестно, добьется ли чего-нибудь мой безрассудный сын! Нет, я не дам себя одурачить; сейчас же отправлюсь на помощь Мораканабаду; со своим страшным искусством мы осыпем восставших дождем гвоздей и раскаленного железа; я выпущу своих змей и скатов, что живут под высокими сводами башни и голодом доведены до ярости, и мы посмотрим, смогут ли они сопротивляться нам». С этими словами Каратис побежала к сыну, спокойно пировавшему с Нурониар в своем роскошном алом шатре. «Обжора, — сказала она ему, — если бы не моя бдительность, ты скоро сделался бы повелителем паштетов; твои правоверные нарушили присягу, данную тебе; твой брат Мотавекель овладел троном и царствует сейчас на холме Пегих Лошадей, и если б у меня не было кое-какой помощи в башне, он не скоро отказался бы от своей добычи. Но чтобы не терять времени, я скажу тебе всего три слова: складывай палатки, трогайся нынче же вечером и не останавливайся нигде по пустякам! Хотя ты и нарушил повеления пергамента, не все еще потеряно, ибо, надо сознаться, ты премило нарушил законы гостеприимства, соблазнив дочь эмира в благодарность за его хлеб-соль. Эти выходки, наверно, понравились Гяуру, и если дорогой ты совершишь еще какое-нибудь маленькое преступление, все обойдется отлично: ты с триумфом войдешь во дворец Сулеймана. Прощай! Альбуфаки и негрityнки ждут меня у дверей».

Халиф не нашелся ответить ни слова на все это; он пожелал матери счастливого пути и закончил свой ужин. В полночь тронулись при звуках труб. Но как ни старались музыканты, из-за грома литавр все же слышались вопли эмира и его бородачей, которые от слез ослепли и повырывали себе все волосы в знак горя. Эта музыка расстраивала Нурониар, и она была очень довольна, когда за дальностью расстояния ничего уже не стало слышно. Она возлежала с халифом в царских носилках, и они забавлялись тем, что представляли себе, какую пышностью будут скоро окружены. Остальные женщины грустно сидели в своих

⁴⁴ ...познакомится с самим Эблисом. — Эблис — дьявол мусульманской мифологии (Люцифер), глава падших ангелов, ослушавшийся бога, отказавшись, по своей гордости, преклониться перед Адамом (D'HerBelot, p. 307).

паланкинах, а Дилара терпеливо ждала, размышляя, как будет предаваться культу огня на величественных террасах Истахара.

Через четыре дня прибыли в веселую долину Рохнабада. Весна была в полном разгаре; причудливые ветви цветущего миндаля вырезались на сияющем голубом небе. Земля, усеянная гиацинтами и нарциссами, сладко благоухала; здесь жили тысячи пчел и почти столько же аскетов. По берегу ручья чередовались ульи и часовни, чистота и белизна которых еще ярче выделялась на темной зелени высоких кипарисов. Набожные отшельники занимались разведением маленьких садов, изобиловавших фруктами и, в особенности, мускусными дынями, лучшими в Персии. На лугу некоторые из них забавлялись кормлением белоснежных павлинов и голубых горлинок. Среди таких занятий их застал авангард царского каравана. Всадники закричали: «Жители Рохнабада, повергнитесь ниц по берегам ваших светлых источников и благодарите небо, посылающее вам луч своей славы, ибо вот приближаете» Повелитель правоверных!»

Бедные аскеты, исполненные священного рвения, поспешно зажгли в часовнях восковые свечи, развернули свои Кораны на эбеновых аналоях и вышли навстречу халифу с корзиночками фиг, меда и дынь. Пока они торжественно, мерными шагами приближались, лошади, верблюды и стражи безжалостно топтали тюльпаны и другие цветы. Аскеты не могли отнестись к этому равнодушно и то бросали скорбные взоры на разорение, то смотрели на халифа и на небо. Нурониар, в восторге от чудных мест, напоминавших ей дорогие сердцу места ее детства, попросила Ватек остановиться. Но халиф, полагая, что в глазах Гяура все эти маленькие часовни могут сойти за жилье, приказал своим воинам разрушить их. Отшельники остоленели, когда те принялись исполнять это варварское приказание; они горько плакали, а Ватек велел евнухам гнать их пинками. Здесь вместе с Нурониар халиф вышел из носилок, и они стали гулять по лугу, собирая цветы и болтая, однако пчелы, как добрые мусульманки, решили отомстить за своих хозяев отшельников и с таким ожесточением принялись жалить их, что близость носилок оказалась более чем кстати.

Дородность павлинов и горлиц не укрылась от Бабабалука, и он приказал изжарить на вертеле и сварить несколько дюжин. Халиф и его приближенные ели, смеялись, чокались, вволю богохульствовали, когда муллы, шейхи, хедивы и имамы Шираза, вероятно не встретив отшельников, прибыли с ослами, украшенными венками цветов, лентами и серебряными колокольчиками и нагруженными всем, что было лучшего в стране. Они принесли свои дары халифу, умоляя его оказать честь их городам и мечетям своим посещением. «О, — сказал Ватек, — от этого я воздержусь; я принимаю ваши приношения и прошу оставить меня в покое, ибо я не люблю бороться с искушениями; но так как неприлично, чтобы такие почтенные люди, как вы, возвращались пешком, и так как вы, по-видимому, неважные наездники, то мои евнухи из предосторожности привяжут вас к нашим ослам и в особенности примут меры, чтобы вы не поворачивались ко мне спиной, они ведь знают этикет». Среди приехавших были смелые шейхи; они решили, что Ватек сошел с ума, и вслух высказали свое мнение. Бабабалук позаботился хорошенько прикрутить их к седлам; ослов подстегнули терновником, они помчались галопом, забавно брыкаясь и толкая друг друга. Нурониар с халифом от души наслаждались этим недостойным зрелищем; они громко хохотали, когда старики падали со своими ослами в ручей, и одни вставали хромыми, другие лишались рук, третьи вышибали себе передние зубы и даже хуже.

В Рохнабаде общество провело два очень приятных дня, которые не были испорчены появлением новых посольств. На третий день они тронулись в путь. Шираз остался справа. Они достигли большой равнины, на краю которой над горизонтом показались черные вершины гор Истахара.

Вне себя от восторга халиф и Нурониар выскочили из носилок с радостными восклицаниями, чем удивили всех, кто их слышал. «Куда мы направляемся, — спрашивали они друг друга, — во дворцы, блистающие светом, или в сады, более восхитительные, чем в Шеддаде?» Бедные смертные! — так терялись они в догадках: бездна тайн Всемоущего была скрыта от них.

Между тем добрые гении, наблюдавшие еще немного за поведением Ватека, поднялись на седьмое небо к Магомету и сказали ему: «Милосердый Пророк, подай руку помощи твоему Наместнику, или он безвозвратно запутается в сетях, которые расставили ему наши враги дивы; Гяур поджидает его в отвратительном дворце подземного огня; если он туда войдет, он погиб навсегда». Магомет с негодованием ответил: «Он слишком заслужил быть предоставленным самому себе; однако я разрешаю вам сделать последнее усилие, чтобы спасти его».

Тотчас добрый гений принял вид пастуха, более прославленного своей набожностью, чем все дервиши и аскеты страны; он сел на склоне небольшого холма, близ стада белых овец и стал наигрывать на никому неведомом инструменте напевы, трогательная мелодия которых, проникала в душу, пробуждала угрызения совести и прогоняла суетные мысли. От этих мощных звуков солнце покрылось темными тучами и кристально прозрачные воды маленького озера стали краснее крови. Все, кто был в пышном караване халифа, помимо своей воли устремились к холму; все в печали опустили глаза; все укоряли себя за зло, содеянное в жизни; у Дилары билось сердце, а начальник евнухов с сокрушенным видом просил прощения у женщин, которых часто мучил для собственного удовольствия.

Ватек и Нурониар побледнели и, угрюмо взглянув друг на друга, вспомнили с горьким раскаянием: он — о множестве совершенных им мрачнейших преступлений, о своих нечестивых и властолюбивых замыслах, а она — о своей разрушенной семье, о погибшем Гюльхенрузе. Нурониар казалось, что в этих роковых звуках слышатся крики умирающего отца, а Ватеку мерещились рыдания пятидесяти детей, которых он принес в жертву Гяуру. В этом душевном смятении их неудержимо влекло к пастуху. В его облике было нечто столь внушительное, что Ватек в первый раз в жизни смутился, а Нурониар закрыла лицо руками. Музыка смолкла, и гений обратился к халифу со словами: «Безумный властитель, которому провидение вручило заботы о народе! Так-то ты исполняешь свои обязанности? Ты превзошел меру преступлений, а теперь ты спешишь за возмездием? Ты знаешь, что за этими горами — мрачное царство Эблиса и проклятых дивов, и, соблазненный коварным призраком, ты отдаешься в их власть! Тебе предлагают в последний раз помощь; оставь свой отвратительный замысел, возвратись, отдай Нурониар отцу, в котором еще теплится жизнь, разрушь башню со всеми ее мерзостями, не слушай советов Каратис, будь справедлив к подданным, уважай посланников Пророка, загладь свое беззаконие примерной жизнью и вместо того, чтоб предаваться сладострастию, покайся в слезах на могилах своих благочестивых предков! Видишь ты тучи, что закрывают солнце? Если твое сердце не смягчится, то в час, когда небесное светило появится вновь, рука милосердия уже не протянется к тебе».

В страхе и нерешительности Ватек готов был броситься к ногам пастуха, в котором почувствовал нечто, превосходящее человеческое, но гордость одержала верх, и, дерзко подняв голову, он метнул на него свой страшный взгляд. «Кто бы ты ни был, — ответил он, — довольно! Оставь свои бесполезные советы. Или ты хочешь обмануть меня, или сам обманываешься: если то, что я сделал, так преступно, как ты утверждаешь, то для меня нет и капли милосердия; я пролил море крови, чтобы достичь могущества, которое заставит трепетать тебе подобных; не надейся, что я отступлю, дойдя до самой цели, или что брошу ту, которая для меня дороже жизни и твоего милосердия. Пусть появится солнце, пусть освещает мой путь, мне все равно, куда бы он ни привел!» От этих слов вздрогнул сам гений, а Ватек бросился в объятия Нурониар и велел двигаться вперед.

Нетрудно было исполнить это приказание; наваждение исчезло, солнце заблестало вновь, и пастух скрылся с жалобным криком. Но роковое впечатление от музыки гения все же осталось в сердцах большинства людей Ватека; они с ужасом глядели друг на друга. С наступлением ночи все разбежались, и из многочисленной свиты остался лишь начальник евнухов, несколько беззаветно преданных рабов, Дилара и кучка женщин, принадлежавших, как и она, к религии магов.

Халиф, пожираемый горделивым желанием предписывать законы силам тьмы, мало

огорчился этим бегством. Волнение крови мешало ему спать, и он не расположился лагерем, как обыкновенно. Нурониар, нетерпение которой чуть ли не превышало нетерпение халифа, торопила его и расточала нежнейшие ласки, чтобы окончательно помутить его разум. Она мнила уже себя могущественнее, чем Валкис⁴⁵, и представляла себе, как гении повергнутся ниц пред ступенями ее трона. Таким образом подвигались они при свете луны и увидели, наконец, две высоких скалы, которые образовали как бы портал у входа в небольшую долину, замыкавшуюся вдали обширными развалинами Истахара. Высоко с горы смотрели многочисленные гробницы царей; мрак ночи усиливал жуткое впечатление от этой картины. Миновали два городка, почти совершенно покинутых. В них осталось лишь несколько дряхлых старцев; увидя лошадей и носилки, они бросились на колени, восклицая: «О, боже, снова эти призраки, мучающие нас уже шесть месяцев! Увы! все жители, напуганные странными привидениями и шумом в недрах гор, покинули нас на произвол злых духов!» Эти жалобы показались халифу дурным предзнаменованием; он растоптал бедных старцев своими лошадьми и прибыл наконец к подножию большой террасы из черного мрамора. Там он и Нурониар вышли из носилок. С бьющимися сердцами, блуждающим взором осматривали они все вокруг и с невольной дрожью ждали появления Гяура; но ничто не указывало на его присутствие. Зловещее молчание царило в воздухе и на горах. Луна отбрасывала на большую террасу тени огромных колонн, подымавшихся чуть не до облаков. На этих унылых маяках, число которых казалось безмерным, не было крыш, и их капители, неизвестного в летописях земли стиля, служили прибежищем ночных птиц, которые, испугавшись приближения людей, с карканьем скрылись.

Главный евнух, цепenea от ужаса, умолял Ватек разрешить зажечь огонь и что-нибудь поесть. «Нет, нет, — ответил халиф, — некогда думать о подобных вещах; сиди смирно и жди приказаний!» Он сказал это решительным тоном и подал руку Нурониар. Взойдя по ступеням большой лестницы, они очутились на террасе, вымощенной мраморными плитами, подобной гладкому озеру, где не могла пробиться никакая травка. Направо шли маяки, стоявшие перед развалинами громадного дворца, стены которого были покрыты разными изображениями; прямо виднелись внушавшие ужас гигантские статуи четырех животных, похожих на грифов и леопардов; неподалеку от них при свете луны, освещавшей особенно ярко это место, можно было различить надписи, напоминавшие те, что были на саблях Гяура; они также постоянно менялись; когда, наконец, они приняли очертания арабских букв, халиф прочитал: «Ватек, ты не исполнил велений моего пергамента; ты заслуживаешь, чтобы я отослал тебя назад; но из уважения к твоей спутнице и во внимание к тому, что ты сделал, чтобы получить обещанное, Эблис позволяет отворить пред тобой двери своего дворца и принять тебя в число поклонников подземного пламени».

Едва он прочел эти слова, как гора, к которой примыкала терраса, содрогнулась и маяки чуть не обрушились им на головы. Скала полураскрылась, и в ее недрах появилась гладкая мраморная лестница; казалось, она спускается в бездну. На ступенях стояли по две свечи, похожих на те, что видела Нурониар в своем видении; камфарный дым их поднимался клубами к своду.

Это зрелище не испугало дочери Факреддина, — напротив, придавало ей мужества; она не удостоила даже проститься с луной и небом и без колебания покинула чистый воздух, чтобы спуститься в адские испарения. Оба нечестивца шли гордо и решительно. Сходя при ярком свете этих факелов, они восхищались друг другом и в ослеплении своим величием готовы были принять себя за небесные существа. Единственное, что внушало им тревогу, было, что ступеням лестницы не видно было конца. В пламенном нетерпении они так спешили, что скоро спуск их стал походить на стремительное падение в бездну; наконец, у

⁴⁵ ... могущественнее, чем Балкис... — Балкис — царица Савская, согласно библейской легенде прибывшая из своей страны (южной Аравии), чтобы подивиться мудрости царя Соломона и испытать его загадками. Уезжая, она одарила его «золотом из Офира» и множеством драгоценных камней. По мусульманской легенде, она вступила в брак с Соломоном (D'Herbelot, p. 182).

большого эбенового портала они остановились: халиф тотчас узнал его; тут ждал их Гяур с золотым ключом. «Добро пожаловать — на зло Магомету и его приспешникам, — сказал он с отталкивающей улыбкой, — сейчас я введу вас во дворец, где вы честно заслужили себе место». С этими словами он дотронулся своим ключом до эмалевого замка, и тотчас обе половинки двери раскрылись с шумом, подобным грохоту летнего грома, и с таким же шумом закрылись, лишь только они вошли.

Халиф и Нурониар взглянули друг на друга с удивлением. Хотя помещение, где они находились, было покрыто сводом, оно казалось настолько обширным и высоким, что сначала они приняли его за огромную равнину. Когда глаза их присмотрелись, наконец, к размерам предметов, они разобрали ряды колонн и арок; постепенно уменьшаясь на расстоянии, они вели к лучистой точке, подобной солнцу, бросающему на поверхность моря свои последние лучи. Пол, усыпанный золотым порошком и шафраном, издавал такой острый запах, что у них закружилась голова. Они все же подвигались вперед и заметили множество курильниц с серой, амброй и алоэ. Между колоннами стояли столы, уставленные бесчисленными яствами всех сортов и пенящимися винами в хрустальных сосудах. Толпы джиннов и других летающих духов обоего пола танцевали сладострастные танцы под звуки музыки, раздававшейся откуда-то снизу.

В этой огромной зале прогуливались множество мужчин и женщин, державших правую руку у сердца; они казались занятыми лишь собою и хранили глубокое молчание. Все они были бледны, как трупы, и глубоко сидящие глаза их блестели фосфорическим светом, какой можно видеть по ночам на кладбищах. Одни были погружены в глубокую задумчивость, другие в бешенстве металась из стороны в сторону, как тигры, раненные отравленными стрелами; они избегали друг друга; и хотя их была целая толпа, все блуждало наугад, как бы в полном одиночестве.

При виде этого мрачного сборища Ватек и Нурониар похолодели от ужаса. Они настойчиво спрашивали у Гяура, что это такое и почему странствующие призраки все время держат правую руку у сердца. «Нечего теперь думать об этом, — резко ответил он, — скоро все узнаете; надо скорей представиться Эблису». И они продолжали пробираться вперед, но, несмотря на свою прежнюю самоуверенность, у них уже не хватало мужества обращать внимание на анфилады зал и галерей, открывавшихся направо и налево; все они были освещены пылающими факелами и светом костров, пирамидальное пламя которых достигало до самого свода. Наконец, они пришли к месту, где пышные портьеры из ярко-малиновой парчи, расшитой золотом, падали со всех сторон в величественном беспорядке. Тут не было больше слышно музыки и танцев; свет, казалось, проникал сюда издалека.

Ватек и Нурониар раздвинули складки занавесей и вошли в обширное святилище, устланное леопардовыми шкурами. Множество старцев с длинными бородами, африты в полном вооружении лежали ниц у ступеней возвышения, где на огненном шаре сидел грозный Эблис. Он казался молодым человеком лет двадцати; правильные и благородные черты его лица как бы поблекли от вредоносных испарений. В его огромных глазах отражались отчаяние и надменность, а волнистые волосы отчасти выдавали в нем падшего Ангела Света. В нежной, но почерневшей от молний руке он держал медный скипетр, пред которым трепетали чудовищный Уранбад⁴⁶, африты и все силы тьмы.

Халиф растерялся и повергся ниц. Нурониар, несмотря на все свое волнение, была очарована красотой Эблиса, ибо она ожидала увидеть, ужасного исполина. Голосом, более мягким, чем можно было предположить, но вселявшим глубокую печаль, Эблис сказал им: «Сыны праха, я принимаю вас в свое царство. Вы из числа моих поклонников; пользуйтесь всем, что видите во дворце, — сокровищами древних султанов, живших до времен Адама, их волшебными разящими саблями и талисманами, которые заставят дивов открыть вам

⁴⁶ ... чудовищный Уранбад... — сказочное чудовище вроде дракона, живущее на горе Ахермана (D'HerBelot, p. 915).

подземелья горы Каф, сообщающиеся с этими. Там вы найдете многое, что может удовлетворить ваш ненасытный любопытство. Вы сможете проникнуть в крепость Ахермана и в залы Ардженка⁴⁷, где находятся изображения всех разумных тварей и животных, живших на земле до сотворения презренного существа, которого вы называете отцом людей».

Эта речь утешила и успокоила Ватека и Нурониар. Они с живостью сказали Гяуру: «Показывай же нам скорее драгоценные талисманы!» — «Идем, — отвечал злой Див с коварной усмешкой, — идем, вы получите все, что обещал вам Повелитель, и даже больше». И Гяур повел их длинным проходом, сообщавшимся со святилищем; он шел впереди большими шагами, а бедные новообращенные с радостью следовали за ним. Они вошли в обширную залу с высоким куполом, по сторонам которой находилось пятьдесят бронзовых дверей, запертых стальными цепями. Здесь, царила мрачная темнота, а на нетленных кедровых ложах были расprostерты иссохшие тела знаменитых древних царей преадамитов, некогда повелителей всей земли. В них теплилось еще достаточно жизни, чтобы чувствовать безнадежность своего состояния; глаза их сохраняли печальную подвижность; они в тоске переглядывались, прижимая правую руку к сердцу. У ног их виднелись надписи, сообщавшие об их царствованиях, могуществе, гордости и преступлениях. Солиман Раад, Солиман Даки и Солиман по прозванию Джиан бен Джиан, султаны, заключившие дивов в темницы пещеры на горе Каф и ставшие столь самонадеянными, что усомнились в существовании Высшего Начала, составляли там почетный ряд и, однако, находились ниже пророка Сулеймана бен Дауда.

Этот царь, славившийся своей мудростью, возлежал выше всех, под самым куполом. Казалось, жизни в нем было больше, чем в других, и хотя время от времени он глубоко вздыхал и держал правую руку у сердца, как и другие, его лицо было покойнее, и казалось, что он прислушивается к шуму черного водопада, видневшегося сквозь решетки одной из дверей. Лишь водопад один нарушал безмолвие этих унылых мест. Ряд медных сосудов окружал возвышение. «Сними крышки с этих каббалистических хранилищ, — сказал Гяур Ватеку, — вынь оттуда талисманы, они откроют тебе эти бронзовые двери, и ты станешь властелином сокровищ, запертых там, и повелителем охраняющих их духов!»

Халиф, подавленный этими зловещими приготовлениями, нетвердой поступью подошел к сосудам и оцепенел от страха, услышав стоны Сулеймана, которого в первый момент растерянности принял за труп. Пророк явственно произнес своими синеватыми губами следующие слова: «При жизни я восседал на пышном троне. По правую руку от меня стояло двенадцать тысяч золотых сидений, где патриархи и пророки внимали моим поучениям; слева на стольких же серебряных тронах мудрецы и ученые присутствовали при отправлении мною правосудия. Пока таким образом я разбирал дела бесчисленного множества подданных, птицы тучей кружились над моей головой, служа мне защитой от солнца. Мой народ благоденствовал; мои дворцы вздымались к небесам; храм Всевышнему, выстроенный мной, стал одним из чудес света. Но я малодушно поддался увлечению женщинами и любопытству, которое не ограничилось подлунными делами. Я послушался советов Ахермана и дочери Фараона; я поклонялся огню и небесным светилам, и, покинув священный город, я приказал гениям выстроить пышные дворцы Истахара и террасу маяков, каждый из них посвящая одной из звезд. Там в течение некоторого времени я всем своим существом наслаждался блеском трона и сладострастием; не только люди, но и гении были подвластны мне. Я начал думать, как и эти несчастные цари, среди которых я лежу, что

⁴⁷ ... проникнуть в крепость Ахермана и в залы Ардженка. — Ахерман, Ахриман (Ариман) — злое божество дуалистической религии зороастрийцев, враждебное доброму божеству Ормузду (Ахура Мазда). На горе Ахермана собирались злые духи (D'HerBelot, p. 71). Див Ардженк, современник султанов-преадамитов, хранил в своем дворце на горе Каф скульптурные изображения 72 султанов-преадамитов, а также живых существ, которые были его подданными, — многоголовых, многоруких, с звериными головами и туловищами (D'HerBelot, p. 82).

небесного мщения нет, как вдруг молния сокрушила мои здания и низвергла меня сюда. Я не лишен, однако, надежды, как другие. «Ангел Света принес мне весть, что во внимание к благочестию моих юных лет мои мучения кончатся, когда иссякнет этот водопад, капли которого я считаю; но, увы, когда придет этот желанный час? Я стражду, стражду! Безжалостный огонь пожирает мое сердце!»

С этими словами Сулейман с мольбой поднял руку к небу, и халиф увидел, что грудь его из прозрачного кристалла, сквозь которую видно сердце, охваченное пламенем. В ужасе Нурониар упала на руки Ватека. «О, Гяур! — воскликнул злосчастный государь. — Куда завел ты нас? Выпусти нас отсюда; я отказываюсь от всего! О, Магомет! неужели у тебя не осталось более милосердия к нам?» — «Нет, больше не осталось, — ответил злобный Див, — знай: здесь край, где царят безнадежность и возмездие, твое сердце будет так же пылать, как и у всех поклонников Эблиса⁴⁸; немного дней остается тебе до рокового конца, пользуйся ими, как хочешь; спи на горах золота, повелевай адскими силами, блуждай по этим бесконечным подземельям, сколько тебе угодно; все двери раскроются перед тобой. Что до меня, я выполнил свое поручение и предоставляю тебя самому себе». С этими словами он исчез.

Халиф и Нурониар остались в смертельном унынии; они не могли плакать, с трудом они держались на ногах; наконец, грустно взявшись за руки, они неверными шагами вышли из мрачной залы, не зная, куда идти. Все двери открывались при их приближении, дивы падали ниц перед ними; груды богатств представлялись их взорам, но у них не было больше ни любопытства, ни гордости, ни корыстолюбия. С одинаковым безразличием слушали они хоры джиннов и смотрели на великолепные блюда, появлявшиеся со всех сторон. Они бесцельно скитались из зала в зал, из комнаты в комнату, из прохода в проход, по бездонным и безграничным пространствам, освещенным сумрачным светом, среди той же печальной роскоши, среди тех же существ, ищущих отдыха и облегчения, но ищущих тщетно, ибо всюду с ними было сердце, томимое пламенем. Их избегали все эти несчастные, своими взглядами как бы говорившие друг другу: «Это ты меня соблазнил, это ты меня развратил», — и они держались в стороне, с тоской ожидая, когда придет их очередь.

«Как! — говорила Нурониар. — Неужели настанет время, когда я отниму свою руку от твоей?» — «О, — говорил Ватек, — разве мои взоры не будут по-прежнему черпать страсть в твоих? Разве минуты счастья, пережитые вместе, будут внушать мне ужас? Нет, не ты меня ввела в это гнусное место; нечестивые наставления Каратис, развратившей меня с юности, причина нашей гибели. Так пусть же она по крайней мере страдает вместе с нами!» Произнеся эти горестные слова, он позвал африта, мешавшего угли, и приказал ему извлечь царицу Каратис из дворца в Самарре и доставить сюда.

Затем они продолжали свой путь среди безмолвной толпы, пока не услышали разговора в конце галереи. Предполагая, что это такие же несчастные, как и они, над которыми не произнесен еще приговор, они направились на звук голосов. Голоса раздавались из маленькой квадратной комнаты, где на диванах сидели четыре молодых человека приятной наружности и красивая женщина; они грустно беседовали в полусвете лампы. Все они были мрачны и подавлены, а двое из них нежно обнимали друг друга. При виде халифа и дочери Факреддина они вежливо встали, поклонились и дали им место. Затем казавшийся самым почтенным из них обратился к халифу со словами: «Чужеземец, ты, конечно, находишься в том же страшном ожидании, как и мы, ибо не удержишь еще правой руки у сердца; если ты пришел провести с нами ужасные часы, оставшиеся нам до начала наказания, согласишься рассказать о приключениях, которые привели тебя в это роковое место, а мы расскажем о наших; они заслуживают быть выслушанными. Припомнить и вновь пережить свои преступления, хотя уже и некогда раскаяться в них, — единственное, что осталось таким

⁴⁸ ... твое сердце будет также пылать, как и у всех поклонников Эблиса... — Образ грешника с сердцем, сжигаемым пламенем, заимствован Бекфордом из «монгольских сказок» Т. Гелетта «Султанши из Гузарата» (Thoras Guellette. Les sultanes de Guzarat. Paris, 1732).

несчастливым, как мы».

Халиф и Нурониар приняли предложение, и Ватек не без содрогания начал чистосердечный рассказ. Когда он кончил тяжкое повествование, молодой человек, говоривший с ним, начал рассказывать в ответ свою историю. Далее следуют:

История двух друзей — принцев Алази и Фиру, заключенных в подземном дворце.

История принца Боркиарок, заключенного в подземном дворце.

История принца Калилы и принцессы Зулкаис, заключенных в подземном дворце⁴⁹.

Третий принц рассказал половину своей истории, когда его прервал шум, от которого задрожали и приоткрылись своды подземелья. Облако понемногу рассеялось, и появилась Каратис, верхом на африте, горько жаловавшемся на свою ношу. Царица спрыгнула на землю и, подойдя к сыну, сказала ему: «Что ты делаешь в этой маленькой комнате? Видя что дивы слушаются тебя, я подумала, что ты сидишь на троне древних султанов».

«Мерзкая женщина! — ответил халиф. — Будь проклят день, когда ты произвела меня на свет! Следуй за этим афритом, пусть он сведет тебя в залу пророка Сулеймана, там ты узнаешь, каково назначение дворца, столь для тебя желанного, и как я должен проклинать нечестивое знание, которым ты меня снабдила!» — «Ты достиг власти и у тебя от радости помутился рассудок, — возразила Каратис. — Я лучше и не хочу, как почтить пророка Сулеймана. Кстати, так как африт сказал мне, что ни ты, ни я не вернемся в Самарру, знай, что я просила позволения привести в порядок свои дела и он был настолько любезен, что согласился. Я употребила с пользой эти минуты: подожгла нашу башню, сожгла живьем немых, негрятюнок, скатов и змей, которые все же оказали мне много услуг, и так же поступила бы с везиром, если б он не променял меня на Мотавекеля. Что касается Бабабалука, по глупости вернувшегося в Самарру и нашедшего мужей твоим женам, я предала бы его пытке, если б оставалось время; но мне было некогда, и, привлекиши его хитростью, как и женщин, на свою сторону, я велела его только повесить; по моему же приказу женщин живыми зарыли в землю негрятянки, чем доставили себе большое удовольствие в последние минуты жизни. Что касается Дилары, всегда мне нравившейся, она проявила свой обычный ум, отправившись сюда и собираясь служить одному магу; я думаю, она скоро будет нашей». Ватек был чересчур удручен, чтобы негодовать по поводу этой речи; он приказал африту удалить Каратис и остался в мрачной задумчивости, которую не решились нарушить его товарищи по несчастью.

Между тем Каратис быстро прошла до залы Сулеймана и, не обращая внимания на стоны пророка, дерзко сдернула покрывала с сосудов и завладела талисманами. Затем она подняла вой, какого никогда не слышали еще в этих местах, и заставила дивов показать ей наиболее тщательно спрятанные сокровища, самые глубокие кладовые, которых не видал никогда ни один африт. Она спустилась по крутым сходам, известным лишь Эблису и его любимым приближенным, и проникла при помощи талисманов в самые недра земли, откуда дует санфар, ледяной ветер смерти; ничто не устрашало ее неукротимого сердца. Однако во всех тех, кто прижимал правую руку к сердцу, она нашла небольшую странность, не понравившуюся ей.

Когда она выходила из одной пропасти, пред ее взором предстал Эблис. Несмотря на внушительность его вида, она не растерялась и приветствовала его с большой находчивостью. Гордый монарх ответил ей: «Царица, чьи познания и преступления заслуживают высокого положения в моей стране! Ты хорошо пользуешься остатком свободного времени; скоро пламя и мучения овладеют твоим сердцем и причинят тебе достаточно забот». С этими словами он скрылся за занавесями своего святилища.

Каратис немного смутилась, но, решив смело идти до конца и следовать совету Эблиса, она собрала всех джиннов и дивов, чтобы они воздали ей почести. Так шла она с торжеством

⁴⁹ Эти три вставные новеллы не были закончены Бекфордом и не публиковались при его жизни в составе «Ватека», для которого они предназначались (см. статью, стр. 283–284).

сквозь благовонные испарения под радостный крик всех злых духов, большинство которых были ей знакомы. Она собиралась даже согнать с трона одного из Солиманов, чтобы занять его место, как вдруг голос из бездны смерти воскликнул: «Свершилось!» Тотчас надменный лоб бесстрашной царицы покрылся морщинами агонии; она испустила жалобный крик, и сердце ее обратилось в пылающий уголь; она приложила к нему руку, и не могла уже ее отнять.

В исступлении, забыв свои честолюбивые замыслы и жажду познаний, которые недоступны смертным, она опрокинула дары, положенные джинами к ее ногам, и, проклиная час своего рождения и чрево, носившее ее, она начала метаться, не останавливаясь ни на мгновение, не вкушая ни минуты отдыха.

Почти в то же время тот же голос возвестил безнадежный приговор халифу, Нурониар, четверем принцам и принцессе. Их сердца воспламенились, и они потеряли самое дорогое из даров неба — надежду! Несчастные оказались разлученными и бросали друг на друга злобные взоры. Ватек видел во взгляде Нурониар лишь ярость и жажду мести; она в его глазах — отвращение и безнадежность. Два принца, только что нежно обнимавшиеся как друзья, разошлись с содроганием. Калила и его сестра стали проклинять друг друга. Ужасные судороги и сдавленные вопли двух других принцев свидетельствовали о том, как ненавистны они сами себе. Все они погрузились в толпу отверженных, чтобы скитаться в вечной муке.

Такова была и такова должна быть кара за разнузданность страстей и за жестокость деяний; таково будет наказание слепого любопытства тех, кто стремится проникнуть за пределы, положенные создателем познанию человека; таково наказание самонадеянности, которая хочет достигнуть знаний, доступных лишь существам высшего порядка, и достигает лишь безумной гордыни, не замечая, что удел человека — быть смиренным и неведущим.

Так халиф Ватек, в погоне за тщеславной пышностью и запретной властью, очернил себя множеством преступлений, сделался добычей угрызений совести и бесконечной, безграничной муки, а смиренный, презираемый Гюльхенруз провел века в тихом покое и в счастье блаженного детства.